

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

ПЕРВЫЙ
ПЕЧАТНИК

ИВАН
ТРАПНИН

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ
О ЖИЗНИ
О МУЗЫКЕ

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

А. Н. ТОЛСТОЙ

В. Петелин



АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

ХЛЕБ



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга посвящена жизни и деятельности классика советской литературы Алексея Толстого. Автор, основываясь на воспоминаниях современников, на новых архивных документах, показывает жизнь писателя, историю создания его романов, таких, как «Петр Первый» «Хождение по мукам» рассказывает о его встречах с замечательными людьми своего времени Горьким Есениным, Станиславским.

- [В. Петелин](#)
 -
 - [ПРОЛОГ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [В СОСНОВКЕ](#)
 - [ПЕРЕМНЫ](#)
 - [СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ «ИЗМАИЛ»](#)
 - [САМАРСКИЕ ХЛОПОТЫ](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ПОСЛЕ СВАДЬБЫ](#)
 - [ПЕРВАЯ РЕЦЕНЗИЯ](#)
 - [КУДА ПОДАТЬСЯ...](#)
 - [«МИР ИСКАНЬЯ ПОЛН»](#)
 - [«КОШКИН ДОМ»](#)
 - [ПРИЗНАНИЕ](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ](#)
 - [ПОЕЗДКА В АНГЛИЮ](#)
 - [ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ](#)
 - [ДРЕВНИЙ ПУТЬ](#)
 - [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ВОЗВРАЩЕНИЕ](#)
 - [«НАМ НУЖЕН ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»](#)

- [ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ](#)
 - [«ЕСЛИ Б В СУТКАХ БЫЛО СОРОК ВОСЕМЬ ЧАСОВ»](#)
 - [ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ ЕСЕНИНЫМ](#)
 - [ПРИГЛАШЕНИЕ СОБЕСЕДНИКОВ НА ПИР](#)
 - [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [СВЕТ И ТЕНИ](#)
 - [В КИСЛОВОДСКЕ](#)
 - [В ДЕТСКОМ СЕЛЕ](#)
 - [СНОВА В БЕРЛИНЕ](#)
 - [БЕСЕДЫ С ГОРЬКИМ](#)
 - [МИР ИСТОРИЧЕСКИХ СОПОСТАВЛЕНИЙ](#)
 - [ЧАСТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ](#)
 - [ТВОРЧЕСКАЯ ЖАДНОСТЬ](#)
 - [ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ](#)
 - [НА КОНГРЕССЕ В ЗАЩИТУ КУЛЬТУРЫ](#)
 - [ЭПИЛОГ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
-

В. Петелин
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ



Алексей Толстой

ПРОЛОГ

На высоком левом берегу Волги, при впадении в нее реки Самары, широко, просторно раскинулся губернский город. Около трех веков назад, в 1586 году, русский царь Федор Иоаннович распорядился поставить городок-крепость «для бережения» ногайских мурз и для охраны торговли с ними от волжских казаков. Беспрепятственно кочевали здесь башкиры, калмыки, ногайские татары и киргизы со своими стадами. Со второй половины XVI века, после покорения Казанского царства, сюда устремились русские поселенцы, беглые раскольники и крестьяне; когда границы отечества отодвинулись, крепость превратилась в обычный уездный городок. Развивалась торговля, строились кожевенные, маслобойные, кирпичные, чугунолитейный и канатный заводы, хлебная и лесная пристани, амбары.

Став губернским городом в 1851 году, Самара начала быстро разрастаться, с каждым годом приобретая все больший удельный вес в Поволжье. Обильная самарская земля заселялась предприимчивыми людьми и вскоре стала центром обширного края. За четверть века Самара выросла в город, ничуть не уступающий крупнейшим центрам России. «Самара в начале 70-х годов из небольшого уездного города стала превращаться в довольно значительный торгово-промышленный центр, — писал современник. — Из всех городов Поволжья она заняла если не первое, то одно из первых мест. Удобно расположенная на берегу реки Волги, Самара с постройкой Самаро-Оренбургской, а впоследствии Самаро-Златоустовской железной дороги сделалась транзитным пунктом, соединяющим Россию с Сибирью и с Средней Азией. По быстрому росту Самару стали звать американским городом».

Самарское общество ничем не отличалось от любого тогдашнего губернского общества. Жизнь высшего и среднего сословий проходила в клубах за картами или в танцах, маскарадах и в театре, в ресторациях.

Зимой 1883 года состоятельные самаряне, как обычно, закружились в вихре привычных удовольствий. Но отгремела музыка, и закончились новогодние балы с танцами до упаду и катаниями. Другое надолго привлекло внимание, захватило самарских жителей: необычное для той поры судебное разбирательство. Что же произошло здесь?

Юго-западнее Самары, в городе Николаевске, расположенном на самой ровной части степного Заволжья, несколько ближе к Вольску и Саратову, чем к Самаре и Сызрани, в канун 1883 года, 29 декабря (здесь и далее все дореволюционные даты — по старому стилю) родился Алексей Николаевич Толстой, сын графа Николая Александровича Толстого, но родился не в отчем доме, а в доме председателя земской управы Алексея Аполлоновича Бострома. Сложные и драматические события предшествовали его рождению.

Прошло всего лишь три недели со дня рождения Алеши, когда его родители должны были предстать перед Самарским окружным судом. Должны были... Но Александра Леонтьевна Толстая не появилась в суде, она пребывала в семидесяти верстах от Самары, на хуторе Сосновка, с новорожденным сыном. Ей было не до суда, куда вызывалась она в качестве свидетельницы.

На скамье же подсудимых сидел предводитель дворянства Самарского уезда граф Николай Александрович Толстой. О предстоящем слушании дела объявили «Самарские губернские ведомости» и «Ежедневные прибавления к Самарским губернским ведомостям». А в казанском еженедельнике «Волжский вестник» 23 января 1883 года в хронике о деле графа

Толстого говорилось как о «весьма любопытном и несколько *романтическом* процессе».

Объявления в газетах, слухи, обраставшие подробностями, как снежный ком, громкий титул обвиняемого, а главное — романтичность драмы, разыгравшейся в семье Николая Толстого, — все это взбудоражило широкие слои самарской публики, падкой, как и везде в провинции, до острых, скандальных сенсаций.

В двухэтажное здание окружного суда, казалось, сошлась вся Самара: дворяне, купцы, мещане, земские служащие. Слушалось дело о покушении на убийство. Обвиняемый — граф Толстой. Многие сейчас смотрели на него с пониманием и сочувствием, а некоторые — с тайным злорадством и мелким мстительным чувством. Гордый красавец, известный своими похождениями и независимостью характера, выглядел каким-то неуверенным.

30 января 1883 года в петербургской «Неделе» и «Московском телеграфе» был дан подробный отчет о слушании (этого дела).

Отношение к процессу либеральной части самарского общества было изложено в письме в «Неделю». В нем с большой симпатией говорилось об Александре Леонтьевне Тургеневой, расцветшей «пышным цветком» в Самаре в начале 70-х годов и получившей воспитание в местной женской гимназии, известной своими строгими правилами. Из этого письма можно было узнать, что семейство Тургеневых всегда отличалось набожностью: отец внушал своим детям благонравие, послушание, резко отрицательно относился ко всяким «новинкам века», вроде Высших женских курсов или так называемых «Бестужевских».

В это время в Самаре появился молодой граф Николай Александрович Толстой — богатый, ладный, с бросающейся в глаза внешностью, но человек

неукротимого, пылкого нрава. Вскоре он обратил внимание на красавицу из семьи Тургеневых и посватался. Александра Леонтьевна жила в то время мыслями и идеалами 60-х годов, читала Чернышевского, Добролюбова, Тургенева. Ее увлекло писательство, и к тому времени, когда посватался к ней молодой граф Толстой, она уже была автором повести «Воля», отражавшей высокие идеи гуманности. Не сразу Александра стала графиней Толстой. Сначала она относилась к нему с жалостью. «Потом, видя его безграничную любовь, она сама его полюбила». Так писала она отцу перед тем, как дать согласие на брак с графом.

Прошло десять лет. В дом графа зачастил Алексей Бостром, мелкопоместный дворянин, только что принятый на земскую службу. Тоже романтически настроенный, темпераментно-красноречивый, он сумел покорить сердце Александры Леонтьевны, матери уже троих детей, и она ушла от графа и детей.

...И вот — судебное разбирательство по обвинению графа Толстого в покушении на убийство дворянина Бострома.

...Все произошло неожиданно. 20 августа 1882 года граф, направляясь в Петербург по Оренбургской железной дороге в купе первого класса, вдруг узнает от своего лакея Сухорукова, что в одном с ним поезде едет его жена. Лакей, случайно увидевший свою госпожу, доложил об этом графу, добавив, что едет она во втором классе. Граф прошел в купе к жене.

— В поезде едет пол-Самары, соблаговолите перейти в мое купе, — сказал он. — Вы компрометируете меня, что едете здесь.

В это время в купе вошел Бостром.

На предварительном следствии граф Толстой объяснял:

— Я вызывал Бострома на дуэль, но он от дуэли наотрез отказался. Однако я никогда не намеревался убить Бострома и ничего подобного ни жене, ни кому-либо другому не высказывал. В показанное же по делу время, едучи в Петербург и увидев в одном из купе свою жену, присел возле нее и стал уговаривать ее перейти ко мне в первый класс. В это время, заметив по глазам жены, что в вагон вошел Бостром, я встал и круто повернулся к нему, чтобы выгнать его и сказать, что это уже верх наглости с его стороны: входить, когда я тут, но Бостром с криком: «Выбросим его в окно» бросился на меня... Защищаясь, я дал Бострому две пощечины и вынул из кармана револьвер, который всегда носил с собою, с целью напугать Бострома, заставить его уйти, а никак не стрелять в него, не убить его, так как если бы я хотел убить Бострома, то, конечно, имел полную возможность выбрать для этого и время, и место, более удобные. Как и отчего произошел выстрел, я не помню, а равно и кто выстрелил из револьвера — я ли нечаянно, или Бостром; но последний еще в начале борьбы, когда он начал отнимать у меня револьвер, всячески старался направить дуло револьвера мне в грудь... Придя затем в себя, я заметил, что у меня контужена рука и прострелено верхнее платье...

Как и требовал закон, председательствующий Смирнитский спросил графа, признает ли он себя виновным. Подсудимый виновным себя не признал. Председатель суда пригласил в зал заседания Бострома. Он тут же был приведен к присяге и предупрежден, что свидетель должен говорить только правду.

— Господин председательствующий, — обратился с полупоклоном в сторону Смирнитского Бостром, — не могу ли я совсем отказаться от показаний, так как ни графа, ни кого другого я обвинять не намерен?

— Нет, но вы имеете право не отвечать на вопросы, уличающие вас в преступлении.

— То есть как же это? Я, кажется...

— Я говорю это вообще, а не для какого-нибудь частного случая.

— В таком случае я начну с обстоятельств самого покушения. Встретились мы с графом на станции Безенчук Оренбургской железной дороги. Я видел, как подъехал поезд, в котором был лакей графа. Предполагая, что в нем должен быть и сам граф, я сначала затруднялся, но затем решился сесть в купе второго класса, подальше от первого, в котором, по моему предположению, должен был находиться граф. Со мною была и графиня Толстая. Минут через пять по отходе поезда я вышел из вагона и, когда возвратился, отворяя дверь, услышал вопрос графини: «У вас револьвер?» — и ответ: «Нет». Так как граф Толстой после размолвки с графиней уже бывал у ней в моем доме и ни к какому насилию не прибегал, то я, делая вид, что не замечаю графа, сел против него на свое место и просидел минуты две, не желая обращать на себя внимание графа. Но в это время я увидел, что граф поднял руку, в которой был револьвер, и направил его мне в грудь. Графиня удержала графа, а я взял кончик дула, но удержать не мог; последовал выстрел, ранивший меня в ногу. После этого произошла борьба, в продолжение которой мне удалось отнять револьвер у графа. Граф отскочил и вскрикнул: «Стреляй, делать нечего». Но на это я ответил: «Мог бы, да не хочу», и увел графиню в купе.

Долго разбиралось это судебное дело. Зачитывали на заседании суда показания графини. Выступали свидетели.

На заседании был оглашен протокол судебно-медицинского осмотра раны Бострома и контузии графа Толстого (о последней медицинский осмотр сделал заключение, что она могла произойти с одинаковым вероятием как от ушиба, так и от прикосновения пули).

Затем была оглашена переписка между графом Толстым и Бостромом.

Прокурор Завадский сказал:

— Господа... Это несложное по обстоятельствам дело представляет затруднения для разрешения вопроса о виновности, так как подкладка его — семейные отношения графа Толстого. Помимо этого, трудность заключается еще и в том, что мы имеем дело не с убийством, а только с покушением. Внутренний мир человека трудно уловим для нас. Граф хотел лишить жизни Бострома. Но можно ли сказать, когда он навел револьвер, что он именно хотел убить, а не поугатать его. Из показаний Бострома видно, что граф, желая его убить, наставил в грудь револьвер, но это еще ничего не доказывает, если мы не подкрепим этого показания. Дурные отношения подтверждают эти показания. Бостром разрушил счастье Толстого, он опозорил его семью, и граф не мог иметь основания его жалеть. Но, гг. присяжные, вы слышали, целый год шли уже переговоры, граф бывал в доме Бострома, и несомненно, что если бы он желал убить Бострома, то мог бы избрать для этого место и время более удобное. Когда мы наталкиваемся на такое обстоятельство, то должны сознаться, что улики обвинения не особенно сильны. Далее, нужно знать самую натуру графа Толстого. Он не желал этого сделать, потому что у него осталось трое детей, которых нужно воспитывать. Вот, мне кажется, эта причина и то обстоятельство, что ровно год как графиня оставила его, и не могут послужить в пользу обвинению. Таким образом, я не обвиняю графа и не оправдываю его, я делаю только то, что должен: по закону я обязан совершенно беспристрастно изложить обстоятельства дела.

Прокурор выступил в необычайной для себя роли. Но ничего не мог с собой поделать. Защитник Яценко в своей краткой речи обратил внимание только на то, что

граф Толстой принадлежит к сословию, господствующему в империи, и что это на него накладывает обязательство с особой тщательностью соблюдать законы чести.

Слово предоставили графу Толстому:

— Я остаюсь при том мнении, что в данном случае я защищал честь семьи, которую Бостром опозорил, — честь жены и детей. Я требовал дуэли, он мне отказывал в этом. Но я не имел намерения убить его.

Присяжные удалились, но очень скоро вернулись из совещательной комнаты и огласили оправдательный вердикт. Так закончился самарский суд.

События, изложенные выше, при поверхностном знакомстве с их подоплекой могут показаться чем-то вроде провинциальной мелодрамы. Но по сути своей они, события эти, далеки от банальности. Отношения между графом и графиней Толстыми и Бостромом, приведшие в конце концов — к краху одной семьи и созданию другой, длились в течение многих лет. В этих отношениях было все — и безоглядность неуправляемого любовного чувства, и страшные вспышки ревности, и мучительные попытки вернуться к прежним, изначальным отношениям, и искренние проявления взаимного благородства, и не менее искренний голос уязвленного самолюбия.

Все биографы Алексея Толстого не очень лестно отзываются о Николае Александровиче Толстом, и все в один голос одобряют действия и поступки молодой графини, называя ее историю «необычной и героической». А между тем все обстояло гораздо сложнее, трагичнее. Да, она ушла от мужа, но оставила троих детей. Никогда не отпустит её тоска по

оставленным детям, а они никогда не простят ей этого шага. Она всегда будет мучиться и спрашивать себя, правильно ли поступила.

Конечно, граф Толстой был порождением своей среды и своего времени. Человек крутого нрава, дерзкого и неуступчивого характера, однажды он позволил себе поднять голос на самого самарского губернатора, за что был на время сослан в Кинешму. Да и простым смертным спускал, по любому поводу вызывая «провинившихся» на дуэль. Чрезмерно щепетильный в понимании чести, он не прощал даже малейших попыток ее поправки. Вполне вероятно, а может, и бесспорно, что не всегда он был прав, но его постоянное стремление защищать свое доброе имя не может, как нам представляется, не вызывать сочувствия.

О глубине чувства графа к своей жене свидетельствуют многие его поступки, письма. Приведем одно из них, написанное в ту кризисную минуту взаимных отношений, когда супруги условились расстаться на время, с тем чтобы окончательно проверить основательность своих чувств друг к другу.

«Мама моя, сердце мое, любя моя, опять-таки нет письма от тебя, — пишет он в Петербург. — Без тебя солнышко не светит, что с тобой, моя святая? Я просто не знаю, что мне делать, все постыло, кроме тебя, ни к чему рук приложить не могу, ни мыслить, ни делать, — ничего не в состоянии. Хорошая моя Мося, смилуйся надо мной, — я с ума схожу. Целый день только смотрю на твой образ, разговариваю громко с тобой, молюсь тебе, святой и в святых.

Сердце сжимается, холодеет кровь в жилах, — я люблю тебя безумно, люблю как никто, никогда не может тебя любить! Ты для меня все: жизнь, помысел, религия; ты для меня высшее существо; тебе молюсь, всеми силами души боготворю тебя, прошу милосердия и полного прощения; прошу позволить мне служить

тебе, любить тебя, стремиться к твоему благополучию и спокойствию. Саша, милая, тронься воплем тебе одной навеки принадлежащего сердца! Прости меня, возвысь меня, допустив до себя. Прости, целую тебя крепко, крепко; бедная моя голова, не знаю, как она не лопнет от той массы дум, которые роятся безостановочно в ней, — день и ночь. Господь с тобой, крепко тебя целую, твой любящий, верный по смерти муж и лучший, преданный друг Коля. Целую милых деток, дай им Бог здоровья, об остальном, раз они с тобой, просить нечего...»

Графиня написала в ответ: «Милый Коля, вчера получила разом твоих два письма. По правде сказать, я нахожу, что ты малодушничает по обыкновению. Что это за страсть такая, которую ты и сдержать не можешь? Нехорошо до такой степени распускать себя и быть не в силах перенести разлуку, которую часто придется переносить. Не можем же мы постоянно жить вместе, это немыслимо. Ты только представь себе положение: ты — обуреваемый страстью, а я — тяготящаяся этой страстью. По правде сказать, только теперь я отдохнула нравственно. Нельзя, мой друг... Я здорова, не весела, но по крайней мере спокойна, очень много сижу дома, постоянно вожусь с детьми, пишу, корректирую, читаю. Минуты почти даром не пропадают. Только такая жизнь мне по душе, только один упорный труд может поддержать мои силы в этой тяжелой, тяжелой жизни.

Я очень редко выхожу из дома, днем некогда, а вечером и подавно. На днях кончится корректура, осталось листа 4. Всего выйдет от 32 до 33 листов, как ты и предсказал...

Целую тебя, милый Коля, будь здоров и бодр, главное, будь человеком. Дети тебя целуют...»

В монографиях об Алексее Толстом отец писателя обычно выставляется единственным виновником

разыгравшейся семейной драмы. Безусловно, это был человек с сильным, страстным, подчас неуправляемым характером. Но вряд ли его вина в том, что он безрассудно любил свою «святую» Сашу и это чувство порой толкало его на поступки, которые одних шокировали своей буйной силой, а другим служили лакомой пищей для сплетен и анекдотов.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В СОСНОВКЕ

Хутор Сосновка, куда вскоре после нашумевших событий уехала Александра Леонтьевна с маленьким Алешей, раскинулся в степной глуши, недалеко от небольшой речушки Чагры, впадающей в Волгу. Одноэтажный деревянный дом, сад, пруд, глухие, таинственные камыши, густо росшие на берегу речки, далекая и казавшаяся сказочной заволжская степь, деревенские ребята с их простыми, бесхитростными играми и забавами, хозяйственные заботы отчима и литературные занятия матери — все это с малых лет вошло в жизнь маленького Лели, как в семейном кругу называли Алексея Толстого.

«Я рос один в созерцании, в растворении среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум вод, крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времен года; рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах костра в сумеречной ложине; мой друг, Мишка Коряшонок, и его рассказы; зимние вечера под лампой, книги, мечтательность... Вот поток дивных явлений, лившийся в глаза, в уши, вдыхаемый, осязаемый...» — писал впоследствии Алексей Толстой.

Его детство во многом походило на детство всех его деревенских сверстников. Так же, как они, целыми днями пропадал на сенокосе, на жнивье, на молотье, убегал с ними на речку, на необъезженных лошадях скакал в ночное. Ничто еще не предвещало в нем

таинственного творческого начала, может быть, только более внимательно, чем его сверстники, в долгие зимние вечера вслушивался в рассказываемые знакомыми крестьянами сказки и побасенки, в удивительное русское многоголосье, то скорбное и грустное, то залихватски-веселое и безудержное. Играл в карты и в бабки, дрался, когда ходили стенка на стенку. На рождество вместе с деревенскими ребятами колядовал, на святках ходил в ряженных. А вернувшись домой, любил рисовать или раскрашивать картинки, слушая, как «вотчим» обычно читал вслух Некрасова, Льва Толстого, Тургенева или что-нибудь из свежей книжки «Вестника Европы». Александра Леонтьевна, уставшая после напряженного дня, вязала чулок. А за окном протяжный волчий вой.

Александра Леонтьевна с тревогой ждала решения суда. И когда узнала, что графа оправдали, очень порадовалась. Как тяжелое бремя с плеч свалилось.

Сразу после окончания судебного процесса Алексей Аполлонович прислал телеграмму и «писулечку». Так хорошо она почувствовала себя, будто насладились разговором с ним, за каждой им написанной фразой она отчетливо угадывала, в каком расположении духа он писал, представляла, какое у него было милое лицо и глаза, когда он писал слова: «солнышко мое».

Своей жизнью Александра Леонтьевна вполне довольна. Муж внимателен и заботлив. Прислал на хутор ей и маленькому Лельке хорошую корову. Только вечером корова дала полведра молока, а утром Александра пила кофе с густыми сладкими сливками. Уж если ей самой хорошо, то и ее Лельке вкусное молоко достается.

«Мы с сынком ведем себя весьма прилично, друг другу не даем скучать, да к тому же и чтения у меня пропасть: «Отечественные записки» за 17 г года и

«Московский телеграф», 17 номеров. Какая это прекрасная газета, вчера прочла несколько статей, не мудрено, что она получила уже второе предостережение», — писала Александра Леонтьевна Бострому в январе 1883 года.

А несколько недель спустя она получила повестку о том, что на 5 апреля назначено бракоразводное дело и что в случае, если она по уважительным причинам не может приехать, то пусть пришлет поверенного. Конечно, нужно бы самой ехать. Но как это сделать? Хорошо, если бы он приехал за ней, они бы собрались числа 2-го или 3-го, чтобы заблаговременно доехать и не очень утомить Лельку, думала графиня. Как ей тоскливо без него. Сиди г целые дни и работает. Первый день было тяжело и очень устала, но мысль о том, что они терпят одинаковую участь, успокаивала ее. Она довольна, что действительно трудится. Недавно она была в гостях и узнала одну неприятную новость: ее любимый «Московский телеграф» запретили навсегда.

Алексей Аполлонович жил в это время в Николаевске, продолжал исполнять свои обязанности председателя земской управы, изредка наезжал в Сосновку. И очень тяготился своей работой. Постепенно жизнь их вошла в обычное русло, оба успокоились после стольких испытаний. Только постоянная нужда в деньгах терзала. Надежды Бострома на службу не оправдались. Ему пришлось вскоре уйти из управы.

Вся жизнь теперь сосредоточилась в Сосновке. Алексей Аполлонович занимался хозяйством, а Александра Леонтьевна растила и воспитывала сына, одновременно упорно и настойчиво продолжала работать над своими рукописями. «Отечественные записки» и «Дело», два столичных журнала, в 1883 году обратили внимание на выход ее романа «Неугомонное сердце», но лучше бы роман оказался незамеченным. Много горьких минут пережила она, читая отзыв в

«Отечественных записках». Рецензент не оставил камня на камне от огромного и казавшегося ей таким прекрасным здания романа. Столько она вложила в него сил, столько пролила слез, выслушивая едкие замечания графа по поводу ее писательских занятий. И вот почти то же самое высказал опытный литератор, найдя в ее романе лишь тысяча первую попытку разрешить «семейный вопрос». И этому набившему оскомину вопросу посвящен бесконечный роман в 500 страниц, испещренных не живыми образами, а худосочными рассуждениями и сентенциями!

За пять лет, что пролетели после разрыва с графом, она написала несколько повестей и рассказов: «Вожаки», «Захолустье», «Весенняя сказка», «Антон и Поля»... Повести казались ей ничуть не хуже тех, что печатались в журналах, и Александра Леонтьевна не раз подумывала съездить в столицы для устройства их, но маленький сын все не давал ей такой возможности. Только в конце сентября 1887 года она собралась в Москву и Петербург.

Нельзя сказать, чтобы все эти пять лет она была оторвана от общества. Иной раз посещала в Самаре популярный салон судебного следователя Якова Тейтеля, где собирались местные артисты, художники, адвокаты, журналисты и писатели. Либерально настроенные завсегдатаи подвергали резкой критике «Временные правила о печати», нападали на «карательную цензуру» и обер-прокурора синода Победоносцева, который всеми силами стремился уgomонить умы, общественную мысль, обрушивая на инакомыслящих всю тяжесть своей власти, твердой рукой изгоняя всякую крамолу. Тейтель, который был со многими знаком в Москве и Петербурге, на первых порах немало полезного высказал Александре Леонтьевне по поводу ее сочинений. Именно он ей посоветовал прежде всего обратиться в «Русскую мысль» в Москве и в

«Северный вестник» в Петербурге. Только эти журналы, по его мнению, по-прежнему пытались сохранить оппозиционный дух по отношению к наступающей реакции. Почти вся редакция недавно закрытых «Отечественных записок» во главе с К. Михайловским и А. Н. Плещеевым перешла в только что открытый «Северный вестник», издательницей которого стала А. М. Евреинова.

В Москве Александре Леонтьевне предстояло много хлопот: Алексей Аполлонович просил ее познакомиться с его сестрами и престарелой тетушкой.

В редакции «Русской мысли» она оставила рукопись «Весенней сказки». Ей пообещали прочитать, как обычно, за месяц. Она дала им свой адрес. Что-то не понравилось ей в редакции. Так что о гонораре и не стала говорить, побоялась произвести неблагоприятное впечатление. Пускай прочтут и напишут, тогда уж она им скажет, что она хочет за эту сказку получить.

Целые сутки поезд шел из Москвы в Петербург.

Против Николаевского вокзала — большая гостиница «Северная». Здесь и остановилась Александра Леонтьевна. И сразу начала собираться с визитами. Прежде всего необходимо было повидаться с Виктором Петровичем Острогорским. Посоветуется сначала с ним, а потом уж поедет к редактору-издателю «Вестника Европы», авось пристроит свою лучшую повесть «Захолустье».

В. П. Острогорский был последователем демократической традиции 60-х годов, сторонником всесословного образования. Видный в то время педагог и писатель, он написал уже много этюдов о великих русских писателях. Многие из его книг, такие, как «Беседы о словесности», «Из мира великих преданий», «Письма об эстетическом воспитании», «Памяти Пушкина», Александра Леонтьевна прочитала, готовясь к поездке в Петербург. Как она и ожидала, Острогорский

принял ее весьма любезно, но посоветовал ей прежде всего обратиться к издательнице нового журнала «Северный вестник» А. М. Евреиновой: только в этом журнале она может найти взаимопонимание.

В Петербурге, как и в Москве, все дда ее были плотно забиты делами, встречами, разговорами. В «Северном вестнике» ее встретили очень хорошо. Евреинова была с ней так мила, что лучше и нельзя. Познакомилась с заведующим отделом прозы и поэзии Алексеем Николаевичем Плещеевым, очень милым и симпатичным человеком.

— Это из народной жизни? — спросил он ее, когда она вручила ему свою повесть «Вожаки».

— Нет, — быстро ответила Александра Леонтьевна. — Из земской, это история одного собрания или комиссии...

— Это очень интересно, — сказал Плещеев. — Я прочитаю быстро. Так что прошу зайти ко мне в пятницу, от двух до четырех.

Окрыленная теплым приемом в редакции «Северного вестника», Александра Леонтьевна позволила себе походить по магазинам. Но лучше бы не ходить: красивых и необходимых вещей так много, а купить ничего не могла, приходилось во всем себя ограничивать. Купила только портфельчик да «Естественную историю» для Лели, которую сама с удовольствием будет читать по вечерам.

Потом поехала к Острогорскому, где надеялась познакомиться с интересными, а главное, полезными для нее людьми, и надежды ее оправдались.

На журфиксе у Острогорского собралось много молодежи: курсистки, два-три студента, но сначала было довольно скучно, все как будто дичились друг друга. А когда приехали Вейнберг и Плещеев, то молодежь и вовсе притихла. Зато она получила истинное удовольствие от беседы этих знаменитостей. Вейнберг

был ей известен как автор сатирических стихов и пародий. Да и о Плещееве она много слышала. Петрашевец, приговоренный к смертной казни, замененной солдатчиной и ссылкой, лишенный «всех прав и состояния», он только через десять лет после приговора вернулся к литературной деятельности, стал сотрудничать в «Современнике», «Русском слове», «Отечественных записках».

Вейнберг, Плещеев да Острогорский составили как бы триумvirат и проговорили целый вечер — большей частью о своих кружковых интересах. Плещеев казался усталым, приваливался то и дело грузным туловищем то к столу, то к спинке стула, и думалось, ей, что он хотел только одного: вместо разговоров побыстрее очутиться в постели. Тяжелая жизнь, видимо, подорвала его здоровье, думала Александра Леонтьевна, глядя на этого симпатичного шестидесятидвухлетнего старика, по-прежнему оставшегося при своих убеждениях. «Так тяжело, так горько мне и больно», — признавался он в одном из своих стихотворений. Все, что хоть как-то передавало страдания угнетенного народа и звало к борьбе, было близко его идеалам. Плещеев был дорог Александре Леонтьевне еще и тем, что много внимания уделял литературе для детей, в доходчивой форме рассказывая о «родимой сторонushке».

За ужином Острогорский посадил ее рядом с Плещеевым, и она немного поговорила с ним.

— Печататься совсем негде. Вот и едем в столицы, — словно бы оправдываясь за свой утренний визит, сказала Александра Леонтьевна. — Вы и не представляете, как трудно в провинции, все погрузилось в сонное затишье. У нас все идет по-старому. Ничего не меняется... Грязь, дикость... Захолустье, оно и есть захолустье.

— Да, печальная сторона эта провинция. Ей нужно бы побольше света и печатных страничек... В Питере мало представляют, что делается в провинции. Одни на

провинцию начинают молиться, другие грязью стараются ее запачкать. А вместо разговоров и споров взяли бы да спросили, чего она сама хочет и что она собой представляет?..

— Я и взяла несколько подлинных фактов из жизни провинции в той повести, что вам передала утром. Пусть эти факты складываются в русскую летопись. Только от нас вы узнаете, где истинная, посконная подоплека жизни, а не сочиненная и не вымученная, прилизанная разными, без сомнения, прекрасными общими теоретическими местами.

— Да, да, я помню о вашей повести, и непременно в эту пятницу приходите ко мне в три часа. Все обговорим с вами, а если нужны будут какие-либо изменения по цензурным соображениям, то вы сразу же все и поправите.

Беседа была прервана Острогорским, сказавшим коротенькую речь в ее честь. Плещеев чокнулся с ней и также пожелал ей успеха. Это вселяло в нее надежды. Как же: Петербург встретил ее тостом! Но тут же возникали какие-то смутные предчувствия чего-то нехорошего. Никогда еще у нее не было так, чтобы все складывалось удачно. И жизнь научила ее быть осторожной в своих надеждах и прогнозах.

А в Сосновке ждали ее, ее писем, ее успеха. Туго приходилось, еле-еле сводили концы с концами, и поэтому столько надежд возлагалось на поездку в Петербург: может, хоть что-нибудь примут столичные журналы и издательства, тогда хоть какая-то будет передышка в денежных делах.

Александра Леонтьевна и Алексей Аполлонович делали все от них зависящее, чтобы хоть как-то выбиться из нужды, но с каждым годом становилось все тяжелее управляться с небольшим хозяйством, все чаще приходилось влезать в долги, а потом за бесценок продавать пшеницу, подсолнухи и скот, чтобы

расплатиться. А литературная работа Александры Леонтьевны тоже приносила не так уж много доходов: чаще всего ей только обещали напечатать, а печатали мало. Оставалась одна радость: ненаглядный Лелечка рос крепким, здоровым, смышленным мальчиком.

ПЕРЕМЕНЫ

«Глубокое впечатление, живущее во мне и по сей день, — вспоминал Алексей Толстой в 1943 году, — оставили три голодных года, с 1891 по 1893. Земля тогда лежала растрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля стояли желтыми, сожженными. На горизонте лежал тусклый вал мглы, сжигавшей все. В деревнях крыши изб оголены, солому с них скормили скотине, уцелевший истощенный скот подвязывался подпругами к перекладинам (к поветам)…»

Эти трагические для поволжских крестьян годы внесли перемены и в жизнь юного Алексея Толстого, его матери и отчима. Алексею Аполлоновичу в качестве члена губернской управы пришлось участвовать в организации помощи голодающим крестьянам Николаевского и Ново-узенского уездов. Новая должность позвала его в Самару.

Вскоре и Александра Леонтьевна вместе с Алешей переехала в Самару, сняв квартиру в доме Зябловой на Вознесенской улице. Леля начал учиться в частной школе Масловской, а на Александру Леонтьевну целиком пали заботы о Сосновке. В Самару приходили обозы с продуктами, а из Самары шли указания в Сосновку. Но многое она не могла решить сама и делилась в этом случае своими сомнениями с Бостромом, работавшим то в Царицыне, то в Саратове.

Тревожные дни переживала она осенью 1891 года: заболел гриппом Лелька; не было писем от Бострома; нависла угроза продажи Сосновки в случае неуплаты налогов. Утро 13 октября застало ее в совершенно подавленном состоянии. Всю ночь Лелька метался в

жару, бредил. Ни на минуту она не отходила от него. Только увидев в небе зарево пожара, отвлеклась от дум.

Горела баржа. Тревожные свистки пароходов раздавались в течение часа. Всю ночь она не спала и утро провела в каком-то дурном забытии. Приходили сосновские работники, она отдавала распоряжения, но все время чувствовала какую-то неуверенность в себе, так ли она поступает, правильно ли. Приехала жена одного из их работников с детишками. Послать ли их на квартиру или тут оставить? До мужа так и не сделала никакого распоряжения. В таких мелочах проходило время. Особенно тяжело она переживала безденежье. Правда, в Дворянском банке сказали, что Сосновку непременно снимут с торгов, но эта неделя была очень беспокойной. Посылала две телеграммы в Петербург. Наконец утром 18 октября из банка со сторожем прислали ей телеграмму о том, что имение снято с торгов. Она так была взволнована, что только и увидела, что снято, а что там еще было написано, так и не посмотрела, тут же отправила телеграмму обратно, как ей сказали в банке.

Погода стояла переменчивая. То шел дождь, то мороз и ветер. Леля быстро поправлялся, хотя все еще кашлял. Мать не выпускала его из дома. Без дела слонялся по комнатам. Даже книжки перестали его интересовать. Александра Леонтьевна во время его болезни кое-что рассказала ему из Урания Фламариона, об устройстве вселенной, о мире, о жизни на Земле.

— Мама, а есть ли конец вселенной?.. У меня голова кружится, и я боюсь с ума сойти, когда думаю, что такое вселенная и что конца нет.

— Сейчас тебе трудно все это представить, но это так. Ты учись, читай книги и скоро поймешь, что здесь ничего страшного нет. Так устроена жизнь, ты только должен понять ее законы.

Долго думал Леля, а потом, увидев, что мать взяла почтовую бумагу и собирается писать отцу, торопливо ее спросил:

— А отчего нет на земле страшного ветра от движения и почему, мама, бывает зима, ведь зима не должна быть, так как от вращения Земли и трения должна развиваться теплота?

Эти вопросы умиляли ее, но она серьезно отвечала как могла.

— А знает ли бог о том, нет ли где конца вселенной?

— Да, бог так, как его понимают христиане, должен, конечно, знать.

Потом он спросил:

— У человека нет понятия о бесконечности вселенной, а умом человек может понять бога?

— Нет, умом не может. Человек может только верить, что бог есть дух, всемогущий, милосердный и все создавший.

— А что ж такое бог? Бог ведь не существо?

— О боге есть два понятия. Христиане понимают его как духа, все создавшего, а философы понимают как причину всего существующего.

Она говорила так, потому что понимала: у Лели есть понятия о причине и следствии и он непременно хочет видеть, знать причину.

— Значит, бог есть причина всего? Создатель всего?

Задумавшись на минутку, он добавил:

— У меня мысли так бегут, и я не знаю, что я говорю. Я не могу сказать, чего хочу. В эту минуту меня спроси о чем-нибудь, и я скажу глупость.

Она глядела на него с каким-то удивлением и радостью: как рано возникли у него такие сложные вопросы, требующие четких и ясных ответов. И как она права, что не оставляет его на воспитателей и нянек. «Нет, этого маленького человека я не смею и не имею права оставить. Он живет, мыслит, он счастлив жизнью,

он требует своего счастья на земле. Что будет с ним без моей ласки, без моей заботы, кто разовьет и направит этот светлый и пытливый ум, кто вложит стремления к добру и правде и справедливости? А разве я без Лешурочки могу это сделать, разве у меня будут сила, возможность, охота жить и работать? О господи, какие тяжелые часы переживаю я, как трудны в мои годы эти сомнения. Неужели он не понимает, что оставить его одного — значит подрывать в корне жизнь, возможность жизни, отнимать у человека все, все, чем он дышит, отнимать у него надежду, о, как это жестоко, как это жестоко! И кого же он так мучает — ту, которую любит больше жизни. О господи, господи, но ведь и Лешурочке тяжело... Где же выход!..»

Наконец она вышла из задумчивого состояния, взяла бумагу и написала ему письмо, в котором высказала все, что наболело на душе. Долго она сидела за этим письмом, все не хотелось кончать его. Казалось ей, что она недостаточно высказала ему, как он дорог ей, как она ценит его, и его ум, и сердце, и характер, всего, всего ее несравненного и бесценного друга жизни.

Вошел Леля. Приласкался к матери.

— Хочешь папе что-нибудь написать? А то завтра утром рано отошлю на почту. Ты еще спать будешь.

Леля быстро согласился.

«Милый папочка, здравствуй, я тебе письмо это пишу вечером... Я устал как наш черный дворняшка, когда он устанет до смерти и высунет язык. Папа, когда я кончу письмо, то с каким наслаждением задеру ноги в верх по стенке. Я даже от скуки вечером вырезал аэростат (Виктория) на стенке».

На это его только и хватило. Серьезный разговор, да и недавняя болезнь еще сказывалась — он быстро устал.

Леля ушел спать, а Александра Леонтьевна долго еще писала Бострому о своих хозяйственных хлопотах и новостях в Самаре. Но все эти мелочи быта отходили на

последний план, когда она узнавала о страшной нужде простых людей, о голодающих детях. Лучшие люди России старались сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить вымирание целых сел и деревень. Вся Самара этим и жила. У Александры Леонтьевны не было средств, чтобы помочь голодающим, но она с горячим одобрением отнеслась к действиям своих родственников Шишковых и Хованских, которые не только жертвовали денежные суммы, но и принимали участие в организации помощи голодающим.

В «Русских ведомостях» появилась статья Л. Н. Толстого о голоде — «Страшный вопрос», и Александра Леонтьевна спрятала для Бострома этот номер. Нищих в Самаре все прибывало, так что становилось почти невыносимо ходить днем по улицам, и она старалась не ходить по Дворянской, подаст одному, другому, а за ней еще десяток привяжется. Что будет к весне? Толстой спрашивает, хватит ли в России хлеба для прокормления народа? Да, хватит ли? Народ отупел теперь, но голод разбудит отчаяние, что будет тогда?

Все эти страшные вопросы волновали Александру Леонтьевну. Она гневно осуждала людей, которые наживались на нужде народа. И втайне восхищалась своим Лешурочкой, который, как ей казалось, героически работал для людей. Но были по-прежнему и мелкие заботы, отнимавшие у нее много времени. Совсем перестала из-за этого писать, ей казалось, что она поглупела, голова стала такой тяжелой и пустой. Она загрустила, так было ей хорошо, когда она могла писать. А сейчас и сюжет для рассказа готов, а не может и шагу шагнуть: такого упадка творческих сил она еще никогда не испытывала. И люди вокруг нее стали все такие неинтересные, и сама-то какая неинтересная.

1 ноября Александра Леонтьевна писала Бострому в Саратов: «...Сейчас я совсем одна: вчера была у Масловской и она просила у меня позволения оставить

сегодня Лелю в школе на целый день, что я и позволила, потому что Леле этого очень хотелось, а мне не хотелось ему отказать, так как он очень мил со мной, очень предупредителен и нежен. Масловская также говорила мне, что она замечает в нем большую перемену: он стал серьезнее, прилежнее и внимательнее в классе».

Как-то, проходя мимо Александровского садика, где был устроен детский каток, она не могла удержаться и купила на последние деньги английские коньки для своего Лельки: пусть учится кататься. Она ходила вместе с ним на этот каток и наблюдала, как быстро осваивает ее сын искусство катания.

Накануне дня рождения матери Леля закрылся в своей комнате и что-то долго выпиливал, готовил ей сюрприз.

На следующий день, 13 ноября, подарил ей подчасник собственной работы, все время вертелся около нее, рассказывал о школе, о ребятах, острил, разыгрывал смешные сценки. Как ей хорошо с ним! Если бы не постоянное безденежье и беспокойство за Алексея Аполлоновича, который все еще пребывал в Саратове... Как славно, что Леля умен и учится хорошо, а без него можно с ума сойти...

Лето 1892 года Александра Леонтьевна, Алексей Аполлонович и Леля прожили в Сосновке. Время то было тяжелое, вспоминал впоследствии А. Н. Толстой. Беда пришла с востока. Отец и мать выходили на балкон и подолгу смотрели туда, где за курганами дымилась желтоватая мгла, приближавшаяся с каждым днем и становившаяся все гуще и злее. И пришло время, когда «пыль из Азии», как определил это явление Алексей Аполлонович, закрыла полнеба. Трудно было дышать, и солнце, едва поднявшись, уже висело над головой, красное, раскаленное. Трава и посевы быстро сохли, в земле появились трещины, иссякающая вода по

колодцам стала горько-соленой, и на курганах выступила соль.

На глазах девятилетнего Лели происходили неумолимые изменения в природе — беспощадное солнце сжигало деревья, заросли крапивы и лопухов, высыхали лужи с головастиками, заметно мелел пруд. Все, чем он жил, теряло свою заманчивую прелесть. Однажды он увидел, как приехавшая погостить к ним на хутор городская барышня, отыскав высокую копну, бросилась в нее в радостном упоении, предполагая встретиться с ласковыми объятиями душистой травы, и как она была раздосадована, когда за ее воротник, в уши, волосы и глаза полезла колючая пыль и пересохшее сено. Все чаще Леля видел у своего крыльца мужиков без шапок. Все чаще слышал тревожные разговоры между родителями. Мать взволнованная ходила по комнатам, все думала, думала.

Пришел день, когда и в барском доме на обед подали только черные щи. Мать сняла крышку с чугуна, взглянула на отца:

— Больше ничего не будет.

— Поешь этих щей и запомни, — сказал Алексей Аполлонович Леле, — что твои товарищи — деревенские мальчишки — и этого сейчас не едят.

Настроение у всех было подавленное. Однажды мать попыталась спасти одного деревенского мальчишку, умиравшего от истощения, но это ей уже не удалось: было поздно, и он умер у нее на руках.

И еще одна смерть потрясла Алешу: в начале 1892 года умерла бабушка — Екатерина Александровна Тургенева. Алеша помнил добрую мягкую улыбку, которая не сходила с ее лица при виде внучонка, помнил, с каким терпением она учила его молитвам, рассказывала о боге, об ангелах, о святых, которые снискали себе бессмертие послушанием и терпением. Вместе с матерью, которая горько переживала эту

утрату, Алеша написал письмо деду, пытаясь его по-своему утешить и облегчить его горе. 20 февраля 1892 года он получил от деда ответ. Леонтий Борисович писал: «Милый мой Алеханушка, благодарю тебя за твое письмо, — постараюсь мой милый, маленький дружок, исполнить твой совет, много не плакать о бабушке; будем за нее молиться, чтобы ей на том свете, где она теперь, было бы лучше, чем было здесь, и думаю, мой голубчик, что ей доподлинно там лучше. Она свои обязанности всегда хорошо исполняла: когда была маленькая — училась хорошо, старших уважала, воспитателей ее слушались, когда была большая и была хозяйкой дома, всегда хозяйство держала в порядке, о людях служащих ей заботилась, — не считала их за чужих; своих детей любила (спроси об этом маму), нищим помогала, за больными ухаживала, богу молилась, — и много еще у нее было доброго, — всего коротко не перескажешь. Ну вот, я и думаю, что за все это ее Господь и наградит, — и какая, Алеханушка, награда тем, которые исполняли Его заповеди! — Их причтет Господь в число друзей своих, и самых близких ему. — Вот ты мне и скажешь: ну что же плакать-то тебе дедушка? — Знаю, миленький, что не о чем, — а все же плачется; после и ты узнаешь и поймешь о чем плачется, а теперь скажу тебе только: потому мне плачется, что жалко мне бабушку, — ведь и тебе жалко ее.

Целую тебя, мой милый мальчуганушка, и молюсь о тебе, чтобы Господь тебя не лишил Его благословения.

Твой дед *Л. Тургенев*».

Однажды мать посоветовала Алеше написать рассказ. Ему было десять лет.

«Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Степки... Я ничего не помню из этого рассказа, кроме фразы, что снег под луной блестел, как бриллиантовый. Бриллиантов я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Степку вышел, очевидно,

неудачным — матушка меня больше не принуждала к творчеству», — вспоминал А. Н. Толстой.

Дело, конечно, не в этом рассказе. Мать научила его всматриваться в окружающий мир и видеть в нем не только яркое, броское, но и еле приметное, на что обычно мало обращается внимания. С девяти лет Алеша начал писать письма родителям. С девяти лет он учился передавать другим свои наблюдения, свои мысли, свои открытия.

С переездом в Самару Алеша увлекается книгами, с головой уходит в мир, созданный Майн Ридом, Фенимором Купером, Жюлем Верном. На какое-то время забыто все — и снежная крепость «Измаил», и битвы со сверстниками, и скачки на быстроногих лошадях. Деревенские увлечения и забавы приобретают иную окраску. Весь мир стал для него местом действия его любимых героев — следопытов, индейцев, с их увлекательными приключениями и бескомпромиссными поступками. Особенно поразил роман Виктора Гюго «Собор Парижской богородицы», наполнил мальчишеское сердце пылким и туманным гуманизмом. «Собор Парижской богородицы» был первым моим уроком по французскому средневековью, — вспоминал А. Н. Толстой, — быть может отсюда я получил вкус к истории».

За каждой трубой ему мерещился Квазимодо. Таинственный мир, беспощадный и жестокий, словно вошел в его сердце и душу, пробуждая какие-то еще неясные для него самого желания и надежды.

К марту 1893 года относится еще одна попытка Алеши Толстого написать рассказ. Назывался он «Картинка. Поездка по Волге». Чуть позже он сообщит отчиму: «Пишу новое сочинение и не знаю, как назвать, только одну главу написал». Его охватил пыл сочинительства, он уже сам, без подталкивания со стороны матери, отыскивает темы и пишет, пишет,

пишет, забывая обо всем на свете. Мать почувствовала опасность такого рвения. «Ты знаешь, — жалуется она Алексею Аполлоновичу! — что писание ему дается без труда, и если еще восторгаться этим, то он и вовсе не захочет заниматься тем, что сопряжено с каким бы то ни было усилием... Он очень был огорчен, что я отнеслась холодно к его новому сочинению... сказала: «Ничего еще пока не видно, что **на** этого выйдет, посмотрим, что будет дальше».

К этому же времени, по-видимому, относятся и первые поэтические опыты Алексея. В письме к матери от 10 января 1895 года он радостно сообщает: «Мамуня, я сейчас написал бессмертное стихотворение... Я ведь ужасный стихоплет».

Леля внимательно присматривается к жизни взрослых, особенно матери. В феврале 1894 года Александра Леонтьевна готова была принять участие в работе одной из самарских газет. Жена Тейтеля написала ей письмо, в котором извещала, что дело с газетой налаживается, и просила приехать. Она, конечно, поехала в Самару, во-первых, потому, что дело интересное, а во-вторых, рада была предложению развлечься. Да и дать глазам возможность отдохнуть. Но пока шло письмо, дело с газетой расклеилось, интеллигенция отказалась, и газета поступила в руки пайщиков, купцов, а в такой компании делать нечего.

Вместе с матерью в Самару приехал и Алеша. Утром 19 февраля мать и сын, примостившись на разных концах длинного стола, писали письма Алексею Аполлоновичу.

Алеша писал: «Мы с мамой в Самаре, дрянной городишко, прескверный, бр... Как ты поживаешь. Мы остановились у Тейтель... Сейчас пишу тебе письмо утром, как напишу так пойду в библиотеку, там возьму Жюль Верна и буду читать.

Мы каждую неделю по два раза получаем письма... Милый папа, очень жаль, что дело с газетой расстроилось...»

В конце лета 1894 года в Сосновку Алексей Аполлонович привез из Самары учителя-семинариста Аркадия Ивановича Словоохотова для подготовки Алеши в третий класс.

В повести «Детство Никиты» Алексей Толстой нарисовал доподлинный портрет своего первого учителя. В тот морозный солнечный день, с которого начинается повесть, сам Алеша проснулся очень рано и стал мечтать о деревянной скамейке, на которой он будет целый день кататься. Пока никто не встал, можно быстро одеться и через черный ход удрать на речку. Там такие сугробы, садись и лети. Но стоило ему вылезти из-под одеяла и потянуться за одеждой, как в дверь просунулась рыжая голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородой. Так и есть, чего опасался Алеша, то и случилось: Аркадий Иванович словно подслушал его тайные мысли, тоже встал пораньше и уже теперь будет следить за ним. Поразительно, до чего хитрый этот Аркадий Иванович. Все знает заранее, что собирается делать его ученик. Алеше хотелось подойти к окну и посмотреть, стоит ли скамейка. И Аркадий Иванович уже подошел к окну, подышал на него и, хитровато ухмыляясь, сказал, что у крыльца стоит замечательная скамейка. Все планы Алеши рухнули, теперь придется одеваться, умываться, чистить зубы, и все под присмотром этого хитрюги.

Алеша рано научился распознавать человеческую природу, извлекать из человеческих слабостей выгоду для себя, фантазировать, создавать из видимых предметов жизни свой мир, несколько отличающийся от действительного.

Большой дом словно опустел: уехала по своим делам Александра Леонтьевна. Алеша сразу поскучнел, стал раздражительным, никак не мог смириться с ее отъездом.

Алексей Аполлонович писал письмо, а Аркадий Иванович читал какую-то книгу. Такая скука вдруг одолела Алешу, и он никак не мог ничего придумать. С матерью он легче находил общий язык. Она так ласкова и внимательна к нему, а эти... Все лезут с какими-то назиданиями, читают то и дело нравоучения: учи уроки, не делай то, не делай это. Мать то же самое говорит, но как-то совсем по-другому. И что отец все пишет и пишет, как бы узнать? И как только Алеша увидел, что отец готовится запечатать письмо, тут же подошел к нему и приласкался.

— Папочка, ты мамунечке написал, да?

— Да, — растроганно ответил Алексей Аполлонович.

Вот уж несколько дней Алеша не был так ласков с ним.

— Хочешь, чтоб я прочитал тебе?

— Очень, очень хочу.

— Хорошо, я прочитаю, но не обижайся. Тут есть и о тебе, и не совсем приятное. «Сосновка. 4 января 1895 года. Сашурочка, у нас с твоим отъездом точно великий пост наступил. Тощица смерть. Хотя все мы еще храбримся и друг дружке не сознаемся. У нас с Лелей война, очень важная, но подспудная. Кажется, она так и пройдет, не вскрывшись наружу, т. е. не дойдя до какого-либо взрыва, он начал уже подаваться. Помнишь, когда ты уезжала, с тобой говорили, что он пренеприятным сделался за последнее время. По отъезде твоём это пошло, пожалуй, в гору. И так, знаешь, что ему очень трудно было бы объяснить словами, чем он неприятен, напротив, он чувствовал себя, так сказать, на высоте. Прежде всего я стал для него предметом всевозможных замечаний. Очень мило,

иногда ласково и шутливо постоянно мне что-нибудь указывал: или на мне платье не в порядке, или руки не чисты, или показывал, как что-либо лучше надо сделать. С апломбом трактовал о всевозможных предметах. При наливании чая помыкивал мной и Аркадием Ивановичем, как со своими подчиненными. Началом его речи сделалось слово «нет», дальше он излагал как действительно есть.

Словом, гляжу я на него и думаю, откуда нам бог послал такого дитяtku и куда девался наш милый мальчик... И вот ни разу еще не пришлось прикрикнуть, нет впрочем раз, когда он в раздумьи глубоком царапнул гвоздем красного дерева шкаф, я прикрикнул, но это малость, — можно сказать ничего еще крупного с моей стороны не было, — но он чувствует что-то неладное и задумывается — видимо, он переживает кризис. Ему еще не хочется сдаться, а приходится. Сегодня, если он еще сделает что-либо заносчиво, дерзко — сейчас же смиряется и даже мы полюбовничали с ним на коленочках, тебя вспоминали и наше без тебя одиночество обсуждали.

Одновременно с вопросом о его самовольстве идет решение вопроса о его учении. Здесь я еще нерешительнее поступаю, т. е. боюсь вступить недостаточно осмотрительно. Буду обсуждать с Аркадием Ивановичем.

Сашурочка, в письме моем случился перерыв, по случаю обеда, хотьбы на двор, чаепития и т. д. — и за это время такая перемена с Лелей, что и подумать нельзя. Обсуждает со мной распределение времени занятий, ласкает меня и совсем не принужденно, словом совсем другой. Уроки готовил сегодня очень старательно, кроме того, столярничал с машинистом и превеселый, т. е. в хорошем настроении. Я участвовал в его работе по устройству скамейки для катания, словом мы сдружились. Теперь, то есть глядя на него, каков он

теперь, нельзя себе представить, как бы это он стал придирается ко мне. Он сейчас же почувствовал бы всю невозможность, неделикатность этого. А несколько часов тому назад это казалось ему так просто, так естественно.

Кризис прошел, он уже не погружается в обдумывание своего положения, своих отношений к окружающим, он решился подчиниться, принять такие отношения, какие для него создаются не им, а мною, и войдя в них, почувствовал себя вновь хорошо.

Невольно это отражается и на его отношениях к Аркадию Ивановичу. Он вновь ласков и с ним. Свою изобретательность, наблюдательность, распорядительность он снял с нас, с людей, и перенес вновь на вещи: книги, инструменты и т. д.».

Ну вот, Леля, а остальное тебе неинтересно.

Алеша слушал внимательно, глаза его горели от нетерпения.

— Папа, как ты все угадываешь, что со мной делается?..

— Ну что тебе, стыдно хоть немножко? Не будешь теперь ко мне придирается?

— Да, папуля, правда стыдно. Но почему я тогда не замечал этого? А что еще ты маме написал?..

Так и всегда. Мать читала ему письма отца, а отец читал ему письма матери, а если не прочтут, то сам отыщет и все равно прочтает. «Ты, мамуля, секретов лучше не пиши, я ведь ужасный проныра», — писал он матери 14 января 1895 года.

Поэтому он хорошо знал, почему мать уехала в Москву, а потом в Питер: отец никак не может расплатиться с губернской управой. Всюду словно ожидают его неудачи, противные кредиторы. Очень цепко впиваются в отца и подолгу не отпускают его из Самары, а теперь и мать уехала. Какой-то злой рок их постоянно разлучает, и этому, видно, не будет конца.

В. А. Поссе, врач и революционер, побывавший в Самаре и Самарской области в 1892 году, вспоминал: «Утром подъехали к Самаре, красиво рассыпавшей свои церкви и дома по холмистому берегу Волги... Широкие улицы, новые деревянные дома, далеко отстоящие друг от друга, церкви с широкими площадями. Просторно, но неуютно, бивуачно: будто город отстроился после сильного пожара. Ни зелени, ни украшений, ни памятников старины... Самара показалась мне громадным балаганом, где холодно и пусто. Впрочем, это впечатление быстро рассеялось под влиянием того радушия, которое я встретил в интеллигентных семьях Самары. В это время там было два культурных центра, два культурных дома — Якова Львовича Тейтеля и Вениамина Осиповича Португалова.

Они конкурировали своей культурностью, своим гостеприимством и недолюбливали друг друга. Оба евреи, но Португалов — крещеный, а Тейтель — некрещеный. Португалов — высокий, красивый мужчина с пышной рыжей шевелюрой и роскошной бородой. Тейтель — маленький, плотный, черный, с густыми усами и бритым подбородком. Португалов — врач и публицист, старый сотрудник «Недели»... Тейтель был в то время судебным следователем... Кроме Португалова и Тейтеля, вспоминаю еще одного самарского интеллигента, председателя губернской земской управы Бострома. (Здесь автор ошибается: Бостром был всего лишь членом губернской земской управы. — *В. П.*) Это был типичный прогрессивный земец, человек дела, а не красивых фраз, несколько суховатый и, во всяком случае, не мягкотелый. Он жил в свободном союзе с ушедшей от своего мужа графиней Толстой.

Это была умная, скромная женщина с добрыми, лучистыми глазами, несколько придавленная перенесенными страданиями. Она писала правдивые, простые рассказы. Книжку этих рассказов она подарила мне с дружеской надписью.

— Писательницей я себя не считаю, — говорила она мне, грустно улыбаясь. — Но я живу надеждою, что в моем мальчике мое небольшое дарование разовьется в большой талант.

Одной рукой она обняла своего десятилетнего сына и, разглаживая другой рукой его густые, черные волосы, говорила мне:

— Смотрите, какой у него умный лоб, какие живые, говорящие глаза!»

СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ «ИЗМАИЛ»

Заволжская погода в январе неустойчива: то закрутит буран, заметет все стежки-дорожки, ударят морозы, нос не высунешь, а то подует теплый ветер, дороги испортятся настолько, что никуда не выедешь, — в овражки натечет много воды, которая только сверху слегка прикроется ледком. С возами не проедешь. Можно только порожняком.

Алексея Аполлоновича такая погода приводила в состояние уныния и беспокойства: подходил срок векселю в пятьсот рублей, которые он брал с помощью своих соседей и друзей Медведевых для жнитва, а денег у него сполна не хватало. Собрался было на днях с хлебом, но вот погода испортилась. Пришлось ехать ему порожняком, необходимо где-нибудь в Самаре перехватить.

Уезжая, Алексей Аполлонович наказывал Аркадию Ивановичу, что нужно делать, если у Лели заболит горло. Леля, услышав этот разговор, тут же подошел к отчиму и, ласкаясь, жалобно проговорил:

— Папа, у меня что-то горло болит. Нет, право, першит.

— Ах ты озорник! Хочется тебе удрать куда-нибудь? Солоно, наверно, достается ученье? Особенно, кажется, цари иудейские донимают...

Леля смутился: и на этот раз отец разгадал его хитрость.

Многое не нравилось Алексею Аполлоновичу в том, как проходят уроки. Пробовал он подсказать Аркадию Ивановичу, что необходимо налегать на арифметику, но пока тщетными оказывались его слова.

Аркадию Ивановичу самому, видно, арифметика трудна. Да и разбор предложения у них неладно

получается. Вообще он бы русский язык с удовольствием изъяслялся из его ведения. Урок этот — чистое убожество. Леля, так свободно владеющий языком, вдруг превращается в косноязычного. Аркадий Иванович сам изъясняется с трудом и приучает Лелю к такому же трудному пересказу. Леля уже начинает говорить «вот» и «ну-с», как Аркадий Иванович. Все, что у них называется «уроком русского языка», просто притупление Лелиных, и врожденных и развитых, литературных способностей. Надо воспользоваться услугами Аркадия Ивановича в тех предметах, где он силен, ведь он семинарист, а это значит, что он хорошо может преподавать славянский, историю, географию, надо только удерживать его от увлечения Ветхим Заветом. Русским же языком придется заниматься самой Александре Леонтьевне, оставив, пожалуй, для Аркадия Ивановича только чистописание, диктант, орфографию.

В январские дни 1895 года Алеша пристрастился писать письма матери в Петербург. Пишет обо всем, что увидит, обо всем, что произойдет с ним или с окружающими. Он пишет о том, что, несмотря на ветер и гололед, он бегал на снежную крепость «Измаил», сооруженную им с ребятами «третьеводни», и о том, что ночью шел совсем летний дождик и снегу осталось мало, что «нынче ужасный ветер гудит и завывает», что «под вечер прошел не то снег, не то крупа, не то маленький град», и о том, что «по утрам у нас на столе поет самовар».

В другой раз он написал матери: «Какой нынче денек был! Ясный, морозный, просто прелесть. На верхнем пруду прекрасное катание. Мы уже два дня катаемся. Копчик поправился. Червончик тоже. У Подснежника натерли рану на плече. Иван стал к нему подходить, а он как ему свистнет в губу... Поросята наши сытехоньки, бегают по двору. Марья придет к ним с помоями, а они ее и свалят. Телята страсть веселые. Папа им сделал

особые корытца. Третьего дня папа читал мужикам «Песню про купца Калашникова»... Мишка во время чтения заснул. Я его нынче спрашивал, зачем он заснул, а он говорит: «Вы только слушали, а я и поспал и послушал...» Мне купили варежки в Утевке — чистые чулки. У нас часовщик починил часы, а они не пошли. Назар не будь прост — пустил их. Назар наступил ногой на иглу, и она, воткнувшись, обломилась. Ну вытащили. Папуля... ни разу на меня не посердился серьезно. Вчера у папули болел живот, и я ему читал из Лермонтова. У меня сейчас идет кровь, и я заткнул нос ватой. Целуй тетю Машу крепко. Целую тебя. Твой мальчик».

Во всех этих письмах наряду с повседневными бытовыми подробностями есть одна черта, обращающая на себя внимание, — это полная раскованность и душевная свобода мальчика.

Алеша, слушая, как стучит дождик по окнам и гудит, завывает ветер, нагоняя тоску, думал о том, что его снежная крепость «Измаил» может попортиться, а он так еще мало в ней играл. Три дня тому назад он ее сделал, а вчера отец его не пустил. Как же он обрадовался, когда увидел, что крепость только чуть-чуть попортилась. Нужно, пожалуй, устроить большую игру. Не сегодня, конечно. Уж больно погода плохая: под вечер пошел не то снег, не то крупа, а скорее всего град, маленькие крупинки больно секли по щекам. Он с тоской посмотрел на Чагру, там опять уж льда не видно. Бедный Аркадий Иванович днем чистит-чистит, а ночью опять вносит снегом. Так и не покатаешься, видно, на коньках. А уж как они любили кататься! Аркадий Иванович даже общество любителей-конькобежцев организовал, даже в стихах увековечил эту страсть:

Ужасно толстенький и озорник,
Во время приходи домой учиться:
Не знай усталости «в бегах».

Играй в снежки, катайся на коньках,
Живи согласно с Мишами и Есей.
Будь счастлив ты, мой ученик!
Люби кататься ты, люби и с санками возиться!

Жаль, конечно, что никак не удастся выпросить у отца накидку матери, чтобы обить ею стены снежной крепости, ну да ничего. Придется матери написать, может, она пришлет ему из Питера 15 аршин шелку и 40 аршин атласу розового с темно-малино-буро-синекрасными полосками. Вот будет здорово. Издалека будет видна его крепость.

Мигом слетел под горку. Он уже не раз делал такие эксперименты, и всегда хорошо удавалось. Нужно только крепко обхватить полы полушубка, оттолкнуться, — и куртычком под горку. Только ветер в ушах да снегу набьется за воротник, если неосторожно заденешь какую-нибудь снежную глыбу.

Во дворе было оживленно. Отец купил корову, а она не встает, подымали ее веревками. Если б мать была дома, она б опять поссорилась с отцом. Никак не может он удержаться от очередной покупки. Обязательно что-нибудь да купит.

Алеша вставал рано. Выпивал два, иногда три стакана чаю со сливками и хлебом с маслом. А однажды Алексей Аполлонович с удивлением заметил, как он с каким-то непонятным азартом отрезал себе три ломтя хлеба зараз и все быстро уплел. А потом набегаются и с каким аппетитом обедает. Ничего удивительного, что он начал страшно толстеть, щеки округлились, наметился животик.

Как-то вернулся с гулянья продрогший, а дома радость: мать прислала письмо и посылку — книги, журналы, готовальню. Развернул третий номер журнала «Всходы». Здесь все новые статьи. Вот Мамина-Сибиряка

обязательно надо прочитать. Посмотрел на отца, чему-то загадочно улыбавшегося. Отец не выдержал своей роли и подал ему еще одно письмо. Так и есть: письмо от Аркадия Ивановича, уехавшего в свою деревню.

«Ну, милый Лелька! Природа не всегда благосклонна к ее любителям. Переезд мой из Самары до дому был рядом «тяжелых испытаний», сперва в вагоне 4 класса, потом по ухабистой снежной дороге. Прибавь к этому холод и мрак, меня окружавшие, совершенно бессонную ночь, и ты получишь понятие о пережитых мной прелестях в течение 10 часов переезда. Я приехал в среду в 5 часов утра совершенно избитый, изломанный, дорогой потерял стеклышко из очков, когда мы с кучером вывалились из саней на одном каком-то ухабе...»

После ужина сели писать письма. Алеша машинально стал рисовать на своем столе воинственных людей с обнаженными шашками. Написать, как с папой плутали около Поганого оврага? Или как он катался вчера на салазках и подхватил насморк? Или о том, что вчера поехал с фурой да наехал на соху, новый полоз и лопнул у салазок? А может, матери интереснее всего узнать, как скучно ему без нее, как тяжело ему по вечерам заниматься? Новый учебник по географии ему показался трудным, да ничего, все можно преодолеть, выучить Индию, арифметику, немецкие слова.

Уроков у него много. Почти весь вечер сидит. Часа два-полтора остается. Вот тогда-то и наступает блаженное состояние самодеятельности. Можно кой-чего постолярничать, сделать, например, папочке ящик для мелочи, — пустяки, а все-таки похвалит, потом Наталья просила сделать мешалку... А если вечером не столярничал, то погружался в неведомый и манящий мир книжных приключений. Увидел он как-то объявление о каком-то путешествии на Луну, тут же с

восторгом прочитал об этом отцу и мечтательно произнес:

— Вот кабы мамочка мне привезла книжку об этом путешествии...

И еще: спрашивает у матери, как быть ему, у него нет сапог ходить в слякоть, папины промокают, а если свои взять, то за голенища с полведра нальешь. А стоит только подумать, что не придется из-за этого выйти на двор, как волосы становятся дыбом.

Кажется, все, осталось только по обыкновению нарисовать свою веселую рожу и подписаться: «Лenenчик плотничек». «Плотничек-то плотничек, — сделал приписку Алексей Аполлонович, прочитав его письмо, — а все-таки не надо ошибок столько делать».

На следующее утро Алеша встал в хорошем настроении. Ему еще захотелось написать матери, чтобы письмо было подлиннее, потянулся с ручкой к чернильнице и ненароком опрокинул ее: «Сейчас после чаю побегу на крепость, там на Чагре буду чинить «Измаил» и кататься на салазках... Я мамуня потому расписался вчера потому что я сижу и думаю и вдруг рука у меня как заходит, заходит...»

Накануне масленицы были в бане, хорошо вымылись. И получилось так, что Алеша в этот день даже и не подумал сесть за уроки. Столько развлечений и дел обычно накапливалось у него в предпраздничные и праздничные дни. Но Алексей Аполлонович на этот раз был строг и беспощаден: что ж, что воскресенье! Прогулял вчера — терпи кару сегодня. Но зато вместе с Аркадием Ивановичем, который наконец-то вернулся из своей деревни, катались на паре верблюдов, недавно купленных отчимом на ярмарке. А по вечерам читали роман «Накануне». Матери Алеша писал: «Больно мне кажется потешным этот Шубин. То смеется, то плачет. А еще комичная личность это Ува Иванович. Лучше всех

Инсаров и Елена. Мы прочли до тех пор как они приехали с пикника. А Шубин еще говорит, в счет Инсарова «хорош герой, пьяных немцев в воду бросает»...

Так и шли дни за днями, в хлопотах и заботах, то принося радости, то огорчения. Летом 1896 года решено было подготовить Алешу для поступления в реальное училище. Аркадий Иванович уже ничего не мог дать Алеше. Александра Леонтьевна сама решила заниматься с сыном. И все шло хорошо, но непредвиденное событие заставило ее уехать в Киев: опять возникли вопросы по разделу дедовского наследства между сестрами Тургеневыми, требующее личного участия каждой из них. Может, из-за этого и пришлось пропустить еще один год и пригласить другого учителя. «Он прожил у нас зиму, — вспоминал А. Н. Толстой, — скучал, занимаясь со мной алгеброй, глядел с тоской, как вертится жестяной вентилятор в окне, на принципиальные споры с вотчимом не слишком поддавался и весной уехал...»

В мае 1897 года Алеша с треском провалился на экзаменах в четвертый класс Самарского реального училища. Два месяца готовился и в конце июля в Сызрани поступил в четвертый класс реального училища. Целый год Алеша с матерью прожили в Сызрани.

САМАРСКИЕ ХЛОПОТЫ

22 августа 1898 года Александра Леонтьевна писала сестре Маше: «Как ты видишь по заголовку письма, я в Самаре, мы все в восторге, что нам наконец, после неисчислимых хлопот, волнений, огорчений, разочарований и т. д. удалось наконец перетащить Лелю в Самарское Р. У. ^[1]. Нам всем кажется, будто мы дома и не приходится расставаться. Живем мы пока на бивуаках в меблированных комнатах. Но наняли квартиру, которая еще пока отделяется и на которую мы переедем в первых числах сентября. Тогда я сообщу тебе постоянный адрес. Жизнь здесь в этом году ужасно дорогая, хозяева квартир просто взбесились, за крошечную квартирку на дворе, правда состоящую из четырех комнат (но каких крошечных) и кухонки для игрушечной кухарки, мы будем платить 20 рублей. Но все же мы не унываем, много провизии будет из деревни, будем экономить (теперь я умею) и как-нибудь проживем. Урожай у нас средний, но высокие цены на хлеб дают возможность перебиться и прожить в Самаре. А там, если будет плохой год, нам нельзя будет жить в Самаре, придется Лелю поместить куда-нибудь, то все-таки не так будет страшно, все он будет постарше и поумнее. Да, ведь я и не сказала тебе еще, что в пятый класс он перешел довольно-таки порядочно, и весь год учился порядочно, несмотря на разного рода увлечения в виде танцев, коньков и т. д. Теперь он принимается со старанием и намерен учиться еще лучше, по его словам. Очень увлекается естественной историей и в восторге, что у них хороший учитель и что они будут учить химию. Также увлекается рисованием и просит брать private уроки по воскресеньям у Воронова. Не знаю, как все это осуществится, но в его годы очень полезны такого рода

увлечения, они подольше предохраняют от увлечений женскими юбками. А ведь и это скоро не минует. Малому скоро 16 лет и ростом он перегнал Алешу и что-то в виде намека начинает обозначаться на верхней губе».

Александра Леонтьевна писала это письмо в меблированных комнатах на Предтеченской улице. Потом переехали на Николаевскую. В Самаре было много родных, друзей, знакомых. Да и Сосновка ближе... Александра Леонтьевна чувствовала себя теперь более уверенно, твердо. Ей казалось, что самое страшное позади, что ее Леля станет лучше учиться и меньше озорничать, капризничать. Но тревоги иного характера начали одолевать мужественную Александру Леонтьевну: Леля уже не ребенок, все дальше отходит от нее, становится более скрытным. Раньше все было на виду. Теперь куда сложнее. Внешне он остался таким же, полным и неповоротливым, только вытянулся за лето, а что творится в его душе — об этом Александра Леонтьевна только смутно догадывалась. Почему ребята прозвали его Ленькой-квашней? Она понимала, что таков уж обычай: у всех какие-то прозвища, не то, так другое, но почему же такое противное — «квашня»? Несмотря на полноту, Леля ведь довольно ловок, физически развит, лихо катается на коньках, сам умеет оседлать лошадь, вскочить на нее и даже объездить. Хорошо хоть, он необидчив. Сам смеется над этим прозвищем. Нет, нечего бога гневить, славный растет у нее сын. Особнячок, который они наняли, небольшой, но уютный, тихий. Дороговато, правда, но что же делать... Лучше в чем-нибудь другом сэкономить.

Алексей Аполлонович часто приезжал в Самару из Сосновки, привозил продукты. Подолгу задерживался здесь, переписывал, редактировал рассказы, пьесы Александры Леонтьевны. Часто спорили о том или ином образе. И как-то не обратили внимания, что Алеша с

каждым месяцем все дальше отходит от них. У него появились новые друзья, все чаще он уединялся.

В декабре 1898 года Алеша Толстой писал своему другу Степе Абрамову, оставшемуся в Сызрани: «Получил сейчас твое письмо в реальном, отправился в курительную, папиросу в зубы и прочитал. Знаешь, от твоего письма повеяло совершенно другим сызранским духом, духом примерных неиспорченных мальчиков. Как тебе ни грустно будет слышать, а разница теперь между нами большая. Или может ты изменился с лета, которое мы вместе провели в Сосновке, может я, не знаю, но прежних идеальных мыслей, прежних мечтаний как не бывало, теперь я реалист в буквальном смысле слова, трезво смотрю на жизнь, каюсь, иногда приходится с товарищами зайти в пивную, но пока до пьянства, до самозабвения я себя не допускал. Особенно изменился я так около ноября месяца, на меня имела влияние (очень и очень благодетельное) одна барышня, замечательный человек, Марья Прокопиевна Болтунова. Ты представь себе, до того времени я был, не то что хлыщом, а вроде того, влюблялся в каждую попавшую юбку, вообще человек без воли, без характера. С ноября мы затеяли спектакль и у нас образовался прелестный кружок барышень и товарищей, отношения самые дружеские, тесные, откровенные, девизом его служит «нет слова, что неприлично, это не по моде, говори то, что у тебя на языке», а главное откровенность и простота. Ты не можешь себе представить, как мне опротивели все эти приличия и только отдыхаешь в этом кружке. Что касается товарищей, то отношения между нами самые дружественные. Так у нас заключен 3-умвират, я, В. Мирбах и В. Пырович. Меня с В. Мирбахом за нашу неразлучность прозвали даже П. И. Бобчинским и П. И. Добчинским».

По этому точному и откровенному словесному автопортрету можно о многом судить или, во всяком

случае, догадываться. В письмах и дневниковых записях Александры Леонтьевны также немало глубоких и верных наблюдений.

Надо же, ее Леля стал совсем взрослым, самостоятельно мыслящим юношей! И откуда он только набрался таких мыслей? Казалось, она старалась внушить ему благородные и светлые идеалы. А он рассуждает об эгоизме как движущей силе прогресса. Когда же и где он подцепил эти идеи? Ведь она так оберегала его от посторонних влияний. Собирала его сверстников у себя на квартире, угощала их чаем, яблоками. Читали вслух что-нибудь интересное и волнующее. А потом, когда привезли из Сосновки фортепьяно, музицировали, танцевали, пели. Она в одном из писем Алексею Аполлоновичу специально просит привезти сочинения Добролюбова в четырех томах. В ее «салоне» должен царить двух самоотверженности, трудолюбия, высоких бескорыстных помыслов. А что получилось? В споре со своими сверстниками ее Лелька убежденно говорил, что «не альтруисты, а эгоисты двигали прогресс», да и массы, двигавшие историю и прогресс, сами-то двигались не филантропическими идеями, а побуждениями эгоизма.

Огорченная этим, она просит Алексея Аполлоновича прислать несколько номеров журнала «Жизнь». Там бывают короткие, ясные статьи по интересующим их вопросам. Ей хочется дать Алеше очень интересную статью «О материалистическом понимании истории», о которой она слышала от друзей. Может, тогда разлетится туман в его голове, сотканный из незрелых абстрактных идей, нечетких мыслей и положений. Может, проявится у него интерес к серьезному изучению политических проблем, социологических вопросов. Напрасные надежды! Его влечет к себе театр, самодеятельные спектакли, в которых он сам начинает принимать участие с четырнадцати лет. Позднее он

будет вспоминать летнее здание деревянного театра в Струковском саду, где были репетиции лермонтовского «Маскарада»: «Не помню подробностей, кроме полутемной дощатой зрительной залы и пленительной июльской зелени сада, видной сквозь открытую боковую дверцу. Двое из участников спектакля чувствовали некоторое ущемление самолюбия: я, четырнадцатилетний мальчишка, на которого обращали внимание не больше, чем на муху, и странно одетый высокий и мрачный мужчина, исполнявший роль неизвестного... Это был... Скиталец».

А вот картина уже другого рода: «С печалью вспоминаю затхлые классы самарского реального училища, крысиные рыла классных наставников, инспектора Волкова, — с шелковой бородой бледного негодяя — ломавшего детскую психику».

Между инспектором Волковым и реалистами шла подлинная война. Какие только гадости и унижения не придумывал он. И сколько понадобилось детской изворотливости и ухищрений, чтобы мстить ему за гонения и придирчивость. А стоит отойти от этой борьбы, как все кажется мелким и ничтожным. Неужто цель — в борьбе с этим человечком? Все чаще Алексей задумывался над смыслом жизни вообще и своей собственной в частности. Хватит ли у него сил и способностей, чтобы сделать что-то путное? А может, и не мучить себя бесполезным существованием? В дневнике Алеша Толстой писал: «Однажды я задал себе вопрос: стоит ли жить, — ответ получался, что нет. Что это было? Слабость духа в борьбе с препятствиями, апатия к жизни, при одной мысли о неудаче в ней...»

В минуту откровенности он делится такими мыслями с матерью. И уж об этом-то разговоре с сыном она, конечно же, написала Алексею Аполлоновичу: «На пароходе у нас с Лелей был очень серьезный разговор о ценности жизни. Оказывается, он подобно Пыровичу

задумывается о том, что не стоит жить, и говорит, что не боится умереть и иногда думает о смерти и только жаль нас. Он спрашивает — для чего жить, какая цель? Наслаждение — цель слишком низкая, а на что-нибудь крупное, на полезное дело он не чувствует себя способным. Вообще он кажется себе мелким, ничтожным, не умным, не серьезным. Я много ему говорила, стараясь поднять в нем бодрость и показать, что все у него еще впереди. Я ему говорила, что человек может быть господином своей судьбы и сам себе выбрать дело по желанию и что теперь самое важное его дело, это готовиться к жизни, т. е. учиться и вырабатывать себе характер. Не знаю, насколько я на него произвожу впечатление, он такой скрытный и как-то стыдится показывать то, что чувствует. Ему необходима теперь умственная пища, разговоры с тобой. Читать теперь некогда, а умишко работает. Надеюсь на твой приезд...»

В апреле 1899 года Алеша вместе с матерью совершил путешествие по Волге до Симбирска, а потом в имение Марии Леонтьевны Тургеневой.

«Маша была очень обрадована нашим приездом, — писала Александра Леонтьевна. — Мы с Лелей у Хованских были и везде Леля произвел самое благоприятное впечатление. Все нашли, что он похорошел, возмужал и очень мило себя держит. Ведь он умеет быть очень милым, когда захочет. Хованские Леле очень понравились, он там безвыходно два дня пробыл, сошелся со всеми на ты и получил приглашение летом к ним в деревню».

Алексей Толстой впервые бывал в настоящих помещичьих усадьбах, познакомился с жизнью и бытом их обитателей, с их характерами, нравами, традициями, интересами и стремлениями. Возможно, именно в эту поездку в имение тетушки у него возникли первые проблески будущего заволжского цикла рассказов и

повестей. В душе юноши шла скрытая, подспудная работа.

Сохранилась фотография этого времени: Алексей и два его сосновских друга, рядом Александра Леонтьевна. В непринужденной позе, прямо на земле, полулежит рослый, несколько полноватый подросток с серьезным выражением лица. И мать, добрая, располневшая, скорее похожая на купчиху среднего достатка, чем на графиню, с улыбкой думает о чем-то радостном и далеком.

Летом этого года Алексей написал несколько стихотворений. Если раньше он писал шуточные оды и целые поэмы, посвященные «торжественным» событиям или смешным эпизодам из своей жизни, то сейчас иные струны зазвучали в его душе. Грусть, одиночество, тоска по чему-то неизъяснимому, таинственному выливались в его элегиях. «Много в жизни бывает мгновений, когда тяжело и горестно жить» — этот летний мотив почти ничуть не отличается от его зимних размышлений о смысле жизни и о своем предназначении на земле. Поездка по Волге, встречи со своими родовитыми родственниками не развеяли его отроческого пессимизма.

Но вскоре грусть исчезает из его стихотворений, зазвучали бодрые нотки. Отошли в прошлое и его раздумья о смысле жизни. «Посмотреть мне достаточно в серые очи, чтоб забыть гее мирские дела, чтоб в душе моей темные ночи ясным днем заменила весна».

Все объясняется очень просто: семнадцатилетний Алексей Толстой влюбился. Стоило ему увидеть Юлию Рожанскую на репетициях любительского драматического кружка, как он уже не отходил от нее. И естественно, стал одним из активных участников любительских спектаклей: кружок в то время как раз ставил комедию А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», небольшие водевили, фарсы. Александра

Леонтьевна сначала не поняла, почему так загорелся ее сын, представила в кружок свою пьесу-шутку «Война боров с англичанами», принимала участие в ее репетициях, постановке, вот тут-то она и разглядела, что ой в ближайшее время «угрожает»: сын-то уж совсем стал взрослым. Да и сам Алексей Толстой так увлекся театром, что попробовал свои силы в драматическом жанре, создав, как ему казалось, замечательный одноактный водевиль «Путешествие на Северный полюс».

Толстой в юности написал много стихотворений, поэм, баллад, но относился к этому своему увлечению как к игре, как к временному занятию: накатывало, начинал писать, а потом все это забрасывал, забывал, увлеченный новыми играми и забавами. Но этот опыт не проходил даром. Незаметно для него самого обогащалось его представление о литературном творчестве, о предназначении писателя в обществе. Он внимательно следил и за материнскими литературными делами, бессознательно вбирая и ее опыт, ее искания. Сейчас это ему не понадобится, но придет время, и все накопленное им даст богатые всходы. Пока он играл, пробовал свои силы во всех жанрах, в том числе и драматическом. Но вскоре более важные события заставили забросить литературные забавы.

9 февраля 1900 года в Ницце умер отец Алексея — граф Николай Александрович Толстой. 27 февраля в Самаре Алексей вместе с матерью и многочисленными родственниками присутствовал на его похоронах. Но он был здесь как чужой. Отец так и не захотел с ним ни разу повидаться, хотя не позабыл о нем в своем завещании. Алексей получил по наследству громкое имя отца, а вместе с графским титулом около тридцати тысяч рублей. Это было не так уж и плохо, если учесть, что Александра Леонтьевна и Алексей Аполлонович еле-

еле сводили концы с концами и даже были вынуждены продать Сосновку.

В июне, сдав экзамены за шестой класс, Алексей Толстой уехал погостить к одному из своих друзей на хутор под Сызранью. Но потом, вернувшись в Самару, никак не находил себе места, пока не решился поехать в гости к Тресвятским, где, как он хорошо знал, жила в это время Юлия Рожанская.

Последний год в реальном... Встречи с Юлией, напряженные занятия, увлечение театром. И в мае 1901 года он наконец получил свидетельство об окончании реального училища. Только по немецкому языку он оказал успехи удовлетворительные. По остальным предметам — хорошие и отличные.

После небольшого отдыха Алексей Толстой поехал в Петербург поступать учиться. Год в технологическом быстро промелькнул. В этом же году он окончательно решил, что ему пришла пора жениться: Юлия Рожанская согласилась быть его женой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

3 июня 1902 года в Тургеневе состоялась свадьба. Мария Леонтьевна Тургенева, жившая в то время в родовом имении, незадолго до свадьбы приехав по делам в Самару, зашла навестить сестру, и ей сразу бросилась в глаза ее озабоченность.

— Алеша женится, — грустно сказала Александра Леонтьевна.

— И что же? Ты недовольна? — спросила Мария Леонтьевна.

— Скорей нет, чем да, — ответила Александра Леонтьевна.

— Невеста не нравится?

— Нет, она хорошая, и семья хорошая, но Алеша так молод, не знаю, как и венчаться будет, восемнадцати лет еще не исполнилось, а она старше его.

Александра Леонтьевна уговорила сестру помочь устроить свадьбу в их имении. Дом давно уже пустовал, все комнаты наверху пришлось приводить в порядок. Убрали их березками, травами и букетами полевых цветов. Съезжаться стали накануне: Александра Леонтьевна, Алексей Аполлонович, Василий Михайлович и Авдотья Львовна Рожанские, два их сына, жених с невестой. Все были утомлены, потому что добирались до Тургенева на лодках, потом на лошадях. Венчали утром, без всякой толпы, вспоминает Мария Леонтьевна, все пошли через сад в церковь. Обычной особой веселости в женихе не замечалось. Алексей был серьезен, сосредоточен.

После венчания вернулись в дом, где уже были накрыты столы. Пришли сельские девушки и повеличали молодых. Их угостили и отпустили. Потом поздравить молодых пришли служащие. Вечером явился гармонист,

и Александра Леонтьевна с Машей потрянули стариной — сплясали русскую. Но молодежь не поддержала, и вечер прошел скучновато.

Вскоре Алексей и Юля отправились в свадебное путешествие. Побывали в Новороссийске, Севастополе, купались, загорали. Казалось бы, ничто не должно было омрачать начало супружеской жизни. Весело и спокойно проводили они время. Но было и другое. Во всяком случае, однажды на одной из страниц книги стихов А. Н. Апухтина молодой супруг записал стихотворение А. К. Толстого: «Колышется море; волна за волной бегут и шумят торопливо... О друг ты мой бедный, боюсь, со мной Не быть тебе долго счастливой! Во мне и надежд и отчаяний рой, Кочующей мысли прибой и отбой, приливы любви и отливы». Новороссийск 1902 г. 5 июня — 7 июня Севастополь». Но скоро пришлось им собираться в Елабугу, на стекольный завод Сергея Александровича Шишкова, где Алексею Толстому, как студенту-практиканту, надлежало изучать стекольное производство. Пришла пора, ничего не поделаешь. Слово «надо» прочно вошло в со знание Толстого. Весело, с приключениями добирались до Сугинского завода. Радушно встретили их братья Шишковы, Сергей Александрович и Николай Александрович, доводившиеся дальней родней Толстому. Толстой просто и откровенно рассказывал о поездке:

— Добирались сюда ужасно курьезно. Если б поехали как обычно, первым пароходом, на «Меркурии», то выиграли бы сутки, и ничего бы с нами не произошло. Но мы поехали к Богородску. И с этого все началось. Подъезжаем мы к Богородску, а мимо нас уходят один, другой пароходы, и наконец, когда привалили, то ушел последний, и мы остались на бобах. Взяли билеты на Казань, переночевали в оной и в 8 часов побежали на Кайенское, но, увы, только въехали в Каму, как стоп, сломалась машина, да так, что и починить нельзя. Мы и

сидели весь день до 11 часов вечера. Конечно, тут же перезнакомились с пассажирами, купались, в общем весело провели время: нам играли и танцевали татары и пр. В 11 сели на другой пароход и о ужас, хватать-похватать, маршрута-то нет, позабыли дома. Помнил я, что Николай говорил когда-то, еще весной, о какой-то Елабуге. Спросил, сказали, что это город. Отлично, едем туда. Прибыли в Елабугу. «Завод Сугинский есть такой?» — спрашиваю. Как нет, говорят, есть, верст 95 от Елабуги будет». Ну мы и протряслись сбоку шоссе, ибо само шоссе было в ремонте 45 верст, и на рассвете решили переночевать на въезжей. Хорошо, только расположились, но мухи, мухи окаянные, спать не дали, жужжат и кусаются. Мы на двор. Свернулись клубком в какой-то тележке и проспали до 9 часов, а оттуда остальные 50 по кочкам, по лесу, по пашням, пыли и по солнцу сделали. Со мной в дороге чуть удар не сделался, а Юля на последней станции чуть в обморок не упала. И в довершение всех ее огорчений я сломал у нее зонтик.

Сергей Александрович заверил их, что все их неурядицы позади, он позаботится, чтобы им было хорошо.

— Главное, Алеша, климат и местность чудные. Городок маленький, чистый, аккуратно отстроенный, со всеми угодьями. Завод не знает никаких эпидемий, хотя полторы тысячи жителей. Да вы и сами скоро убедитесь в этом.

Все складывалось отлично. Простота, общительность, неподражаемый юмор Алексея Толстого сразу сблизили его с тем небольшим кругом лиц, которые бывали в доме Шишковых. Тем более что Ольга Леонтьевна Тургенева, сестра матери, жившая здесь, оказала ему полное содействие на первых порах. За себя-то он ничуть не беспокоился. С любым человеком мог найти общий язык. А вот как Юля? И как же он

обрадовался, когда Юля начала сходиться с женой Сергея Александровича, очень простой и милой Евгенией Юрьевной. Не совсем приятным показался ему князь Хованский, с которым он познакомился во время путешествия по заволжским имениям своих родственников. Правда, может, он ошибается, трудно определить человека. Но почему князь взял себе жену на семь лет старше себя? Может, у нее большое приданое, а у него совершенно ничего нет, кроме титула? Расспрашивая Шишковых о «кисленьком» князьке, Алексей Толстой вовсе и не предполагал, что придет время, и его наблюдения, полученные в глухой Елабуге, найдут свое отражение в романе «Хромой барин» и драме «Касатка»: князь Краснопольский и князь Вельский в известной степени списаны с князя Хованского. Не предполагал он и того, что на его глазах разыгравшаяся любовная драма между братьями Шишковыми и его теткой Ольгой Леонтьевной через несколько лет послужит ему сюжетной основой для одной из первых его повестей — «Заволжье» («Мишука Налымов»): Ольга вышла замуж за нелюбимого Н. Шишкова.

В нем еще не проснулся писатель, но он уже подмечал детали, одежды, светотени внутреннего мира. Незаметно для него все наблюденное откладывалось в его духовные запасники, зрело там до поры до времени, чтобы однажды обнаружиться в слитках бесценного житейского опыта. А пока он регулярно вставал в полдевятого или в девять. Пил чай и шел в Гуту № 3 на постройку печи. Сидел там до 11 или 12. Целый час до обеденного свистка играл в крокет с Сергеем Александровичем или с главным бухгалтером. Потом вкусный обед, после которого отправлялся или снова в Гуту № 3, или чертить, или в Гуты № 1 и 2, смотря по тому, что более необходимо. Вечером — опять крокет и

бесконечные разговоры, а если нет настроения, то проводил время за чтением.

Работать здесь было очень интересно, особенно привлекло его внимание стеклянное производство, с которым он знакомился детально и всерьез. Ему хотелось самому попробовать выдуть хоть одну баночку, но ничего не получалось — трудная это была операция для новичка, да и как-то не попадал он к началу работы, когда трубки еще не заняты. А трубку брать у мастеров неловко, так как все они работали сдельно и ценили каждую минуту.

Уехала Юля. Уехал князь Хованский. Да недолго и ему здесь оставаться. В Самару он писал: «Но что здесь хорошо, так это климат, понимаете, самая точка, ни тепло, ни холодно, дышать легко, даль прозрачная, очень похож на наш финляндский климат...»

Казалось бы, Елабуга — глухомань, ничего не даст ему, а получилось наоборот, интересная, увлекательная работа, глубокне, необычные характеры. Алексей уезжал из Елабуги чуть грустным. Ольга Леонтьевна, такая красивая и замечательная, выходила замуж без любви. А что делать? Тосковать одной всю жизнь? Много ли найдется таких молодых людей, благородных и скромных, как Николай Александрович Шишков?

Новый учебный год в Петербурге начинался спокойно, без особых треволнений. «В Питере мокреть и снег, серо и не уютно, гадкий городишко. К Екат. Петр, (хозяйка квартиры) мы приехали как домой все равно. С понедельника начинаем заниматься, — писал Алексей в Самару. — В первый же день Юля отправилась в институт, а я кроме того еще на Невский к Доминину и Леснеру на бильярде сражаться. Вообще точно еще не уезжали из городишка».

Юля, учившаяся в медицинском, обложила черепами и зубрила напропалую. Успешно сдавала зачеты, готовилась к экзаменам. Алексей понимал ее

усердие, старался делать все, чтобы не мешать ей: ведь скоро она будет матерью, и неизвестно, как сложится ее дальнейшая студенческая жизнь. Первые месяцы он мог бы позволить себе работать без особого напряжения. Но замучили чертежи. Сколько раз он посылал проклятья по адресу этих чертежей. Чертит, чертит, конца-краю нет, особенно ядовиты архитектурные, целые дни вырисовывает кружочки перышком, углышки, карнизики на дому, да еще руководитель подойдет и скажет, что это не соответствует действительности. Только и отрада — домой придет, а жена ждет его за самоваром. Отдохнет немного, а потом начнут собираться в театр. Уж очень они с Юлей полюбили оперетку. Но чаще всего сидели дома, читали или занимались. Даже у тетки Варвары Леонтьевны не хотелось бывать, там наверняка без толку просидишь весь вечер.

Он взялся за проект строгального станка. Очень трудная и сложная оказалась работа. Правда, этот чертеж зачтется ему за два, но займет много времени, так как придется снимать с натуры все детали.

В Петербурге, казалось ему, затишье. Но на самом деле антинародная политика русского правительства в последние полгода отличалась особой жестокостью в подавлении революционных настроений. «Борьба с внутренним врагом в полном разгаре, — писал В. И. Ленин в «Искре» 15 октября 1902 года. — Вряд ли когда-нибудь в прошлом бывали до такой степени переполнены арестованными крепости, замки, тюрьмы, особые помещения при полицейских частях и даже временно превращенные в тюрьмы частные дома и квартиры. Нет места, чтобы поместить всех хватаемых, нет возможности, без снаряжения экстраординарных «экспедиций», пересылать в Сибирь с обычными «транспортами» всех ссылаемых, нет сил и средств поставить в одинаковый режим всех заключенных, которых особенно возмущает и толкает на протесты,

борьбу и голодовки полный произвол растерявшихся и самодурствующих местных властей!»^[2]

Несколько месяцев в Петербурге да и в других городах не было никаких беспорядков. И во всех институтах тоже спокойно. Произошла только одна скверная история в электромеханическом, ставшая причиной забастовки: в стенах института арестовали студента за письмо, в котором он извещал своего адресата о смерти Льва Николаевича Толстого, (тот был на самом деле в это время болен). Студент электротехнического, видимо, написал о смерти Льва Толстого с большой горечью, ругал правительство. Арест в стенах института был нарушением дарованной автономии. Студенты электротехнического объявили забастовку, но характер ее был отнюдь не политический. В технологическом тоже возникли волнения местного значения.

Слухи о новых студенческих беспорядках докатились до Самары, и напуганная Александра Леонтьевна умоляет молодых немедленно выезжать из Петербурга. Алексей писал в ответ: «Пожалуйста вы поменьше верьте слухам о студенческих беспорядках. Их страшно извращают, даже те же студенты. Ты, мама, просила меня приехать тотчас же, если начнутся беспорядки. Этого я не могу сделать раньше чем не сдам репетиции. Но вы ничего не бойтесь. Пока я человек смирный и думаю только заниматься, ибо во всех беспорядках, как еще не коснувшихся меня, ни черта не понимаю. Поэтому, повторяю, бояться вам нечего».

И действительно, Александре Леонтьевне бояться вроде было нечего. Тихо и мирно проходили последние месяцы 1902 года у молодых супругов в ожидании ребенка. Алексей много читал, занимался учебными делами, редко покидал свое семейное гнездо. Женитьба сразу отдала его от товарищей по институту. Все меньше возникало тревожных вопросов, все чаще

задумывался он о разумном покое, дающем благоденствие и счастье. Что там тревоги, борьба, стачки, демонстрации... Вот где счастье — с каждым днем полнеющая жена, разумная книга, уводящая его от конфликтов и противоречий.

Как-то в хорошую погоду ездили в Пулковскую обсерваторию, смотрели звезды. Открылся конкурс в Академию художеств, и он вместе с Юлей внимательно рассматривает выставленные полотна. «Славные попадают картины, — напишет он домой, — особенно мне понравилась школа учеников Маковского, очень спокойная живопись. Репинская же школа обладает, по моему, излишней контрастностью и иногда не вполне уместной оригинальностью».

К этому времени относится начало его серьезных раздумий о судьбе матери как писательницы. Присланная ею повесть «Пыль» вызвала у него недоумение. Зачем она ставит его в неловкое положение, прося отнести в журнал явно неудавшуюся вещь? Насколько хороши ее детские рассказы, настолько плоха «Пыль».

Что-то никак не пробьет она себе дорогу в литературе, никак не завоюет признания. Может, беда ее в том, что она чересчур долго работает над своими вещами? И поэтому они перестают быть актуальными, когда наконец выходят из-под ее пера? В основе всех ее сочинений лежит какая-то жесткая тенденция, она учит жить, учит думать, надеясь, что читатели охотно воспримут ее мысли и идеи. А нужно ли учительствовать в литературе, не стоит ли просто показывать людей такими, как они есть, правдиво, без утайки плохого и хорошего в их жизни? Как Лев Толстой, как Чехов и Горький. Они тоже передают свой житейский опыт, их произведения служат познанию жизни, расширяют кругозор, но мораль их ненавязчива, не отпугивает, она глубоко спрятана. Искусство может служить познанию

мира, школой жизни, но только ли таким оно должно быть? А разве искусство не может быть развлекательным? Вот та же оперетка... Или хотя бы сказка Шекспира «Сон в летнюю ночь», которую он с удовольствием посмотрел недавно в Александрийском. «Декорации и постановка были чудные, получалась полная иллюзия, — делится он впечатлениями с родителями. — Эльфы — маленькие, совсем маленькие девочки и мальчики, были так костюмированы, что были похожи на цветы, на мухи и т. д. Но что удивительно, так это то что все эти клопы чудно танцуют. Теперь я так люблю Александрийский театр, что думаю почти никуда кроме него не ходить. Опера слишком утомляет, у меня ведь плохой слух и я не понимаю музыки. Посылаю вам карточку Комиссаржевской, моей любимицы. Вот вы пришли бы в восторг от нее...»

ПЕРВАЯ РЕЦЕНЗИЯ

Январское письмо 1903 года из Петербурга в Самару начинается с просьбы о присылке денег: родился сын Юра, расходы увеличились, одна коляска стоит 35 рублей, уж не говоря о других необходимых покупках.

Труднее всего оказалось найти хорошую няньку. Мать Юли, Авдотья Львовна, просила Александру Леонтьевну доставить в Петербург какую-нибудь из своих работниц. Но нянька долго не приезжала, и Толстому некогда было заниматься учебой в институте.

Эх, если б матушка была здорова, частенько думал Алексей в эти дни, от скольких лишних забот она избавила бы его. Уж больно ненадежна она в последние годы. То ноги, то спина, то еще что-нибудь. Если бы она приехала, то можно бы заняться своими делами, а теперь?

Приехал в Питер по делам Алексей Аполлонович. Еще во время рождественских каникул он поделился с Алексеем своей заветной мечтой: взять подряд на постройку в Самаре медицинского института. Алексей тогда поддержал его идею и обещал субсидировать строительство. Да и сейчас Алексей ничего не имел против строительства, но все-таки, вкладывая деньги, он определенно рисковал, имея дело с таким неопытным строителем, как отчим.

Но все же он — за. А Юля — против строительства дома.

Алексей и против желания Юли ничего не хочется предпринимать, и в то же время не хочется нарушать данного Алексею Аполлоновичу слова. До двух часов ночи просидели они, доказывая Юле, что тут риску нисколько нет, что тут скорее можно увидеть

обеспечение Юры в будущем. Юля только нервно посмеивалась.

— Нет, нет, я не согласна. Да и зачем вам мое согласие?

— Без общего вашего согласия, — решительно говорил Алексей Аполлонович, — я к делу не приступлю.

Так ничем и закончился этот трудный разговор. Решили отложить до утра. А утром Алексей Толстой принял компромиссное решение. Он может вложить в строительство не больше 14 тысяч рублей.

— Ты, папа, не обижайся, сам понимаешь, женщинам иной раз приходится уступать. Нашла коса на камень, как ни уговаривал ее, уперлась, и все тут.

Рухнули все надежды Алексея Аполлоновича. В душе невероятный сумбур. Ведь он всерьез готовился стать строителем, думал об этом, прочитал много книг по строительству, вел разговоры, осматривал да и прямо-таки ощупывал руками некоторые питерские дома, вся его деятельность приняла определенное направление. Иной раз он уже представлял себе, будто строит, и вот результат, неожиданное затруднение: Лелиных денег мало...

Алексей Толстой, почувствовав, что идея о постройке дома лопнула, вздохнул с облегчением. Уж очень не любил он противоречивые положения. А сейчас снова все встало на свои места, не надо было беспокоиться и волноваться. И без того есть над чем подумать...

Незаметно для себя Алексей втягивался в театральную жизнь столицы. Стал бывать не только в любимом Александрийском, но и в других театрах, сравнивать спектакли, анализировать игру актеров.

В письмах к родителям он много писал о театральной и литературной жизни столицы. А тут потянуло к перу по совсем другим причинам: он почувствовал в себе неодолимое желание облечь свои мысли в литературную форму. От спектакля к спектаклю

накапливалось в нем это желание, до поры до времени подспудно таившееся в глубине души. Вся атмосфера, которая издавна его окружала, словно призывала его к этому: судьба сразу свела его в столице с актерами и актрисами, с которыми он познакомился в меблированных комнатах старой актрисы, где он до женитьбы снимал комнату; а мать несколько лет уже работала только над пьесами, и в Самаре говорили чаще всего о театре, о пьесах. Да и Алексей Аполлонович очень любил театр, тонко разбирался в игре актеров, сам иногда принимал участие в любительских спектаклях. Поэтому сразу после приезда в Петербург Алексей Аполлонович предложил Алексею пойти на «Чайку». Долго уговаривать Алексея не пришлось.

Театр был почти заполнен, когда они пришли. Их места в амфитеатре с правого края, недалеко от двери. Так что Алексей то и дело раскланивался со своими знакомыми, которых уже предостаточно появилось у него в Петербурге.

И снова перед его глазами проходили сцены провинциальной жизни, так хорошо ему знакомой. Наивная, провинциальная девушка... Известный писатель, похожий на Гарина... Пожилая актриса. Унылый доктор... Алексей тут же вспомнил «Докторшу» своей матери, о которой то и дело разговаривали в Самаре: сельский учитель, жена его, пьющая водку. Тихая, незаметная трагедия, которая происходила на сцене, все больше и глубже захватывала его. А главный герой, обычный молодой человек, вздыхающий по «новым формам» и признающийся в конце концов, что у него из литературы ничего не получается, чем-то напоминает его, Алексея Толстого, его первые писательские попытки, столь неудачно закончившиеся.

Алексей изредка бросал взгляд на Алексея Аполлоновича, который был тоже захвачен происходящим на сцене. И действительно, «Чайка»

«Александринки» покорила его. Он после спектакля всю дорогу домой расспрашивал Алексея о театральных новостях, спорах, возникающих вокруг отдельных спектаклей.

— Чем же объяснить, Алеша, совсем недавний провал «Чайки» в том же театре? Неужели сейчас лучше играют, чем тогда? Ведь пьеса с тех пор ничуть не изменилась, ведь не переделал же ее он? — Алексей Аполлонович так увлекся спектаклем, что все хотел знать.

Алексей слышал о том скандале, который разразился несколько лет назад в Александрийском театре. С возобновлением спектакля обострились и разговоры вокруг Чехова и его «Чайки». И Алексей Толстой хорошо был осведомлен об этих разговорах.

— Ты знаешь, папа, этот провал сейчас никто не может объяснить. Я знаю людей, которые и теперь еще, через несколько лет, вспоминают об этом спектакле и ужасаются. Нет, невозможно поверить, что «Чайка» провалилась на первом представлении. С Комиссаржевской... Ведь это было что-то беспримерное... Сейчас легко восхищаться этой пьесой, прошло столько лет, а время всегда работает на гения. И те, кто сейчас восхищается, возможно, вчера шикали вместе с публикой.

— Неужели и Комиссаржевская участвовала в этом спектакле?

— В том-то и дело, что участвовала. И она по своему дарованию очень подходила к этой роли. Но случилось, так говорят, папа, самая невероятная чепуховина: «Чайку» давали в бенефисе Левкеевой, артистки комического плана. И ты знаешь сам, как это делается. Билеты распродавались по бешеным ценам на ее квартире. Публика собралась рукоплескать своей любимице, а надо сказать, что физиономия у Левкеевой препотешная: стоит появиться ей на сцене, как публика

готова ржать от любого ее слова. Что-то в самой этой артистке есть смешное — в манерах, в движении, в голосе. Ей бы выбрать в свой бенефис какую-нибудь пьесу Островского, а она выбрала никому не известную тогда «Чайку».

— А кого ж она могла играть в «Чайке»? Ведь не Нину Заречную или актрису. — Алексей Аполлонович даже развел руками от недоумения.

— Об этом рассказывают уже как об анекдоте. В ее бенефис ей роли не досталось. Поклонники ее таланта пришли, чтобы посмеяться, а получилось наоборот. Но они не захотели плакать и сострадать. Они все-таки вдосталь насмеялись. Рассказывают, папа, что, когда Вера Федоровна Комиссаржевская говорила свой монолог: «Люди, львы, орлы...», в партере слышался странный гул, некоторые смеялись, некоторые открыто возмущались, разговаривали с соседями. И весь конец спектакля был испорчен. Никого не тронул финальный выстрел Треплева. А когда опустился занавес, в зале поднялось что-то невообразимое: хлопки заглушались свистом, и чем больше хлопали, тем яростнее свистели, представляешь, и многие откровенно, злобно смеялись: «Символика», «Писал бы свои мелкие рассказы», «За кого он нас принимает?..», «Зазнался, распустился»... Особенно, говорят, радовались рецензенты, ходили по коридорам и буфету и громко восклицали: «Падение таланта», «Исписался». И это после того, как они пресмыкались перед ним, когда у Чехова все было хорошо, когда он входил в славу.

— Да, Леля, как еще часто происходит такое в жизни. Вчера только обнимались, признавались друг другу в вечной дружбе и любви, а сегодня, стоит только хоть чуть-чуть поскользнуться — и будто незнакомы. А что уж говорить про эту литературно-журналистскую братию. Раз они ему низко кланялись, подобострастно льстили, то уж в этот раз они захотели отыграться.

Поэтому и радовались, когда неожиданно явился такой прекрасный случай, чтобы лягнуть его побольнее. Уж слишком быстро и высоко он поднялся. Только вместе с ними сидел и занимался поденной журналистикой, они его хорошо знали как веселого и неунывающего сверстника, и вот поди ж ты, выбился в люди. Нет, такого они не могли ему простить.

«Чайку» я и раньше смотрел, но в исполнении самарских актеров она не произвела на меня такого впечатления, как сегодня. До сих пор там большинство актеров играет по шаблону. Если уж в пьесе есть писатель, то актер постарается загримироваться и играть так, чтобы публика в нем узнавала какую-нибудь известность; если играют военного, то обычно поднимают плечи и стучат каблуками, чего обыкновенно не делают настоящие военные. Большой, вдохновенный талант, Алеша, редкость, да и, к слову сказать, некогда им работать по-настоящему над ролью, ведь каждый день спектакль, поэтому и роли учить некогда, учат в последние дни, надеясь на суфлерскую будку. Когда они имеют дело с обычными пьесами, все им сходит с рук, талант их выручает. А в «Чайке» нужно передавать настроение, нужно уметь передать характеры человеческие, неповторимые, оригинальные и одновременно очень обыденные. Возможно, поэтому и получилась катастрофа. А почему после такого провала Александринский снова заинтересовался пьесой?

— Так ведь она же широко признана у нас. Всюду ее ставят. Пришла новая дирекция, почуяла новые веяния, вот и решила возобновить. Жаль только, не увидели мы Комиссаржевскую в этом спектакле. Селиванова хорошая актриса, но разве можно сравнить ее с Комиссаржевской. Да и Шувалов несколько ниже, как говорят, Сазонова.

— А вот поди ж ты, пьеса имеет успех, делает сборы и держится на афише. Значит, Алеша, переменялась

публика, приноровилась к новым формам и новым веяниям в театральном искусстве.

— А я совершенно уверен, папа, что если б и первый раз «Чайка» была дана не в бенефисе Левкеевой, а простым обыкновенным спектаклем, то публика бы приняла ее, может быть, не так, как сейчас, более умеренно, но, во всяком случае, благосклонно, без шиканья и дерзкого хохота.

— Да, я согласен, интеллигентную публику, которая обычно собирается на премьеры, наверняка покорили бы ее исключительные художественные достоинства.

Алексей Толстой и Алексей Аполлонович Бостром всю дорогу говорили только о театре, и оба остались довольны разговором. Давно уже они не оставались наедине и давно так не наслаждались взаимопониманием.

На следующий день Бостром писал в Самару: «Были мы вчера (то есть 15 февраля 1903 г. — *В. П.*) в театре на Чайке. Ведь хорошая вещь. Совсем иное впечатление, чем при прочтении или представлении в Самаре. Как бы хотелось видеть другие вещи в этом роде, вообще новый реализм Чехова и Горького».

В апреле в Петербурге начались гастроли Московского Художественного театра. Сколько разговоров, слухов, даже сплетен ходило вокруг нового театра. Что это за «содружество равных во имя искусства», где нет ни бедных, ни заведомо талантливых, ни безнадежно бездарных, где миллионер Савва Морозов чинит электрические провода, а машинист сцены обсуждает постановку пьес, где актрисы одеваются со скромностью гувернанток, а актеры — с тщательностью банковских служащих?! Ничего подобного, кажется, не было еще в России. И неужели действительно статистов пробуют в ответственных ролях, а исполнители главных ролей участвуют в массовых сценах наряду со статистами?

Интересно, размышлял Алексей Толстой, что же из этого получилось и долго ли они продержатся на том же уровне, ати братья и сестры во имя искусства?

«Дядя Ваня» Чехова в постановке театра раскрыл ему что-то новое и в Чехове, и в самой жизни. Да, так оно и бывает: талантливый Астров и поэтически-нежный дядя Ваня прозябают в провинции, а ничтожный профессор блаженствует в Петербурге, отравляя своей глупостью многих молодых людей. Сколько таких случаев уже мог наблюдать Алексей Толстой в Сызрани, Самаре и Петербурге.

И вот он снова в театре. На этот раз с Юлей. Смотрел «На дне» и удивлялся снова и снова, насколько могут, оказывается, извратить подлинный смысл горьковской драмы, о которой он слышался за эти недели всяческой чепухи. Рядом с ним сидели богато одетые дамы, офицеры, знатные люди, которых передергивало от того, что они видели на сцене. Вспомнились ему и те, которые ругали, пьесу, называя ее грубой, циничной, не соответствующей правде жизни. Его недавние собеседники, ругавшие Горького, ничего не поняли — ни философии «босяков», ни замысла автора.

Несколько дней спустя он сел за письменный стол и за один присест набросал рецензию о двух просмотренных пьесах: «Теперь у нас два больших художника — Чехов и Горький... Первый показывает безнадежно отчаянные картины обыкновенной жизни и ставит «аминь» над смыслом этой жизни. Второй показывает свежие растения, красоту и силу в новой незнакомой среде...»

Горький был в центре внимания тогдашней читающей публики. Приехавший из Москвы знакомый студент рассказывал, что года два-три назад он был в Художественном театре, давали «Чайку» и ему посчастливилось увидеть Горького. Писатель сидел в директорской ложе. В первом же антракте к двери стали

подходить театральные зрители, среди которых было много студентов, боготворивших его. Самые храбрые постукивали в дверь, настойчиво и громко вызывая Горького. В последнем антракте уже большая толпа неумолчно ревела: «Горько-ва!» Дверь наконец после настойчивых подергиваний открыли. И загремели аплодисменты: толпа увидела Горького, подходящего к двери. Каково же было удивление аплодирующих, когда Горький резко заговорил:

— Что вам от меня нужно? Чего вы пришли смотреть на меня? Что я вам — Венера Медицейская? Или балерина? Или утопленник? Нехорошо, господа! Вы ставите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем: ведь идет его пьеса, а не моя. И притом такая прекрасная пьеса, вещь несомненной духовной важности, а вы занимаетесь глупостями. И сам Антон Павлович уже приехал. Стыдно. Очень стыдно, господа!

Столько всегда слухов и сплетен ходило вокруг знаменитостей, не знаешь, чему верить. Приходилось слышать и грубые выпады, жестокую ругань по адресу Горького. Один его знакомый студент, бывавший в салоне Мережковских, с непонятной ненавистью говорил о Горьком:

— Это что-то пошлое, что-то нужное толпе. Толпа его признала за своего. У Горького ничего нет личного, он за всех, он со всеми...

«Не слова ли это нового литературного апостола, которые знакомый только точно повторил?» — думал Алексей Толстой. Страшно расходились они с потрясающим успехом «На дне» Горького. Точно разорвавшаяся бомба хлестнула своими осколками по толстокожим, привыкшим не замечать противоречий современной жизни. В их уютных городских квартирах и вольготных помещичьих усадьбах все еще звучат веселые вальсы и умные слова о любви к народу, а там, внизу, «на дне», идет самая настоящая борьба за

существование, борьба задавленных, отринутых самой жизнью людей. Может ли так дальше продолжаться, если часть общества прозябает в подобных условиях? Отсюда идет недовольство, отсюда стачки, забастовки, прокламации. Нельзя ли сделать так, чтобы не было таких людей, не было воровства, лицемерия, предательства?...

Привлек внимание Алексея Толстого и рассказ Леонида Андреева «В тумане». К чему все его собственные писания, все эти стихи и рассказы, если рядом с ним работает такой писатель, как Леонид Андреев?..

Вообще Петербург словно ожил после длительной спячки. Возникали новые литературные кружки, салоны. Все более шумно вели себя русские символисты. Имена Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Валерия Брюсова, Блока, Андрея Белого все чаще стали упоминаться в газетных отчетах.

Столько было всего интересного, заманчивого, что некогда и матери написать в Самару. И Алексею приходилось в письмах в Самару принимать смиренный вид и каяться в своих грехах: «Милые мама и папа! — писал он 6 мая 1903 года. — Это верно, что мы делаем свинство и потому даже не оправдываюсь. Время у нас самое горячее, экзамены с одного щелчка можно сказать сдаем. Осталось у нас по 4 штуки, так что я кончу 23, а Юлия 27; 28 мы выедем на Рыбинск и 2 июня утром будем в Самаре. Поздненько это верно, но ничего не поделаешь ибо очень растянулись сроки. Погода у нас стоит самая майская, так, что сердце радуется: градуса 4 тепла, дождь и ветер, хоть бы провалился куда-нибудь городишко этот в болото! Позавчера был у нас Евг. Степ. (Струков. — В. П.), рассказывал о вас, только его новости пришли позже твоего, мама, письма.

Вот ведь какой я свинья, после письма о Чехове я хотел написать в следующую субботу о Горьком. Но

отложил, потому что Воскресенье пошел на чеховское утро. А после утра хронически откладывал до сего 6 мая. А чеховское утро было очень симпатичное утро: Артисты Станисл. читали по ролям по акту из Дяди Вани, Чайки и 3 сестер. И признаюсь, что даже в чтении 3 сестры мне понравились больше чем дядя Ваня и конечно чем Александрийская Чайка. Эта пьеса еще глубже и драматичнее и живее.

Знаешь, мама, ты наверное сердишься на мои письма: в них мол ничего кроме общих фраз да описания пьес не встретишь, но дело в том, что жизнь идет так разнообразно и оригинально, что при такой редкой переписке ничего писать не хочется. Все думаешь, вот скоро приеду лучше расскажу. А писать чаще буду на будущий год, ей Богу. Вот например сколько можно порассказать о подругах Юлии Наде и Мане, о жизни курсисток, о различных впечатлениях. Но все это требует систематической переписки, а она будет на будущий год, ей Богу. Пишу это я для того, чтобы ты не подумала опять что я не желаю делиться своими впечатлениями с вами...»

К этому времени относится его знакомство с писательницей Зоей Юлиановной Яковлевой, «у которой, — писал он матери, — по четвергам собирается весь интересный тебе Петербург, играю также в даваемом ею спектакле маленькую роль. Дама она очень интересная, и тебе будет в высшей степени полезно и приятно у нее бывать». И неудивительно, что через какое-то время он уже чуть-чуть покровительственно относится к матери. Во всяком случае, после ее приезда в Петербург он пишет отцу в Самару: «Милый папа! Мама здесь и понемногу очищается от провинциальной пыли: так как начинает входить в интерес Петербурга... Относительно литературы ничего еще не известно, но я думаю, что дело может выгореть, потому что у меня

теперь много литературных знакомых, и стало быть и у мамы».

И снова экзамены, репетиции, а потом практика на Балтийском судостроительном заводе. Еще экзамены, еще практика — теперь на Невьянском металлургическом заводе, куда он прибыл весной 1905 года, как раз тогда, когда и сюда уже доносились раскаты нарастающего революционного движения.

КУДА ПОДАТЬСЯ...

Алексей Толстой, возвратившись с практики в Петербург, просто не мог оказаться в стороне от революционных событий. «Повсюду во всех учебных заведениях идут многочисленные митинги и почти всегда под флагом С. Д. Полиция не вмешивается. Тренов ведет тонкую игру... Уличных демонстраций нет. Институт наш хотя и открыт, но к занятиям приступают слабо», — сообщает он родителям 2 октября 1905 года. Волна демократических настроений, захватившая почти все либерально настроенные круги русского общества, увлекает и молодого технолога.

2 октября Алексей Толстой принимает участие в похоронах ректора Московского университета С. Н. Трубецкого, скончавшегося в Петербурге. Тело покойного провожали в Москву около семидесяти тысяч молодежи и студентов. Но не только это удивляло Алексея. Такая масса людей соблюдала строгий, почти идеальный порядок, хотя время от времени из переулков наскakивали на толпу конные городовые и казаки, хлестали ее нагайками и вызывали панику, которую студентам с трудом удавалось подавлять, восстанавливая порядок. Станным казалось и то, что забастовали все газеты. Конечно, это отражение московских событий, да вряд ли и здесь обойдется без крови. Говорят, в Москве большие склады динамита, способные не оставить камня на камне от города.

Через несколько дней Алексей — среди демонстрантов у Казанского собора. И, охваченный волнением пережитого, сразу после демонстрации пишет статью «На площади у Собора».

«Толпа, полная ожидания, неизвестности, трепета, восторженная до крайних пределов, как ртуть

чувствительная к каждому трепету своей опоры, составленная из самых разнообразных и разноплеменных элементов, шумящая, не желающая ничего слушать или затихающая так, что слышно свое дыхание, толпа, вооруженная красными флагами, — собралась на площади Казанского собора. Не ясная, определенная цель собрала ее у этих холодных и строгих колонн, не радость или негодование, а смутное ожидание чего-то нового, светлого, что должно вдруг предстать их давно не видевшим очам».

Эта статья не столько передает настроение собравшейся толпы, сколько собственные мысли и переживания Алексея Толстого. Встань он поплотнее в ряды собравшихся, «узнай подлинные их думы, желания, стремления, их чувства и настроения, раздели их, впитай в себя их кровные мысли и желания, и тогда вся эта толпа у Казанского собора не показалась бы ему такой бесформенной и безликой, а ее цели и стремления — такими смутными и неопределенными. Но он так и остался тогда в стороне, остался наблюдателем событий, а не их активным участником. Правильно говорят: иное время, иные песни. Недавно у него был интересный разговор с одним нижегородцем, который работал рядом с ним на Балтийском.

Да, всего лишь лет десять назад пульсом общественной жизни считалось студенчество. Оно, как барометр, точно отражало все политические и нравственные колебания в громадной России, каждый раз реагируя на них по-своему, горячо, страстно и бескомпромиссно. И вот на смену этим горячим головам пришли рабочие.

Несколько дней после этого он никак не мог избавиться от навязчивой картины, которая все время ему мерещилась. Садился за учебники, пытался чертить и все это откладывал, и брался за статью, в которой со

всей страстью, бушевавшей в горячем сердце, обрушивался на царя, на самодержавие.

Рабочие валом повалили на студенческие сходки. Возникали митинги, на которых явно преобладали представители пролетариата.

До Алексея Толстого доходили слухи о московских событиях, но он был далек от понимания их подлинной сути. Ему казалось, что студенчество сломлено, обессилено. Словом, очень и очень многое было ему не ясно в сегодняшних событиях. Стоит ли писать статью, если самому не все понятно? Статья так и остается незаконченной, оборванной на полуслове. Только стихи, думается ему, могут передать то состояние душевного подъема, которое переживает он в этот момент. Он пишет несколько стихотворений, пусть слабых по форме, но горячих, искренних. Вот здесь он активно выступает против царского самодержавия, требует освобождения политических заключенных и ссыльных. Гневно протестует против расстрела революционеров.

«Революционное воодушевление» испытывал и священник Петров, с которым Алексей сблизился в эти дни, не раз встречаясь и подолгу разговаривая на самые острые политические темы.

Григорий Спиридонович Петров был заметной фигурой своего времени. Он написал книгу «Евангелие, как основа жизни», сразу сделавшую безвестного провинциального священника знаменитым. Он стал сотрудничать в московской газете «Русское слово». Его статьи и выступления были направлены против ханжества и лицемерия духовенства. Он тоже был против репрессий, выступал за конституцию, за гарантии политических свобод. Но он же принял от кадетов предложение баллотироваться в Государственную думу. В. И. Ленин назвал его «христианским демократом, весьма популярным демагогом».

Петров поддержал Толстого в поэтических начинаниях, обещал напечатать несколько его стихотворений в «Русском слове». Но в середине ноября 1905 года Алексей с Юлей уехал в Казань и больше не напоминал своему новому знакомому о стихах.

Как только Толстой приехал в Казань, сразу же передал несколько своих стихотворений в местную газету «Волжский листок», где и было опубликовано 6 декабря одно из них — «Далекие», подписанное «А. Т.». Второе стихотворение — «Сон» — было напечатано 18 декабря, а 1 января появилось еще одно, новогоднее. О таком важном в его жизни событии Алексей тут же сообщил матери: «Посылаю тебе одно из напечатанных моих стихотворений, у меня их поместили всего три и заметку, касающуюся тебя, мама...»

В Казани, в кругу семьи Рожанских, Алексею живется довольно спокойно и уютно, особых забот и тревог он в это время не испытывает. Часы досуга отдает всецело поэзии. Он еще не остыл от революционных событий, раскаты которых доносятся и до провинциальной Казани. Его по-прежнему угнетает мысль о тех, кто пострадал в борьбе с царизмом, кто долгие годы томился в тюрьмах и ссылках. Из газет он узнал: машинист Ухтомский провез в Москву отряд дружинников для участия в баррикадных боях и был расстрелян через несколько дней после своего героического поступка. Такое самопожертвование потрясло Алексея Толстого, и он попытался в форме монолога самого Ухтомского перед расстрелом раскрыть гордую и отважную душу человека, сознательно отдающего свою жизнь во имя освобождения всего трудового народа. «Вам недолго меня расстрелять, — гордо заявляет Ухтомский своим палачам, — мне не страшны предсмертные муки, но должны вы понять и узнать, в чьей крови обагрите руки». Те же антицаристские мотивы — в наброске стихотворения

«Безоружные шли умолять...» — о событиях 9 января 1905 года. Молодой поэт попытался передать наиболее драматические события вооруженного столкновения на московских баррикадах и создал образ матери, оплакивающей убитого сына:

...Да я не буду, не стоит рыдать,
Силы во мне не сломили.
Слушайте, слушайте гордую мать,
Как ее сына убили.

Был он отважен и дерзок и смел,
Храбро я рядом стояла,
Смерти без ужаса в очи глядел,
Я его знамя держала...

Но он еще не устоялся ни как поэт, ни как гражданин. Гражданская скорбь в его стихах сменяется эстетским томлением о чем-то несбыточном, прекрасном:

Природа создала пленительные краски
И запахи цветов и дальность синих гор
Томительных лучей изнеженные ласки
Бездонность тишины темнеющих озер.
И ласковой волны загадочные думы
И мощный и седой безжалостный прилив
И мягкие лесов изломчивые шумы
И полный жгучих ласк живущего призыв.
И женщина была венцом ее творений,
Все яркости цветов, желаний, красоту,
Всю нежность пышных форм и сладостных
томлений
Сплела в один призыв — роскошную мечту...

А вскоре мысли Алексея снова перенеслись к злобе дня. В эти минуты он преображался, становился хмурым, задумчивым.

В семье Рожанских он был одиноким. Его сочувствия революционным событиям не понимали и не принимали. Увлечение поэзией и вообще литературой считали блажью, чем-то несерьезным. Повзрослеет, дескать, пройдет. Кто не писал стихи в молодости... И Алексею не с кем было поделиться своими мыслями, сомнениями. Как и раньше, он находит отдушину в письмах к родителям. С ними он по-прежнему откровенен, рассказывает все, что происходит с ним. Только первые дни в Казани Алексей и Юля провели весело. Почти всю рождественскую неделю ложились спать не раньше четырех часов ночи. Ни дня не были одни. А праздники прошли, стало скучно. С Юлей тоже скучно. Уж давно не возникало между ними откровенных разговоров. Да и о чем с ней говорить, когда она все время проводит с сыном, ничего не читает. Да к тому же высказывает свое недовольство столичными беспорядками, совершенно не понимая смысла происходящего. Он тоже любит проводить время с сыном. Юрочка очень вырос, похорошел, развился. Но нельзя же все свое время посвящать только сыну... Все больше и больше Алексей Толстой охладевал к Юле.

Что делать дальше? Куда податься? Что предпринять?.. Либо теперь отбывать воинскую повинность, либо поехать до осени в Дрезден к давнему другу Саше Чумакову? А где взять деньги для поездки в Дрезден?

Все, что можно заложить, заложили, но давали в залог здесь мало. Придется опять беспокоить родителей, может, войдут в его положение и устроят что-нибудь поскорее.

16 февраля 1906 года Толстой уже из Петербурга писал в Самару: «13 февраля я собрал вещи чтобы ехать

в Самару, но увы получил деньги, эти проклятые деньги и проехал прямо в Питер. Здесь сижу третий день, уеду дня через три. Все идет как по маслу, задержки никакой... В Питере реакция не так заметна, как в Казани, но все-таки придавлено. Вообще неприветливое наше отечество. Мне было очень досадно, что я не попал в Самару, но у нас не хватило бы денег. Писаться буду из Дрездена очень усердно и надеюсь, что вы оба будете мне отвечать. Пока особых впечатлений не получил. В Москве почти так же оживленно, не заметно, что было пролито столько крови... За границей русских очень много, например, из нашего института уехали больше 600 человек.

В Питере идут страшные аресты, иногда целыми кварталами. О созыве думы конечно никто и не разговаривает. Правые партии усиленно рассылают листки для записи в члены партии...

Писать стихи теперь что-то не могу, нет настроения».

В Петербурге Алексей пробыл всего лишь несколько дней. Ничто его здесь не удерживало. Друзей разбросало, институт закрыт. По улицам все чаще ходили солдаты, гарцевали казаки. Тусклое петербургское небо опускалось все ниже. Взяв отпуск в технологическом институте, Алексей уехал в Дрезден.

Всю дорогу не переставал восхищаться трудолюбием и организованностью немцев. Всюду тщательно обработанные поля, дороги, обсаженные деревьями, деревни, правда небольшие, но с прекрасными каменными постройками, оранжереями, каналы, осушительные дренажи, сады, вычищенные леса. А города? Красивые здания, везде асфальт и клинкер, трамваи, автомобили, хорошие уютные магазины. Публика удивительно ровная.

В Дрездене он прожил несколько месяцев, но таких, которым суждено было многое изменить в его жизни.

Здесь он вновь встретился со своим старинным другом Сашей Чумаковым, который ввел его в круг русских эмигрантов, главным образом студентов, исключенных из различных высших учебных заведений России. Почти все они были выходцы из имущих слоев русского общества, все были настроены оппозиционно к самодержавию в России, зачитывались подпольной литературой. Алексей ходил в театры, музеи.

Видел Сикстинскую мадонну. «Боже мой! Страшное впечатление и чем больше всматриваешься, тем сильнее. Столько глубины чувства и мысли, что не верится, что это создание рук человеческих. Был в Саксонской Швейцарии, откуда и послал вам открытку. Головокружительная красота. Вообще здесь жизнь хорошая, светлая и благоприятные условия, чтобы сделать ее таковой, хотя на немцев это не действует — они знают свое пиво и больше ничего. Зато иностранцы (которыми кишит Дрезден) чувствуют и живут за них», — писал Алексей родителям 26 марта 1906 года.

В Дрездене Алексей познакомился в Л. И. Дымшицем, таким же студентом, вынужденным уехать за границу после событий 1905 года. К нему из Берна изредка приезжала его сестра. Там она училась в университете. В эти дни Толстой частенько заходил к ним.

Софья Дымшиц была совсем не похожей ни на одну из знакомых ему женщин. Она казалась ему просто необыкновенной. Как-то она спросила его, любит ли он дождь ночью. И тут же сказала, что, когда идет дождь ночью, ей представляются маленькие духи, хлопающие в ладошки, со смехом пролетающие в листьях и шлепающие босыми ножками по земле. И так часто поражала она его своим неповторимым отношением и окружающему миру.

Они быстро подружились, стали встречаться. Но вскоре Софья уехала в Петербург, а Алексей в Самару, на Барбашину Поляну, на дачу Алексея Аполлоновича и

Александры Леонтьевны. Сюда же он привез и тетрадку стихов, написанных в Казани и Дрездене. Эта тетрадка горько разочаровала Александру Леонтьевну. Лирические опыты сына показались ей серыми, бесцветными. Не раз уж она говорила ему и писала об этом, все надеялась как-то разбудить в нем дремлющее писательское самолюбие. На этот раз разочарование ее было гораздо глубже: перед ней был уже двадцатитрехлетний молодой человек, от которого; видимо, больше нечего ждать, он уже сформировался и выказал все, на что горазд.

После сурового разговора с матерью Алексей в середине июля уехал в Казань.

25 июля 1906 года он получил телеграмму о ее смерти.

Это известие надолго выбило из колеи. Алексей любил в ней не только мать, всегда такую внимательную и отзывчивую к каждому его шагу, к каждому начинанию, но и своего первого литературного наставника, беспощадно отзывававшегося обо всех его неудачах и срывах. Она научила его различать настоящее и подлинное в искусстве, поэтому так много он начинал и бросал, чувствуя свою неподготовленность для большой литературы.

Местные газеты, извещая о смерти писательницы А. Л. Тургеневой, подписывавшейся иногда псевдонимом А. Бостром, высоко отзывались о ее недюжинном беллетристическом таланте, трудолюбии, высокой образованности.

Спустя семь лет в своей первой автобиографии Алексей Толстой писал: «Моя мать была писательница. Я был ее последний. Остальные дети жили в другом месте. Я не знаю до сих пор женщины более возвышенной, чистой и прекрасной».

После похорон тетя Алексея Мэрия Леонтьевна предложила ему погостить в Тургеневе. Он согласился.

По дороге в Тургенево Мария Леонтьевна старалась развлечь Алексея, рассказывая о самарских знакомых, пыталась шутить.

Неделя в Тургеневе быстро промелькнула. Алексей отдохнул здесь душой, много ходил в окрестностях усадьбы, подмечая подробности и детали отходящего барского быта. В сущности, это было прощание с родовым именем Тургеневых: Мария Леонтьевна продавала свое хозяйство и переезжала в Москву на постоянное жительство. Спустя три года после этого Алексей Толстой во всех деталях — и подробностях — вспомнит эту неделю и воскресит ее в своей первой повеоти «Неделя в Туреневе».

«МИР ИСКАНЬЯ ПОЛН»

В Петербурге все решительно изменилось. Роспуск I Государственной думы, «кровавый день» в Варшаве и Лодзи, покушение на Столыпина, убийство генерала Лекна, руководившего подавлением Московского декабрьского вооруженного восстания, Свеаборгское восстание — все эти события и факты свидетельствовали о непрерывном развитии революционного движения и о повсеместном жестоком его подавлении.

Алексей Толстой испытывал какую-то неопределенность. Что делать дальше, как и чем жить, все было спутано, противоречиво. «Помню время, когда (в начале писательского пути) я жил среди одной только этой анархии всевозможных ощущений. До сих пор иные думают, что это именно и есть состояние свободного и вдохновенного творчества, — писал А. Н. Толстой спустя почти тридцать лет. — Вредный вздор! То время я вспоминаю, как состояние мелкой воды, состояние бестемья и величайшей неуверенности во всем. Окружающая жизнь (чтобы не казалась хаосом и кошмаром) воспринималась поверхностно животной, эстетически. Чтобы не утонуть, как кошке во время наводнения, в этом хаосе непонятных явлений, спасало самоутверждение личности, ницшеанское сверхчеловечество (очень популярное, кстати сказать, в литературных кабаках того времени). Мы только носили вдохновенные прически, а ходили покорно на поводу, начиная от требовательного к наисовременнейшим темам издателя, кончая излюбленным мастером». Алексей совсем уж было хотел заняться одной литературой, но суровый отзыв матери о его стихах, ее неожиданная смерть, неопределенная будущность —

все это снова заставило его задуматься об окончании института. Нужно восстановиться в технологическом и сдать экзамены, а уж потом как-нибудь сделать и дипломный проект.

Целыми днями он сидел за учебниками и готовился к экзамену. Сначала было очень Трудно, отвык, ведь почти два года не брался за учебники, потом сладил с собой, втянулся в работу, снова стал активно участвовать в студенческой жизни.

Вот что он писал А. А. Бострому: «Милый папочка! Ты наверно недоумевал и сердился за мое долгое молчание, но писать мне было как-то очень тяжело. И так вопреки всему я остался в Питере. Меня уговорил наш бывший директор, профессор Зирнов, выдержать экзамены, пока открыт институт. Действительно это очень рационально, потому что экзамены тот камень на пути, который нужно обязательно свалить. Теперь сижу и готовлюсь к экзамену...

В институте у нас конституция. Учрежден студентами Совет Представителей, т. е. выборное министерство, скорее министерство, чем парламент т. к. высшей инстанцией является сходка. «Совет вершит все политические и академические дела. Выбрано 11 человек, 6 — СД, 3 — СР, 2 — к и.2 беспартийных, примыкающих к к.

Позавчера было заседание фракции СД^[3], где обсуждался вопрос относительно дальнейшего образа действия фракции в Своем Представителей. Часть склонялась к блоку с СР^[4], но я тогда их здорово выругал, что фракция уклоняется от ортодоксального марксизма идя на компромиссы, ну тогда оживились и провалили всякие блоки и компромиссы и объявили войну СР.

Но все-таки настроение среди студентов вялее, нет ни подъема, ни особенного желания учиться.

Петербург опять заснул. От октябрьского оживления не остались и следа, разве только усиленно расплодились похабные журналы с порнографическими рисунками.

После экзаменов все-таки уеду на границу, здесь заниматься невозможно...»

Алексею Толстому трудно было разобраться во всех тонкостях политической борьбы. Приближались выборы во II Государственную думу. А ясности, за кого голосовать, нет. И неудивительно. «Столько противоречивых, лозунгов, мнений, оценок, в которых тонко переплетались правда с ложью, возникло перед — несведущим молодым человеком.

В декабре 1906 года, в самый разгар подготовки к выборам во II Государственную думу, В. И. Ленин писал: «Обыватель запуган. На него удручающе повлияли военно-полевые суды. Он находится под впечатлением правительственного хвостовства, что Дума будет послушной. Он поддается настроению и готов простить все — ошибки кадетам, готов выбросить за борт все то, чему научила его первая Дума, и голосовать за кадета, лишь бы не прошел черносотенец.

Со стороны обывателя такое поведение понятно. Обыватель никогда не руководится твердым мирозерцанием, принципами цельной партийной тактики. Он всегда плывет по течению, слепо отдаваясь настроению. Он не может рассуждать иначе, как протявоставляя черной сотне самую скромную из оппозиционных партий. Он не в состоянии самостоятельно обдумать опыт первой Думы»^[5].

Алексей Толстой вместе со многими «своими друзьями и единомышленниками как раз и переживал период «обывательской растерянности и безыдейности» (В. И. Ленин), столь характерной для его круга — выходцев из дворянской интеллигенции. Он мог одно время примыкать к социал-демократам и даже

выступать с точки зрения «ортодоксального марксизма», но все это оказывалось внешним увлечением, хотя и делалось и говорилось вполне искренне и убежденно.

«Устал обыватель. Размяк и раскис российский интеллигент...» Эти ленинские слова пока что имеют прямое отношение к герою нашего повествования. А ведь только полтора года назад все казалось иным — казалось, что вся нация в едином порыве готова смести проклятое самодержавие, на всех перекрестках повторялись такие близкие сердцу и разуму слова и лозунги о демократии, о свободе, о равенстве.

Испытывая какое-то тягостное чувство неопределенности, Алексей Толстой хочет сиюминутного забвения, тянется к чему-то несбыточному, фантастическому. Помимо «анархии ощущений и страстей», он испытывает какие-то мистические переживания, правда, далекие от религиозных, но в чем-то весьма родственные тем, какие испытывают при спиритических действиях: вроде все происходящее и реально, и можно потрогать рукой, а в то же время уносит в какой-то совсем иной мир, где все зыбко и неопределенно. На Алексея Толстого в это время сильное влияние оказали два человека: Соня Дымшиц, с которой он снова стал встречаться, и дальний родственник, скромный чиновник министерства путей сообщения Константин Петрович Фандер-Флит.

«В 1907 году я встретился с моей теперешней женой и почувствовал, что об руку с ней можно выйти из потемок, — писал Толстой в коротенькой автобиографии для юбилейного сборника, посвященного 50-летию «Русских ведомостей» в 1913 году. — Было страшное неудовлетворение семьей, школой и уже умирающими интересами партий. Я начал много читать и писать стихи. Я был уверен в одном, что есть любовь. Теперь я уверен, что в любви рождаются вторично. Любовь есть начало человеческого пути...»

У Константина Петровича Фандер-Флита он стал часто бывать в зимние вечера 1906/07 года, подолгу разговаривая о новых течениях русского литературного движения. Алексей, разумеется, читал и Бальмонта и даже советовал его прочесть отчиму еще в 1904 году, читал и Брюсова, слышал и о Вячеславе Иванове, Блоке, Белом. Но у Константина Петровича в тиши уединенной обстановки эти стихи приобретали совсем иной смысл.

Константин Петрович говорил, что символизм — это искусство будущего, поэтому нужно все старое отбросить, нужно совершить принципиальный переворот всех целей и методов творчества. Реальности в нашем мире не существует, есть только отражения ее, призраки.

Нужно сравнить, предлагал он, «Необычайные рассказы» Э. По с Гофманом или Андерсеном, Шиллера и Новалиса с Верленом, Шекспира с «Маленькими драмами» Метерлинка, Байрона с Бодлером, и станет ясно, какая бездна разверзлась между этими художественными явлениями, какая появилась не сравнимая ни с чем усложненность и утонченность технических методов творчества, какая страстность, напряженность, насыщенность переживаний творящего. История мирового художественного творчества ничего подобного еще не знала.

Его невозможно было не слушать. Он весь был словно наэлектризован, столько страсти слышалось в его голосе, движения становились порывисты и бесконтрольны.

Много уделяя внимания чертежам, учебникам, практической работе на различных заводах, Толстой не очень-то внимательно следил за новым искусством. А оказывается, какой скачок оно сделало, как выдвинулось вперед. Уже меньше говорят о Горьком, Чехове и Льве Толстом. Только и слышишь — Бальмонт,

Брюсов, Белый. Константин Петрович цитировал О. Уайльда, Э. Верхарна...

— Ты видел эту книгу? — Константин Петрович показал на лежавший на столе томик О. Уайльда. — Он говорит о том, что искусство призвано претворить жизнь в сказку, показать жизнь сквозь призму искусства, а не искусство сквозь призму жизни. Вот это главное. Пусть они там дерутся между собой и выдумывают себе разногласия. Ты читал, как Андрей Белый обрушился на Вячеслава Иванова и Георгия Чулкова за их мистический анархизм? Ну и бог с ними, не читай. Неважно, как рассматривать символизм — как чисто эстетический метод построения художественного образа или как новую условную форму выражения идей, ты должен понять одно — больше придавай значения форме стиха. Ты посмотри, как Бальмонт владеет формой...

Мою мечту страдания пробудили,
Но я любим за то,
Кто равен мне в моей певучей силе,
Никто, никто.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце.
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о солнце
В предсмертный час!

Ты посмотри, какая легкость в построении и развитии образов, какая смелость и тонкость их сочетания, а как виртуозно и изящно владеет он словом. А в итоге возникает какая-то новая, особая правда, которой до него никто не говорил. После этого уже нельзя писать так, как писали раньше. И на этом пути, дорогой Алеша, тебя могут подстерегать две опасности — соблазн реализма и омертвление в догматизме. Бойся пойти по одному из этих уже протоптанных путей.

Ничего нового не создашь, ничем не удивишь этот старый мир. Поэт, художник — это творец, он пророк, он равен небожителям. Он всегда устремляется сквозь реально-эмпирическое в неизвестное, сверхчувственное, но единственно истинно сущее...

Алексей уходил от него совсем подавленный. Он многое воспринимал не так: гораздо проще, непосредственнее.

И уж вовсе не придавал такого значения технике стиха. Как пришло на ум, так и вылилось на бумагу. А подыскивать всякие там аллегии, символы — это ему никогда и в голову не приходило. Мать учила его писать о том, что он видел и знал, писать просто, понятно, доходчиво, чтобы понимал его как можно более широкий круг читателей. Оказывается, сейчас это уже устарело. А старомодным во все времена плохо, а уж в наше и подавно. Ну что ж, можно поискать и символ, адекватный объекту, раз в этом и заключается истинная сущность нового искусства.

Он снова перечитывал Бальмонта, Малларме, По. И действительно находил в уже прочитанном что-то новое и необычное именно в форме. Его снова тянуло к этому чудаковатому человеку, изобретателю и философу, с которым так трудно было и вместе с тем так интересно, как ни с кем другим.

Они читали вместе все новинки символистов, спорили, но эрудиция Константина Петровича как будто не знала предела, он легко разбивал возражения Алексея:

— Читай лишь свою жизнь и из нее понимай иероглифы жизни в целом, — Константин Петрович процитировал Ницше. И продолжал: — Главная цель искусства — символическое изображение предельного человеческого идеала, образ грядущего человека-бога, во имя появления которого трудилось все человечество на протяжении всех веков своего существования.

Человек-бог придет и скажет: «Для меня человечество трудилось, терзалось, отдавало себя в жертву, чтобы послужить пищей моему ненасытному стремлению к волнующим впечатлениям, к познанию, к прекрасному». Да, Бодлер прав, во имя этого стоят потрудиться.

Восторженность Константина Петровича передавалась и Алексею. Он и не заметил, как увлекся грандиозными перспективами, открывающимися перед поэзией символизма.

Дома Алексей часами ходил по комнате и заучивал наизусть пленительные по своей изысканности строки:

Когда луна сверкнет во мгле ночной
Своим серпом блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далеким, всем безбрежным...

Как музыкальны эти строчки! Какое-то убаюкивающее воздействие оказывают они на человека, словно отрешаешься ото всего реального, земного и совершаешь тихий полет в полусне в лунные просторы.

Алексей читал страничку за страничкой сборник Бальмонта и чувствовал сладкую грусть и какое-то необъяснимое томление. Весь мир казался далеким и ненужным с его борьбой и страстями, все окуталось какой-то прозрачной пеленой, сквозь которую даже самые реальные в своих очертаниях предметы теряют свою четкость, становятся зыбкими в своей неопределенности.

И Толстой снова стал писать стихи. А работая над стихами, все время ругал себя за то, что так отстал от современных эстетических учений. И вот он стоит перед выбором — или воспринимать окружающий его мир как реальную, всегда равную себе величину, или открывать в нем иной мир, таинственный, до сих пор не познанный,

но и немыслимый отдельно от реальности. По дороге реализма или по тропинке, проложенной еще немногочисленными символистами? На этот вопрос Алексей не мог ответить. То ему казалось, что он способен открыть какой-то неведомый и таинственный мир, приближающий его к познанию совершенной красоты человека-бога, то все это представлялось чем-то надуманным и скоропортящимся. А нельзя ли соединить реализм с символизмом? Почему нужно проводить резкую грань между этими явлениями и отбрасывать то, что сделано нашими предшественниками? Зачем нужно добиваться созерцания сущности явления, а само явление оставлять за пределами искусства, за пределами творчества? Зачем топтать могилы предков или предавать их забвению? А не лучше ли сохранить, сберечь все то, что ими оставлено ценного и непреходящего? Вот почетная задача нового человека и художника... Эти мысли приходили к нему, но не в ясных, чеканных формулах, а в смутных, неопределенных, еле уловимых ощущениях.

Однажды Толстой прочитал своему наставнику стихотворение, которое, думалось молодому автору, вполне его должно удовлетворить:

Он руку протянул над пятнами голов,
Толпа внимала затаенно —
Язык Богов
Она впивала упоенно
И тайны слов не понимала.
Но знал поэт, что где-то Бог.
Быть может там в черте песков:
В лесу среди лиан, смарагдных озарений.
Иль там, где моря дымный вздох;
Иль, может быть, в полях волшебных
сновидений.
Но знал поэт, что где-то Бог.

Он руку протянул, толпа упала ниц Пред
небожителем вселенной;
И он пошел средь моря тусклых лиц,
За грани знаемых границ.

Толстой опустил протянутую вперед руку,
внимательно всматриваясь в своего наставника, лицо
которого выражало явное одобрение.

Толстой на минутку задумался, лицо его снова
покрылось вдохновенной бледностью. Стал снова
читать:

Из хаоса теней, воссозданы во мгле
И ближе и ясней очертанные тени.
Сбегают от небес и тянутся к земле
Из мрамора зеленые ступени.
И блеклые лучи холодной пустоты
Рождают отсветы творений.
И ближе и ясней предсветные мечты,
И тянутся зеленые ступени.

— Пожалуй, Алеша, этим стихотворением ты можешь
открыть сборник или поместить его где-нибудь в самом
начале. Это программное...

К чему стремится творящая душа в своем
бессмертном порыве? Во имя чего все эти муки и
страдания поэта, равного богам, поставленного выше
тусклой толпы, далекой от понимания задач творца?
Поэт, как небожитель, сходит на землю, «бледный и в
огнях», чтобы слушать «тихие песни» и «тайны слез»
принимать:

Я сошел, чтоб ядом
Истомленных слов,
Полускрытым взглядом

Заманить к наядам
В замки синих снов.
Я пришел надменным —
Властелин пиров,
Чтобы в блеске пенном,
В очертаньи сменном
Развенчать Богов.

— Именно развенчать богов... Пора тебе издавать сборник стихов. Ты нашел свою форму, ты нашел самого себя... Пиши в том же духе...

И Алексей Толстой писал. Для него в это время «мир исканья полн»... Да и все чего-то ищут, спорят между собой. Белый, его кумир тех дней, создает поэтические «Симфонии», Скрябин поражает своими «цветовыми» экспериментами в музыке. Возникают новые направления...

С одной стороны, его по-прежнему увлекают художественные поиски Горького, Леонида Андреева, по-прежнему он восхищается Чеховым и Львом Толстым, а с другой — все больше и больше старается уловить смысл экспериментов символистов, вчитывается в книги Бальмонта, Белого, Блока. В его душе все зыбко, неустойчиво, переполнено контрастными противоречиями.

И эта сложность, противоречивость стремлений сказалась на сборнике, который он начал готовить. Трактую известную легенду об Икаре, которая стала темой одного из его стихов, молодой Толстой с восхищением пишет о том, что человек осуществил свое желание: «Орбиты дальних звезд пронзил полет бесшумный. Он к солнцу путь держал, великий и безумный, огней коснуться он хотел». Но конец героического порыва Толстой осмысливает в духе своего

времени: героическое больше не является нормой человеческого поведения.

В бездонной тишине пронесся крик бессильный

—

Укрой меня, о мрак могильный,
Мне страшно в вышине.

Великий порыв оборачивается безумием бессилия.

Лунатики, Вампурги, рогатые паны, «женщина в белом», «непостижимо вдохновенный поэт» и другие таинственные личности оказываются в центре внимания молодого Толстого. Лунатик Алексея Толстого, как и все, видно, лунатики, влюбленно смотрит на луну, поражается темным покоем, ее окружающим, весь устремлен в своих мечтах и чувствах вверх, потому что «внизу были тени, давила земля, убегали в неясность поля, внизу было скучно...».

«Внизу было скучно» — вот один из мотивов сборника.

В марте 1907 года вышла первая книга Алексея Толстого — сборник стихов «Лирика». На обложке работы Фандер-Флита стоят даты: «январь — март 1907 г.». Но писались стихи со второй половины 1906 года.

Символизм становится модным течением в литературе и искусстве. Открываются новые журналы, издательства, альманахи — «Золотое Руно», «Заратустра», «Орфей», «Скорпион», «Мусагет». Печатаются статьи и книги символистов, поднимается шум и полемика вокруг их теоретических разногласий. На какое-то время это литературное движение становится главенствующим. Одно из своих стихотворений Толстой посвятил Андрею Белому, который поразил воображение молодого поэта: всего

лишь на три года старше его, а уже знаменит своими яркими выступлениями и потрясающей эрудицией. Все, кому довелось видеть и слышать Белого, рассказывают о том огромном впечатлении, которое он производил своими выступлениями: он обладал редким даром заражать своих слушателей идеями, передавать им свои чувства и ощущения. В нем словно оживала огромная сила убеждения, искренность, вера. Толстой все чаще стал бывать в литературных салонах. Заводил знакомства с писателями, художниками, артистами. Душевная щедрость, бьющая через край энергия сразу открыли ему широкий доступ во многие известные литературные клубы. Валерий Брюсов ввел его в «Общество свободной эстетики», только что открывшееся, где он впервые публично стал читать свои стихи. Златоусты символизма, такие, как Мережковский, Андрей Белый, Валерий Брюсов, широко образованные, великолепно подготовленные, толковали в лекциях, беседах, застольях о том, что самая страшная опасность для искусства — это возврат к реализму. Символизм — вот самая совершенная форма созерцания, а творческое созерцание — единственный метод познания живой сущности явлений. Жизнь груба своими безысходными противоречиями, сложностями, кровавыми столкновениями. Уйти от всего этого грубого, низменного в мир прекрасных интимных переживаний... Так вещали златоусты. И молодому поэту, только недавно еще воспевавшему людей, готовых пожертвовать своей жизнью в борьбе за свободу, тоже казалось теперь, что такие темы сейчас не нужны: поэту не нужно быть утилитарным, полезным. Поэт — пророк, живущий вдали от шума общественных столкновений. Давно ли лилась кровь на мостовых, сооружались баррикады. Против царизма выступали многие поэты и писатели, в том числе и Бальмонт... А чего добились? Могучая и властная государственная машина

навалилась на эту маленькую кучку протестантов и раздавила ее, разбросала по огромной стране...

Вскоре после выхода сборника Алексей Толстой разочаровался в том, что написал. А много лет спустя совсем отказался от книги, назвав ее холодной и пустой. Вслед за ним этой же оценки первого сборника стихов придерживались и многие исследователи и биографы. А между тем дело обстоит гораздо сложнее: поздний Толстой был не совсем прав в оценке молодого Толстого, а исследователи слишком слепо пошли за высказываниями самого художника.

Есть в этом сборнике и стихи талантливые, самостоятельные.

Работая над сборником, Алексей Толстой писал отчиму: «...не знаю, понравятся ли тебе мои стихи; выбрал для них среднюю форму между Некрасовым и Бальмонтом, говоря примерами, и думаю, что это самое подходящее.

Исходная точка — торжество социализма и критика буржуазного строя... Мне обидно за наших поэтов — Ницше утащил их всех «в холодную высь с предзакатным сиянием...». К счастью, Ницше меня никуда не таскал, по той простой причине, что я ознакомился не с ним, а с г-ом Кагутским, и поэтому я избрал себе таковую платформу...»

И действительно, в сборнике есть стихи, которые внешне похожи на некрасовские. Большим сочувствием к несчастным рабам, идущим «под звон вечерний», пронизано стихотворение «Рабы».

Не видно лиц, согнуты спины,
И воздух темный дряхло стар
От дыма едкого сигар.
Так без конца текут лавины.

Нельзя, конечно, преувеличивать значение этого стихотворения, однако такие мотивы в русском символизме после революции 1905 года не так уж часты. Вот почему оно может свидетельствовать, что молодой Толстой действительно пытался соединить в своем творчестве некрасовские традиции и поэзию символизма.

Хороши в сборнике пейзажные и любовные стихи: «На диване забытый платок», «Струи огня задрожали», «В солнечных пятнах задумчивый бор», «Белый сумрак, однотонно», «Неподвижною ночью в долину сходили», «Душа грустна, как вздох цветов осенних», «Сбылось его желанье», «Рыдаешь ты»...

Но первая книга не принесла радости. Вскоре в современной ему поэзии и прозе зазвучали совсем иные темы и проблемы, появились «Ярь» и «Перун» Сергея Городецкого, «Сказки» Федора Сологуба, «Лимонарь» Алексея Ремизова. И Алексей Толстой понял, что его лирические опыты — вчерашний день в развитии русского символизма.

«КОШКИН ДОМ»

Лето Алексей Толстой провел в деревне Лутахенде, на берегу Финского залива. Наконец-то определились отношения с Софьей Исааковной, она решилась на совместную с ним жизнь.

Дачу сняли в самом лесу, на Козьем болоте, в скромной хибарке старухи Койранен. В один из первых же дней притащили сосновых и еловых веток, папоротника, шишек, и комнаты преобразились, словно стали светлев и шире. Алексей взял небольшую картонку и тут же намалевал кошку неопределенного лилово-зеленого цвета, и Дом принял веселый и уютный вид. «Кошкин дом» — так стала называть свое первое совместное жилище молодая чета.

«Посредине комнаты в «Кошкином доме», — вспоминал Корней Чуковский, бывавший в то время у Толстого, — стоял белый, сосновый, чисто вымытый стол, украшенный пахучими хвойными ветками, а на столе в идеальном порядке лежали стопками одна на другой очень толстые, обшитые черной клеенкой тетради по двести, а то и по триста страниц. Толстой, видимо, хотел, чтобы я познакомился с ними. Я стал перелистывать их. Они были сплошь исписаны его круглым, широким и размашистым почерком. Тетрадей было не меньше двенадцати. Они сильно заинтересовали меня. На каждой была проставлена дата: «1901 год», «1902 год», «1903 год» и т. д. То было полное собрание неизданных и до сих пор никому не известных юношеских произведений Алексея Толстого, писанных им чуть ли не с четырнадцатилетнего возраста! Этот новичок, начинающий автор... имел, оказывается, у себя за плечами десять, одиннадцать лет упорного труда».

С Чуковским Толстого познакомил Александр Степанович Рославлев, живший в той же деревне. Рославлев уже считался известным поэтом, был автором нескольких поэтических книжек. О нем писали Брюсов, Блок, Вячеслав Иванов. Держался он солидно, с достоинством, хотя стихи его были средненькие, во многом эпигонские. Но Толстой, которому он казался настоящим писателем, относился к нему с уважением и какой-то наивной почтительностью. И дело не только в разнице положения, но и в возрасте: Александр Рославлев был гораздо старше двадцатипятилетнего Толстого. Алексей часто приходил к нему, они подолгу разговаривали на различные темы, обсуждали доходившие из Петербурга новости, пили пиво, а потом читали друг другу собственные стихи. Рославлеву тоже нравился этот спокойный, неторопливый молодой человек, с таким простодушием и вниманием слушавший его стихи. Его доверчивые глаза, мягкая рыжеватая бородка, легкая полнота, придающая неповторимую осанистость, компанейский, веселый нрав — все это как-то сразу располагало к нему. Вот тогда-то и познакомил Рославлев Алексея Толстого с таким же молодым литератором, как и он, Корнеем Чуковским, его сверстником, но уже широко начавшим печататься в различных газетах и журналах.

Однажды Алексей зашел к Чуковскому и застал его работающим за письменным столом, на котором небрежно валялись гранки очередной статьи, присланной по почте из «Весов». Ему еще не приходилось вычитывать гранки, держать корректуру. И он, пытаясь подавить в себе чувство зависти, со скрытым волнением произнес:

— Как упоительны эти слова: гранки, верстка, корректура, редакция, корпус, петит... Сколько в них манящего волшебства...

— Будете и корректуру держать, и ходить по редакциям, еще надоест, — покровительственно успокаивал молодого поэта Корней Чуковский: он-то уже был на коне.

Как раз к середине 1907 года Корней Чуковский активно стал сотрудничать в журнале «Весы», получая задания непосредственно от Валерия Брюсова. Ведь именно Корней Чуковский в конце прошлого года буквально разгромил книжку К. Бальмонта, вышедшую в издательстве «Знание». Именно его, Корнея Чуковского, так отчитала в своем «Письме в редакцию» Елена Цветковская, пытаясь снять облыжное обвинение с Бальмонта. Помнил Алексей Толстой и ответ Корнея Чуковского в том же двенадцатом номере «Весов» за прошлый год, ответ хлесткий, беспощадный, уничтожающий. Встреча с таким литератором вызывала у него сначала сдержанность, какую-то напряженность. Но потом, когда поближе познакомились, эта скованность быстро прошла: они были сверстниками, стремились к одному и тому же — завоевать место на литературном Парнасе. Они вместе ходили купаться в ближайшую речушку, гуляли в лесу, по берегу Финского залива. Никогда еще Толстой не чувствовал себя таким бодрым и сильным, как здесь, в деревне Лутахенде. Софья рядом с ним. Все просто, естественно. На вольном воздухе щеки его округлились, взгляд стал еще доверчивее и простодушнее, а пухлые, почти детские губы придавали ему такой беспечный вид, что казалось, по выражению Чуковского, он задуман на тысячу лет. В его походке, говоре, манере смеяться чувствовалась несокрушимая, непочатая сила степняка. Но таким он только казался на людях. Оставаясь же наедине с письменным столом, книгами и чистыми листками бумаги, он терял эту уверенность, испытывая чувство беспокойства. Встречи и длительные прогулки с Чуковским и Рославлевым, наезжавшими столичными

писателями укрепляли его решение полностью отдаться литературному труду, но и все еще пугало необеспеченное будущее.

Много и напряженно работал Толстой в деревне. Часами просиживал он над сборниками народной поэзии, собраниями русских сказок, постигая глубины народного языка. Здесь же он начал «поэтический лирико-эпос», о чем сообщал в письме тетушке Марии Леонтьевне Тургеневой, но ничего из написанного в то время не сохранилось. Видимо, все это было только подготовительным материалом и не представляло самостоятельной ценности.

В эту осень, вернувшись в Петербург, Толстой и Дымшиц долго не могли найти подходящей квартиры: сначала поселились на Пушкинской, потом переехали в деревянный особнячок на Гладовской, где тоже прожили недолго. Вскоре сняли комнату в квартире художницы Е. Н. Званцевой. Здесь, на Таврической, 25, Е. Н. Званцева, ученица Репина, организовала школу живописи. Вот это-то и привлекло сюда Алексея Толстого и Соню. Соня, а вместе с ней и Алексей Толстой не захотели поступать в Академию художеств, как предполагали совсем недавно. Отпугивал слишком консервативный дух и традиционность профессоров. Летом они часто говорили о Серове, Врубеле, о работах художников группы «Мир искусства». Новые темы, оригинальные приемы письма, своеобразие и раскованность таланта каждого из них привлекали к себе начинающих художников. А в школе Званцевой как раз и преподавали Бакст, Добужинский, Ансфельд, довольно часто бывал К. Сомов.

«Придя в школу со своими этюдами и рисунками, — вспоминала С. И. Дымшиц много лет спустя, — мы попали к Баксту, который очень несправедливо отнесся к работам Алексея Николаевича, талантливым и своеобразным. «Из вас, — сказал Бакст Толстому, —

кроме ремесленника, ничего не получится. Художником вы не будете. Занимайтесь лучше литературой. А Софья Исааковна пусть учится живописи». Алексея Николаевича этот «приговор» несколько разочаровал, но он с ним почему-то сразу согласился, думаю, что это не была «капитуляция» перед авторитетом Бакста, а скорее иное: решение целиком уйти в литературную работу».

Георгий Чулков в книге «Годы странствий» вспоминает эпизод, рассказанный ему самим Алексеем Толстым: «В молодости учился он в школе живописи, устроенной Е. Н. Званцевой и Е. И. Карминой. Художники твердили, что надо писать не то, что существует объективно, а только то условное, что видит глаз. «Я так вижу» — стало ходячей формулой. Однажды Толстой, рисуя дюжего натурщика, приделал ему голубые крылья, а когда к мольберту подошел преподаватель и, недоумевая, спросил: «Что это такое?» — Толстой невозмутимо ответил: «Я так вижу». Кажется, это был его последний урок живописи».

Увлечение живописью было действительно всего лишь эпизодом в его жизни. Всерьез и на всю жизнь поманила его трудная судьба литератора. И сразу же после приезда из деревни Лутахенде он засел за работу. Первое стихотворение, написанное им в Петербурге, помечено 10 сентября 1908 года. Этим стихотворением начинается записная книжка: «Голубое вино. Книга VI». А где остальные пять? О них ничего не известно. Все это, видимо, для автора не представляло художественного интереса и уничтожалось им. Осенью кое-что стало появляться в печати. В первых номерах только что открывшегося журнала символистского направления «Луч» вышли его стихи «О грузде», «Ховала» и статья «О нации и о литературе». В журнале «Образование» были напечатаны стихи «Скоморохи». Но пятьдесят пять стихотворений, вошедших в «Голубое

вино», так и не появились в печати: Толстой понимал всю непригодность их к публикации. Эти неопубликованные стихи, как и первые публикации после «Лирики», любопытны тем, что в них ощущается сдвиг, пусть пока и еле заметный, в сторону реалистического отношения к окружающему миру. Влияние символистской поэтики все еще сказывается, но не прошел даром и его интерес к русскому народному творчеству. В стихах запестрели поговорки, пословицы, диалектные словечки. Это увлечение молодого Толстого не случайно: он последовал за новой волной интереса к русской старине, которая оформилась в литературе. Недаром стихотворение «Ховала» было им посвящено А. М. Ремизову, с которым недавно познакомился. Маленький, невзрачный, чудаковатый, с лукавым взглядом из-под очков, с вечно торчащим на голове хохолком, чем-то похожий на добродушного домового, Ремизов в своих сказках «Лимонаре», «Посолони» поражал Алексея Толстого прежде всего как стилист, как счастливый искатель словесных кладов.

Примечательна и статья Толстого «О нации и о литературе». Молодой поэт выступает за то, чтобы продолжать традиции русской литературы в современной поэзии, чтобы овладевать всеми богатствами русского языка: «Язык — душа нации — потерял свою метафоричность, сделался газетным, без цвета и запаха. Его нужно воссоздать таким, чтобы в каждом слове была поэма. Так будет, когда свяжутся представления современного человека в того, первобытного, который творил язык».

Фольклорные мотивы, славянская мифология, народные сказки и песни, патриархальная крестьянская жизнь на какой-то момент неожиданно стали центральными темами в развитии литературного движения. Художники, каждый, разумеется, по-своему, пытались решить для себя один и тот же вопрос — о

предназначении России и русского человека в ходе тысячелетнего исторического процесса.

Интерес к истории, к различным ее этапам, к языку как первооснове художественного творчества, к фольклору был следствием определенных общественных сдвигов в России. Недавнее поражение в войне с Японией породило среди различных слоев русского общества недовольство, уныние, оскорбило достоинство гражданина великой страны. Параллельно со здоровым интересом к русской старине усугублялись настроения упадка и бессилия. Некоторые политические деятели обратили внимание на попытки кучки молодых литераторов и художников сочетать в своих произведениях политику с мистикой и эстетизмом. И не только обратили внимание, но и поддерживали их материально. И вот эти молодые писатели, художники и музыканты оказываются в центре художественного движения страны. Быстро становятся известными, модными: Рябушинские не жалеют на это своих миллионов, издавая себе в убыток «Золотое Руно». В гостиных и салонах начинают толковать об оккультизме, об антихристе, в сети теософии попадают все больше и больше людей, еще вчера о ней ничего не слышавших. Увлекаются синематографом и детективными романами. Размышляют, подобно Пьеру Безухову, над звериным числом. Практика столоверчения входит в быт чуть ли не каждой дворянской или буржуазной гостиной.

Осенью Алексей приехал в Москву читать свои стихотворения в «Общество свободной эстетики». Только тогда Мария Леонтьевна узнала, что он разошелся с Юлией.

Он о таком жаром говорил о Соне, что Мария Леонтьевна почувствовала: он этой женщиной гораздо больше увлечен, чем Юлией, когда был ее женихом. Все это тревожило. Волновали и стихи его — они ей нравились.

Алексей пробыл в Москве два дня. Уехал в Петербург, а вскоре вернулся с Соней.

— Это моя жена, — представил Алексей, — хотя мы не можем венчаться.

Мария Леонтьевна была поражена ее красотой и отметила про себя: что-то есть ленивое в ней. В этот же день пошли они обедать в ресторан, это был обычай, когда Алексей приезжал в Москву. Евгений Степанович Струков, близкий друг Тургеневых, тоже был в Москве в это время. Алексей с Софьей шли впереди, а Мария Леонтьевна с Евгением Степановичем немного отстали.

— Ну попался теперь его сиятельство, — говорил Евгений Степанович, — дорого это ему теперь будет стоить, замотают его вконец.

Марья Леонтьевна заволновалась.

— Почему это вы так думаете?

— Модернистка она.

«Вот, — подумала Мария Леонтьевна, — умный человек, а пунктики есть, поэтому несправедлив».

Алексей между тем беспокоился, как быть с разводом и даст ли его Юлия.

Погостив немного, они уехали. Жили в Петербурге пока врозь, он в номерах, она у родных. Все это было неладно и беспокойно.

Вскоре Мария Леонтьевна получила известие, что Юля развод дает. Алексей Николаевич взял всю вину на себя. Юлия Васильевна стала свободной и вскоре вышла замуж. Толстой же не мог официально оформить свой брак с Софьей Исааковной: она была уже замужем, и муж ей в разводе отказал. В 1908 году заболел и умер маленький сын Рожанской и Толстого. Так все их прошлое было перечеркнуто.

Первые успехи в литературе настроили Толстого оптимистически: он навсегда решил связать себя с литературой. Жребий брошен, пора всерьез подумать о своем будущем. Наконец-то давившая его неопределенность исчезла, он почувствовал в себе уверенность. Теперь-то он знал, что делать. Подобранные для работы книги, Алексей Толстой и Софья Дымшиц стали собираться в Париж, где он сможет заняться своим литературным образованием, а она поступит в какую-нибудь школу живописи.

В один из последних дней перед отъездом Толстой получил письмо от тети Маши. Во время недавней встречи в Москве он просил ее припомнить народные слова и обороты, поделиться с ним наиболее интересными легендами, поверьями, сказками. Вскрывая конверт, он надеялся, что тетюшка не забыла о его просьбе. И не ошибся: тетя Маша подробнейшим образом выписала ему все народные выражения, какие только припомнила. Правда, он рассчитывал на большее, но встречались и чудесные выражения, несколько подзабытые им самим или совсем ему неизвестные.

...Жалко мне девицы
Дам ей рукавицы
Поп то не венчает
За сыночка чаёт
Дьякон то не служит
Сам по девке тужит
Пономарь не звонит
Сам по девке стонет... —

читал Алексей. Ата, вот наконец и о летуне. Он помнил давнее поверье, но плохо, и теперь он с удовольствием читал: «...во всех селах держится поверье, что он существует. Он в виде змея или огня. Он

страшен, но и заманчив. Больше он прилетает к тоскующим женам, которые схоронили мужей. Спросит: «Ну что вдова, тоскует?» — «И да как тоскует, к ней летун начал прилетать — и эта беда большая, все ее уговаривают, чтобы служила молебен... за упокой души покойного... Что он летает, это еще полбеды, а вот если тоскующую вдову приучит к себе и по ночам будет оборачиваться в покойного и начнет ее ласкать, да жить с ней — тогда уж почти нет спасения — все будет его ждать да и любить, изведется, ни есть, ни пить не станет, да и сама в сыру землю уйдет. Это, конечно, основано на нервном расстройстве и снах с видениями. Но где я ни жила в селах — всегда были тоскующие вдовы и летуны их посещали. А еще есть легенда и убеждение, что ужи привораживают коров и сосут их молоко. И эта корова перестает давать молоко и от любви и тоски по ужу делается как скелет. Такую корову спасти невозможно: «Горе горькое, погибла коровушка»... «Любить» это слово стыдное, не хорошее, означает грех, любить полюбовниц. «Жалеть» это хорошая любовь, чистая. «Она его жалеет», по нашему сильно и хорошо любит... Пока довольно — задал задачу ты мне. Нынче ни свет ни заря проснулась и все припоминала...» Алексей дочитал и представил себе эту дорогую, мудрую, милую тетушку Машу в ее одноэтажном маленьком домике в Москве, в вечных хлопотах, постоянных заботах. Сами собой напрашивались строчки:

За окнами тихо; мороз голубой,
Улицы, тумбы, заборы.
Тетушка вяжет петлю за петлей,
Искрятся в стеклах узоры.
Старая тетушка смотрит в очки,
Поет самовар, завыванье сверчка,
Мебель из старой гостиной...

«Хочешь чайку, еще жив самовар;
Скушай варенья, мой милый».
Ложкой по банке в буфете стучит
Тетушка в шали пуховой,
Пузан самовар все кипит да кипит.
«Морозец сегодня здоровый!»

Перед Парижем Алексей решил побывать у Алексея Аполлоновича: давно не видались.

Поездка по родным местам, встреча с отчимом всколыхнули в нем детские и юношеские воспоминания, каждая вещь напоминала ему мать. Алексей в один из тягучих зимних вечеров набросал стихотворение «В ночной степи», посвященное памяти матери.

Париж в январе 1908 года, когда прибыли сюда Алексей Толстой и Софья Дымшиц, был все тем же притягательным центром художественных исканий. Жизнь по-прежнему бурлила здесь, и никому, казалось бы, не было дела до крупнотелого молодого человека, приехавшего, чтобы всерьез заняться литературным творчеством. Сколько перевидел Париж вот таких, как Толстой, начинающих, и редко эти начинающие добивались подлинного успеха. Сколько трагедий разыгралось здесь, сколько талантливых людей загинуло. И сколько великих именно здесь прошли подлинную художественную школу, получили мировую известность.

Парижские соблазны ненадолго отвлекли Толстого от работы: еще в «Кошкином доме» он написал несколько сказок в духе русского народного творчества, читал их в кругу своих друзей; нравилось, находили удачными эти опыты; в Париже продолжал работать над сказками, посылал их в столичные журналы, некоторые из них печатали. Так был создан сборник «Сорочьи сказки». Вскоре он вышел в издательстве

«Общественная польза». О своем пребывании в Париже Толстой сообщал Бострому: «...только уже писать тут не очень-то удобно. Слишком много впечатлений. Но потом, думаю, наладится дело. Сборник я уже закончил, скоро отсылаю его в Питер. Прозу пока я оставил, слишком рано для меня писать то, что требует спокойного созерцания и продумывания». В этом же письме идет речь о рассказе «Старая башня», который он послал в журнал «Нива», где тот и был опубликован в мае месяце. Как-то ожили в нем воспоминания о практике на Невьянском заводе, особенно поразила его тогда легенда, рассказанная одним из старожилов, — о старинных часах в заводской башне. Предание гласило, что обычно звонят они к какой-нибудь непоправимой беде. Отослать-то отослал в журнал, но вскоре разочаровался в написанном. Он увлекся таинственностью ситуации, которая, как ему казалось, могла служить надежной гарантией читательского интереса. «Нива» и напечатала этот рассказ потому, что как раз и служила этим целям — удовлетворению массового спроса на детективные и фантастические сюжеты. Рассказ был насыщен густыми, мрачными красками и звуками: «скрежет резцов рвал воздух на узкие и пестрые полосы»; «вдруг в темноте повис удар колокола, как будто сорвалась тяжелая, угрюмая тень»; «В наших душах растут дикие леса и бродят неведомые звери. Когда человеку открываются глаза на чудесное, он, потерянный для жизни, бродит, как отшельник, и призывает Бога. Он глядит сквозь стены и слышит невиданные голоса». Весь рассказ выдержан в духе символизма. Угадывается влияние Ремизова, Сологуба, Сергеева-Ценского. Именно в это время становится модным сказочность сюжета, отвлеченность, абстрактность характеристики, полная оторванность от реальных событий, отрешенность человеческих переживаний от конкретных социальных проблем.

Начинающего прозаика мало интересует бытовая обстановка, характеристики действующих лиц, язык персонажей, портретные детали. Весь интерес его сосредоточен на впечатлении, вызванном таинственным звоном башенных часов. Именно после этого рассказа Толстому стало ясно, что он все еще не готов писать прозаические вещи, требующие особых навыков.

В Париже он часто встречался с Бальмонтом, Брюсовым, Минским, Гумилевым, Волошиным, познакомился с молодыми художниками Белкиным, Петровым-Водкиным, Широковым и со всеми «русскими парижанами», которые бывали в мастерской Е. С. Кругликовой. Пожалуй, самым ценным и значительным было знакомство, перешедшее в дружбу, с Максимилианом Волошиным.

Однажды Толстой пожаловался ему, что самое трудное для него в творческой работе — это воспроизведение речи людей:

— Понимаете, Макс? Хочется запомнить все оттенки этой речи и передать ее со всеми подробностями, а вот чувствую, не получается. Много раз я уже наблюдал, как моя мать, писательница, работала над пьесами, как она совершенно конкретные, реальные факты вводила в сюжет своих драм. Однажды я был при том, как мой вотчим нанимал косцов, а потом читал об этом у матери в пьесе «Жнецы». Он всегда ей все рассказывал. И от меня ничего не скрывали. Мать у меня из старинного дворянского рода. До сих пор в Заволжье стоит дом, где она родилась и выросла. А сколько интересного я узнал от ее сестры, моей тетушки Марии Леонтьевны Тургеневой, сколько семейных преданий и легенд хранится в ее памяти, сколько смешного, трогательного и трагического происходило в этом доме...

Алексей Толстой вспомнил свою давнюю поездку в Тургеневу и готов был долго рассказывать о своих родных и близких. Но Макс перебил его:

— Знаете, вы очень редкий и интересный человек. Вы, наверно, должны быть последним в литературе, носящим старые традиции дворянских гнезд. Сейчас почти все прозаики и поэты увлечены городом, его противоречиями, вслед за Верхарном и Рембо все меньше и меньше пишут о деревне, о быте крестьян и помещиков. А вы хорошо знаете деревню, прожили там долгие годы. У вас прекрасный, сочный язык, вы умеете так увлекательно рассказывать. Вы можете написать целый большой цикл рассказов и повестей о деревенском быте. Только не спешите, нужно найти свой стиль...

Алексей Толстой внимательно вслушивался в слова Макса, втайне он радовался им, но боялся открыто высказать свой восторг от удачно найденной темы. Скрывая свое возбуждение, он рассказал о семейных преданиях, легендах и хрониках. Говорил долго, но неторопливо, подбирая слова и выражения, чтобы не спугнуть то радостное волнение, которое возникло при словах Макса.

Совсем недавно Алексей и не знал Волошина, а сейчас не может представить своей жизни без этого доброго и умного бородача. И как все просто получилось. Сел напротив него и улыбнулся. В ясной, широкой улыбке Макса Алексей прочитал бесконечную готовность моментально ответить на все вопросы, любопытство к своему собеседнику, а главное, он так смотрел и улыбался, что сразу же исчезла всякая грань, обычно разделяющая двух незнакомых людей.

«Живя в Париже, — писала в своих воспоминаниях С. И. Дымшиц, — вращаясь в среде Монмартра, среди французских эстетов, встречаясь с эстетствующими «русскими парижанами», ужиная чуть ли не ежевечерне в артистических кабачках, Алексей Николаевич оставался гостем, любопытствующим наблюдателем — и только. Сжиться с атмосферой западноевропейского

декаданса этот настоящий русский человек и глубоко национальный писатель, разумеется, не мог... Работал он изо дня в день по строго заведенному расписанию. Садился за стол рано утром, трудился до обеда, а затем, после перерыва, — до вечера. Многие из написанного, если оно его не удовлетворяло, он безжалостно уничтожал. Помню, как однажды он бросил в огонь большую рукопись, повесть, которую он писал довольно долго, но так и не закончил. Мы сидели у камина, Толстой читал, а затем спросил о моем мнении. Я высказала ряд замечаний критического характера, которые, видимо, совпали с его авторскими ощущениями. Тогда Алексей Николаевич очень спокойно положил рукопись в пламя камина. Я схватила щипцы и принялась спасать повесть. Но пламя было жаркое, Алексей Николаевич мешал мне, и рукопись сгорела. «Так и надо, — приговаривал Толстой, удерживая меня. — Повесть-то плохая». Этот поступок был очень характерен для него. Он работал много и к своей работе относился без всякого снисхождения... В течение почти целого года, который мы провели в Париже, только два события вывели Алексея Николаевича из заведенного им темпа работы. Это было известие, пришедшее от Юлии Васильевны, о смерти его малолетнего сына, последовавшей от менингита. Алексей Николаевич очень тяжело переживал смерть ребенка. В другой раз это была кратковременная поездка в Петербург, которую он совершил без меня (я была связана посещениями художественной школы и не могла ему сопутствовать).

Поздней осенью мы вернулись из нашей первой парижской поездки домой, в Петербург, на Таврическую улицу, 25».

ПРИЗНАНИЕ

Весной 1909 года Алексей Толстой начал посещать «Академию стиха» — объединение молодых поэтов при Литературно-художественном кружке, где занятия проводили Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский. Среди слушателей были Николай Гумилев, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Юрий Верховский. Много дали Толстому лекции Иннокентия Анненского. Длинный, сухой, красивый старик, все еще ходивший в педагогическом мундире (он много лет был инспектором и директором различных гимназий), поразил начинающего поэта проникновенным знанием русской классики, особенно Лермонтова. Когда он начинал читать знакомые с детства стихи, словно открывался новый мир, столько несравненной задушевности и необъятной глубины несло его исполнение. Анненский своими знаниями, бескорыстием и добротой сразу пленил сердца молодых слушателей, сразу стал непререкаемым авторитетом, хотя большинство его стихотворений не были напечатаны; «Кипарисовый ларец» вышел после его смерти.

Выступал в «Академии стиха» и Андрей Белый. «Андрей Белый, — вспоминает В. Пяст, — привлек в качестве материала для исследования даже стихи «Алексея Толстого-младшего», — так называл он вот этого — тогда — поэта».

Много было разговоров в Петербурге вокруг нового журнала «Аполлоп». «Золотое Руно» и «Весы» закрылись, и новый журнал был просто необходим. Немало серьезных надежд возлагалось на него, но немало и веселых анекдотов и шуток ходило по городу в связи с этим литературным событием.

Все лето Алексей Толстой и Соня Дымшиц провели в Коктебеле, на даче Волошина. Вернулись в Петербург только поздней осенью.

На очередном заседании «Академии», куда пришел Алексей Толстой, только и было разговоров о новом журнале. Юрий Верховский, тоже поэт, объявил, что вышел первый номер «Аполлона» под редакцией Анненской, Волошина и Волынского.

— А что общего между ними? — вскользь бросил кто-то.

— Что общего между Волынским и Волошиным? Только вол. А между Волынским и Анненским? Только кий, — весело каламбурил Верховский.

Алексей Толстой давно был знаком с этим очаровательным человеком, настоящим поэтом и серьезным филологом, у которого, несмотря на его каламбуры и шуточки, кажется, не было ни одного врага, настолько он был кроток, бескорыстен, а его ленивая мечтательность и неумение устраивать свои житейские и литературные дела стали просто легендарными. Не раз он бывал в доме у Толстого и засиживался далеко за полночь, читая свои стихи.

Здесь, в «Академии стиха», Толстой присутствовал при острой дискуссии Иннокентия Анненского и Вячеслава Иванова о путях развития символизма. Оба блистали филологической эрудицией, но позиция Вячеслава Иванова была шире и поэтому привлекательнее для молодых ревнителей изящной словесности. А Толстому было жаль Иннокентия Федоровича. Он разглядел в нем под маской строгого и делового чиновника человека живого и остроумного, с глубоким поэтическим даром. Иннокентий Анненский, в свою очередь, обратил внимание на молодого поэта. И когда «Аполлон» предложил маститому поэту высказаться с полной свободой и откровенностью о

текущей литературе, он тепло отозвался о первых литературных шагах Алексея Толстого.

Во втором номере «Аполлона» в статье «О современном лиризме» Анненский писал: «Граф Алексей Н. Толстой — молодой сказочник, стилизован до скобки волос и говорка. Сборника стихов еще нет. Но многие слышали его прелестную Хлою-Хвою. Ищет, думает; искусство слова любит своей широкой душой. Но лирик он стыдливый и скупое выдает пьесы с византийской позолотой заставок...»

Редактором и организатором нового журнала стал Сергей Маковский, сын известного художника, выступивший не так давно с поэтической книжкой, регулярно печатавший статьи по искусству.

Алексей Толстой по рекомендации Волошина побывал у него и был приятно удивлен ласковым приемом. Сергей Маковский поразил необыкновенной изощренностью в одежде. Сам Толстой любил хорошо одеваться и много тратил на свои туалеты. Но тут было совсем другое. Ни у кого еще Толстой не видел таких высоких двойных воротничков, такого большого выреза жилета, таких лакированных ботинок и так тщательно отутюженной складки брюк. А главное, что особенно поразило в наружности редактора, — это его пробор и нахально торчащие усы. И действительно, как вскоре убедился Толстой, апломб и безграничная самоуверенность были чуть ли не главными чертами редактора нового журнала.

И не только поэтому Толстой испытывал сложные чувства во время беседы с главным редактором; наконец-то он начинает сотрудничество с солидным журналом. Но какова будет направленность журнала?

Сергей Маковский с первых же слов почувствовал эту неопределенность в настроении молодого поэта.

— Вы, должно быть, знаете, почему мы решили назвать наш журнал «Аполлоном»? В самом заглавии —

избранный нами путь. Это, конечно, менее всего найденный вновь путь к догмам античного искусства. Мы будем поддерживать все новое, дерзающее... Аполлон — только символ, — доносилось до Алексея, — далекий зов еще не построенных храмов, возвещающий нам, что для искусства современности наступает эпоха устремлений к новой правде, к глубоко сознательному и стройному творчеству; от разрозненных опытов — к закономерному мастерству, от расплывчатых эффектов — к стилю, к прекрасной форме и к животворящей мечте. Всякий ответит по-своему. Всякий принесет с собой то, что взлелеяно им и освещено его верой. Будут несогласия, будут споры, будут самые противоречивые решения. «Аполлон» хотел бы называть своим только строгое искание красоты, только свободное, стройное и ясное, только сильное и жизненное искусство за пределами болезненного распада духа и лженоваторства. Это определяет также и боевые задачи журнала: во имя будущего необходимо ограждать культурное наследие. Отсюда — непримиримая борьба с нечестностью во всех областях творчества, со всяким посяганием на хороший вкус, со всяким обманом — будь то выдуманное ощущение, фальшивый эффект, притязательная поза или иное злоупотребление личинами искусства... Я не утомил вас, дорогой Алексей Николаевич?

— Нет-нет. — И Толстой стал рассказывать, что недавно прочитал книгу Багрина «Скоморошьи и бабьи песни», она только что вышла в Петербурге, поразительно невежественная. Багрин истинно народное в песнях выхолащивает и по языку и по содержанию. Ведь Россия кажется единственной страной, где сохранилась еще живая старина, где Рерих и Билибин могут воочию видеть быт допетровского времени, а фольклористы записывать былины одиннадцатого века... Тем более возмущаешься, когда

теперь, во время всеобщего призыва к охранению старины, находится человек, который просто-напросто взял Соболевского и по-своему прокорректировал эти песни; выбросил архаизмы, параллелизмы, уничтожил объективность и преподнес — вместо острой, пахнувшей землей мудрой народной песни — обсосанные свои слащавые романсики. Но самое удивительное — эта книжонка удостоена восторженной рецензии в «Новом времени». Такие книги портят вкус у доверчивой публики...

— А вы напишите рецензию, раскройте несостоятельность такого подхода. Вам это легко сделать. Мы собираемся давать «Письма о русской поэзии». В этот раздел как раз подойдут ваши рассуждения об этой книге. Но мы-то ждем от вас более крупных произведений... Мне говорили, что вы задумали повесть о современной жизни?

— Да. Я давно уж наблюдал жизнь близких мне людей. Готовые типы... Но работа в самом разгаре. Не знаю, что получится...

— Прошу вас передать эту повесть нашему журналу...

И вот сейчас, вернувшись из Коктебеля, Алексей Толстой усердно взялся за осуществление своего давнего творческого замысла, возникшего в результате разговора с Волошиным. До этого надо было проверить себя как прозаика на небольших рассказах, а тут задумана целая повесть. Справится ли он с этим? Действительно ли литература является его призванием? Или лучше закончить институт? Эти мысли по-прежнему не оставляли Алексея Толстого. Во всяком случае, в письме к Марии Леонтьевне Тургеневой он сообщал о намерении закончить институт.

26 апреля 1910 года тетя Маша отвечала ему: «Желаю 5-й выдержать экзамен. Трудненько это тебе будет да уж понатужься — хоть с плеч долой эта

канитель. Как уж ты успеешь с работами? Напиши, как придумал... Думается о тебе, как ты в Питере одинок и точно заброшен и страшно жаль тебя... Сладишь ли чтобы не писать вовремя экзаменов — это тяжкое лишение — и писать и долбить невозможно. Напиши, хоть коротенько, очень болит сердце о тебе».

Но как будто и писательская судьба Толстого складывалась благоприятно: осенью 1909 года в «Новом журнале для всех» (№ 12) напечатали рассказ «Архип», во втором номере «Аполлона» — «Весенние стихи. Хлоя», в седьмом, декабрьском, номере журнала «Утро России» — рассказ «Семья Налымовых», в различных сборниках и альманахах стали выходить его сказки, стихи, рассказы, пьеса-сказка «Дочь колдуна и заколдованный царевич»...

Толстой никак не мог отделаться от чарующего влияния символистов; со многими из них он уже был знаком. Одно время Толстой любил бывать у Вячеслава Иванова. Хозяин поражал своими разносторонними знаниями, выступали многочисленные гости. Алексей больше помалкивал, боясь попасть впросак.

Но после 1907 года пришло разочарование в «старом» символизме, в абстрактных и бессодержательных образах. Здоровая натура Алексея Толстого влекла его к реальным людям, реальной природе, реальным конфликтам. Он понимает, что уж слишком похожими оказываются все те, кто приходил к Вячеславу Иванову, рабски копируя манеру метра символизма. Сами по себе разные и колоритные в жизни, а в стихах оказывались удивительно одинаковыми.

Бальмонт, Брюсов, Блок, Белый, Вячеслав Иванов стали «столпами» символизма именно в силу того, что они никому не подражали, шли не проторенными в русской поэзии путями. Шедшие же за ними следом ничего нового не дали своим читателям. Первые

символисты поразили Толстого своей высокой филологической культурой, широтой и глубиной образования. Он терялся и многого не понимал на «средах» Вячеслава Иванова, особенно когда в разговор вступали Андрей Белый, Брюсов, Бальмонт, Мережковский. Еще несколько лет назад Толстой просто благоговел перед этими метрами. А что теперь? Ведь многие уже стали отходить от избранного ранее пути, ищут чего-то нового, более созвучного времени.

Даже Андрей Белый, казавшийся таким далеким от современных вопросов и проблем, и то заговорил в своем творчестве о жизни как источнике художественных исканий. В предисловии ко второму своему сборнику стихов «Пепел» (1909 г.) он впервые, может быть, выводит свою поэзию из сферы условных и абстрактных красот в мир реальных сложностей и трагических противоречий. Если в первом сборнике поэт предстает пророком, пусть осмеянным и непонятым, то теперь А. Белый утверждает поэта как гражданина своей страны, кровно и близко воспринимающего все, что совершается в мире. «Действительность всегда выше искусства, и потому-то художник прежде всего человек». К этому выводу теоретик символизма пришел только после революции 1905 года. Совесть поэта уже не позволяет ему уноситься в надзвездные миры или придумывать несуществующих фавнов и кентавров.

Работая над сказками, песнями, изучая первоисточники народного творчества, Алексей Толстой много думал в эти дни о народе. Но его отношение к народу было скорее пассивно-созерцательным: он гордится Россией, ее культурой, только смотрит на народ как бы издалека. Он собирал сказки, песни, афоризмы, возмущался теми, кто искажал и упрощал народное творчество.

Совсем недавно ему казалось, что вся жизнь и личность художника — стройная система антиномий, как

говаривали на «средах» Вячеслава Иванова, что только художник обладает правом и обязанностью восходить от каждого частного проявления к мировой душе и погружать себя в беспредельность, что только художник является беспощадным отрицателем мира, и никто не знает, как он, насколько ничтожен весь пир мироздания перед чистой грезой о совершенном... Совсем недавно ему казалось, что такое искусство требует соответственного утончения и преображения самого художника, отрыва его ото всего земного, потому что искусство выше жизни. Теперь его увлекают идеи саморастворения художественной личности в народной стихии.

Нет, он должен писать о том, что хорошо знает, что, сам или его близкие пережили и передумали. Он должен восстановить как художник недавно минувшую жизнь со всеми ее достоинствами и недостатками, со всеми ее болями, радостями, противоречиями. Тем более что складывалась благоприятная творческая обстановка: «Аполлон» заинтересован в нем как прозаике. А в том, что он создаст нечто новое в задуманном цикле повестей и рассказов, Алексей Толстой ничуть не сомневался.

Перед тем как поехать в Крым, Толстой на несколько дней завернул в Москву по делам, а заодно и навестил любимую тетушку Машу. Уговаривал ее поехать с ними в Крым, она же отказалась:

— В далекое путешествие ехать мне трудно и расходисто. Жары мне очень тяжелы, мне лично надо умеренную жару. Близость Москвы мне тоже улыбается, уж где-нибудь под Москвой сниму себе дачку... Мы теперь тихо живем... Лева не пьет, занимается, слава богу, даже не верится, что выправится.

Алексей Толстой, слушая тетушку, все время мысленно переносился в Тургенево, где происходили два года назад бурные, мелодраматические события, так

больно отразившиеся на отношении тети Маши к своему несчастному племяннику.

После этого разговора прошло несколько месяцев, но не выходила у Алексея из головы мысль написать об этой истории. Наконец засел за повесть, которую он так и назвал «Неделя в Туреневе». О подлинном писалось легко, ничего не стал выдумывать, домысливать, только чуть-чуть заретушировал, изменив имена и фамилии. И вот повесть уже готова, она принята редакцией «Аполлона», а его самого включили в список ближайших сотрудников, которых должен изобразить на коллективном портрете сам Головин.

Собираясь в мастерскую Головина, где должны были позировать для общего портрета Волошин, Гумилев, Кузьмин, Брюсов и многие другие известные поэты и художники, Алексей Толстой невольно вспоминал встречи и разговоры с этим замечательным художником и человеком. За короткий срок своей литературной деятельности он познакомился со многими писателями и художниками в мастерской Головина. Кто только не бывал здесь... Серов, Константин Коровин, братья Васнецовы, Поленов, Врубель, Малютин, уже не говоря о Дягилеве, Бенуа, Философове...

Алексей Толстой высоко ценил эскизы декораций к «Кармен», где талант Головина как театрального художника раскрылся в полную силу. Головин оформлял «Руслана и Людмилу», «Дон-Кихота», «Призраки» и «Женщину с моря» Ибсена, «Лебединое озеро»... Слышал Толстой и многочисленные упреки в адрес Головина: дескать, его декорации, пышные костюмы порой заслоняют сущность пьесы, а в результате возникает противоречие между внешней формой и содержанием. Но все чаще и чаще о Головине говорили как об умном человеке и изумительно талантливом художнике, изобретательность которого неисчерпаема, а как колористу ему нет равных в мире. Говорили, что

Роден был потрясен великолепием постановки «Бориса Годунова» во время показа этого спектакля в Париже...

В хорошем настроении поднялся Толстой в мастерскую Головина. Но замысел коллективного портрета совершенно неожиданно был разрушен и на неопределенное время отложен. В мастерской Головина произошло событие, которое надолго привлекло внимание литературной общественности; кто-то пустил грязную сплетню о молодой поэтессе Елизавете Дмитриевой, сейчас более известной под именем Черубины де Габриак, а сплетню эту приписали Николаю Гумилеву. Волошин, под покровительством которого Дмитриева вступила в литературу, близко принял к сердцу эту сплетню и поверил, что Гумилев мог быть ее автором. И в этот день в присутствии многочисленных посетителей мастерской грубо оскорбил Гумилева, который незамедлительно вызвал его на дуэль. Секундантом Волошина согласился быть Алексей Толстой.

Дуэль состоялась 22 ноября 1909 года, о чем немало писалось в газетах.

2 декабря Мария Леонтьевна писала Толстому: «Очень встревожилась, когда прочла в газетах, что ты был в секундантах, как бы тебе это по прошло даром...» Но все обошлось благополучно. На литературной репутации Толстого событие не отразилось. Более того, дела его пошли успешнее. Во всяком случае, Макс Волошин 17 декабря писал А. М. Петровой: «Толстых вижу не часто. Он идет вперед гигантскими шагами. Его последние повести пророчат в нем очень крупного романиста. Его литературная дорога уже обеспечена».

Действительно, после публикации повести «Неделя в Туреневе» и материальные дела Толстого резко пошли на поправку: издатель «Шиповника» С. Ю. Копельман предложил Толстому договор, по которому издательство ежемесячно выплачивало по 250 рублей за право

публикации всех его будущих произведений, при этом, естественно, за каждое новое произведение гонорар выплачивался особо. Этот первый литературный договор, заключенный Алексеем Толстым, окончательно определил его литературную судьбу.

«Около года мы прожили на старой квартире: на Таврической улице, — вспоминала Софья Дымшиц, — а затем осенью 1910 года сняли четырехкомнатную квартиру-мансарду на Невском проспекте... Жизнь наша шла по заведенному Алексеем Николаевичем распорядку: она вся строилась так, чтобы он мог работать строго организованно. По утрам, после завтрака, мы совершали прогулку. Затем, вернувшись, Алексей Николаевич наливал в большой кофейник черного кофе и уходил работать в свой кабинет. Я отправлялась в школу живописи Званцевой, где моим консультантом был К. С. Петров-Водкин, и возвращалась домой к шести часам. К этому времени на обед приходил к нам кто-либо в гости. Алексей Николаевич выходил из кабинета, все еще погруженный в мысли, тихий и молчаливый. Но очень скоро он превращался в веселого и гостеприимного хозяина, в остроумного рассказчика и внимательного собеседника. Пообедав, Алексей Николаевич охотно брался за рассказы. Рассказывал он увлекательно. Сядет в кресло, заложив ногу на ногу, и, набив пенковую трубочку табаком «Кепстен» и изредка посасывая ее, рассказывает на самые разнообразные темы. Был он тогда молод и жизнерадостен и удивительно легко заражал своим весельем слушателей и собеседников. Никогда не смеялся первым: скажет что-нибудь смешное, вызовет смех, удивленно раскроет рот, точно изумляется неожиданному эффекту, и лишь после этого разразится громким хохотом. Рассказывая и слушая других, он вместе с тем ни на минуту не выпускал из поля зрения окружающих, наблюдал за ними внимательнейшим образом. И после ухода гостей,

подметив в беседе что-то новое, бежал в кабинет и заносил свои впечатления в записную книжку».

В начале 1910 года вышла четвертая книжка «Аполлона», где была опубликована повесть «Неделя в Турене». А двадцатого февраля Толстой получил письмо от тети Маши: «Дорогой Алеханушка, прочла повесть. Но я не могу быть судьей: слишком это близко и те чувства, которые так недавно пережиты и болезненны в душе, затемняют самую повесть. Осталось тяжелое чувство взворошенных не зажитых ран. Но все же и я чувствую тонкий юмор, который во всей повести. Одно место в этой повести мне кажется слабым — это то, что все действующие лица, по-моему, не могли оставаться без действия во время пожара. Они должны были в это время забыть и Николушку и Машутку. Пожар в деревне такое событие угрожающее, что оно заслоняет собой все. Не быть на пожаре, не принять деятельного участия в тушении немыслимо. И это место бледно».

Весной 1910 года Алексей Толстой и Софья Дымшиц побывали в Киеве. Гуляли в городском саду, восхищались Днепром, наперебой цитировали Гоголя. Задорно и весело говорили об искусстве. Так много было впереди увлекательной работы, так много роилось замыслов. Именно здесь, в окружении прекрасной и расцветающей природы, возник у Толстого замысел написать роман «Две жизни».

Много лет тому назад недалеко от Киева, в Скрегеловке, жил его прадед по материнской линии, генерал Багговут. Скрегеловка после смерти деда досталась трем сестрам Тургеневым. Мария Леонтьевна и мать Толстого рассказывали об этом добром и беспечном генерале, проигравшем в карты три имения, знаменитом своими похождениями. Толстой начал собирать материалы о жизни своего прадеда и его жене. Что-то стало вырисовываться. Но писать было еще рано,

не созрел замысел. В рассказе «Смерть Налымовых» он уже попытался прикоснуться к семейным преданиям, показал гибель одного из последних отпрысков некогда знаменитого рода. Но там много было мистического, суеверного. В конце рассказа он отдал дань тогдашней моде — не мог обойтись без таинственности, некой фантастичности в развитии событий: «Налымов знал, что за стеной уже давно стоит Анфиса. Снаружи по стеклу провела она костяной рукой, и, словно изваянное, лицо ее вглядывалось сквозь закрытые веки.

«Вот ты и пришла, — подумал Налымов, — не мучай меня, войди!»

В поступках и действиях последнего Налымова нет психологических мотивировок. Предопределенность вымирания всего налымовского рода тоже ничем не мотивирована. Рассказ Глебушки весь пронизан мистическими поверьями... Да и сама Анфиса входит как реальное действующее лицо, описывается ее платье, капли дождя на лице... Сейчас так уже нельзя писать, считал Толстой. Нужна более реалистическая мотивировка происходящего. Трагедия налымовского рода не от рокового стечения обстоятельств, а главным образом от подлости человеческой натуры одного из них, своим грязным обвинением толкнувшего несчастную женщину на самоубийство. И все они, Налымовы, были похожими в своих поступках и поведении. Поэтому судьба этого рода была предопределена. И последний Налымов своей смертью словно предназначен для искупления тяжкой вины перед Анфисой. Он умирает легко, сознавая, что его род получил прощение той, которую все они погубили. Рок, предопределенность казались тогда Толстому необходимыми движущими силами и сюжетного развития, и человеческого поведения.

А между тем в современной, близкой ему литературе все чаще стали появляться реалистические

произведения, все чаще стали поговаривать о непременном соединении символизма с реализмом. Андрей Белый, затем Макс Волошин, Сергей Городецкий, Алексей Ремизов заговорили о необходимости новых поисков в искусстве.

Алексей Толстой понимал, что семейные хроники, рассказанные матерью и тетюшками, открывают ему единственную возможность пойти в литературе собственным путем.

После «Смерти Налымовых» и «Недели в Туреневе» Алексей Толстой начал работу над рассказом «Аггей Коровин». Заглавие — по имени героя повествования, необыкновенного мечтателя, всю жизнь прожившего в глуши, где все предопределено обычным ходом раз и навсегда устоявшегося быта. Такие усадьбы и таких владельцев Толстой встречал немало. Ему рассказывали о Борисе Тургеневе, дальнем родственнике, мечтателе, любившем поваляться на диване и хорошо поесть. В нем было что-то и от Обломова и от Манилова.

Алексей Толстой представил себе человека с породистым лицом, часами мечтающего о делах, но неспособного на какие-либо решительные перемены в жизни. Лишь однажды после десяти лет одинокой жизни пришел он в смятение, не выдержав скуки, и засобирався за границу. Вызвал приказчика, велел достать денег, но, когда вспомнил, что перед отъездом надо выправлять паспорт, повидать родных, переделать уйму дел, тут же остыл: ничего радостного за граница ему не сулила, шумно там, суета.

После этого рассказа Толстой вернулся к замыслу романа о генерале Багговуте и его жене. На даче под Ревелем, у брата Софьи Дымшиц, он почти все лето работал над романом «Две жизни». Две судьбы, столь непохожие, привлекли внимание Алексея Толстого: уж очень колоритны в своих индивидуальных проявлениях характеры действующих лиц, неукротимы их страсти,

порывы, заманчивы сложность и противоречивость их отношений.

События, положенные в основу романа, были очень близки к тем, которые происходили лет двадцать пять тому назад в его родной семье. И он стремился правдиво передать характеры действующих лиц: в Сонечке легко угадывается Варя Тургенева, а в Смолькове — ненавистный молодому Толстому ее муж Николай Николаевич Комаров; в Илье Леонтьевиче Репьеве — его родной дед Леонтий Борисович Тургенев.

Он написал несколько глав довольно быстро, а потом почувствовал, что дальше писать не может: слишком плохо еще знает материал и некоторые подробности, без которых не возникает неповторимое ощущение правдивости воспроизводимых картин жизни, да и не мешало бы вновь полюбоваться приволжской природой, посмотреть, как живут его родственники, которые еще сидели в своих поместьях. Так возникла у него мысль поехать за Волгу за дополнительными материалами для романа: выдумывать теперь ему казалось никчемным занятием, раз дело касалось конкретных, реально живших людей.

Тем же летом Толстой поехал по Самарской и Симбирской губерниям, где еще были живы родственники по материнской линии. Навестил Григория Константиновича Татарина, дядю Гоню, к которому в имение свозили все наиболее ценное из распродавшихся с молотка фамильных поместий и реликвий. Сам Алексей Толстой только что расстался с небольшим имением Коровино, так что процессы, происходившие в деревне, были ему близко знакомы: Уходила в небытие часть старой дворянской Руси, неспособная к ведению хозяйства в новых экономических условиях.

У дяди Гони он выпросил архив своего деда — Леонтия Борисовича Тургенева, забрал портреты прадеда Багговута. В Петербурге он целыми днями

занимался разборкой и чтением архива деда, читал его письма, документы. Благодаря этим архивным находкам образ Ильи Леонтьевича Репьева приобрел более точные, конкретные очертания, перестал быть таким расплывчатым, неуловимым, каким он сначала представлялся по его детским воспоминаниям. Снова помогла ему Мария Леонтьевна своими рассказами и воспоминаниями, всегда наполненными конкретными деталями, столь ему теперь необходимыми.

Осенью Толстые занимались устройством своего нового семейного гнезда. «Денежные дела наши были плохи, — вспоминает С. Дымшиц, — и, чтобы закончить ремонт «по средствам», мы воспользовались советом нашего приятеля — известного театрального художника Судейкина: купили дешевые коридорные обои, оклеили этими пестроклеточными обоями одну комнату, на другую комнату использовали их обратную сторону, в третьей и четвертой кистью изменили рисунок обоев... На новой квартире Алексей Николаевич написал «Заволжье»... Как сейчас вижу обстановку, в которой Толстой впервые прочитал вслух «Заволжье». Обычно до того, как читать новые вещи посторонним, Алексей Николаевич читал их мне, избегая присутствия гостей. Но на этот раз он был так обрадован своим рассказом, так гордился им, что не стал дожидаться ухода гостя-художника, а выйдя из кабинета с рукописью в руках, тут же в столовой, облокотись на спинку стула, стоя прочитал нам рассказ. Мы оба с восхищением встретили эту вещь».

По договору с С. Ю. Копельманом эта повесть была немедленно сдана в очередной альманах «Шиповника», а вслед за альманахом в издательстве «Шиповник» появилась книга Алексея Толстого «Повести и рассказы». В конце того же 1910 года вышла его книга под названием «Сорочьи сказки» в издательстве «Общественная польза», а в самом начале 1911 года в

издательстве «Гриф» — «За синими реками». Это был несомненный успех молодого писателя, представившего на суд читателей и литературной общественности почти сразу три книги, очень разные по своим жанрам, но близкие и единые по своим устремлениям.

Мелькает его имя в еженедельнике «Солнце России», в газетах «Речь» и «Утро России», в журналах «Новая жизнь», «Огонек», «Новый журнал для всех», «Всеобщий журнал», «Русская мысль», «Черное и белое», печатается Толстой в различных альманахах и коллективных сборниках.

Вскоре он вошел в литературную и художественную среду Москвы и Петербурга, познакомился и подружился с писателями и художниками, бывал на званых вечерах, в клубах, в литературных кафе и ресторанах.

Почти одновременное появление трех книг Алексея Толстого не прошло незамеченным: в газетах и журналах стали появляться отклики. Критики и рецензенты отмечали, что у «графа А. Н. Толстого есть свои краски и свои слова», что повесть «Заволжье» является значительным произведением, что по таланту молодой художник ничуть не уступает таким признанным писателям, как Федор Сологуб и Алексей Ремизов. О «Сорочьих сказках» самые добрые слова высказал Волошин. Книга «так непосредственна, так подлинна, что ее не хочется пересказывать — ее хочется процитировать всю с начала до конца. Это одна из тех книг, которые будут много читаться, но о них не будут говорить... В сказках Алексея Толстого нет ни умной иронии Сологуба, ни сиротливой, украшенной самоцветными камнями грусти Ремизова. Их отличительная черта — непосредственность, веселая бессознательность, полная иррациональность всех событий... Все в них весело, нелепо и сильно...» Чуть позднее в газете «Утро России» (28 мая 1911 года) все тот же М. Волошин писал в рецензии на книгу «За

синими реками»: «Гр. Алексей Толстой очень самостоятельно и сразу вошел в русскую литературу. Его литературному выступлению едва минуло два года, а он уже имеет имя и видное положение среди современных беллетристов».

Несколько сдержанней отнеслись критики и читатели к роману «Две жизни», но «Хромого барина» встретили восторженно. О Толстом писали самые модные и известные критики: Амфитеатров, Чуковский, Ф. Степун, С. Андрианов, Ивапов-Разумник, Вяч. Полонский.

К этому же времени относится и высокая оценка произведений Алексея Толстого А. М. Горьким. «Рекомендую вниманию Вашему книжку Алексея Толстого, — писал он М. М. Коцюбинскому 21 ноября 1910 года, — собранные в кечу, его рассказы еще выигрывают. Обещает стать большим, первостатейным писателем, право же!» Тогда же он просил обратить внимание А. В. Луначарского, читавшего лекции в Высшей социал-демократической школе, «на нового Толстого, Алексея — писателя, несомненно, крупного, сильного и с жесткой правдивостью изображающего психическое и экономическое разложение современного дворянства... Вам было бы приятно и полезно познакомиться с этой новой силой русской литературы».

Накануне первой мировой войны Толстой пробует свои силы в драматургии: 30 сентября 1913 года — премьера пьесы «Насильники» в Малом.

В большевистской газете «Путь правды» 26 января 1914 года Алексей Толстой вместе с Горьким, Бунинным, Шмелевым, Сургучевым отнесен к тем реалистам, которые рисуют «подлинную русскую жизнь со всеми ее ужасами, повседневной обыденщиной».

Так пришло подлинное признание его большого таланта художника.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ В ОГНЕННОЙ КУПЕЛИ

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ

Эта война началась для Алексея Толстого неожиданно, как и для многих других. Ее ждали, говорили о ней. Все, казалось бы, готовились к ней, во всяком случае, чуть ли не во всех газетах предупреждали о подготовке Германии и Австрии к войне. Европейские страны жили словно на давно успокоившемся вулкане: извержения не было, но где-то в глубине недр еле слышались подземные перекаты. И все делали вид, что не стоит обращать внимания на них. Так длилось долго. И думалось, что такая неопределенность будет бесконечной. Поэтому к выстрелу в Сараево прислушались немногие, ибо редко кто мог тогда предугадать трагические последствия этого неожиданного исторического эпизода.

Все это время, еще до выстрела в Сараево, Алексей Толстой жил какими-то неясными предчувствиями перемен. Внешне жизнь его складывалась благополучно. Он был принят всюду, везде ждали его произведений. Самые модные салоны Москвы и Петербурга, где бывали известные писатели, актеры, художники, политические деятели, открыли для него свои двери. И ничего удивительного: некоторым он импонировал как известный писатель, а другим как граф, титулованная особа. Он бывал принят в салонах Е. П. Носовой, Г. Л. Гиршман, М. К. Морозовой, князя С. А. Щербатова, С. И. Щукина...

Как резко эти салоны отличались друг от друга. Сколько живых, колоритных черт и черточек для Алексея Толстого, наблюдений характеров, настроений, вкусов...

Сколько здесь перед его глазами происходило смешного, сколько разыгрывалось драматических

историй. А какие контрасты, какие противоречия... Евфимия Павловна Носова, сестра Рябушинского, любила иной раз упомянуть, что предки ее вышли из крестьян. А теперь стены и потолки ее дома расписывали Добужинский и Сомов. И вместе с этим здесь, в этом доме, было столько показной, безвкусной роскоши.

В салоне Генриэтты Леопольдовны Гиршман очень гордились портретами хозяйки и ее мужа, исполненными знаменитым Валентином Серовым, так рано умершим. Сколько раз Алексей Николаевич замечал в глазах хозяйки восторженный блеск, когда она демонстрировала свою знаменитую коллекцию живописи, скульптуры, графики. Но что прельщало ее в предметах искусства: их подлинная уникальность, художественная ценность или выгодное помещение денег?

Салон князя Сергея Александровича Щербатова выделялся особенной изысканностью и простотой. Жена князя тоже вышла из крестьянской среды. Сколько в ней сдержанности, такта, сердечности. Именно эти черты передал Серов в ее известном портрете. У Сергея Ивановича Щукина, собравшего уникальную коллекцию новейшей западной живописи, Алексей Толстой вместе с Соней слушал Скрябина, захватившего своей игрой и его, не такого уж любителя музыки.

Как-то он устроил в своем доме маскированный бал. Уж очень ему и Соне хотелось утереть нос всем этим меценатам и показать им, как надо веселиться. Правда, много было хлопот и беготни, пришлось выносить мебель из всех комнат, а в одной из них устроить буфет; пусть у него было не столь богато, как в иных домах, но зато насколько непринужденнее, веселее, раскованнее вели себя приглашенные. Большой успех у гостей имела детская ванночка, в которой стояли вино и лимонад. Шуткам не было конца. А когда в полночь явились актеры Малого театра и выступили с веселыми

импровизациями, все собравшиеся поняли, что бал удался на славу и надолго останется в памяти. Опасения Сони, что напрасно они пригласили богатых меценатов, оказались неоправданными; он-то замечал, как завидовали богатеи искреннему веселью, которого хватило на весь вечер. Художник Мнлиотти, милый, симпатичный человек, рассказывал потом, сколь была удивлена успехом этого маскарада Евфимия Носова, которую он провожал домой. Она не могла понять, как Толстые, судя по всему, относящиеся к полунницей богеме, сумели устроить такой, по ее словам, «эффектный бал».

Алексей Толстой мысленно перебирал многие былые встречи, разговоры. Сколько перебивало в его доме людей за это время. Артисты Большого и Малого театров... Яблочкина, Гельцер, Максимов... А сколько художников... И все интересные, вероятно, будущие знаменитости... Сарьян, Павел Кузнецов, Милиотти, Георгий Якулов... И еще художник Лентулов, в чьем доме он впервые встретился с буйным, непоседливым Владимиром Маяковским, который запомнился ему своей развевающейся крылаткой.

Кажется совсем недавним тот вечер у Лентулова, когда Маяковский, проиграв весь свой только что полученный гонорар, схватил в пылу азарта лист бумаги и стал играть в долг. Это его и спасло. Гонорар был отыгран, и он даже остался с выигрышем. Маяковский радовался тогда совсем по-мальчишески. А потом, на Воробьевых горах, он читал им свои стихи, поражающие парадоксальностью мысли и причудливостью формы. Читал страстно, проникновенно, будто вколачивал гвозди. Он умел заставить верить в себя. Теперь все это позади, ничто уж не вернется и не повторится: ни исторические заседания литературно-художественного кружка на Большой Дмитровке, ни хлопоты по организации книгоиздательства, ни азартные встречи с

Буниным, Телешовым, Вересаевым, Серафимовичем. Канули в прошлое и тихие вечера в доме Валерия Брюсова, когда хозяин за скромно накрытым столом спокойно и размеренно читал свои стихи, деловито и авторитетно высказывал критические замечания. А смешной Северянин — высокий, худой, большеносый, напудренный, вызывающе игравший великого эго-поэта... А какое славное лето провели они в прошлом году на даче у композитора Александра Тихоновича Гречанинова, недалеко от Нового Иерусалима. Сколько хлопот и радости уже тогда доставляла начавшая ходить дочурка. Именно там он закончил повесть «За стилем» и начал «Овражки».

И вот теперь из-за того, что в мире накопились трагические противоречия, которые могут быть разрешены только силой, оружием, все это налаженное, устоявшееся пойдет прахом. Страшно подумать, что ждало всех впереди. А тут еще у него начался разлад с Соней... Первое охлаждение он ощутил несколько месяцев назад: куда-то улетучилась былая теплота, взаимопонимание, чуткость; неопределенность тяготила. Позже во время одной из прогулок он решительно сказал Соне:

— Я чувствую, что ты уйдешь от меня.

Соня промолчала тогда, но затем стала настаивать на своем отъезде в Париж.

Предчувствие не обмануло Толстого, и вскоре они расстались.

В это лето чувство беспокойства прочно вошло в его сознание: правильно ли он живет, не слишком ли много он и люди его круга уделяют времени беззаботным удовольствиям и веселью, не пора ли заняться чем-то серьезным?

Понятно, он пишет книги, пьесы, но все это теперь ему казалось чем-то ненастоящим и ненужным, и все чаще его охватывала тоска, неудовлетворенность самим

собой и жизнью, которой он до сих пор жил. Казалось, что весь мир, все люди на краю гибели. Близится катастрофа, а он ничего не сделал и не может сделать для ее предотвращения. Ничего. Неужели окружающие его люди — умные, начитанные, симпатичные — не чувствуют того, что чувствует он?

В один из июньских вечеров, прогуливаясь по пустынному берегу Коктебельского залива, Алексей Толстой вдруг увидел, как словно из-за воды неумолимо поднимался будто налитый кровью густо-багровый лунный шар. «Над миром встает звезда смерти», — мелькнула в сознании мысль. Он не был суеверным, но в тот миг он никак не мог понять, почему могло вспыхнуть в нем предчувствие опасности, какой-то доселе невиданной катастрофы. И странное дело, признается он впоследствии, после этого его охватило непостижимое равнодушие к повседневным делам, к самому себе. Правда, работал он, как и всегда, регулярно. Написал здесь рассказ «Четыре века», задумал трагедию «Опасный путь (Геката)», но бросил незаконченной. И оставил он ее неоконченной, видимо, потому, что в основу ее положил тему мировой войны, нравственного распада человечества, решившись доказать, что и убийство может быть очищающим, может оказаться последним испытанием на пути к освобождению. Но вскоре, оставив трагедию на третьем действии, Алексей Толстой понял, что он не прав: подобная идея не может цементировать сюжет.

Зато легко дался ему рассказ «Четыре века». Четыре поколения людей показал он в нем. Ему помогало то, что хорошо знал такие семьи, в которых отцы и дети как бы воплощали в себе противоположные черты своего времени. Например, Комаровы... Теперь-то он не так будет прямолинеен, как в повести «Неделя в Туреневе», хотя кое-что из их жизни, безусловно, войдет в хронику вымышленной им семьи Леоновых. Он представил себе,

как в старом городе над Днепром доживает свой век Авдотья Максимовна Леонова, барыня крутого, решительного нрава. Некогда ее побаивались даже губернаторы, а вице-губернаторы, получив назначение, как правило, привозили к ней своих жен на поклон. Она рано овдовела, «муж ее, Петр Леонов, твердо веря, что крепость России в православии и дворянстве, не захотел, подобно многим, напускать на себя французского духу, вместо освобождения выпорол крестьян обоего пола, за что и был ими сожжен вместе с усадебным домом». От мужа осталась дочь да письмо, в котором он излагал свои взгляды и принципы. Дочь свою Авдотья Леонова воспитала в строгости, наперекор новым веяниям. Замуж выдала за небогатого, но скромного и тихого дворянина. И совсем не ожидала, что этот скромный и тихий зять нанесет ей неотвратимый удар: он оказался нигилистом, проповедником новых идей. Мало того, он успел заразить своими идеями и дочь, которая бросила все и уехала вслед за мужем в ссылку. Осталась Авдотья Максимовна с внучкой Наташей. Шли годы. Подросла внучка. После дворянского бала, на котором Наташа пользовалась большим успехом, бабушка спросила, кто же из молодых людей полюбился ей больше всего. Внучка без всякого стыда назвала имя того, кто ей очень понравился... «Сильно подивилась Авдотья Максимовна ответу и долго еще после ухода внучки качала головой. В ее время на подобный вопрос девицы ревели. Варвара Петровна ответила в свое время: «Воля ваша, маменька». А третье поколение выросло бог знает какое — не было в нем ни степенности, ни истинной веры, даже не упрямое оно было, не своевольное, без гордости, без сильных страстей. Не за что было Наташу ни ругать, ни хвалить очень; была она податлива как воск, мечтательна в меру и ленива. И не то что бабушка баловала ее, а просто в голову не приходило в чем-либо отказать, так мило

умела выпросить внука все, что хотела. Два поколения взрастила она... К тому же и времена подходили странные и народ стал чужой».

Вскоре внука забеременела. Старая барыня в третий раз принялась хлопотать о приданом — теперь уже для правнучки. «Во время этих забот Авдотье Максимовне пришлось принимать много торговых людей и самой выезжать из дома. После долгих десятилетий она вновь увидела жизнь. Новая жизнь удивила ее и ужаснула, — она совсем не походила на прежнюю: не осталось ни тишины, ни почтения, ни ленивой кротости; народ стал бойким и проворным; точно это была и не русская земля... Подходили жуткие времена». И она ничего не могла сделать. Видела в семье внуки что-то неладное. Слишком много скрытности, осторожности, расчетливости, не было в их жизни прежнего размаха. Все вокруг пошатнулось, и Авдотья Максимовна перестала ужасаться, окончательно предоставив людям жить как хотят.

Все равно нельзя было узнать у них, чего они хотят, во что верят и что считают высшим человеческим долгом. Бездельному веселью и флирту отдавала все свое время внука Наташа. Неумолимые перемены не остановила и русско-японская война. Люди совсем отбились от рук, собирались толпами, ходили с флагами, сожгли за чем-то театр, в котором погибло много ее знакомых. Подростала и правнучка, своевольная красавица, признававшая только одно — свои желания. Старый дом стал часто наполняться веселыми голосами ее друзей и подруг, отплясывающих под немыслимое брэнчанье гитары и мандолины. Авдотья Максимовна пришла в ужас, когда увидела, как ее правнучка без стыда и совести схватила за шею одного из своих знакомых и, весело смеясь, стала его целовать. А потом они скакали по залу, кружились. «Это было бесовское действо.... Она хотела перекреститься, но рука, налитая

свинцом, только дрожала, — не поднималась». С ужасом на лице, все-таки добравшись до образов, Авдотья Максимовна скончалась.

Алексея Толстого могли спросить: а кто идет на смену? Такие безвольные, как Наташа, или такие ветреные, как Гаяна?

...В этот день, вспоминал впоследствии Алексей Толстой, он сидел в Феодосии на берегу моря с удочкой в руках. К нему подошел знакомый местный журналист и сказал:

— А вы знаете, сегодня приехал наш депутат из Петербурга, такие страсти, я вам доложу, рассказывает: будто мы накануне большой войны, а воевать будто бы можем только так — отдадим немцам Варшаву, австрийцам Киев, турки займут Крым — это единственный способ провести кое-как нашу мобилизацию. — Тут он наклонился к таинственно зашептал: — Можете себе представить, говорит, сербские офицеры убили эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника австрийского престола. Австрия, несомненно, воспользуется этим и применит военные санкции к Сербии. Знают, что Россия не готова в войне. И если Россия не вступится за Сербию, то австрийцы при содействии Германии проглотят ее. Весь мир готовится к войне, только в Петербурге по-прежнему царит безмятежное спокойствие. Если, говорит, государь будет и дальше вести дело таким же образом, то, конечно, турки оттяпают нашу Феодосию вместе с Коктебелем. Я, конечно, не националист, но можете себе представить, что будет, если турки окажутся здесь.

Алексей Толстой тут же ушел с поплавка, купил газеты, но там была только краткая информация о злодейском убийстве эрцгерцога. Всерьез он никогда не занимался политикой. В его кругу это считалось занятием грубым, недостойным художника. Но даже он

знал, что повсюду в России открыто действовали немецкие компании, повсюду в городах возникали фундаментальные здания банков в берлинском стиле. На многих командных высотах в промышленности и в армии были немцы, и это говорило о том, что Россия вовсе не собиралась воевать с Германией. Да и все русское общество, казалось ему, жило одним днем, беспечно веселилось, увлекаясь то индусской мистикой, то двусмысленными откровениями В. Розанова, то пластическими танцами Иды Рубинштейн. И настолько велика была уверенность в прочности и незыблемости этого «прекраснейшего» мира, что никто не обращал внимания на то, что уже давно пахнет порохом, а Балканы — самый настоящий пороховой погреб. В его среде никто и не думал, что нужно воевать с немцами; пусть воюют с ними Франция и Англия, у них давние территориальные счеты и соперничество на море.

Алексей Толстой пробыл в Коктебеле еще целых три недели. Вести из Петербурга доносились противоречивые. Да и коктебельская жизнь снова захлестнула его, отодвинула на второй план его недавние сомнения и опасения. Маргарита Павловна Кандаурова, семнадцатилетняя балерина Большого театра, существо возвышенное и чистое, всецело завладела его душой и сердцем. И коктебельское общество с гораздо большим интересом следило за развитием этого романа, чем за ходом неумолимо надвигающихся исторических событий. «В то лето я жил в Коктебеле, на даче Волошина, — вспоминал Алексей Толстой двадцать лет спустя. — Помню даже место (около оврага по пути из деревни), где прочел в «Русском слове» телеграмму об убийстве эрцгерцога, — не было никаких комментариев, будто так, без причины, громынуло из ясного неба.

Коктебельское общество — писатели, адвокаты, танцовщицы, актеры, — пожалело несчастную Сербию,

которой австрияки, несомненно, всыпят, и на том разговоры и прогнозы кончились. На завтра снова ясное небо».

Только возвращаясь из Крыма, на Харьковском вокзале он узнал о мобилизации. На другой день уже стали встречаться товарные поезда с мобилизованными. Из открытых дверей выглядывали возбужденные лица, слышалась яростная игра гармоник и разухабистые песни. На остановках из окон экспресса летели в военные эшелоны газеты, папиросы и воинственные крики: «Братцы, на Берлин!»

С приездом в Москву Алексей Толстой сразу попал в шумный водоворот событий. Всюду толпы возбужденных людей, всюду военные в походной форме. На Кузнецком мосту в день всегородского сбора пожертвований в пользу Красного Креста знаменитые артисты и артистки обходили с подносами публику. На подносы сыпались ассигнации, ожерелья, серьги, браслеты. Купеческая знать гордо ходила по Москве: пришло их время, никто ведь еще не воевал без денег, а деньги стеклись к ним.

В Петербурге проводились патриотические демонстрации у Зимнего дворца, с трехцветными национальными флагами, с портретами царя, пением гимна. Хозяин популярного ресторана «Вена» тут же переименовал его название. Менялись и другие названия. Все немецкое изгонялось из русского обихода.

Приехавший в Москву философ-идеалист Розанов рассказывал, что в столице творится что-то неопишное:

— На улицах народ моложе стал, в поездах моложе... Все забыто, все отброшено, кроме единого помысла о надвинувшейся почти внезапно войне, и этот помысел слил огромные массы русских людей в одного человека... Даже ночью в Петербурге царит какое-то особенное настроение, какое, пожалуй, все мы испытываем единственный раз в году — в пасхальную

ночь. По всему чувствуется, настал последний спор, и борьба будет окончательной. В русском народе — глубоко историческое чувство. Он сознает громаду свою, мощь свою... Повсюду слышатся только призывы к единству, призывы забыть все домашние былые споры и разногласия...

Розанов рассказал о том, как толпа разгромила германское посольство:

— Говорят, что народная толпа в Петербурге стала бурной и угрожающей, сорной и порочной. Ничего подобного. Когда группа человек в 200–300 принесла «трофеи» разгрома, отнятые у германцев, а именно портреты государя и государыни, к подъезду редакции одной газеты, где я случайно оказался, то они пропели гимн очень стройно. Все они были навеселе, но не было между ними ни одного пьяного. Они упрашивали принять портреты, не понимая, что это германская собственность, что это не трофей, а кража. Но ведь они не учились, откуда же им было знать такие вещи. Я, смешавшись с толпой, со многими разговаривал. Передо мной стояли люди-простецы, обыкновенные русские люди, ничему или почти ничему не выученные, и грех их как раз в этой невыученности и заключался. Все они смотрели на свои действия как на геройство. А по-другому они и не могли поступить. Есть вещи, которых темный человек совершенно не понимает; и он особенно трудно различает границы между «можно» и «не можно», между «хорошо» и «грех». И как мне было грустно, прямо-таки страшно, когда я узнал, что этих людей на другой день обозвали «громилами», совершившими «хулиганский поступок». Нет, уверяю вас, в ту ночь не было совершено и капли злодеяния.

В Москве становилось все тревожнее, носились самые невероятные слухи. После приезда в Россию президента Франции Пуанкаре, заверившего, что в случае войны с Германией Франция исполнит свой

союзнический долг, всем стало ясно, что Россия на этот раз не уступит своих позиций на Балканах. А между тем сразу после его отъезда Вена предъявила ультиматум Сербии, в котором вина за сараевское убийство всецело возлагалась на сербских офицеров и чиновников, им потворствовавших. Далее следовали явно провокационные требования, которые заведомо не могли быть приняты ни одним самостоятельным государством, дорожащим своим достоинством и честью. Говорили, что, как только министр иностранных дел Сазонов получил извещение об этом ультиматуме, он воскликнул: «Да, это европейская война!» Тем не менее царское правительство через Сазонова посоветовало Сербии проявить умеренность и осторожность в ответе на ультиматум и по возможности не оказывать сопротивления. Стало известно, что Сазонов разговаривал и с германским послом, надеясь остудить воинственный пыл его страны. Но в Берлине были готовы не только поддержать австрийский ультиматум, но и воевать с Россией и Францией. В Москве ходили слухи, что Вильгельм, узнав об австрийском ультиматуме, будто бы сказал: «Браво. Признаться, от венцев этого уже не ожидали». Вскоре Австро-Венгрия объявила Сербии войну и двинула свои войска на ее территорию.

Россия и Франция настойчиво предлагали определить свою позицию Англии, которая продолжала дипломатическую игру, давая туманные обещания и той и другой стороне. Однако после того, как Австрия вторглась в Сербию, министр иностранных дел Англии Грей заявил германскому послу о том, что Англия будет придерживаться нейтралитета только в случае локального конфликта между Австрией и Россией. Значит, Англия тотчас же вступит в войну, как только Германия начнет военные действия против России и Франции. Италия же, напротив, изменяла Тройственному

союзу, сославшись на то, что Австро-Венгрия, принимая столь серьезное решение, не посоветовалась с ней. Вот тогда-то Вильгельм и послал телеграмму российскому императору с обещанием успокоить Вену, но Вена осталась непримирима.

Слухи множились с каждым днем. Уже ничего нельзя было скрыть, потому что вдруг всех стали интересовать политика, дипломатические встречи и переговоры. Рассказывали, что Николай II уже подписал указ о всеобщей мобилизации, но за несколько минут до объявления его на телеграфе пришло указание царя задержать передачу указа: он только что получил новую телеграмму из Берлина с просьбой отменить военные приготовления. Вильгельм уверял, что соглашение между Россией и Австрией возможно. Напряжение нарастало. Всем уже становилось ясно, что война неизбежна. Из уст в уста передавалось, что Сазонов с большим трудом уговорил царя о необходимости поторопиться. Германия, мол, давно ищет повода для развязывания войны, а успокаивающие телеграммы из Берлина только ловкий трюк для оттягивания военных приготовлений в России. Царь согласился с ним, началась всеобщая мобилизация. Германский посол граф Пурталес от имени своего государства потребовал ее отмены. Россия отвергла ультиматум. На следующий день германский посол вручил ноту с объявлением войны. Через несколько дней в войну были вовлечены Англия и Франция.

Прозаики и публицисты всей Европы писали о поисках смысла войны, об идейном ее оправдании, о нравственной и культурной задаче, стоящей перед миром.

22 августа Герберт Уэллс опубликовал статью «Почему Англия начала войну?», в которой резко обрушивается на Германию как на несносную язву земного шара. Прусский империализм в течение сорока

лет разрастался и наконец закрыл своей длинной тенью всю Европу. «Теперь мы должны стряхнуть с себя это иго и освободить мир от грубого германского самодовольства, ибо весь мир питает к нему отвращение. Эта война происходит ради умиротворения человечества. Целью нашей войны является всеобщее разоружение...»

Конечно, подавляющему большинству писавших о войне было не под силу подлинное понимание ее социального смысла. Как отмечал В. И. Ленин, обе воюющие группы наций ничуть не уступают друг другу в жестокостях и варварстве войны: «Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической, стадии развития капитализма передовых стран, династические интересы наиболее отсталых, восточноевропейских монархий неизбежно должны были привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одурачение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата — таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны». «...Буржуазия каждой страны, — продолжает В. И. Ленин, — ложными фразами о патриотизме старается возвеличить значение «своей» национальной войны и уверить, что она стремится победить противника не ради грабежа и захвата земель, а ради «освобождения» всех других народов, кроме своего собственного»^[6].

В оценках же, какие звучали со страниц буржуазной прессы, выявлялась классовая ограниченность, присущая даже таким крупным писателям, как Г. Уэллс, А. Франс, Э. Верхарн.

В эти дни Алексей Толстой стал военным корреспондентом «Русских ведомостей». Царь и правительство взывали к единству нации, к тому, чтобы сплотиться перед лицом противника и защитить Россию. Оппозиционные партии, их газеты и журналы решали вопрос: пойти на временный компромисс с царским правительством или продолжать свою прежнюю политику? Редакция «Русских ведомостей» принимает решение поддерживать правительство до полной победы над немцами и австрияками. 20 июля 1914 года в редакционной статье говорилось, что перед лицом германского нашествия все граждане России должны сомкнуться в единый фронт: враг давний, исконный снова угрожал целостности и независимости Российского государства. Кадетская «Речь» обещала «в переживаемую всей Россией трудную минуту содействовать печатным словом объединению всего русского общества, без различия направлений, в общем чувстве беззаветной готовности защищать родину и оберегать ее честь».

Алексей Толстой сразу окунулся в работу. Только в августе «Русские ведомости» опубликовали пять его статей и очерков, в которых он изложил свое отношение к происходящим событиям. Помогли недавние встречи, заграничные поездки, случайно увиденные во дворе своего дома или на улице сценки: и подслушанные разговоры. Немало прочитал Алексей Толстой за эти дни, пытаясь постигнуть смысл войны и ее цели. «Да, никакая война, — вспомнил он одного из прочитанных историков, — не может обосновать права, не существовавшего до нее». Ясно было, что столкнулись в яростном военном конфликте две силы, какая-то из них должна неминуемо победить. Какая же? Сила силою осиливается, говорили в старину. Может, Россия поднялась против силы, несущей ей на своих штыках благоденствие, высокую культуру? — иронически ставил

Алексей Толстой и такие вопросы. — А русские по недомыслию своему отказываются от этих благ? Можно ли оправдать то великое чувство гнева, которое охватило русский народ, когда немцы объявили войну? Политики, дипломаты, экономисты по-своему решают эти вопросы, а писатели должны по-своему ответить на них».

Алексею Толстому, увлеченному господствовавшими настроениями, которые он принимал за подлинный патриотизм, было по душе, что в воззвании верховного главнокомандующего говорится о восстановлении единой, свободной в своем самоуправлении Польши. Давно пора. Присоединение Галиции не вызвало такого всеобщего восторга, как слова о возрождении Польши и сохранении Сербии независимым государством — это важнейшие задачи России в войне. «Сможем ли мы исправить ошибку нашего исторического бытия — разделы Польши?» — размышлял Толстой.

России, считал он, не нужны новые земли, хотя и мучительно было сознавать, что часть Украины находится под австрийским владычеством. Но главное Алексею Толстому виделось в том, что перед Россией в этой войне стоит серьезная задача политического возрождения целых народов. Сорок лет назад русское общество жило мыслью об освобождении славянских народов из-под турецкого ига. «Мы дрались за славян», — до сих пор пелось в солдатской песне, и во г именно это вошло в народное самосознание, а не территориальные приобретения, сделанные в ходе русско-турецкой войны. Еще тогда упрекали русских интеллигентов в мечтательности, политической незрелости и беспочвенном идеализме. А между тем политический смысл существования сильной России в их представлении как раз и заключается в освобождении других народов и борьбе за слабых против сильных.

Пусть каждый народ, думал Толстой, обретет полную самостоятельность и независимость без различия нации и вероисповедания. Армяне, австрийские румыны, итальянцы тоже ждут именно от России своего освобождения. Католическая Польша не меньше волнует Россию, чем православная Сербия. Все эти народы и государства, возрожденные и укрепленные, могут стать в будущем сторожевыми постами против Германии и умерить ее завоевательные устремления. Только такой итог войны будет справедлив. Но это теория, постановка, так сказать, вопроса. Борьба против немецкого национализма ни в коем случае не должна в случае победы привести Россию к мировой гегемонии. Нетрудно догадаться, что в этом случае возникает всенародное тщеславие и мания национального величия, ведущие к шовинистическим настроениям, как это случилось в Германии после ее победы над Францией. Вот тогда-то в Германии и следовало бы вспомнить свою сагу о кольце Нибелунгов, хотя бы в трактовке Вагнера.

Одно и то же кольцо Нибелунгов возносит обладателя егц высоко над миром, но одновременно с этим порождает в нем такие черты и качества, которые закономерно возбуждают по отношению к нему ненависть окружающих. Великан Фавнер у Вагнера сначала счастлив, упивается своей властью и всесилием, а потом алчность, кичливость, самодовольство и самовосхваление разрушают его человеческий облик, он становится страшным чудовищем, пожирающим всякого, кто окажется вблизи его «пещеры зависти». Только настоящий великан-герой может его победить, но и его ждет участь Фавнера. Такова печальная судьба всех владык, достигающих мирового господства и забывающих о той нравственной задаче, которая одна может служить оправданием силы и могущества великой державы. Плохо, если в этой войне победитель

утратит человеческий облик, если в нем возобладают такие черты, как упоение собой, мания величия, злая страсть алчности.

Читая текущую прессу, Алексей Толстой диву давался легкомыслию некоторых авторов, безответственно писавших об уничтожении немцев как нации. Сохранить свой человеческий облик на самой вершине своего могущества — вот, по мнению Алексея Толстого, главная нравственная задача России и народов, ее населяющих.

В эти дни тяжелых раздумий Алексей Толстой обратил внимание, что некоторые слова, совсем недавно казавшиеся выветрившимися, потерявшими свою душу, сейчас стали наполняться высоким содержанием. Происходило какое-то своеобразное воскрешение слов. Однажды Толстой случайно разговорился с одним артиллерийским офицером. И поразился, с какой страстью он говорил о защите отечества, о предстоящих, ему сражениях. Выходило, что в русско-японскую войну Россия проиграла вовсе не из-за отсутствия техники: тогда за спиною армии, по его словам, была какая-то пустота, народа не чувствовалось, России не чувствовалось. Армия оказалась в одиночестве, точно человек в пустыне, никакой поддержки. А между тем существуют невидимые нити, соединяющие армию с народом. Только в том случае армия непобедима, если эти духовные нити прочны. Без этих связей о народе армия становится складом оружия, амуниции, всевозможной техники и обслуживающих ее людей. И что еще больше удивило Алексея Толстого, так это готовность артиллерийского офицера к самопожертвованию во имя России. В этом офицере, может, впервые он увидел настоящего человека. Ему казалось до сих пор, что не может быть и речи о подлинном героизме, что осталось только пустое слово, так сказать, паспорт без человека, а оказывается,

героизм есть, существуют героические личности, без которых невозможно победить.

Первые вести о немцах многих привели в смятение. Алексею Толстому не раз приходилось встречаться с такими людьми, которые просто отказывались верить происходящему. Долго ему пришлось убеждать как-то одного знакомого помещика, ошарашенного тем, что писали о немцах в газетах. Тот долго жил и учился в Германии, привык считать немцев культурной нацией, а тут...

— Вы знаете, что в газетах пишут, на что же это похоже? Неужели всерьез можно этакое писать о немцах? Не могу поверить, чтобы немцы пристреливали раненых, насиловали женщин... Типичное вранье газетчиков. Вчера их только хвалили, а сегодня поносят, называют их дикарями, варварами. Ну можно ли так их называть, если эта нация дала миру Баха, Вагнера, Гёте, Канта? Куда мы-то годимся по сравнению с ними? Невежество, темнота кругом. Боже мой, мы поднимаем руку на такую культуру. А культура земледелия? А какая промышленность? Спросите хирурга, зубного врача, инженера, книжного издателя — каждый ответит, что надо ехать к немцам учиться...

— Кто же спорит, что у немцев есть чему поучиться, — включился в разговор Толстой. — У них и дороги прекрасные, и промышленность самая передовая. Но вы не обратили, видимо, внимания на то, что вот уже десятки лет Германия готовилась к войне с Россией, что под стриженным кустарником вдоль насыпи устроена широкая русская колея прямо из Берлина в Москву. Вы здесь вспоминали о великих людях Германии, вам кажется, что жив еще их творческий дух. Но с приходом Вильгельма к власти и организацией Пангерманского союза с каждым годом немцами овладевала мысль о превосходстве над всеми другими народами, с тех пор они не переставали утверждать, что

немецкая культура является самой высокой культурой во всем мире, вот вы и поддались влиянию их собственной пропаганды. А может ли нация называть себя самой культурной в мире и открыто проповедовать захватническую политику, открыто призывать к войне против Франции, чтобы отнять у нее ряд восточных департаментов, а все местное французское население искоренить? А какую злобу и ненависть они разжигали ко всему славянству! Балканы, Прибалтику, Украину, Кавказ, Скандинавию, Голландию, Данию, Бельгию они уже считают частями Германской империи.

Проезжая через Германию не один раз, я замечал, как напряженнее и механичнее становилась вся жизнь, как самоувереннее и настойчивее разговаривали со мною немцы.

В Берлине же каждое воскресенье назначались парады, с каждым годом увеличивалась армия, газеты вела разнузданную кампанию против французского и русского народов. Ненависть к ним незаметно вливалась в сердце среднего немца, особенно к России. А сейчас, встретив сопротивление, они словно с цепи сорвались, совершенно остервенели, ведь они надеялись на легкую добычу. Говорят, что Вильгельм, получив известие о том, как прошла мобилизация в России, избил Пурталеса (немецкого посла в России. — *В. П.*) и приказал лишить его чинов. Но вряд ли Пурталес виноват. Он добросовестно собирал информацию о наших противоречиях и недостатках, ему казалось, что наша страна разваливается. Да и не только он так думал. В Германии многие занимались внутренним положением России и почти все приходили к такому же выводу. А что оказалось на самом деле? На всей нашей огромной территории народ поднялся на войну, поднялся решительно, мужественно и серьезно. Я сейчас много езжу, разговариваю, все мои мысли сосредоточены на войне, приходится много работать, и вот к какому вы

воду я прихожу: словно вся Россия стала одним хозяйством, и пришло время жатвы, и все, взяв серпы, пошли жать. И горе немцам, если они разозлят наш народ. Немцы так бесчинствуют, надеясь на безнаказанность. Но возмездие нашего народа придет неотвратимо. Я в этом уверен...

Разговор долго еще продолжался, и, судя по всему, Алексею Толстому удалось кое в чем убедить своего знакомого. Да и ему самому этот разговор был полезен, помог осмыслить происходящее, сформулировать некоторые свои взгляды. Никогда, пожалуй, так часто он не обращался своими мыслями к России, как в последние дни. Что же произошло с ним? Раньше просто не задумывался над этим, как и тот круг людей, среди которых ему чаще всего приходилось бывать. Никто из них даже не ставил перед собой вопроса, любит ли он свою родину.

Казалось, у иных Париж больше вызывал эмоции, чем Москва или Петербург. В салонах и кружках, в которых он бывал, даже осуждались патриотические высказывания. Это считалось национализмом, шовинизмом; и горе тому, кто прослышет националистом или патриотом. Самым разумным, вспоминал Алексей Толстой, признавалось не высказываться по этим вопросам, держаться где-то в стороне от всех острых проблем, называть себя международным гражданином, поругивать Россию, похваливать Запад. И вдруг в эти несколько дней в нем самом происходят какие-то серьезные изменения, все чаще и чаще он задумывается о судьбах России.

«Отечество... Сейчас у меня есть отечество, Россия, родина, — думал Алексей Толстой, склонившись над чистым листом бумаги. — Мое отечество, мой народ... Поразительно, как быстро перед лицом общенациональной опасности все мелкое, ничтожное, наносное и растлевающее — неустройство наше,

настроения и неврастения... — все вдруг отошло... Да, русский человек только кажется беззаботным в своей наивной доверчивости. В минуты опасности его не узнать, он становится крепким, решительным, чистым, без всякой задней мысли. Прошло не так уж много времени со дня объявления мобилизации, а словно над всей Россией в эти дни пролетел трагический дух — и все переменилось, столько в людях спокойствия, понимания своей роли в решении исторических вопросов. Сломить на полях Германии бесов железной культуры, гасителей духа человеческого...»

Но Алексей Толстой среди всяких известий, слухов, предположений, какие носились вокруг него все это время, не в силах был понять империалистический характер войны, осознать неисчислимость тех бедствий, которые война может принести его народу, народам всей Европы^[7].

Алексей Толстой в эти дни побывал у заведующего отделом печати главного штаба полковника Свечина. В редакции «Русских ведомостей», как и в редакциях «Русского слова» и «Нового времени», были настроены по-боевому, надеялись в скором времени сообщить своим читателям о взятии Берлина и Константинополя. Однако разговор с полковником...

— Конечно, — заявил Свечин, — патриотизм органов печати заслуживает одобрения, но нельзя быть легкомысленными в освещении серьезных вопросов. Не за взятие Берлина идет сейчас битва, а за то, чтобы не допустить немцев до Петрограда. Общество, — предупредил он, — ожидают тяжелые испытания и жертвы, нужно готовиться ко всяким случайностям. У немцев высокая техника, хорошие дороги и преимущество сосредоточенных ударов, возможности свободного маневрирования. Нужно все силы употребить на создание госпиталей для сотен тысяч раненых.

Этот разговор отрезвил Алексея Толстого. Он вышел на Невский. Стройными рядами двигались войска. На тротуарах возбужденные толпы. В памяти навсегда осталась нарядная женщина, стоявшая в коляске, исступленно крестившая серые ряды сосредоточенно проходивших солдат.

Через несколько лет в романе «Сестры» он воссоздаст свое посещение главного штаба и разговор с полковником Свечиным (в романе — Солнцевым), настолько разговор этот был для него знаменательным: полковник убедил его в трагичности происходящих событий. А ведь война и ему сначала казалась чем-то возвышенно-героическим, и только. Особенно в гот день, когда Литературнохудожественный кружок устроил обед в честь уезжающего на фронт в качестве корреспондента «Русских ведомостей» Валерия Брюсова, который уже откликнулся на войну целым рядом стихотворений. Ему показалось, что война раскрывает какие-то необыкновенные перспективы перед человечеством, дает возможность осознать свою жизнь во всей ее прелести и полноте: только в войне, утверждал поэт, человек может обрести «невозможное слияние силы и мечты».

Вскоре и Алексей Толстой в качестве военного корреспондента тех же «Русских ведомостей» отправился на Юго-Западный фронт. Киев, Ковель, Владимир-Волинский... Затем Грубешов, Лащево, Томашев, Тасовицы, Замостье, станция Холм, снова Киев... «Я так устал за 4 дня непрерывной скачки в телегах и бричках по лесным дорогам, под дождем, воспринимая единственные в жизни впечатления... Подумать только — я прожил год жизни за эту неделю, а это лишь только начало войны, — писал он К. В. Кандаурову, художнику Малого театра. — Сколько встреч, сколько разговоров, сколько впечатлений от увиденного и услышанного!» Алексей Николаевич во

время этой поездки к фронту пытался делать заметки в записной книжке, но делал это всегда торопливо, наспех, рассчитывая на то, что даже одно записанное слово поможет ему восстановить всю картину. А увидеть ему довелось многое. Уже в самом начале поездки его поразило то, что война еще мало чувствуется на территории России.

Подъезжая к Киеву, он увидел ту же праздную толпу на остановках, тех же мирно работающих в поле крестьян, ту же умиротворяющую ширь и тишину, которые так неотразимо действуют на сердце русского человека. На остановках Толстой выходил на перрон, подолгу останавливался у открытых вагонов с ранеными, разговаривал с ними, с сопровождающими их санитарями и докторами. Не раз он замечал, что раненые безучастно лежали на своих топчанах, будто дремали, но стоило подойти, как тут же приподнимались и охотно вступали в разговор. Рассказывали об австрийцах, об их хозяйстве, про разные переделки, в которых оказывались их однополчане, но никогда не жаловались, хогя у всех были забинтованы или руки, или ноги, или головы; ни одного стопа, ни одного перекошенного лица. Здесь не принято показывать свою боль, как и рассказывать о своей доблести. Должно быть, все, что делает русский солдат, часто думал Толстой, совсем не кажется ему героическим. А разве Нестеров, впервые с математической точностью рассчитавший и сделавший мертвую петлю, придумавший нож для рассечения «цеппелинов», не оставил глубокий след в сознании людей, совершив свой подвиг? Нестеров погиб, но своим подвигом он доказал, что австрийские и немецкие самолеты можно и нужно сбивать.

Дорога до Томашова запомнится надолго. Непролазная грязь, ухабы, разбитые повозки, трупы лошадей, развороченные австрийские батареи,

шрапнельные гильзы, неразорвавшиеся гаубичные гранаты. Повсюду прифронтовая суэта. Совсем недавно в Томашове стояли австрийцы.

На маленькой станции Холм Алексей Толстой и его спутники разговорились с польским помещиком и русским офицером, на глазах которых и происходило генеральное сражение. Офицер рассказал о пленном полковнике, который был настолько удручен гибелью своего полка, что просил револьвер, чтобы застрелиться: их, австрийцев, уверяли, что дорога на Киев будет чем-то вроде военной прогулки.

Вернувшись в Киев, Алексей Толстой засел за работу. Его «Письма с пути» стали появляться в «Русских ведомостях» с 6 сентября. Последнее, шестое, было опубликовано 24 сентября. Работая над статьями, Алексей Толстой стремился к объективности в оценках происходящего. Он опасался, чтобы его не упрекнули в ложной романтизации войны, в идеализации русских войск и в очернительстве австрийских, хотя и понимал, что необходимо рассказать со страниц газеты о том, что австрийцы грабят, разрушают, насильничают. Но надо было писать и о том, что австрийская армия хорошо подготовлена, командный корпус со знанием дела выполняет свои обязанности. Даже отмечают случаи, когда офицеры переодеваются в крестьянское платье, заходят в русский тыл и телефонируют оттуда о расположении войск. Техника и вооружение австрийской армии превосходны. Все это, думал Толстой, лишний раз должно подчеркнуть высокие боевые качества русского солдата. Пусть другие трезвонят о легких победах, но он-то своими глазами видел, что место отступления австрийцев изрыто окопами, и встречаются они через каждые сто — сто пятьдесят шагов. Враг защищался с невероятным упорством.

Поездки по местам боевых действий русской армии только на время отвлекли Алексея Толстого от сложных

переживаний в личной жизни. С Соней все кончено. Еще летом он написал ей в Париж, что приснился ему сон, будто обрушился их дом. Он не мог больше таить от Сони свое смятение, свою любовь к Маргарите Кандауровой. Как только Соня вернулась из Парижа, открыто и честно признался, что им лучше разъехаться на разные квартиры.

В начале октября Алексей Толстой снова в пути. На этот раз он отправился на Юго-Западный фронт в качестве уполномоченного Земского союза. О своих впечатлениях от этой поездки он рассказал во втором цикле «Писем с пути», опубликованном в той же газете с 14 октября по 16 ноября.

...Санитарный поезд Земского союза несносно долго тащился от станции к станции. Воинские эшелоны пропускали вне очереди. Только что австро-германские войска снова предприняли яростную попытку наступательных операций под Варшавой, но, как и месяц назад, русская армия отбила атаки и сама начала наступать. Противник перешел к обороне. Говорили, что лучшие его полки погибли на полях сражений, а резервов нет. Алексею Толстому не терпелось скорее посмотреть на результаты битвы. А пока он приглядывался к обслуживающему персоналу санитарного поезда. Были здесь интереснейшие люди. «Сусов, санитар, вестовой, денщик, живое место, пульс, утзха всего эшелона... Весь день он на ногах; все, что бы ни поручили, исполнит живо и точно и затем придет и отрапортует в таких выражениях, что весь вагон повалится со страху». Вагон жил веселой, беззаботной жизнью, организовали хор, пели песни, подшучивали друг над другом, и никто посторонний не мог бы подумать, что всего лишь десять дней назад они были на фронте и вывезли с передовой пятьсот раненых, а сейчас снова рвутся в самое пекло.

Чуть свет Сусов бежит через пути на вокзал, встречает землячков, спрашивает, много ли побили немца, едущим туда наказывает. «Смотри, земляк, хорошенько постарайся!», а вернувшись в вагон, становится у дзсри, вздыхает и говорит: «Да уж доведется повоевать, немец какой смелый, — бьют, а он лезет; какой неприятный». А стоило ему увидеть в окно вагона пленных австрийцев, как он тут же бросался к ним и долго расспрашивал одного из них, венгра — мельника, как оказалось, о его жизни и рассказывал ему о своем хозяйстве.

Запомнился офицер, возвращающийся на фронт:

— Мы слишком много отдали этой войне, — говорил он Толстому, — мы стали новым народом; одним великим чувством охвачена вся Россия, все крестьянство, мы вступаем на новый путь, мы пробудились наконец, приняли на себя мировую миссию. Должны верить в это. Разве есть место сомнению? Пока в руке эта шашка, я должен верить. Гореть, а не сомневаться!

Алексей Толстой внимательно рассматривал лицо говорившего, умное, тонкое, с прекрасными и пылающими глазами.

По дороге из Радзивиллова во Львов Алексей Толстой и его спутники, ехавшие в одном с ним автомобиле, проезжали по местам недавних крупных кавалерийских боев, поэтому нигде не было видно ни окопов, ни сожженных домов, ни других каких-либо разрушений. Рассказывали, что в этих боях австрийцы потеряли во много раз больше, чем русские, и после этого австрийская кавалерия почти не участвовала в боях. И сейчас здесь ничто не напоминало о войне. Повсюду мирно и спокойно работали на полях крестьяне. Не было ни одного пустующего клочка земли. Осенняя страдная пора.

Во Львове Алексей Толстой прожил три дня, а потом на извозчике отправился к берегу Сана, где вскоре стал

свидетелем боя, окончившегося штурмом и взятием Ярослав. А перед этим оказался в штабе армии, познакомился с офицерами, генералами, начальником штаба армии. «Штаб состоял из молодых, серьезных, здоровых офицеров», — писал через некоторое время Толстой. Покинув штаб армии, он стал очевидцем сражения. Начинаясь ночной бой. Надо было уходить из этой опасной зоны, каждую секунду снаряды могли упасть на двор, где стоял он и его сопровождающие, но звуки разрывов словно заворожили их. Близкая опасность только возбуждала. Да если бы и почувствовал кто страх, то скрыл бы свое чувство.

В эти минуты, слушая близкие разрывы снарядов, Алексей Толстой вдруг отчетливо понял тех офицеров, которые, возвратившись с передовой, так бурно веселились во Львове. Все они по несколько недель были в обстреливаемых окопах, каждую минуту их подстерегала смерть. Но стоило им оказаться в тылу, как они сразу зажили обыкновенной жизнью.

Алексей Толстой остался доволен поездкой на передовую, без этого он бы не понял, почему в аллеях парка, совсем недалеко от падающих снарядов, маячат спокойные, умиротворенные фигуры солдат, не понял бы состояния человеческой души, когда все повседневное отодвигается на задний план, словно высвечивая только героическую сущность человека, оказавшегося в опасности.

Николаев, Стрый, Дрогобыч, Борислав, Новый Самбор, Старый Самбор... Всюду война оставляла свои следы: трупы лошадей, разрушенные дома, изрытая окопами земля. Бои шли здесь длительные и серьезные. Австрийцы не хотели уступать эту землю, держались, как всегда, из последних сил.

Алексей Толстой был в австрийских траншеях за Старым Самбором. На высоком, крутом холме, обнесенные колючей проволокой, они казались

неприступными. Но русские солдаты под огнем пулеметов и ружей буквально вплотную подвели к австрийцам свои небольшие ямки, скрывавшие их от пуль, обрушились на противника. Перед решающим броском, естественно, поработала русская артиллерия: на месте недавнего боя Толстой увидел глубокие ямы от снарядов, вся земля, покрытая осколками, была покорежена.

Отыскав свой санитарный поезд, Алексей Толстой узнал, что все эти три дня врачи, сестры и санитары работали не покладая рук. Только каменная стена отделяла их от сыпавшихся пуль и шрапнелей.

Возвратившись в Москву и работая над своими корреспонденциями, Алексей Толстой испытывал гордость за русскую армию, освободившую после стольких веков иноземного ига исконные славянские земли.

Сколько он перевидел офицеров, добрых, умных и бесстрашных. Только уж очень отражается на их душевном состоянии война. Совсем мальчики, еще ничего по видевшие в жизни, а приходится испытывать столько лишений.

Алексей Толстой по дороге разговорился с одним из таких офицеров. Он обратил на него внимание из-за того, что тот часто посмеивался, хотя глаза у него были совсем не веселые. Оказалось, что он просидел в окопах четыре недели. А домой, в Киев, едет уже в третий раз, перед этим уже был дважды ранен и лечился там.

Из рассказов бывалого попутчика, грустных и веселых, Алексей Николаевич многое узнал об окопном быте, о взаимоотношениях солдат и офицеров, о коварстве австрийцев, применяющих на войне всякий обман, вплоть до вероломного расстрела парламентариев, идущих на переговоры под белым флагом. После этих случаев русские солдаты, относившиеся к пленным в начале войны с жалостью и

даже добродушием, переменили к ним свое отношение, стали тверже, беспощаднее. «Весь день рассказывал мне офицер и про солдат и про себя, многое забыл, в этой смене почти фантастических обрывков военной жизни, — писал А. Н. Толстой в очерке «В окопах» в ноябре 1914 года, — посмеиваться он уже перестал. Наконец он утомился.

Мы выехали из Галиции... Война осталась позади, и офицер начал понемножку, одной ногой, затем обеими, перелезть из той героической жизни в обыкновенную... Понемногу из воина превращался в 22-летнего мальчика, любящего до обожания своих сестер. Изменился даже его голос и движения...»

Собирая отдельную книгу, он решил посвятить ее Маргарите Кандауровой: «Маргарита, с глубоким чувством приношу Вам эту небольшую книгу, в ней собрана большая часть того, что я видел за две поездки на места войны. Я видел разрушенные города и деревни, поля, изрытые траншеями, покрытые маленькими крестами, крестьян, молчаливо копавшихся в остатках пожарища или идущих за плугом, посматривая — далеко ли еще от него разрываются снаряды, и женщин, которые протягивают руки на перекрестке дорог, я видел сторожевые посты на перевалах Карпат и огромные битвы по берегам Сана, я слушал, как вылетают из ночной темноты гранаты; я смотрел на наши войска в тылу и на месте работы.

Я бы хотел, чтобы Вы, читая, последовали за мной в вагоне и на Лошадях, пешком и в автомобиле по всем полям войны от глубокого тыла до передовых траншей, и почувствовали, что большие жертвы приносятся для великого возмездия, и ваше сердце задрожало бы гордостью за наш народ, мужественный, простой, непоколебимый и скромный».

Одновременно с путевыми очерками Алексей Толстой работал над пьесой «День битвы». Театры

Москвы и Петербурга, перестраиваясь на военную тематику, остро нуждались в пьесах. И Алексей Толстой сразу это почувствовал. В Суворинском театре шла художественно беспомощная пьеса Дальского «Позор Германии»; в Луна-Парке — мелодрама Г. Ге «Геймский собор»; в Москве были поставлены пьесы «Король, Закон и Свобода» Леонида Андреева и «Война» М. Арцыбашева. Ни одна из новых постановок в столицах не имела успеха, настолько их художественный уровень не отвечал вкусу и настроению требовательной публики.

9 января 1915 года в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей» он рассказал о своей новой пьесе и о своих театральных принципах. «Теперь, как никогда, я думаю, подошло время расцвета театра. В одной Москве драматических театров восемь, — восемь прекрасно оборудованных живых организмов, им нужна только здоровая крепкая пища. До нынешнего дня они, питались или суррогатами искусства, или прекрасной стариной...

Последняя моя пьеса «День битвы» построена по принципу трагикомедии... Любовная комедия протекает на фоне битвы, внезапно развернувшейся на полях перед замком героини пьесы, графини Каменецкой, галицийской помещицы.

В этой пьесе я хотел показать, как переплетаются смерть и любовь, как любовь торжествует над ее ужасами, возвышаясь и очищаясь до вечного своего истинного назначения».

«День битвы» вышел в январском номере журнала «Новая жизнь» за 1915 год и в московском издательстве «Наши дни» с посвящением все той же Маргарите Кандауровой.

События в пьесе разворачиваются стремительно и вовлекают десятки действующих лиц, по-разному реагирующих на успешное наступление русских войск в Галиции.

Управляющий имением Литкинс с ненавистью говорит о славянском мужичье. Мужики подняли бунт, избили его и прогнали.

Староста йщук ничуть не смущается, когда немецкие офицеры упрекают его за то, что разговаривает он без всякой подхалимской лести да еще и угрожая приходом русских. «Русские нас в обиду не дадут», — говорит староста. Во втором действии появляются русские офицеры Нечаев и Дарьялов. Они смотрят на замок и вспоминают графиню Каменецкую. И Дарьялов бывал у нее в гостях; прожил три дня и совершенно был очарован хозяйкой, она умна, понимает искусство и гостеприимна, как истинная полька. Нечаев все это время беспокойно вспоминает свои встречи с ней. И когда получил приказ занять замок, становится сам не свой. Нет, его не страшат гусары, защищающие замок. Он храбрый и мужественный офицер.

В комедии появляется все тот же Сусов, который так пришелся по душе Алексею Толстому во время его поездки в санитарном поезде. Именно он спасает Нечаева, когда Агровецкий занес над ним саблю. Он же и уговаривает Агровецкого бросить воевать, уж очень крепко русские мужики за это дело взялись. «Ведь мужик он какой, — уж он вцепился в какое дело, разве его своротишь. Наши мужики очень это дело понимают — воевать. Хозяйственно взялись. Только народу вашего зря много побьем через это».

Но таких трезвых мыслей было не так уж много в пьесе. Вся пьеса была построена на легковесных допущениях и случайностях. И здесь А. Н. Толстой был все еще далек от истинного понимания происходящих событий.

Во втором издании шестого тома Сочинений в 1916 году А. Н. Толстой снимет свое посвящение: Маргарита Кандаурова отказалась выйти за него замуж. Об этом событии в жизни Алексея Толстого Софья Дымшиц в

своих воспоминаниях пишет следующее: «В 1915 году у Алексея Николаевича были новые тяжелые переживания. Маргарита Кандаурова — предмет его страстного увлечения — отказалась выйти за него замуж. Я считала, что для Алексея Николаевича, несмотря на его страдания, это было объективно удачей: молодая семнадцатилетняя балерина, талантливая и возвышенная натура, все же не могла стать для него надежным другом и помощником в жизни и труде. И, наоборот, узнав через некоторое время о предстоящем браке Алексея Николаевича с Натальей Васильевной, я обрадовалась, считая, что талант его найдет себе верную и чуткую поддержку. Наталья Васильевна — дочь издателя Крандиевского и беллетристки, сама поэтесса — была в моем сознании достойной спутницей для Толстого. Алексей Николаевич входил в литературную семью, где его творческие и бытовые запросы должны были встретить полное понимание. Несмотря на горечь расставания (а она была, не могла не быть после стольких лет совместной жизни), это обстоятельство меня утешало и успокаивало».

Сама Наталья Васильевна Крандиевская спустя сорок с лишним лет подробно написала об этом в своих воспоминаниях. С Алексеем Толстым до их сближения она встречалась не раз: в студии Званцевой, на различных вечерах зимой 1912/13 года, но знакомство состоялось у поэта Юргиса Балтрушайтиса, которого оба хорошо знали.

Через несколько дней после объявления войны Наталья Васильевна пошла работать в лазарет при Скаковом обществе. Сюда после Коктебеля зашел к ней Толстой, «загорелый, похудевший, сосредоточенно-серьезный». Сообщил ей две новости: первая — едет на фронт корреспондентом; вторая — разошелся с Софьей Исааковной. Из Галиции он присылал ей открытки и письма. Но вскоре она узнала от Майи Кювилье, будущей

жены Гомена Голлана, что перед самым отъездом из Коктебеля Алексей Толстой сделал предложение Маргарите Кандауровой и они вернулись в Москву женихом и невестой. «Удар по сердцу был неожиданный, почти физической силы. У меня перехватило дыхание резко и больно, но я сдержала его и, стараясь не выдать своего волнения, продолжала рассматривать коктебельские фотографии, на которых полуголые «обормоты» группировались в живописных позах. Волнение мешало мне разглядеть среди них тоненькую фигурку невесты Толстого. Но я помнила ее хорошо еще по зимнему маскараду на Новинском бульваре, когда она с большим мячом в руках прыгала на пуантах, изображая заводную куклу. Красива? Нет, скорее миловидна. Полудетское, еще не оформленное личико с капризно выпяченной нижней губкой. Красивы были глаза — большие, синие. Про К. уже писали в газетах, называли ее одаренной, старательной танцовщицей, несомненно — солисткой в будущем».

Вскоре Толстой вернулся из своей поездки на фронт и сразу пришел в лазарет, где дежурила Наталья Васильевна. Она согласилась пойти с ним позавтракать. «То ли от бессонной ночи, то ли от волнения неожиданной встречи меня чуть-чуть знобило в легком платье. На Толстом же была какая-то фантастическая комбинация из трех видов одежды: военной, спортивной и штатской.

— Что это за костюм? — спросила я.

— Костюм для похищения женщин.

— И много вы их похитили?

— Начинаю с вас, — он взял меня под руку, — похищаю и веду в «Стрельну» завтракать».

Во время этой встречи она с беспокойством думала о Маргарите, невесте Толстого. Наконец не выдержала и поздравила Алексея Николаевича с предстоящей женитьбой.

«Ах, вам уже сообщили! — протянул он так пренебрежительно, словно вместо «сообщили» хотел сказать «насплетничали». — Маргарита К. — моя невеста, это верно. А поздравлять, пожалуй, преждевременно... Все это совсем не так просто, уверяю вас. Я даже не знаю, как вам объяснить это. Маргарита — не человек. Цветок. Лунное наваждение. А ведь я-то живой! И как все это уложить в форму брака, мне до сих пор не ясно. — То, что он завтракает с ней, объясняется очень просто: у Маргариты репетиции по утрам, а вечером она танцует. Вот перед спектаклем он непременно к ней заедет».

Наталя Васильевна этого никак не могла понять. Ей казалось, что нельзя быть женихом одной, а флиртовать с другой. Но так продолжалось довольно долго. Вечер он проводил в Большом театре, отвозил Маргариту домой, а поздно вечером или уже совсем ночью стучался к Крандиевским, где его уже ждали Наталя Васильевна с сестрой Дюной. Пили ночной чай, веселились, а потом, когда сестра уходила, начинались бесконечные разговоры. «Мы говорили об искусстве, о творчестве, о любви, о смерти, о России, о войне, говорили о себе и о своем прошлом». Ночные беседы мало удовлетворяли их. «Наоборот, после них еще недоуменнее металось сердце, пугаясь самого себя, а скрытый магнит отношений наших вытягивал иной раз на поверхность такие настроения и чувства, которые обоим нам надлежало прятать: обиду, раздражение, досаду».

Однажды Толстой привез Маргариту к Крандиевским и попросил Дюну сделать ее скульптурный портрет. За чаем все оказались в сборе: Наталя Васильевна с мужем, Алексей Николаевич с Маргаритой и Дюна.

Толстой «говорил много, пожалуй, один за всех, неумеренно острил, сыпал анекдотами и даже изображал какие-то эпизоды в лицах... Маргарита сидела напротив меня. Скромная, осторожная, она

вздрагивала от шумных возгласов Толстого и при каждом новом анекдоте поднимала на него умоляющие глаза, но он не замечал этого... И я поняла, что эта «очная ставка» четырех действующих лиц была страшна не для меня.

Тревожил меня один Толстой. Он имел вид человека, выпустившего руль управления. Какая-то посторонняя сила, казалось, несла его, и возбуждение его было невеселое».

Невеселое возбуждение Толстого, видимо, объясняется тем, что уже намечался разрыв с Маргаритой, возможно, она уже отклонила его предложение, и он, никак не мирясь с этим, все еще пытался оставить за собой инициативу в продолжении их отношений. Только после неудачного сватовства Алексей Толстой перешел к решительным действиям во взаимоотношениях с Натальей Васильевной. И в декабре 1914 года произошло то, что связало их на целых двадцать лет. Через три дня после объяснения она уехала в Петербург. Алексей Толстой, оставшись наедине со своими воспоминаниями о последней встрече, писал ей:

«Наташа, душа моя, возлюбленная моя, сердце мое, люблю тебя навеки. Я знаю то, что случилось сегодня — это навек. Мы соединились сегодня браком. До сих пор я не могу опомниться от потрясения, от той силы, какая вышла из меня и какая вошла из тебя ко мне. Я ничего не хочу объяснять, ни чему не хочу удивляться. Я только верю... всем моим духом... что нас соединил брак, и навек. Я верю, что для этого часа я жил всю свою жизнь. Так же и ты, Наташа, сохранила себя, всю силу души для этого дня. Теперь во всем мире есть одна женщина — ты...»

В четверг, он уже твердо решил, поедет в Петербург, а оставшиеся три дня он собирался работать с утра до вечера, только в мыслях своих он постоянно

возвращался к Наташе. «Неужели настанут такие дни, когда я буду сознавать, что каждое мгновение она со мной. Какое счастье! Оно не померкнет и не может никогда померкнуть, потому что наша любовь вся в движении, она на единственном, только одном пути, потому нет конца, все же другие возвращаются к своему началу...» И еще что-то неясное, хаотичное бродило в его душе, не укладываясь в привычные слова.

Весь следующий день он ждал от нее письма, хотя и знал, что ей предстояло серьезное объяснение с мужем. Если бы хоть чуточку спокойного рассудка, думалось ему, но у него его нет сейчас, все захлестнула тоска по любимой. Он позвонил Дюне, хотелось услышать ее голос, поговорить с ней о Наташе, но ее не оказалось дома.

Что там сейчас, в Петербурге? Он вспоминал тысячи мелочей, все ее слова, жесты. Вспоминал разговоры за всю эту осень. Теперь, когда он отчетливо видит их совместное будущее, целые картины их жизни, радостной, умной, где нет ни одного противоречия, ни одного напрасного усилия, ему стало страшно: что же сейчас происходит в Петербурге?..

Там всего можно было ожидать...

А вдруг она раздумает? Как он тогда без нее? Без живого счастья невыносимо жить на земле! Правда, она говорила, что у нее есть недостатки. Может, и есть, он не видит их сейчас, а когда увидит, то еще больше ее полюбит, она от этого будет только трогательнее.

В декабре 1914 года «Русские ведомости» опубликовали его рассказ «Обыкновенный человек», к этому же времени относится и завершение рассказа «Старушонка», Поездки по местам боевых действий русской армии оказали серьезное влияние на Алексея Толстого. В своих очерках и корреспонденциях он стремился к объективности и правдивости в описании увиденного. Это было естественной склонностью его

развивающегося реалистического таланта. Война и связанные с нею неизбежные страдания народа раскрыли ему глаза на многое. Встречи с солдатами, такими, как Сусов, с офицерами, санитарями, врачами — уполномоченными Всероссийского земского союза, постоянное общение с людьми, озабоченными судьбами России, давали материал для творческих обобщений.

В гусарском полку, где Алексей Толстой случайно оказался во время поездки к месту сражения на берегу реки Сан, он познакомился с молодым офицером, который только недавно получил полуэскадрон. Какие изменения произошли с ним всего лишь за несколько дней!.. До войны он был обыкновенным молодым человеком, жил в Пензе, любил своих сестренек, увлекался Генрихом Сенкевичем. Война ему казалась чем-то веселым и романтическим. Получив приказ занять оставленную австрийцами усадьбу, он втайне надеялся, что не все австрийцы ушли оттуда и он столкнется с ними в жестоком сражении и победит. Но усадьба была пуста, во всяком случае, так ему показалось, и он горько разочаровался, укладываясь на ночлег. Он еще ни разу не был в боях, и ему поскорее хотелось доказать, что он может оправдать доверие командования. «Война представлялась ему непрерывным восторженным полетом, под свистом пуль, под звяканье скрещенных шашек», — чуть-чуть, слегка иронизировал А. Н. Толстой над своим героем. А вскоре оказалось, что на втором этаже лежали три раненых австрийца и один русский солдат.

Вот он и очутился лицом к лицу с войной. Не такой она казалась ему в Пензе. Он и раньше удивлялся, что бывалые фронтовики ничего не рассказывали о героических стычках — больше о будничном, повседневном. Теперь же, столкнувшись с неприглядной стороной войны, молодой командир полуэскадрона начал думать о том, что, может, в преодолении всего

этого неприглядного, будничного заключается настоящее мужество, подлинное геройство.

С наслаждением Толстой работал и над образом «обыкновенного человека», в недалеком прошлом художника, а сейчас, как и многие его сверстники, оказавшегося в действующей армии, вторым офицером роты. Все прежнее — этюды, картины, споры, разногласия, творческие муки перед пустым полотном, вернисажи — кажется ему теперь чем-то смешным, наивным, какой-то радужной игрой на поверхности жизни, в глубине которой происходило что-то подлинное, настоящее. С прошлым покончено, но и настоящее пока не укладывается в его голове. Он не может представить себя в роли завоевателя, ему эта роль не подходит. Завоеватель должен обладать сильным духом, твердостью, уверенностью в достижении поставленной цели, а у него до сих пор страшный сумбур в голове, хотя он и пошел на войну не потому, что ему приказали, просто его, как и всех, точно ветер сорвал с насиженного места и бросил на противника. Раздумья пришли только сейчас. Он прислушивается к каждому в поисках разрешения своих сомнений. Особенно ему запали в душу слова солдата Дмитрия Аникина, уверенно говорившего, что война каждого человека определит на свое место, а то многие сами себя потеряли. «Умирать надо хорошо, как жить, а жить — как умирать». В словах Аникина о том, что немец, посягнув на все государство Российское, способствовал прояснению самосознания народа, Демьянов, главный герой рассказа, почувствовал какую-то глубокую правоту сильного и уверенного в себе человека, взволновавшую его, но пока недоступную для него, раздираемого сомнениями. Вскоре от рассуждений о войне Демьянову пришлось перейти к делу — участвовать в самом настоящем бою. Сначала ничто не страшило его. Он испытывал радость, поглядывая на

бегущих рядом солдат. Но гибель ротного командира окончательно отрезвила, более того, он словно постарел, слезы острой и мучительной жалости душили его. «Давешний восторг беготни и острое затем наслаждение боя показались ему нестерпимо стыдными, точно он из шумной улицы вошел в иной мир — в пустынный, мрачный, торжественный храм», — писал Алексей Толстой, точно угадывая состояние своего героя, попавшего в трудное и новое положение. Долго бился Алексей Толстой над концом рассказа. Но то, как он закончил рассказ, не удовлетворяло его: слишком сусально, опереточно. Рассказ кончается тем, что Аникин отыскивает своего ротного на поле боя и, обрадованный, целует его, растроганного и успокоившегося, в губы.

А как переделать конец? Удачного конца так и не нашел.

В октябре 1914 года Турция объявила России войну. Начались активные военные действия на Кавказе и на Черном море. «Русские ведомости» предложили Алексею Толстому поехать туда и рассказать читателям о сложившейся обстановке.

Около двадцати дней в феврале 1915 года Толстой находился на Кавказском фронте: знакомился с солдатами и офицерами, наблюдал бои с турками. Свои впечатления он высказал на страницах «Русских ведомостей» в восьми выпусках «Писем с пути». Кавказские впечатления дали ему материал и для рассказа «На горе».

Вернулся Толстой из поездки на Кавказ уже на новую квартиру на Малой Молчановке, дом восемь, где его встретила Наталья Крандиевская. «С этого дня началась наша совместная жизнь, продолжавшаяся до 1935 года», — вспоминала впоследствии Н. В. Крандиевская. Во второй половине лета они отправились

на юг к Максy Волошину, где Толстой почти закончил пьесу «Нечистая сила».

ПОЕЗДКА В АНГЛИЮ

«Английское правительство через своего посла пригласило нас — шесть человек, — посетить Англию и английский фронт, чтобы мы увидели своими глазами, какую работу развила Англия за полтора года, как сражаются англичане и какую силу готовятся противопоставить германцам в недалеком будущем», — писал Алексей Толстой в первой корреспонденции, посланной из Лондона в «Русские ведомости». — Выехали мы из Петрограда с величайшим трудом: у одного не хватало фотографической карточки, чтобы наклеить ее на паспорт, другой не запасся полицейским свидетельством о неимении препятствий. Помощник градоначальника говорил твердо каждому: «Выпустить вас, господа, в такой короткий срок я не могу», — а когда, накануне отъезда, в неприсутственный день, появился из Финляндии Чуковский с одной только запиской не то от глазного врача, не то от белоостровского жандарма и потребовал себе паспорт, помощник градоначальника воскликнул: «Эти стены еще не видели подобного!»

Но все же английский посол сэр Джордж Бьюкенен пожелал — и мы уехали в понедельник».

Вместе с Толстым в далекое путешествие отправились В. И. Немирович-Данченко от газеты «Русское слово», А. А. Башмаков от «Правительственного вестника», Н. Д. Егоров из «Нового времени», В. Д. Набоков от журнала «Право» и К. И. Чуковский от газеты «Речь». Сопровождал их корреспондент «Таймс» Вильтон. Только один Башмаков был погружен в чтение, он взял с собой пять толстых книг по истории Англии, остальные обсуждали подробности поездки, заносили первые впечатления в свои блокноты. Каждая

подробность должна быть отмечена. Мелькнувший за окном пейзаж, подозрительный господин с выступающим подбородком, который показывался всюду, где и они, таможенный осмотр в Торнео, круглолицые, розовые солдаты и тщательная проверка каждого из проезжающих на шведской границе, затем мелькающие за окном поезда шведские пейзажи, а на остановках низенькие красные домики, куда то и дело забегают кто с чайником за кипятком, кто за пивом. Алексей Толстой жадно всматривался в окно, отмечая каждую деталь, каждую подробность. Поезд шел вдоль Ботнического залива, здесь было тихо и пустынно. Лишь раз мелькнула за окном девушка на лыжах, и опять никого. Кое-где только красные домики, мосты, водопады, а в остальном — однообразная снежная пустыня. Алексей Николаевич вспомнил предотъездную суету, хлопоты в английском посольстве, где он быстро подружился со всеми англичанами, которые показались ему добродушными и простыми. С их стороны не было препятствий. А вот белобилетников за границу не пускали совсем, и как ему удалось выехать — один бог знает. Помогло, конечно, прошение самого посла... Хорошо, если б Наташе удалось недельки через две присоединиться к нему. 700 рублей ей хватит вполне. Вильямс ей все объяснит. Через неделю она не торопясь соберется, устроить паспорт в Петрограде ей помогут, он уже договорился, и дадут даже в провожатые английского офицера до Лондона, а там он уже сам ее встретит. Он с новой остротой чувствовал, как вся его жизнь связана с Наташей, каждая мелочь, подробность напоминает о ней. Как-то накануне отъезда он, вернувшись домой и оглядев кровать, ночной столик, стул с брошенным платьем, одиноко горевшую свечу, тоскливо подумал о том, что уже от всего этого не оторвать его. Здесь каждый предмет имеет особое значение, особый запах; на всем — очарование его

любви. Пусть она негодует и сердится, только без нее ему нет жизни. Правда, и такая жизнь полной радости не доставляет. Упреки, подозрения, будто он мало ее любит. И все это на основании каких-то его отдельных поступков, каких-то маленьких грешков.

Когда она упрекнет каким-нибудь подозрением, он весь сжимается, и становится невыносимо тяжело. Наде любить друг друга, верить, что это до смерти, навсегда.

«Через боль и через ошибки мы идем к счастью, — уверял Толстой в письме Наташе. — Только ни минуты не сомневайся, что нам дана еще целая жизнь такого счастья, о каком мы и не думали. А если явится сомнение — так это грех и его нужно побороть».

«Русские ведомости» хотят, чтобы он подольше оставался за границей, но он исполнит только то, что от него требуется, и постарается вернуться в начале марта...

В Стокгольме, куда они прибыли через сутки, ничто не напоминало о войне: улицы полны торговками, моряками, девушками, нарядными дамами, франтами. Здесь говорили на всех языках и можно было кого угодно встретить. «Все это было веселое и краснощекое. В подъездах гостиниц стояли охапки лыж. На старинной площади продавали гиацинты и тюльпаны», — писал А. Толстой. Купив билеты до Ньюкэстля и оформив документы, они все отправились утром на пароход, отплывающий в Англию. А к обеду узнали, что идут другим курсом, чтобы избежать встречи с двумя немецкими миноносцами, внезапно покинувшими порт в неизвестном направлении. На душе было невесело, но виду не подавали, шутили.

Ньюкэстль поразил Алексея Толстого необыкновенными размерами порта. Пароход медленно двигался по реке, а по обоим берегам дымили трубы, высились гигантские краны, леса железных балок и столбов. На воде и на берегу было множество кораблей с

мачтами и без мачт, готовых к отплытию и только строящихся. Сквозь туман все это причудливо переплеталось, создавая какую-то сказочную, поистине фантастическую картину.

Встретили их русский консул и мистер Бальфур, представитель Комитета по приему русских гостей. Потом номер в старом уютном отеле, с камином и огромной постелью, на которой вполне могли бы улечься по крайней мере шесть человек. Но повсюду были надписи. Предупреждали о возможности налетов «воздушных разбойников». На улицах Алексей Толстой увидел, что этот город живет войной. Вечером нет ни фонарей, ни света из окон. Множество народу бродит по улицам в темноте. Только несколько человек увидел в гражданском, да и у них мелькала зеленая перевязь с красной короной.

Рано утром отправились в Лондон. И первые впечатления стали убеждать Толстого: Англия плохо знает Россию и русских. Правда, сейчас здесь спохватились и пытаются восполнить пробел в своих знаниях, издают книги, открывают кафедры русской литературы, пишут статьи и трактаты о России; но такая поспешность ни к чему хорошему никогда не приводила. Книжки для перевода брали случайные, наспех, что опять-таки давало искаженное представление о русской культуре, о России вообще.

В Реформ-клубе их встретили весьма любезно. Англичане приглядывались к русским, русские приглядывались к англичанам. Вскоре после приезда в Лондон они уже не чувствовали себя гостями, будто давно уже жили здесь.

В Шотландии, куда вскоре повезли гостей, они решились пойти на миноносце в открытое беспокойное море. И натерпелись разных неудобств. Зато увидели, как внимательно охраняется побережье, увидели целый город на воде, состоящий из множества кораблей

различного назначения. На флагмане их принял Джон Джелико, начальник всего английского флота, вспоминая за завтраком «великие труды русской армии»: «она спасла нас в начале войны и спасает теперь. Я вспоминаю победу под Эрзерумом. Русский флот также завоевал наше восхищение. Мы были бы рады сражаться с русскими моряками плечом к плечу».

Только увидев английский флот и его могучие пушки, Алексей Толстой понял, почему немецкий адмирал Тирпиц предпочитает отсиживаться со своим флотом в Кильском канале: встреча с таким флотом грозила полным поражением.

«Прошлогоднее несчастье наше с третьей армией и затем отступление с Карпат, из Галиции и по всему фронту изменило в корне отношение к нам англичан, — писал А. Н. Толстой в «Русские ведомости». — Они представляли Россию чем-то вроде медведя, — сильного, огромного и чрезвычайно охочего до сладких вещей. Россия казалась им экзотической страной вроде Гонолулу.' Наша беда, мужество, стойкость, с какими перенесли ее, впервые открыли для Англии человеческое, страдающее лицо России. Они увидели, что мы не скрываем поражения, не просим пощады, но с новыми, большими силами поднимаемся на борьбу...»

От Наташи давно никаких известий. В первый день приезда в Лондон была телеграмма, из которой он понял, что она выезжает в Петроград. Значит, подумал он, решилась поехать вслед за ним за границу. А вдруг она приедет неожиданно, когда вся группа отправится на фронт? Ничего не известно. За три недели только одно письмо и две телеграммы. Где она? Что делает? Что думает?

4 марта, в субботу, Алексей Николаевич писал в Москву. «Родная Наташа, по той же причине почему не мог в телеграмме, не могу и в письме писать, куда мы едем в четверг. Поездка займет 5-6 дней, затем столько

же по возвращении в Лондон и сейчас же уезжаю в Россию. Здесь настроение очень тяжелое, все занято войной, война чувствуется с такой силой, с какой мы и не знали в России, поставлено на карту все. Наше время так занято, что до сих пор я не был ни в театре, ни в музеях, нигде. В свободные часы пишу, в 9 встаю и сейчас же попадаю в круговорот. Погода ужасная: туман, дождь и слякоть, сегодня был первый сухой день. Я очень устал и так истосковался по тебе, что считаю дни, когда мы кончим быть официальной делегацией, в тот же день уезжаю в Москву... Если бы мы поехали вместе — все бы было по-другому. Я решил, что в августе мы поедем в Англию на несколько месяцев, если ты захочешь, но только как обыкновенные люди. Не дай бог еще раз поехать с какой-нибудь делегацией. Англичане принимают нас с таким искренним порывом, как никогда никого еще не принимали, но от этого еще труднее...»

Большое впечатление на Алексея Толстого произвела встреча с Уэллсом. Совсем недавно, до войны, он высказывал опасения относительно намерений России, сейчас он переменял свое отношение и с гордостью заявил, что оба его сына учатся русскому языку. Набоков, Чуковский и Толстой долго гуляли с Уэллсом в окрестностях его загородного дома. По дороге Уэллс говорил о необходимости дружбы Англии с Россией, о том, что Россия, богатая хлебом, лесами, минералами, пойдет в своем развитии по американскому пути, но без заокеанских излишеств. После обеда Уэллс поделился мыслями о своем только что законченном романе.

В своих статьях на тему ближайшего будущего Уэллс предсказывал поражение Германии и революцию.

8 марта Толстой писал Н. В. Крандиевской:

«Милая моя дорогая, завтра утром уезжаем во Францию. На 24 марта я заказываю билет в Россию. Я

устал и болен. Нет времени даже писать, каждый день встаем в 772, в 8 и уезжаем на заводы, на верфи, в армию. Напечатаны ли мои 2 статейки, в субботу посылаю третью. И по приезде придется писать очень много...»

Перед поездкой на английский фронт делегацию принял военный министр Китчинер, сказавший несколько добрых слов по адресу русской армии. Немирович-Данченко, Набоков и Толстой вскоре после этой встречи отправились через Ла-Манш во Францию. И три дня «провели в непрерывных осмотрах позиций и военных магазинов, едва не были убиты, и 13 марта попали в Париж, — пустынный, залитый весенним солнцем, прекрасный и печальный».

Они разговаривали с генералами, офицерами, солдатами, наблюдали стрельбу батареи, стрельбу из тяжелой пушки, видели развалины некогда великолепного замка, брызги стекла, обломки зданий, остатки роскошного зимнего сада. Все в округе было сметено военным ураганом.

Поездка по линии фронта завершилась встречей с английским главнокомандующим. Лорд Дэрби, сэр Дуглас Хэг, герцог Тэк, брат королевы, радушно встретили русских журналистов, расспрашивали об армии, об Эрзеруме. Этот город, по всему чувствовалось, больше всего занимал внимание англичан.

11 марта Толстой писал жене:

«Дорогая моя Наташечка, мы третий день сидим в главной квартире в парке, в шато с егозливой французской обстановочкой. Во всем замке нас пять человек. Внизу, где столовая и гостинная, топят два камина, а наверху в спальнях каминов нет, огромные постели под балдахинами, и лезешь как в снег в простыни. Вчера был на позициях в обстреливаемом и совсем разрушенном городке. Сегодня ездил в Кале, завтра отправляемся вдвоем с Набоковым в траншеи,

вплоть к самым немцам. В пятницу 24 уезжаю к тебе. Мне представляется как сон, как чудесная мечта, что буду с тобой. Только, Наташенька, я ни разу тебе не писал о самом главном, о чем я стараюсь не думать сейчас, — как ты относишься ко мне, милочка моя. Я твердо как на духу, говорю тебе вся моя жизнь все что есть смертного и бессмертного в тебе. Через всякие испытания — сильнее и тверже люблю тебя. Если ты меня разлюбишь и оставишь, я погибну, потому что ты стала моей сущностью. Ах как мне хочется чтобы теперь не было больше в нашей жизни никаких облаков. Наташенька, верь любви, *старайся не искать в ней никаких изъянов...*»

На третий день пребывания на фронте Толстой и Набоков оказались на передовой линии окопов. Алексей Толстой долго смотрел в перископ на немецкие окопы. Пробираясь по траншеям, они попали под обстрел: «Впереди Набокова, шагах в десяти, треснуло, рвануло мешки; полетели комья, тряпки. И сейчас же другая граната разорвалась за моей спиной; дуло душным дымом, обдало грязью и песком», — писал Толстой в «Русские ведомости».

В письме к Н. В. Крандиевской он рассказывал: «...вернулись с позиций. Мы были в 25 саженях от немцев и едва Набокова и меня не убили. Бросали гранаты и две из них разорвались в нескольких шагах, так что обдало землей и дымом. Пришлось около часу идти по траншеям под обстрелом...»

На следующий день рано утром они уже были по дороге в Париж. Нет, на французский фронт он не отправится, думал Толстой. Поживет в Париже два дня, оттуда в Лондон, а уж потом желанная Москва.

И все-таки к Парижу Толстой подъезжал с каким-то необъяснимым чувством радостного возбуждения. Сколько раз он бывал здесь за последние годы и сколько пережил... Первые триумфы и первые разочарования и

сомнения... Рано утром следующего дня он поехал к Кругликовой разыскивать Макса Волошина, но там его не оказалось. Тогда он пошел побродить по городу. День был чудесный, по-весеннему ясный. Все уже ходили без пальто. И может быть, поэтому Толстому бросилась в глаза одна странная, необычная особенность Парижа — город показался ему опустевшим, редко попадались на глаз и мужчины, часто мелькали женщины в трауре. Наконец он вспомнил адрес знакомой по прежнему Парижу, застал ее дома, она сказала, что Макс обедает у Цетлина. Он пошел туда, но Макса не застал, зато ему сказали, что уже несколько дней его ожидает дядя Сережа, родственник Наталии Васильевны, и дали его адрес. Встретились они очень дружески, а на следующий день, как писал он и письме Наташе, были уже на «ты» и весь день ходили и разыскивали ей и ее сестре какие-нибудь приятные вещи. 16 марта Толстой был в Лондоне. Через Ла-Манш пароход, на котором возвращалась русская делегация, конвоировали миноносцы и самолеты. При посадке на пароход всем обязательно велили надеть пробковые пояса: немцы чуть ли не каждый день взрывали минами корабли.

Вернувшись в Лондон, Алексей Толстой мог несколько дней никуда не торопиться: визит русских журналистов подходил к концу. Пора было подводить хотя бы предварительные итоги. И Алексей Николаевич часто уединялся в номере, записывая свои впечатления. Поездка в Англию обогатила его. Вспоминая встречи и разговоры с англичанами, Алексей Толстой приходил к выводу, что они больше всего в жизни считаются с издавна устоявшимися и потому непреклонными законами жизни. «Здесь город сильнее человека, — думал Толстой. — Личная воля и предприимчивость только тогда находят выход всем своим силам, покуда не противоречат обществу, нравственности, традиции, обычаю, — маховику, который удерживает в равновесии

всю эту громаду, двигает ее доопределенному пути, начертанному веками. Каждый англичанин уверен в себе, в своем прошлом и будущем, в своей стране. У них сильно развито историческое сознание, и каждый готов подавить в себе минутные порывы ради общего блага страны, но тот, кто пошел против общества, против страны, пусть не ждет пощады, такие преступления считаются в Англии самыми страшными... О господи! Насколько мы, русские, бесконечно их свободнее... Мы можем с легким сердцем объявить пережитком все свои обычаи, нарочно позабыть историю и географию своей страны, мало задумываемся о будущем, рассчитывая на авось да небось, когда-нибудь да придем все-таки, что-нибудь да случится, все свои силы тратим в настоящем и хотим абсолютной свободы. В этом — наша трагедия: мы любим свободу до анархии, хотим сразу всего в настоящем, возможности наши непомерны, и мы бьемся, как бабочка о стекло, только потому, что у нас нет общества, а лишь миллионы людей, в нас нет единой воли, того маховика, который так сильно чувствуется, когда вылезает в Лондоне на Черинг-Кросс...»

Многое передумал Толстой за эти дни. В их честь давал банкет сэр Эдуард Грей и его правительство, их принимал английский король, они побывали в палате депутатов, где слушали премьер-министра Асквита и возражения ему какого-то пацифиста.

Поездки и работа над корреспонденциями отнимали много времени. И все-таки Алексей Толстой в самые последние дни побывал в некоторых театрах, в галерее, в Темпле — древнем монастыре тамплиеров, посетил боксерский клуб и кабачок на Флит-стрит, где вот уже триста лет угощают посетителей неизменным супом из бычьих хвостов. Но все это мимоходом.

В Лондоне не раз ему приходилось слышать и читать на афишах, что на Пикадилли открылась «Русская выставка». Как он был разочарован, посетив эту

выставку. «У входа стояли два толстенных, черных джентльмена в красных черкесах, с кинжалами; на головах их возвышались боярские шапки с медными восьмиконечными крестами. Для доказательства русского своего происхождения черкесы зверски вращали глазами. В низкой сводчатой комнате, у нищих прилавков, сидели старые англичанки в кокошниках и продавали какие-то фигурки, ржавые замки, явно приобретенные по случаю в Уайтчепеле. Здесь же раскинула витрины с зубоврачебными инструментами одна английская фирма. В глубине коридора, направо и налево, устроены уголки России: изба с огромным комодом, на котором, облокотясь, лежал древний старик из папье-маше; на фоне странного пейзажа брошена охапка соломы, и сидят пейзаж и пейзажанка с выскоченными стеклянными глазами, — называется жнитво; далее поляк, обшитый лебяжьим пухом, целится из двустволки в чучело медведя. На фоне нарисован эскимос и куча снега — зима; наконец, бегство евреев из Польши (красный фон, сломанное колесо и два чучела в лапсердаках), и еще какая-то битва... Нужно очень и очень серьезно подумать о том, чтобы англичане в своем порыве не обожглись о подобные «уголки», — заканчивал Алексей Толстой свои «Письма из Англии».

Летом, после почти двухмесячного путешествия и непременно газетного отчета, Алексей Толстой, уединившись в имении своих друзей Свешниковых, наконец-то мог с удовольствием посвятить время творчеству. «Прекрасная дама», «Искры», «В июле» — в этих рассказах уже нет военных стычек, кровопролитных сражений и героических свершений. Только глухие отзвуки войны раздаются иной раз в этих рассказах. Все больше и больше захватывает Толстого театр, а успех «Нечистой силы» только усилил в нем желание работать для театра. Так появились пьесы

«Ракета» и «Касатка», а накануне Великой Октябрьской революции — «Горький цвет».

Все это время он никак не мог разобраться в происходящих внутри страны событиях. Ему казалось, что после Февральской революции открывалась новая эра человеческих и государственных отношений, но через несколько недель он уже разочарован; снова овладело им восторженное настроение в ожидании решений Государственного совещания, где витийствовал Керенский, потом опять наступало откровенное неприятие происходящего. Сначала Толстой не принял и революционные события в Москве в конце октября 1917 года. Но потом увидел, что пришедшие к власти рабочие во главе с большевиками вовсе непохожи на диких гуннов: по-прежнему издавались многие газеты и журналы, по-прежнему работали театры, по-прежнему устраивались литературные вечера, к тому же открывались еще и новые литературные и артистические кафе, куда и его с Натальей Толстой-Крандиевской (после Февральской революции Наталья Крандиевская, получив развод с Волькенштейном, зарегистрировала свой брак с Толстым и взяла двойную фамилию) не раз приглашали. Оказалось, что большевики не метают работать ему как художнику. И он много и плодотворно работал. «Первые террористы», «Наваждение», «День Петра» — вот три первоначальные попытки Алексея Толстого постигнуть эпоху Петра Великого, эпоху ломки, крушения и невиданных преобразований во всех областях человеческой жизни. Петровская эпоха привлекла Толстого тем, что уж больно много было там сходного с современными процессами. Но глубоко осмыслить происходящие события Толстой не мог. Только немногие могли пойти на сотрудничество с новой властью, большинство, приглядываясь, оставалось в стороне. По мнению Толстого, большевики чересчур категорически

настроены по отношению к интеллигенции, видя в ней потенциально враждебную силу. Декреты следуют один за другим. Вся власть пролетариату? Почему только одному пролетариату? А интеллигенция? Она что, должна только пойти в услужение к новым властям, слепо выполнять их указания? А разве не интеллигенты сидели в тюрьмах за свою революционную деятельность при царизме? Много вопросов накапливалось в душе Толстого.

Он не мог не обратить внимания, что в литературе и искусстве начали задавать тон пролеткультисты, именовавшие себя новыми силами грядущей пролетарской культуры. Более того, он заметил, что к власти стали приходить его недавние «враги» — футуристы. Как и до революции, они яростно отвергали Пушкина и вообще классиков мировой литературы, считая все прежнее устаревшим хламом. Такого Толстой не мог перенести. Снова бередящие душу вопросы и недоумения стали тревожить его душу.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Настало лето. Гражданская война, чуть тлевшая весной, разгоралась по всей стране. Чехи в Поволжье, Сибири, на Урале, англичане в Азербайджане и Туркестане, в Мурманске и Вологде, японцы и американцы во Владивостоке, немцы на Украине и на Дону. Повсюду создавались местные «правительства», в которых преобладали меньшевики и эсеры. Оживилась деятельность английских и французских разведчиков, при участии которых появлялись контрреволюционные группы заговорщиков. Левоэсеровский мятеж в Ярославле, заговор Локкарта и многие другие заговоры — все это сливалось в единый поток всероссийской контрреволюции.

Мятежи, диверсии, заговоры порождали ответные действия со стороны Советского правительства. Были созданы чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, так называемые «чрезвычайки». Во всех городах России началась жестокая борьба против заговорщиков.

Суровость политических репрессий, оправданных положением революционной России, заставляла задуматься всех, кто не был с большевиками: перед каждым из них встала проблема выбора того или иного фронта в разгоревшейся гражданской войне...

«Весной 1918 года в Москве, — вспоминала Н. В. Крандиевская, — начался продовольственный кризис. Назревал он постепенно, возвещали о нем очереди возле магазинов, спекулянты и первые мешочники. Но все же обывателей, еще не искушенных голодом, он застал расплох. Я помню день, когда прислуга, вернувшись с рынка, объявила, что провизии нет и обеда не будет.

— То есть как это не будет? Что за чепуха? — возмутился Толстой, которому доложили об этом. — Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники.

Но выяснилось, что двери «жратвенного храма» — магазина Елисеева — закрыты наглухо и висит на них лаконичная надпись: «Продуктов нет». («И не будет», — приписал кто-то сбоку мелом.) Надпись эта, а в особенности приписка выглядели зловеще. Пищевой аврал, объявленный в тот день в нашем доме, выразился в блинчиках с вареньем и черным кофе. Он никак не разрешил общего недоумения — что же будет завтра.

В это время антрепренер Левилов вел переговоры с Толстым, предлагая концертное турне по Украине (Харьков, Киев, Одесса). На Украине было сытно, в Одессе соблазняло морское купанье и виноград. Толстой уговаривал меня ехать с ним и забрать детей — использовать поездку как летний отдых.

В июле мы выехали всей семьей (исключая Марьяны, оставшейся с матерью) на Курск, где проходила в то время пограничная линия. С нами ехала семья Цейтлиных, возвращавшаяся в Париж. Позднее в своей повести «Ибикус» Толстой описал это путешествие с фотографической точностью и так ярко, что мне прибавить к этому нечего».

Толстой и не предполагал, что, выезжая из Москвы на юг, он надолго покидает ее. Думалось, что эта мера временная, скоро все успокоится, взбаламученное житейское море войдет в свои привычные берега и они вернуться в свою уютную арбатскую квартиру.

И ошибся...

Три дня в набитом «пассажирами сверх всякой возможности» вагоне ехали до Курска. «Весь поезд ругался и грозился. В ночной темноте от него, как от черного кота, сыпались искры. Пролетали ободранные железнодорожные станции с разбитыми окнами,

угрюмые села, запустевшие поля, ободренные мужики, пустынные курские степи. Даже в сереньком небе все еще чудилось неразвеянное, кровавое уныние несчастной войны... В Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие рассказы. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, **к** Курску, причем в теплушках начиналась тихая паника. Наконец на рассвете остановились на границе».

Навсегда запомнятся Толстому эти дни, наполненные необычными переживаниями, встречами, наблюдениями. На крышах вагонов — бабы, мужики. Грязные, пустые, с выбитыми окнами станции. Полусонные люди, бегущие за кипятком на остановках. В Курске, грязном, пыльном, опустевшем, в городском саду случай свел его с губернским комиссаром. В пунцовом галстуке, надушенный, пахнувший «прелью и девками», он сидел с актрисами, искал повода, чтобы похвалиться. Толстой рассказал о своем литературном турне. В гостиницу возвращались вместе поздно вечером. Комиссар постучал в калитку в заборе.

— Кто стучит?

— Я.

— Кто я?

— Губернский чрезвычайный комиссар.

Только отворили, где-то недалеко раздался выстрел.

— Кто стрелял?

— Сторож.

— Схватить его, дурака, к стенке.

Потом, полуобернувшись, сказал Толстому:

— Не хотел бы я быть сейчас на его месте.

Гостиница, куда комиссар привел Толстого и Левидова, была грязной, непроветренной, с железными лестницами. На площадках сидели на стульях зевающие часовые. В номере комиссара тоже было грязно —

валялись бумажки, вороха газет. За перегородкой смятая постель, на стульях, на подоконнике разбросано белье. На столе подарки: часы, платки, какие-то коробочки, адреса, два телефона. Он сейчас же предложил прочесть адреса, где его хвалили на все лады, подсовывал статьи, просил прочесть, хвастался. Неожиданно зазвонил телефон. Чувствовалось, что говорили о бесчинствах анархистов.

— Эти, как говорится, сопляки пусть убираются в 48 часов, иначе расстрелять.

«Никаких других мер. Только к стенке», — думал Толстой, ворочаясь на скомканной серой простыне.

Утром Толстой тепло поблагодарил «товарища губернского комиссара», который тут же, подавая с широкой улыбкой обе руки и горделиво откинувшись назад, добавил:

— И чрезвычайный комиссар.

Много странного, необъяснимого было в его поведении. Почему поехал провожать их до вокзала верхом, а проезжая мимо какой-то коляски, зачем-то сорвал с себя фуражку и бросил ее туда? Этот губернский комиссар так заинтересовал Толстого, что он впоследствии справлялся о его судьбе: оказалось, через три дня после их встречи он был расстрелян ЧК.

В романе «Восемнадцатый год» есть эпизодический персонаж — военный комиссар товарищ Бройницкий, окруживший себя уголовным элементом и действовавший как откровенный бандит от имени Советской власти. Возможно, Толстой, работая над этим образом, вспомнил и свою встречу с губернским комиссаром в Курске.

После трудной дороги наконец добрались до Харькова, опьянившего их сытостью и спокойствием. «По улицам ходили — тяжело, вразвалку, — колонны немецких солдат в стальных шлемах. На лихачах проносились потомки древних украинских родов в

червоных папах. Множество дельцов военной формации, в синих шевиотовых костюмах толпились по кофейням, из воздуха делали деньги, гоняли из конца в конец Украины вагоны с аспирином, касторкой, смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада, на берегу заросшей ряскою реки Нетечи, где кишели, орали, ухали жабы и лягушки, вились туманными змейками двенадцать лихорадок» — таким запомнился Толстому Харьков той поры, описанный в повести «Ибикус».

В шумную Одессу Толстой приехал как раз тогда, когда в «Лондонской» был образован «комитет всероссийского спасения», куда вошли два присяжных поверенных, четыре богача спекулянта и гинеколог. По улицам расхаживали сенегальцы и греки в смешных картузах. А в порту было много иностранных и русских кораблей, готовых к отплытию..

В широкополой писательской шляпе, плотно надетой на раскидистые — в кружок — волосы, Толстой всегда резко приметен на людях. Вот каким вспоминают его современники: «Надменный, замкнутый, нарочито сухой с чужими людьми, не писательского круга — его лицо тогда строго, покатая с четырехугольным лбом голова туго поворачивается на шее, от 8 до 12 вечера может не сказать ни слова: не заметит. Лихоумец, выдумщик, балагур с людьми, ему приятными, людьми, которых приемлет — тогда одним анекдотом может свалить под стол».

Те, кто видел его в это время, отмечают дородность в его фигуре, отчетливое, надолго запоминающееся лицо, непременно улыбку его полнокровного рта.

В записной книжке 1918 года есть запись, относящаяся к его посещению Киева: «Днепр. Прозрачный воздух. Ясно-голубые дали. Белые песчаные острова, низкие, точно ножом срезанные берега.

Лодочки рыбаков. Водяные мельницы. Розоватые облака, отраженные в воде. На пароходе большой мужик-слепец кривит рот, поет под гармонию про несчастного солдата. Ночью в дымных облаках — луна. На темном берегу песни, женский смех. Струи воды, скользящие вдоль песка, вдоль мшистых свай конторки».

Но стоило Толстому поглубже всмотреться в то, что происходило вокруг него, поговорить с людьми, как перед ним снова открывалась полная драматических столкновений и противоречий человеческая жизнь. Бывший «солист его величества» де Лазари рассказал ему о своем полном опасных приключений концертном турне в Ялту и Севастополь. Из его купе взяли двух офицеров и расстреляли перед окнами вагона. Повсюду шли бои, схватки, лилась кровь. А в Одессе везший его извозчик откровенно признавался, что настоящая война еще впереди:

— А что же вы думаете, помещик три-четыре службы в городе имеет, захочет, все деньги в одну ночь проиграет в карты. А mli на него работай. А на что ему земля? Десять лет будем бунтовать, с голыми руками пойдем, ружья отнимем, свое возьмем. Это пока малые бунты, понемножку, а вот все крестьянство поднимется... Вот будет беда, — засмеялся, и от его смеха неприятно стало Толстому. — Десять лет будем воевать, а своего добьемся...

Разговор с извозчиком огорчил Толстого, но ненадолго. Грешно было в столь теплый, солнечный день всерьез задумываться над этими словами. Даже висевший над морем туман не мог скрыть очертания мощных дредноутов. Правда, на площади у памятника — телега с имуществом поляков-добровольцев, а рядом на Екатерининской, стоят две мортиры, на которых укладывают гробы убитых германских офицеров, но к этому Толстой успел уже привыкнуть за четыре года. На улицах повсюду толпится праздный народ. Кого только

не встретишь здесь. Наташа рассказывала ему, как совершенно открыто по Французскому бульвару на подводе, полной узлов, проехало человек десять воров, оборванных, скучных. А вот и Дерибасовская...

Толстой не успел расплатиться с извозчиком, как его окликнул знакомый журналист:

— Алексей Николаевич! Вы ничего не слышали, что произошло под Екатеринославом?

— Нет! Я недавно приехал. Не успел ни с кем познакомиться.

— Ужас! Под Екатеринославом уничтожили 500 немцев...

А вы были на маскараде в городском театре? Ах да, ведь вы только приехали в Одессу...

Словоохотливый журналист еще долго щебетал, а Толстой, смотря по сторонам, мучительно пытался найти предлог, как отделаться от этого надоедливого знакомого.

Два встречных потока текли навстречу друг другу. Тут увидишь и настоящего царского генерала, и лихого юнкера, столбом врастающего в землю при виде золотых погон, и сильно потрепанного за последний год помещика в каком-нибудь несуразном, с чужого плеча, пальтеце, и дельца в дорогой шубе, а уж о женщинах и говорить нечего: на все вкусы. И петербурженки, и москвички, и одесситки. А из раскрытых дверей ресторана вырывается «Измайловский марш». Шумная, разодетая Дерибасовская ничуть не сомневается в прочности, незыблемости традиционных основ иерархии, быта и государства.

В этой разношерстной толпе Толстой неожиданно наткнулся на Ивана Бунина. Тот спокойно шел в толпе и чему-то желчно улыбался. Не заметить? Или подойти как ни в чем не бывало? Ведь с тех пор, как на обсуждении «Двенадцати» Блока Толстой обругал Бунина реакционером, они не разговаривали.

Лицо Бунина поразило его: какое-то измученное и издерганное. Брови запущенные, вроде бы непричесанные, а под глазами серые вздувшиеся мешки от давнишней бессонницы. Только в фигуре его чувствовался прежний Бунин: юношеская стройность и неперенное благородство жеста.

Толстой широко улыбнулся и шагнул навстречу. Какие могут быть счеты между друзьями по несчастью!

— Иван Алексеевич, — крепко пожимая протянутую руку, сказал Толстой, — вы давно здесь?

— Да уж в мае сюда перебрался, — сдержанно ответил Бунин.

— А как вам удалось выбраться из Москвы?

— Случай помог. Я оказал большую услугу некоему приват-доценту Фриче. Может, знаете — литератору, читавшему где-то лекции, ярому социал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольные революционные брошюры, и вот при большевиках этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы, и он, растерявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем зачем-то туда. Так мы и уехали из Москвы. И какое это было все-таки ужасное путешествие! Поезд шел с вооруженной охраной, по ночам весь затемненный, проходил станции, и что только было на вокзалах этих станций...

— Все эти страхи и мы пережили. А что творится в Москве — уму непостижимо. Голод, самый настоящий голод... Накануне отъезда возвращались мы как-то на рассвете от Цейтлиных. С нами шел молчаливый бледный человек восточного типа, с черными бакенбардами. Я на него посмотрел и простодушно ему сказал: «С вами не страшно ходить по Москве, вас

всякий испугается». Знаете, как это бывает, нахлынет такое, что и не хочешь сказать, а скажешь, а он хмуро оглядел меня и спросил каким-то странным голосом: «Вы думаете? — А затем спросил: — Вы понимаете толк в оружии?» И вытащил из-под бурки огромный кольт. Поговорили об оружии, уж в этом-то я знаю толк. Это оказался бывший эсер Блюмкин, председатель комиссии по расстрелам. Это был убийца Мирбаха, я уж потом узнал.

Столько было обаяния, непосредственности во всем облике Толстого, во всех его движениях, голосе, чертах лица, что Бунин и не стал бы напоминать о недавней размолвке, если бы он сам не заговорил об этом:

— Напрасно ругал вас тогда на собрании по поводу «Двенадцати». Я перечитал ее, действительно, есть там что-то натуужливое, неестественное. Но, говорят, он очень плох, в каком-то безвыходном положении. Хотел бы бросить все, продать, уехать далеко — на солнце, и жить совершенно иначе, а сил выбраться из крута нет. Все-таки жалко его. Пропадет. Думаю, что зимой будем, бог даст, спать в Москве, только что мне знакомый журналист говорил, что Деникин успешно наступает. Народ поддержит его. Я много ездил последние месяцы, слышался, что говорят мужички, такие речи, что меня мороз по коже драл. Лет десять будем воевать, сказал мне один извозчик, а своего добьемся...

Прогуливаясь с Буниным по Дерибасовской, Толстой узнал, что в Одессу съехались многие именитые писатели, артисты, общественные деятели. В октябре 1918 года на юге России появился Леонид Собинов. Широко ходили слухи о том, что он убежал из Москвы, не желая сотрудничать с большевиками. Только много лет спустя Толстой узнал, что это неправда и что Собинов в Киеве и Севастополе при большевиках охотно сотрудничал с Советской властью, выступал на митингах, пел в рабочих и красноармейских аудиториях.

Как-то у одного из одесских меценатов собралась группа молодых литераторов (Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Адалис, Борис Бобович, Зинаида Шишова) для встречи с петербургскими знаменитостями. Если Буниным, Блоком поэты просто восхищались, то отношение к Алексею Толстому у них было сложное. Недавно вошел в литературу, а уже так знаменит. Но это некоторое раздражение и зависть мгновенно улетучились, как только непосредственно столкнулись с ним.

После ужина молодые поэты стали читать свои стихи. Юрий Олеша вспоминал об этом чтении: «Я решил начать как раз с «Пиковой дамы» — стихотворения, которое было признано всеми как лучшее в цикле. В первой строфе его приводилось описание зала, где происходит карточная игра. Самой строфы не помню, но обломок — вот он.

Шеренга слуг стоит, и свечи
Коптят амуров в потолке.

...Кто находился когда-либо в обществе Алексея Толстого, тому, разумеется, среди многих вызывающих симпатию черт этого непревзойденного привлекательного человека в особенности не мог не понравиться его смех — вернее, манера реагировать на смешное: некий короткий носовой и — я сравню грубо, но так сравнивали все знавшие Толстого — похожий на хрюканье звук. Да, правда, именно так и происходило: когда при нем произносилась кем-либо смешная реплика, Толстой вынимал изо рта вечную свою трубку, смотрел секунду на автора реплики, молча и мигая, а потом издавал свое знаменитое хрюканье. И это было настолько, выражаясь театральным языком, «в образе», настолько было «своим», что когда мы слышали смех

Толстого, видели его смеющимся, то как раз в эти мгновения мы, может быть, реальней, чем когда-либо, ощущали его неповторимость.

Не успели прозвучать строки об амурах, которых коптят свечи, как Толстой хрюкнул.

Все, конечно, услышали это. Все, конечно, увидели, как, вынув изо рта трубку, он смотрит на меня мигая.

— То есть как это «копят амуров»? — спросил он. — Как с окороками это делают, что ли?

— Почему с окороками? — опросил я обиженно.

— Надо бы сказать — «закапчивают» или «покрывают копотью». А «копят амуров» — это получается, что копченые амурь.

Первым из нас захохотал наиболее среди нас чувствующий юмор Катаев. В следующую минуту хохотали уже все...

— Нет, правда, Олеша, ведь черт знает что — копченые амурь!.. Сколько раз я и у себя замечаю подобные ляпсусы, — говорит Толстой, как бы читая мои мысли. — У-у, как внимательно надо работать! Вот вы, я вижу, считаете меня метром. А я чувствую себя учеником. Ни вы, Олеша, не метр, ни я не метр. Ведь вам иногда приходит в голову, что вы метр.

Последовала пауза, Толстой задумался на мгновение... и затем мы услышали удивительное признание.

— Послушайте, — сказал Толстой, — когда я подхожу к столу, на котором лист бумаги, у меня такое ощущение, как будто я никогда ничего не писал; мне страшно — такое ощущение, как будто придется сесть писать впервые. А ведь я уже выпустил несколько книг, кое-какая техника у меня уже выработана... Нет, белый лист меня все же пугает! Как я буду писать, думаю я, ведь я же не умею! Вот видите, а вам кажется: метр! Ну, ладно, я вас перебил, извините. Читайте дальше...»

Вот так и шла жизнь Алексея Толстого в Одессе: встречи, чтения, беседы, в которых обсуждались события дня: зачитывали обращение Колчака к населению России, в котором «верховный правитель» обещал не идти «ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности», обещал создать боеспособную армию, способную восстановить законность и правопорядок, «дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, какой он пожелает, и осуществить высокие идеи свободы, ныне провозглашаемые по всему миру»; говорили о слиянии «добровольческой» и Донской армий, о высадке десанта союзников, о падении гетмана Скоропадского и о новом движении на Украине — петлюровском.

Толстой выступает со своими рассказами в Елизаветграде, Екатеринославе, Николаеве, Херсоне. Он не приемлет Советскую власть, новые порядки, но замечает и другое: вожди белых оказываются неспособными удержать от разложения своих сторонников. Каждый отряд действует на свой страх и риск. Каждая войсковая единица выдвигает свои требования, свою программу.

Одно время Толстому показалось, что именно союзнические войска спасут страну от гибели. Положение в Советской России в конце 1918 года было критическим. В статье «Пусть не ошибутся» Толстой приветствовал союзников, пришедших «нам на помощь». Пройдет не так много времени, и он разочаруется в союзниках.

В конце ноября в черноморские порты прибыла французская эскадра. Вскоре ожидалось прибытие сухопутных войск. Одесса становилась военно-морской базой, из которой должно было начинаться продвижение на север. Путь от Одессы до Киева почти свободен. Гетманская власть доживала свои последние дни. Но тут петлюровцы захватили Одессу. Командующий

французским флотским отрядом Энно создал в городе особую союзную зону, охраняемую французскими матросами и объявленную недоступной для петлюровцев. Оживилась деятельность добровольческого центра. Генерал Гришин-Алмазов организовал сильный отряд добровольцев и в середине декабря 1918 года отдал распоряжение занять ряд правительственных учреждений. Началась перестрелка с петлюровцами, а через несколько часов они оставили Одессу.

Утром 19 декабря город заняли добровольцы, повсюду развевались трехцветные русские флаги. Эти события всем тогда показались символичными, теперь-то уж национальный флаг никогда не будет опущен в Одессе. Стали прибывать войска союзников. Уже поговаривали о том, что скоро начнется наступление на Киев, а потом на Москву. Но вот другие слухи поползли по Одессе: рабочие Англии и Франции твердо сказали: «Руки прочь от Советской России!»

Толстой был там, где непосредственно бушевало пламя гражданской войны. Температура поднялась до высшей точки, и огненная стихия должна была оставить страшный след. Война опустошала душу народную, но в ее огне сгорало немало старых убеждений, взглядов, иллюзий, предрассудков и наслоений.

Во время своих поездок по южным городам Толстой обратил внимание, что прежде всего₁ крестьянский вопрос волнует большинство участников событий. Этот вопрос недаром называли осью русской жизни. Крестьянство стремилось завоевать помещичью землю и с оружием в руках охранять свои права на завоеванное. Крестьяне не хотели журавля в небе, они предпочитали синицу в руках, они устали от платонических обещаний.

Толстой, оказавшись на юге России, понял, насколько вопрос о земле стал актуален и злободневен. Повсюду он наталкивался на разгромленные усадьбы, поджоги

экономий. Все это привело к грозным последствиям: недосеву, уничтожению инвентаря, к гибели сельскохозяйственной промышленности.

Толстой не мог не видеть, как прохладно, а то и враждебно относятся к белым крестьяне тех областей, где установились жестокие порядки по отношению к местному населению. Приказы о мобилизации не давали почти никаких результатов. Население уклонялось от воинской повинности. Толстой видел, с каким ожесточением красноармейцы, вчерашние крестьяне, воюют против помещичьих сынков.

Часто бывало так, что среди командного состава того или иного воинского соединения находились владельцы только что занятых войсками помещичьих усадеб, разгромленных до этого крестьянами. Тогда начинался суд и расправа.

Все это зажигало вновь костер социальной ненависти, придавая и самой «добровольческой» армии в глазах крестьянства откровенный дворянско-помещичий характер. Побеждала в этих случаях классовая ненависть и безудержное чувство мести.

Свое отношение к этой борьбе Толстой выразил в повести «Ибикус». Алексей Николаевич вспомнил осень 1918 года, когда он и видел и слышал от многих, как действовали так называемые «контрибуционные» отряды.

Помещик, определив контрибуцию за разоренное имение, взыскивал ее с помощью австрийцев или немцев. Обычно довольно солидный процент этой контрибуции он обещал командиру карательного отряда. Так от села к селу переходили эти отряды, вселяя в сердца мужиков озлобление и ненависть.

Толстой побывал в одном из таких имений.

Картина разгрома произвела на него гнетущее впечатление. Богатый барский дом был разрушен. Крестьяне смотрели исподлобья. Он чувствовал, что в

атмосфере деревенского бытия накопилось много электричества и разряд не заставит себя долго ждать. И взрыв произошел, вызвав немало жертв, новых страданий, слез и горя.

Толстой видел, что аграрные беспорядки все чаще принимают дику форму погромов, грабежей и насилий.

По Одессе бродили толпы бездельников, спекулянтов, жучков, маклеров, менял, паразитов без веры, без родины, без совести. Все эти толпы беженцев, суетливых, бездарных, унылых, представлялись Толстому порождением «тьмы, ужаса и развала». Такая современность не могла заинтересовать Толстого-художника, хотя какие-то впечатления плотно залегли в его сознании, чтобы спустя несколько лет вылиться в «Похождения Невзорова».

А пока уставший от действительности Толстой снова, как в забытии, погрузился в полюбившийся ему XVIII век, с увлечением начал работу над пьесой «Любовь — книга золотая», над повестью «Лунная сырость», в основу которой было положено предание о графе Калиостро.

Союзники между тем сворачивали свою деятельность на Черном море. Белые напрасно рассчитывали на их помощь. Красные стремительно приближались.

Толстой, услышав о том, что министерство Клемансо пало, что палата депутатов отказала в кредитах на содержание французских войск на юге России, тотчас же подумал об отъезде.

Вот что записал он тогда в своем дневнике: «Кончал 3-й акт пьесы. Мар. Сам. вызвала Нат. на площадку. Я вышел — вижу взволнованные, но внешне спокойные лица... Французы сдают Одессу, мы уезжаем сегодня.

Началось, точно медленное раскручивание спирали, отчаяние. Вышли на улицу. Серьезные лица офицеров. Один стоит, держится за лоб. Много простонародья. Сдержанно веселы. Ближе к центру больше волнения и

слухи. Слухи вырастают прямо на улице, накручиваются, как ком, разбиваются.

Зашли к Цетлиным, простились. Все уезжают. Чувство одиночества, покинутости. Не могли спать ночь. Обреченные на голод, на унижение. Утром пошли в город. Цетлины еще не уехали. Только в 5 ч. решаем ехать. Идем в Городской союз — там Фундам, раздает паспорта. В 3½ начинается частая стрельба по спекулянтам. Шарахается публика, бежит, возвращается. Появляется Наташа с детьми и вещами. Бунакова еще нет.

Решаем остаться. Говорят, по пути к порту убивают. Не можем разменять денег, появляется Бунаков. Мы едем.

В порту в ожидании катеров перед цепью офицеров. Горы багажа. Кражи. Доносится все время артиллерийская канонада.

Погрузка на катер. Пароход «Кавказ». Погрузка на него. Корзины летят в воду. Размещение по трюмам; неожиданность — пароход будет стоять два дня. Пароход продолжает грузиться... Еда из общего котла. Уходим на внешний рейд. Все, как во сне. Неудобства почти не замечаются, состояние анестезии: слишком все неожиданно, хаотично, будущее страшно и непонятно. Слухи самые фантастические проникают и охватывают пароход, как чума. На набережной при погрузке багажа — матрос с винтовкой на возу: «Дорогие мои, зачем бегите? Оставайтесь, всем хорошо будет». Черная, счастливая, широкая рожа».

ДРЕВНИЙ ПУТЬ

Сколько уж раз за последние месяцы Толстой оказывался в дороге, но никогда еще не испытывал такого сложного, противоречивого душевного состояния: вроде бы и радостно, избежал новой встречи с красными, а вместе с тем неопределенная будущность на чужбине порождала тоску, неуверенность, отчаяние.

Толстой подолгу смотрел на плещущие за бортом волны, вглядывался в туманную даль прибрежных скал и думал, перебирая в памяти события недавних дней. Как мучительно и тяжело складывалась жизнь! Дети, чемоданы, рукописи, а впереди — полная неизвестность. А кто виноват?

Пароход «Карковадо» шел древней дорогой человечества. Геллеспонт, Эллада, ущелья Арголиды, Гиперборея... Прислонившись к перилам, Алексей Толстой пристально всматривался в тихо проплывающие берега. Прошло два месяца, как он с семьей покинул Одессу. И сейчас направлялся в Париж той же древней дорогой купцов и завоевателей, которая издавна соединяла Запад и Восток. А сколько тайн хранит морская пучина, глотавшая и ладьи ахейцев, и пышные корабли Византии. А что скрывают эти холмистые берега? Какие царства покоятся под ними?

Словно тысячелетняя история оживала перед художником. Борьба народов и племен, расцвет и гибель целых государств. За что воевали и гибли? Вот и он, граф Толстой, писатель... К чему он стремится или должен стремиться?..

Прозвенели склянки. Сменялась вахта. Толстой закрыл глаза и вспомнил Москву, свое окно, выходящее в тихий арбатский переулок, утреннее пробуждение города, внизу понукание извозчика, свой стол с книгами

и рукописями, и жажда творческой работы с новой силой проснулась в нем: он так и не закончил пьесу, а сколько замыслов... И снова воспоминания вереницей поползли перед ним. Семь дней на «Кавказе» и три карантинных в Босфорском проливе — это серьезная проверка на прочность. Кого только не встретил здесь Толстой. На двух палубах и в четырех трюмах настоящий ноев ковчег современности: члены монархического союза, дельцы, фабриканты, заводчики, финансисты, одесский губернатор с двенадцатью чемоданами денег и железным сундуком валюты, члены Государственной думы, две контрразведки, в том числе и монархическая. Были здесь и эсеры, меньшевики, анархисты, то есть те, кто недавно выступал за революцию, а теперь бежал от нее.

Сколько же пережито за эти два месяца. Только десять дней на «Кавказе» чего стоят. Думали, лишь бы сесть на пароход, как уже наступит райская жизнь, где нет ни революций, ни завистливой грызни между собой, где сразу восстановится строгий и справедливый порядок. Ничуть не бывало. Затихшая было борьба вспыхнула еще жарче. Монархисты, кадеты, эсеры, меньшевики — каждый лаял друг на друга и всю вину старался спихнуть на кого угодно, только не на свою партию. Так и сыпались взаимные обвинения. Никто не хотел примириться с поражением. И от кого — от большевиков?! Запомнился вечерний разговор около котлов с тем вкрадчивым господином, который грозился устроить в Париже «Русскую витрину», где в центре он прибьет записную книжку одного известного деятеля Государственной думы и Учредительного собрания. Вся книжка, оказывается, заполнена адресами врачей и рецептами средств на предмет лечения триппера. А тут же реестрики — сколько у кого взято взаймы.

А что ж, и устроит... Портреты Чернышевского, Урицкого, флаги и записная книжка. Только почему он в

восторге от большевиков? Какой-то inferнальный контакт с ними. Ах да... Ведь он же говорил. Чем хуже, тем лучше. «Решительные мальчуганы. Чистят направо и налево: и господ интеллигентов под корешок, и святого мужичка в корень. Вот только насчет рабочих они какую-то кислоту разводят. За всем тем, глядишь, через полгодика и расчистят нам дорожку к власти... Да, да, у большевичков есть чему поучиться». Кстати, кажется, именно этот вкрадчивый господин рассказал ему о тайных заседаниях наверху, в курительной, членов Высшего монархического совета. Да, вроде бы он. Да и рассказывать тут нечего. Он сам все видел. Щегловитов десять дней просидел около кухни вместе с женой и горничной. Ругал жидов и французов. Сосновский пьяный говорил, что только один есть способ управления — лупить нагайкой. Сами виноваты, кричал он, барин ходит в праздник с парнями по деревне и смеется над попом. А нужно снимать шляпу. А Рутенберг все-таки очень похож на гоголевского Вия. Как обрадовался старый Шредер, узнавший, что никто не тронет его. Бедный, он в постоянной панике: «Я думал, что начнется избиение...» Богачи, старые дамы, сидящие всю ночь на сундуках. Вонь и смрад темных трюмов. Словно после погрома, люди никак не могут опомниться и прийти в себя. Злоба и тупое равнодушие на лицах, в поведении, в разговорах. Никто не сожалел о России, никто не хотел продолжать борьбу. Повсюду часовые, чуть ли не в каждой каюте свои маленькие штабы, свои командиры, вестовые, приказы, во всех трюмах трещали пишущие машинки. Столько перевели бумаги, а порядка не восстановили. Одно разложение. Да и как же могло быть иначе? Пятьдесят пять генералов, сидящих по трюмам и поминутно посылающих офицеров достать то-то и то-то. Две соперничающие между собой контрразведки...

«Какая нелепость! Какое отчаяние! Если бы нашим пращурам показать книгу жизни, перелистать все страницы грядущего... Это просто глупая и жестокая книжка, сказал бы пращур, здесь какая-то ошибка: смотрите, сколько хорошего труда затрачено, сколько развелось народу, сколько построено отличных городов. А на последней странице все это горит с четырех концов, и трупов столько, что можно неделю кормить рыбу в Эгейском море... И этот пращур будет прав. Где-то ошибка, где-то допущен неверный ход в шахматной партии, видимо, история свернула к пропасти. Какой прекрасный мир погибает... Зачем были Эллада, Рим, Ренессанс, весь железный грохот девятнадцатого века? Или удел всему — холм из черенков, поросший колючей травкой пустыни. Нет, нет, — где-нибудь должна быть правда...»

Наконец-то вышли в Эгейское море. Все дальше уходили берега, на которых виднелись следы войны: остатки казарм и взорванных укреплений, полузатопивший пароход. Впереди резвилось стадо дельфинов.

— Мама, мама, дельфин... — этот радостный крик русского ребенка заставил Толстого очнуться от нахлынувших воспоминаний. Чуть старше Никиты, белокурый, он излучал столько ликования и счастья, что Толстой невольно залюбовался им. Потом поглядел на мать, державшую его. Нетрудно было догадаться по ее исплаканному лицу, грязному пуховому платочку на плечах и стоптанным башмакам, что она пережила. И что ждет ее? До плясок ли дельфинов ей?

— Ах, как это прелестно, — заскрипел совсем рядом фальшивый женский голос. Толстой повернулся. Так он и знал. Самозванка. Выдает себя за благородную, а сама носит поддельные соболя и везет в Марсель четверых проституток, насулив им золотые горы. Рядом с ней стоял плохо одетый мужчина, о котором говорили, что

он картежный мошенник. При виде Толстого он почтительно поклонился. «Вот они... Правду говорят, когда гибнет дом, раньше всех из всех щелей выползают клопы», — подумал Толстой.

...Пассажиры пристально вглядывались в гребнистый остров, покрытый грозowymi тучами. Легендарный Имброс — остров громовержца Зевса. А с левого борта — земля героев Трояда. «Вот где каждый холм, каждый камень воспет гекзаметром. Вон курганы, может, это могилы Гектора и Патрокла. Именно тут, возможно, были вытащены на песок черные корабли ахейцев, а чуть дальше поднимались циклопические стены Трои, вокруг которых разыгралось столько драматических историй! Здесь начиналась трехтысячелетняя история европейской цивилизации. С тех пор и поныне не нашлось, видимо, иного средства поправлять свои дела — кроме меча, грабежа и лукавства. Герои Троянской войны были по крайней мере великолепны в гривастых шлемах, с могучими ляжками и бычьими сердцами, не разъеденными идеями торжества добра над злом. Они не писали у открытого окна книг о гуманизме... Все превратилось в суррогат, повсюду ложь, которой больше не хотят верить... Гибель, гибель неотвратима... Историю нужно начинать сызнова... Или...»

— Попаду. Пари хочешь? — прохрипел из кучки русских эмигрантов чей-то нагловатый голос.

— Не надо. Тут тебе не Россия. Лучше брось его в море.

— Нет уж, не брошу. Этот шпалер еще пригодится мне. Скольких я ухлопал из него. Поднять рубашку и под сосок...

В человеке с револьвером Толстой узнал Москаленко. «Вот ведь странный этот человек. Из очень хорошей семьи. Учился в университете. Воевал в мировой войне, был ранен. Поступил в корниловские отряды. Человек, у которого нет нельзя. Обе ноги изуродованы. Постоянно

ходит с револьвером. Верный товарищ. С дамами — рыцарь. А говорит на воровском жаргоне. «Шпалер», «закопался», «подскочил по службе», «профинтил». Неужели он действительно, как говорят, в Севастополе при немцах провоцировал, выслеживал и убивал большевиков. Сам убил больше ста большевиков... Чудовище какое-то... Может, поэтому после боев и убийств не мог жить дома, заболел, стал невменяемым... И теперь бежит, не зная куда...»

Сколько друзей и знакомых он наблюдал в это тяжелое для всех время! Многие сохранили свое достоинство, но сколько при этом было борьбы, колебаний, сомнений, угрызений совести. Сколько вынесено душевных страданий. И все-таки Толстой видел и тех, кто, толкаемый нуждой, шел на компромиссы с совестью, отступал от общепринятых моральных норм. В поисках заработка иные беженцы доходили до поступков циничных, особенно почему-то ярко это сказывалось в Константинополе, где процветали русские притоны. Среди людей, оторванных от Родины, лишенных живительного прикосновения к родной почве и родной действительности, в беженстве, как это имело место и в старой дореволюционной эмиграции, стали развиваться — влияние безделья — сплетня, клевета, взаимная ненависть, злоба, эгоцентризм, мелочная грызня, игра самолюбий, влияние больной печени и нервов. Этой затхлой и душной атмосферой деморализации в значительной степени заражен беженский русский мир, от проявлений жизни интеллигентных кругов которого порою отдает запахом тления, разложения и распада.

Толстой видел, что иные беженские круги свою энергию отдают на взаимное подсиживание, брань, крикливую и неприличную полемику. Все это тоже в известной степени не свидетельствует ли о нравственном упадке, о моральном развале, о

непристойной утрате чутья дозволенного и допустимого?

...А как трогательно была вечерня на палубе... Дождичек... Потом звездная ночь. На нее висит только что зарезанный бык. И архиепископ Анастасий в роскошных лиловых ризах, с панагией служит и все время пальцами ощупывает горло, словно от удушья, словно его давит кто-то... Как это он сказал?.. Да... «Мы без Родины молимся в храме под звездным куполом... Мы возвращаемся к истоку — к Святой Софии. Мы грешные и бездомные дети... Нам послано испытание...» Как пронзительно действовали эти слова, некоторые плакали, закрываясь шляпами, а другие с трудом сдерживали себя... У всех была только одна мысль: поскорее добраться до этого истока. И когда рано утром, поднявшись из трюма, он увидел в тумане смутные очертания четырех минаретов и купол Софии, мечеть Сулеймана, а затем, как только туман стал чуть-чуть рассеиваться, показались тронутые розовым солнцем прямоугольники домов Перы, какой вздох облегчения вырвался из его груди: слава богу, доехали. Семь дней на «Кавказе» остались позади. Потом три карантинных дня, когда пугающие своей новизной слухи, а вслед за ними поднимавшаяся на корабле паника чуть ли не довели до сумасшествия многих пассажиров. Потом перегрузка на «Николай». Офицеры, которых выгоняют из трюма прикладами. Изящные английские катера с изящными людьми. Веселая жизнь на берегу. Все это не очень-то легко было перенести.

...В Салониках, где «Карковадо» впервые бросил якорь, Толстой смотрел, стараясь запомнить, на голые бурые горы, на холмы, сбегаящие к морю. Город раскинулся на склоне гор и виден был как на ладони. Сильное впечатление производили остатки древних стен и белые иглы минаретов над пустынными кварталами.

По трапу уже бежали зуавы; которых, как потом выяснилось, хотели отправить на одесский фронт, но после того, как они запротестовали и выбрали батальонный Совет солдатских депутатов, решили возвратиться домой. По другому трапу вереницей поднимались с большими корзинами, полными угля, одинаково черные греки, турки, левантинцы. Вниз летели пустые корзинки. Зуавы махали фесками берегу. Пассажиры лениво наблюдали за всем происходящим.

Как только «Карковадо» снова вышел в море, справа показался Олимп, весь в снегах и лиловых тучах. Налево, из моря, возвышалась туманная громада — Афон. Повсюду видны острова архипелага, крутые, каменистые, желтоватые, покрытые низкорослым лесом. Потом — Фракия, Калабрия, Сицилия, Мессина, Неаполь...

Алексей Толстой почти все время находился на палубе. То, прислонившись к перилам, пристально вглядывался в проплывающие берега, занося кое-какие наблюдения в записную книжку, то сидел в шезлонге, любуясь, как в оранжевой пустыне моря опускается солнце, или подъехавшим на своей лодке классически живописным стариком нищим, или облепившими пароход продавцами кефали.

Но шумные, бесцеремонные зуавы то и дело отвлекали его, заставляли с беспокойством глядеть в их сторону. Такие молодцы могут выкинуть что угодно. «Как было спокойно, тихо без них. А теперь шумом, хохотом, возней они наполнили весь этот пароход, который просто трещит от их беготни. Всюду суют свой нос, будто взяли «Карковадо» на абордаж. А жаловаться капитану бесполезно, он руками только разводит... Удастся ли этой жабе уберечь своих девочек от этих сильных, жадных и веселых варваров?.. Сможет ли каюта кочегара, куда она закрыла их на ключ, спасти их от растерзания, ведь они уже пронюхали об этом... А,

бог с ними... Займись своими делами, граф Алексей Николаевич Толстой. Тебе терять нечего. Есть твоя культура, твоя правда, то, на чем ты вырос, то, из-за чего считаешь всякий свой поступок разумным и необходимым... А есть вот эта жизнь, жизнь миллионов. Ты слышал топот их ног по кораблю?.. И жизнь их не совпадает с твоей правдой. Они, как синеглазые скифы, смотрят с далекого берега на твой гибнущий корабль с изодранными парусами. Делись с ними своим отчаянием, сомнениями, расскажи им о невозможности выбора единственно правильной дороги сейчас у себя на родине, в ответ услышишь только гнев и возмущение, дикий восторг перед нашей революцией...»

Женский крик, донесшийся откуда-то из нутра парохода, прервал размышления Толстого. Послышался здоровый мужской смех. По палубе торопливо пробежала хозяйка девочек. Оказывается, зуавы попытались сломать дверь в кочегарке, но им кто-то помешал, и они успокоились.

И снова поплыли одна за другой картины воспоминаний... Остров Халки в Мраморном море, где поселились беженцы из России. Люди — бывшие офицеры русской армии, поэты, журналисты, дельцы, торговцы — сатанели от жары, клопов и безделья. Ненависть к большевикам не знала предела. Поэт Санди из Харькова, совсем еще мальчишка, в матросской рубашке, самоуверенный, нагловатый, встретившись с Толстым, предложил купить томик Вольтера. На недоуменный взгляд Толстого виновато объяснил:

— Тоскливо на душе. Хочется чуть-чуть забыться, понюхать кокаинчику... Меня за большевика считают.

Толстой посмотрел на грязную и лихо смятую морскую фуражку, на большой и крепкий нос. Юношеское бритое лицо его, бледное и по-женски красивое, с маленькими, темными, наглогато ускользающими глазами, чем-то заинтересовало

Толстого, и он предложил ему пойти на мостки. Там, за лодками, Санди улегся на горячих досках, а Толстой, поджав ноги, уселся рядом с ним. Санди, лежа на животе, читал стихи Игоря Северянина. В голосе его слышалась издевка. И, нюхая табак из тавлинки, он то и дело насмешливо опрашивал: «Ну что, хорошо?» То льстил, то издевался, то снова читал стихи и, перебивая сам себя, говорил, что завтра же снимет с себя все эти нелепые подозрения. Потом они вернулись, он занял у Жихаревой 40 пиастров, пошел напротив в аптеку, купил кокаину, стал в дверях: «За ваше здоровье, — нюхнул, — теперь пойду обедать». Через неделю после этой встречи Санди нашли задуманным.

Знакомый подполковник, встреченный Толстым в тот же день, рассказывал:

— Вы понимаете, все началось с брошюры, которую я нашел в общежитии. Заглавие оторвано, взял от скуки и читаю. Подходит ко мне полковник Теткин, может, знаете, строгий такой насчет взглядов. Ты, говорит, откуда ее взял?.. Ты, говорит, большевик, сукин сын. Это я-то большевик! И начинается форменное дознание. Взял книжку. Стал припоминать. Вроде на окне лежала. Кто ее на окно положил? Это не первый, мол, случай — брошюры агитационного содержания подбрасывают. Стали мы перебирать всех стрюков — на кого подозрение. Поручик Москаленко и указал на Санди. Как же так, говорю, Санди — литератор, честнейшая личность. Но не хотели и слушать, настолько все озлоблены, особенно этот Москаленко. Контужен, два ранения в грудь, нога разворочена осколком, жена расстреляна в Екатеринославе, сам после расстрела из общей могилы вылез... Во сне вскрикивает. Кровь душит. Видимо, Москаленко и прикончил его.

В карманах его были найдены коробочка с кокаином, сосновая шишка, носовой платок, десять пиастров, неотправленное письмо: «Едва не расстреляли в Киеве,

а белые считают меня за большевика... Мне очень тяжело-дорогая мамочка...» Вот так-то. Не был он большевистским разведчиком, как думали...

Толстой очнулся, воспоминания растаяли, словно мираж. Вечерело. Затихала дневная суeta.

Ранним утром, едва «Карковадо» вошел в бирюзовоголубые воды Тирренского моря, благополучно миновав опасный пролив, где блуждающие мины причиняли немало вреда судам, разнесся слух, что надвигается шторм.

Толстой с беспокойством посмотрел на небо. Действительно, оно не сулило ничего хорошего. Пассажиры заволновались тоже, то и дело поглядывали на небо.

Пронзительные боцманские свистки. Загремел гром, полыхнули молнии. И «Карковадо» весь заскрипел под ударами налетевшего ветра.

Всю ночь проблуждали у берегов Сицилии. Буксиром доставили «Карковадо» в Мессину. А уж оттуда путь лежал на Марсель. При виде марсельского маяка облегченно вздохнули. «Все позади. Древний путь окончен», — радостно подумал Алексей Толстой.

На первых порах Толстым крепко помог С. Скимунт, родственник Натальи Васильевны: они поселились у него на даче в Севре.

Вскоре после приезда в Париж у Толстого возникает мысль написать роман о своих хождениях по мукам. А сколько таких, как он?.. Десятки, сотни, тысячи... Бездействие в такое время казалось ему равным преступлению.

Замысел захватил его. Работая над романом, он все время тосковал по Родине. Оторванный от привычного и дорогого, он в первые же месяцы почувствовал, что значит быть парией, человеком «невесомым, бесплодным, не нужным никому, ни при каких обстоятельствах».

Летом 1920 года Толстые отдыхали на севере Франции. Здесь пришли к нему первые сомнения: «Бретань. Крошечная деревушка на берегу моря. Из далекой России доносились отрывочные сведения о героических боях с поляками, о грандиозных победах у Перекопа. Я работал тогда над первой книгой трилогии «Хождение по мукам». Работа двигалась к концу. Но вместе с концом созревало сознание, что самое главное так и осталось непонятым, что место художника не здесь, среди циклопических камней и тишины, нарушаемой лишь мерным рокотом прибоя, но в самом кипении борьбы, там, где в муках рождается новый мир».

Однажды, уже вернувшись из Бретани, Толстой прогуливался по парижским улицам. Задумчиво всматривался в быстро мелькающие лица торопливо идущих людей. В этот час Итальянский бульвар был шумен и многолюден. Цепкий художнический взгляд Толстого замечал буквально все: и то, что выходившие из магазинов и контор почти одновременно служащие сразу образовали тесную и шумную толпу на широком тротуаре; и то, что большинство в этой толпе составляли женщины; и то, как шумно, весело пробиралась в этом живом потоке стайка озорных подростков, не пропускавших ни одного случая, чтобы не посмеяться. Вот столкнулись два толстяка, смешно поднимая локти, надуваясь, стали выяснять, кто виноват. Откуда-то взявшийся негритенок в красной шапочке тащил полосатую картонку. До слуха Толстого сквозь рев и шум сплошного потока автомобилей донесся столь же привычный грохот падающих железных штор на окнах. Под ногами шелестели обрывки газет. Высокие платаны уже облетели, голые сучья, как руки, вздымались высоко в небо. Все это уже стало привычно... Даже воздух, пропитанный потом, духами и запахами алкоголя.

Алексей Толстой неторопливо двигался в толпе. Рядом шел Никита, крепко держась за руку отца. Сколько взглядов, мелькающих, точно спицы в быстро катящемся колесе. Только этот шум и мельтешение лиц не действовали на Толстого, словно оградившего себя магическим кругом, через который уже никому и ничему не переступить... Что ждет Россию? Либо ее окончательная гибель, потеря имени ее в истории, либо Россия все-таки найдет свою правду, восстановит свою государственность и былую мощь? Междоусобная война кончилась, красные одолели. Нельзя жить больше инерцией прошлой борьбы. Нельзя больше жить дикими слухами и фантастическими надеждами. Бред наяву кончился. Пора трезво посмотреть на происходящее в Европе и России. Только сумасшедшие могут еще надеяться на падение Москвы и падение большевистского режима вообще. И только сумасшедшие могут радоваться захватническим намерениям панской Польши и чудовищному голоду в России. В числе многих эмигрантов Толстой не мог сочувствовать белополякам, напавшим на русскую землю, не мог согласиться на установление границ 72-го года или отдачу панской Польше Смоленска, который 400 лет тому назад прославил своей обороной от польских войск воевода Шейн. Всей душой Толстой желал победы красным войскам. Какая несуразность... А некоторые оголтелые эмигранты призывали поляков навести порядок в России, надеялись, что им удастся разгромить большевиков. Такая позиция Толстому была непонятна, противоречила его патриотическим убеждениям. А кто виноват в новом испытании России — в голоде? По слухам, по газетным сообщениям, там наступили прямо-таки апокалипсические времена. Страна вымирает. «Не все ли равно, — думал Толстой, — кто виноват, когда детские трупы сваливают, как

штабеля дров, у железнодорожных станций, когда едят человеческое мясо. Все, все мы, скопом, соборно виноваты».

— Папа, ну что ты не отвечаешь? — теребил его за рукав Никита.

— Что тебе? Не видишь, я задумался...

— Пана, а что такое сугробы?

— Сугробы? Ну, знаешь, это такое...

Толстой неопределенно махнул рукой, все еще думая о своем. А потом, когда до него дошел смысл вопроса, возмутился:

— Как, ты не знаешь, что такое сугроб? А впрочем, откуда? Все правильно.

Ему живо представилось его детство. Как хорошо было бултыхнуться в мягкие пушистые сугробы. Он вспомнил свою самую, наверное, счастливую пору жизни, свой степной хутор, пруд, речку Чагру, летние светлые ночи на току, свою первую влюбленность, милые и добрые лица матери и Бострома, вспоминал все бывшее, ушедшее, вспоминал звездные ночи и бешеные скачки по степи, и душа его наполнялась вновь оживающими подробностями и деталями давно прожитой жизни.

Они с Никитой пришли домой. Он вошел в свою комнату. Здесь было тихо и светло. Вот о чем надо сейчас писать — о своем детстве, о России...

...Этот эпизод вспомнила и записала Наталья Васильевна Крандиевская. Вскоре, замечает она, Толстой действительно начал писать «Детство Никиты» — «Повесть о многих превосходных вещах». Почти год назад он пообещал одному издателю небольшой рассказик, а сейчас, когда начал работать, вспоминал сам писатель, «будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очарованием, нежной грустью и острыми восприятиями природы, какие бывают в детстве». Одна из первых глав повести так и называлась — «Сугробы».

А вскоре Толстой взялся за современный сюжет, который глубоко взволновал его. История о том, как некая Людмила Ивановна потянулась к некоему Николаю Николаевичу Бурову в надежде как-то получше устроить свою судьбу, заинтересовала его. Ему захотелось в этой в общем-то тривиальной истории показать и наметившийся сдвиг в настроении определенной части русской эмиграции. Любовная история служит здесь как бы фоном, на котором четко проступают новые настроения Николая Николаевича. Он так же одинок в Париже, как и Людмила Ивановна. Но он холоден с ней, сух, сдержан, может две недели не сказать ей ни слова. «Вы меня точно каменной плитой придавили», — жалобно признается она ему.

Нет, Буров не сухой, не черствый, в нем есть и благородство, и не равнодушен он к жизни и женщинам. По другой причине он сух и холоден: он решил покончить с собой, он не может вернуться в Россию, а без нее жизнь ему кажется ненужной и бессмысленной. Полгода назад, когда он познакомился с Людмилой Ивановной, такой же, как и он, перелетной птицей, точно ветром занесенной из Москвы в Париж, Буров мечтал: «Вернемся в Россию новыми людьми, настрадались, научились многому. Видите — бегут домой: веселые, усталые, — бегут каждый в свой дом... Бог даст, и мы с вами скоро увидим свой дом, свое окошечко на улицу, свое солнце над крышей... Нужно научиться ждать... Как жаль, что мы не унесли с собой горсточку земли в платочке... Я бы клал ее па ночь под подушку... Как я завидую, как я завидую этим прохожим...»

Толстой каждый день с горечью перелистывал газеты, в которых сообщались ужаснейшие известия. Вот и его герой Буров ездил в Финляндию, хотел пробраться в Россию, но случайные знакомые отговорили его: «России больше нет, а есть кладбище и

страшные люди, не похожие уже больше на людей, — все сошли с ума».

После этой поездки Буров стал еще угрюмее и холоднее. Он спокойно думает о смерти как об избавлении, как о вечном сне, покое, темном и глубоком, как бесконечная, ледяная бездна вселенной.

Точно так же, как и его герой, Толстой тоскливо размышлял: «Там в месяц, в среднем, умирает три миллиона душ собачьей смертью. Сто тысяч ежедневно... Маленькие дети лежат у дорог, на сухой земле, ручки и ножки у них, как спичечки... Они же не виноваты... Вымирает целая раса... А что я могу сделать... спасти никого не могу. Изменить ничего не могу». Но нет, надо жить. Бороться за жизнь. Стоило Бурову перегнуться через решетку, и все кончено. Но этого он решительно сделать не мог: «Все давным-давно было пережито — и отчаяние, и бешеная злоба на тех вивисекторов, научных исследователей, учеников великого инквизитора, и омерзение к себе, и твердое решение прыгнуть из этой чужой, пестрой жизни в таинственную бездну...

— Проклинаю тех, кто возненавидел жизнь и задушил мою родину душным и мертвым бредом... Фантазеры... Мечтатели... А я — лучше их? Что я делаю — тоже — бред, бред, бред... Какие-то проклятые мертвые мысли...»

И вдруг пронзила Бурова острая жалость к Людмиле Ивановне, такой скромной и такой одинокой. А если она сегодня решится покончить с собой? Тогда совсем ничего не останется. И Буров в страхе бросается к ней в отель, чтобы предупредить самое ужасное.

Повесть «Настроение Н. Н. Бурова» кончается полным примирением. Жалость или любовь оказалась выше отчаяния: «Может быть Россия не погибнет... Не знаю, не понимаю... Но я знаю — когда плачет ребенок,

когда вы плачете от обиды, — это истинная правда...» Она растрогана и прощает его.

И сам Буров, и его настроения довольно точно отражали процесс духовного обновления известной части русской эмиграции, в том числе и Алексея Толстого. По-разному отнеслись эмигранты к нападению панской Польши на Россию, а потом к еще более трагическому событию, потрясшему родную страну, — небывалому до сих пор голоду: только самые оголтелые ликовали, ожидая скорого конца большевистской России. Те же, в ком осталась хоть капля совести и сострадания, сочувствовали. Алексей Толстой относился к тем, кто мучительно переживал страдания своего народа, открыто выражал надежду на успешное преодоление трудностей.

Разное отношение к этим событиям снова заставило его глубоко задуматься о пережитом... Сколько уж времени прошло с тех пор, как приехали сюда, сколько уже пришлось испытать... Настоящее хождение по мукам. Эмиграция как нечто целое напоминает скорее гниущее болото: с виду все хорошо, зеленые бугорки просто радуют глаза, а ступишь ногой, сразу и провалишься. Затянут в свои политические сети, опутают либо монархисты, либо эсеры, либо меньшевики, либо... Да и сколько же их, группочек в русской эмиграции?

Толстой в ожидании чего-то нового, дающего пищу для размышлений, взял читать сборник «Смена вех», авторы которого надеялись на перерождение большевистской России и потому призывали к осторожному с ней сотрудничеству. Не все еще потеряно. И если наметилось течение в русской эмиграции к признанию России, то и он должен всерьез над этим подумать. Давно ли он с тревогой смотрел в будущее, видя кругом только чужое, чувствуя в сердце все растущую тоску по родным просторам, по родной

русской речи. А сейчас незаметно душа успокоилась, начало приходить обычное равновесие.

Да, невиданная русская революция напугала многих, ушедших за рубежи своей Родины. Слишком мало она отводила времени на раздумье. Но Маяковский, Есенин, Горький, Блок, Брюсов остались в России. Да и Сергеев-Ценский с его прекрасным рассказом «Смесь»... Все это отдельные кусочки новой литературной России... И не об упадке говорят эти кусочки, а о возрождении культуры русской. Вокруг этого настоящего, подлинного много всякой шелухи наслоилось, но подует ветер, и шелуха отлетит.

Трудно во всем этом разобраться. Все было так запутано, перекручено, что нужны были долгие дни и месяцы мучительных размышлений, чтобы отыскать истину, ту единственную дорогу, которую он всегда с таким трудом в конце концов отыскивал.

Часто бывало на Руси: только подает голос новый талант, как его начинают окутывать туманом соблазнов. Появятся деньги, женщины, кутежи, скандалы, и незаметно для себя талант, только-только проклюнувшийся в художнике, начинает угасать или видоизменяться, приспособливаться к новым обстоятельствам жизни. Самое трудное и опасное время! И чем крупнее талант, тем опаснее для него первые соблазны общественного признания. Алексей Толстой в первые годы своей литературной деятельности допускал много промахов.

Ему не удавалось выдержать первый натиск общественного мнения. Нужны монашеская стойкость и суровая дисциплина, а Толстой начисто был лишен этих качеств. Уж слишком легко и быстро он вошел в литературу, был принят во всех салонах и обществах, повсюду восторгались его талантом. И если б не выпавшие на его долю испытания, кто знает, не затянула бы его салонная тина...

В Париже Алексей Толстой, во что бы то ни стало стараясь поправить свое материальное положение, стал сотрудничать чуть ли не во всех газетах и издательствах. «Общее дело», «Грядущая Россия», «Последние новости», «Современные записки». Этим самым он хотел как бы подчеркнуть, что его не интересуют политические программы: как художник он вне политики. Но это только так казалось. Как ни старался оградить себя от влияния различных партий, некоторые их идеи проникали в его сознание и душу. Так стали проникать в его сознание и сменовеховские идеи.

Первые главы своего нового романа «Хождение по мукам» Толстой опубликовал в журнале «Грядущая Россия», а с конца 1920 года, когда начал выходить журнал «Современные записки», он передал роман туда. Время подстегивало. Пришлось ему засесть за окончание романа, отложив другие замыслы.

Летом 1921 года остался в Париже, а вся семья устроилась в небольшой деревушке Камб, неподалеку от Бордо.

В своих воспоминаниях Н. Крандиевская рассказывает подробно об этом лете, но один эпизод особенно крепко запомнился ей:

«Приехал Толстой из Парижа. Он плохо выглядит. Устал, озабочен. Вечером он читал мне только что написанный конец романа «Сестры», последнюю главу. Как всегда, у него неладно с концом. Отчего это? Не сам ли он утверждал в разговоре с Буниным: «Кончая большую вещь, необходимо как бы подняться над нею, чтобы снова увидеть все с начала до конца (как с горы — пройденный путь)», тогда конец будет верный, пропорция соблюдена и вея вещь крепко станет на ноги. У него же конец случаен, не оттого ли это, что он устал, переработал? Он торопится под конец — вот что ужасно.

— Отдохни! Отложи работу.

Он вдруг вспыхнул.

— Пиши сама, — крикнул он, — и ну его к лешему!

Он схватил рукопись, в бешенстве разорвал последние листы и бросил за окно.

— Подышайте с голоду!

Хлопнув дверью, он вышел.

Мы с детьми долго ползали по саду, подбирая в темноте белые клочки. Балавинский ползал с нами на подагрических коленках. Мы склеили все и положили на стол.

Толстой вернулся через час. Он молча сел к столу и работал до света. Я сварила ему крепкого кофе. Он кончил роман коротко и сильно.

Как странно — человек с ведерком, клеящий афиши, один этот образ сразу восстановил равновесие, и все вокруг обрело свое место.

Мне кажется, сам Толстой доволен теперь концом.

Мы помирились. Как могло быть иначе? Он заснул на рассвете. Я глядела на лицо, серое от усталости. Трудно жить. Кому мы нужны, мой бедный писатель».

Этот эпизод запомнился и самому Толстому. Но он чуть по-другому освещает его: «Хождение по мукам» я кончил в Камбе, где работал над последними главами около месяца, конец мне не удавался, и я его действительно однажды разорвал и выкинул в окно, и то, что мне не удавался конец, было закономерным и глубоким ощущением художника. Так уже тогда я начал понимать, что этот роман есть только начало эпопеи, которая вся разворачивается в будущем. Вот откуда происходила неудача с концом, а не от того, что я не мог «взойти на гору, чтобы оглянуть пройденное». На какую гору мог бы взойти художник, когда он начал понимать, что он в тумане, в потемках, что все стало неясным, что понимание должно раскрыться где-то в будущем... Роман этот никогда, даже при последующих доработках

не был закончен, да и по существу не мог быть закончен, так как он первая часть трилогии».

Вскоре после журнальной публикации романа Толстой понял, что написанное им — это только первая часть: неумолимый ход революционных событий повлечет его героев дальше. Роман произвел впечатление в эмигрантских кругах, читающая публика как бы заново переживала все великие исторические события недавнего прошлого. Не все соглашались с тенденцией романа. Одним казалось, что автор недостаточно четко высказывает свое отношение к тем или иным общественным группам, другие, наоборот, считали, что автор не должен так грубо влезать в недавние политические дразги и сплетни, Толстого все больше не удовлетворяла жизнь вдали от Родины, без ясной перспективы. Правда, одно время ему казалось, что жить в Камбе можно, жить и работать, и он послал Буниным своеобразный вызов:

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра... Как Вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже и дешевле больше чем вдвое... Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван милый, как наши общие дела? Бог смерти не дает — надо кряхтеть. Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе...»

К осени повлекло Толстого на восток: он решает попытать счастья в соседней Германии.

«Вечером мы с Никитой провожали отца на вокзале, — вспоминает Крандиевская. — Над черной дырой туннеля печально мигал зеленый фонарик.

Летучие мыши низко проносились над нами, встревоженные белым пятном моего платья.

— Пойми, — говорил Толстой, сжимая мне руку. — Европа — это кладбище. Я все время чувствую запах тления. До галлюцинаций. Здесь не только работать, здесь дышать нечем. Жить в окружении мертвецов! Ненавижу людей. Надо бежать отсюда.

— Куда бежать?

Он молчит. Мы словно боимся высказаться до конца.

— Из Парижа я напишу тебе, — говорит он».

Спустя две недели Толстой писал жене: «Жизнь сдвинулась с мертвой точки. В знакомых салонах по сему случаю переполох. Это весело. Я сжигаю все позади себя, — надо родиться снова. Моя работа требует немедленных решений. Ты понимаешь категорический смысл этих слов? Возвращайся. Ликвидируй квартиру. Едем в Берлин, и если хочешь, то дальше».

После отъезда из Камба Толстой еще какое-то время прожил в Париже, заходил к Буниным, но не застал их, оставил записку: «Приходил читать роман и проститься».

Следующие письма Бунину Толстой писал уже из Берлина:

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин. Боже, здесь все иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане; марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на аванюре, — революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают как никто... На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, — все черное. Живем мы в пансионе недурно, но тебе бы понравилось... Здесь мы пробудем недолго и затем едем — Наташа с детьми в Фрейбург, я — в Мюнхен... Здесь

вовсю идет издательская деятельность... По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием очевидно будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь, почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе, в лучшей части города 9 месяцев... Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже проникает туда, — не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около 30 издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой А. Толстой».

Отъезд Толстого в Берлин вызвал переполох, но переполох в знакомых Толстому парижских салонах возник не из-за него только, а из-за того, что в Праге был издан сборник «Смена вех», в котором формулировались новые принципы отношения эмигрантов к Советской России. И многие эмигранты, как и Толстой, с сочувствием читали его. Началось быстрое размежевание эмиграции, которая и без того никогда не была однородной. Но дело, конечно, было не только в этом сборнике. К осени 1921 года, несмотря на удручающие последствия голода, Советская Россия

начала обретать свое новое лицо. Новая экономическая политика, провозглашенная X съездом партии, вдохнула в людей уверенность, что они могут справиться с трудностями, созданными продолжительной войной.

Вместе с тем Толстой не мог не думать о последствиях своего возвращения. Как его примут там, в России? Какие гарантии у него имеются, что с ним не обойдутся чересчур сурово? Таких гарантий у него не было. В одном из писем он в следующих словах изображал свое положение в это время: «...Думалось, — быть может вернемся домой, и там примут неласково: — без вас обходились, без вас и обойдемся. Эта тоска и это бездомное чувство, вам, очевидно, незнакомы. Признаваться в этом тяжело, но нужно. На чужбине мы ели горький хлеб. В особенности, когда остыло безумие гражданской войны, когда глаза понемногу стали видеть вещи жизни, а на призраки, — началась эта бесприютная тоска. Много людей наложило на себя руки. Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое родина, свое солнце над крышей?»

Толстой не стал особенно вникать в политическую подоплеку «сменовеховства». Действительно ли «сменовеховцы» рассчитывали на перерождение Советской власти и возрождение капитализма в России? Это как-то меньше всего волновало Толстого. Главное, «сменовеховцы» признавали, что в России Советская власть является единственной настоящей властью, заинтересованной в укреплении национального авторитета России, а поэтому Советской власти нужно оказывать всяческую помощь и поддержку. В связи с этим открывалась возможность вернуться на Родину, а это главное. И до «Смены вех» Толстой слышал о возвращении эмигрантов на Родину, о полной реабилитации некоторых видных деятелей белого движения. А уж он-то ни в чем не замешан... Ему-то и подавно нечего бояться... Так сложилась мысль о

возвращении на Родину. Но эта мысль только начала пробивать себе дорогу.

Ох, хо-хо, хохонюшки,
Скучно жить Афонюшке
На чужой сторонушке —

эти слова из народной песни послужили эпиграфом к рассказу «Настроения Н. Н. Бурова». Скучно и тоскливо жить стало Алексею Толстому на чужой сторонушке.

Исподволь он стал собираться в Советскую Россию.

Это было смелое решение. На Толстого буквально обрушились белоэмигрантские нападки, посыпались проклятья от недавних «друзей». Прежде всего Н. В. Чайковский, бывший глава белогвардейского правительства «Северной области», от имени «Исполнительного бюро комитета помощи писателям-эмигрантам» обратился к Толстому за разъяснениями по поводу его сотрудничества в газете «Накануне», а затем и бывший министр Временного правительства П. Н. Милюков прямо заявил Толстому, что его сотрудничество со «сменовеховцами» несовместимо с пребыванием в «Союзе русских писателей».

14 апреля 1922 года Алексей Толстой опубликовал «Открытое письмо Н. В. Чайковскому», в котором изложил свою точку зрения на положение русских эмигрантов за границей и свое отношение к новой России «В существующем ныне большевистском правительства газета «Накануне» видит ту реальную — единственную в реальном плане — власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами.

Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых.

Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть.

Красные одолели, междоусобная война кончилась...»

Толстой не раз высказывался по поводу своего неприятия Советской власти и большевиков. Слишком остро и драматически отозвались события пролетарской революции и гражданской войны на его личной судьбе и судьбе его ближайших родных и друзей. А жизнь он чаще всего воспринимал эмоционально, порой поспешно, под впечатлением того или иного факта, события. Так было и во время Великой Октябрьской революции. Но потом он почувствовал в большевиках ту неодолимую силу, которая оказалась способной восстановить российскую государственность, а это для Толстого как русского патриота было определяющим его гражданскую позицию. И тот факт, что он пришел к признанию Советской власти и большевиков после длительных раздумий, ошибок и внутренней борьбы, свидетельствовал о его честности как художника и гражданина. «...И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию л хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрезанный бурями русский корабль».

25 апреля 1922 года газета «Известия», перепечатав письма Чайковского и Толстого, в том же номере дала высокую оценку позиции Алексея Толстого, подчеркнув большое политическое значение его письма, положившему начало расколу эмиграции. А для Толстого

это означало, что в новой России он будет деланным и необходимым строителем новой культуры.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ДУМЫ О РОДИНЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1 августа 1923 года Алексей Толстой подплывал к родным берегам. Вместе с ним на пароходе возвращались на родину Василевский (Не-Буква), Ю. В. Ключников, А. В. Бобрищев-Пушкин, которым тоже стала невмоготу эмигрантская жизнь. С какой же стати оставаться на чужбине, если Россия открывает им свои объятия, прощает их грехи, допущенные в пылу азартного отрицания, к тому же обещает нормальную творческую жизнь, независимую от прихоти издателей. Немало каждый из них провел бессонных ночей, прежде чем отважиться на этот решительный шаг. И вот сейчас, при виде так хорошо знакомых очертаний Петрограда, Толстой испытывал волнение: ведь совсем недавно он был здесь... А сейчас возвращается навсегда. Это окончательно: русский писатель не может жить без России. Все пройдет, воцарится нормальная жизнь; она и подскажет свои сюжеты, выдвинет свои характеры, а он, художник, зафиксирует их, обобщит. И он добьется признания народа, признания родной страны.

Толстой пристально всматривался в гранитную набережную, в словно повисшие в воздухе длинные арки Николаевского моста, бегло скользнул взглядом по ныряющей в синих волнах Невы лодочке, по скорбно притулившейся на углу улицы фигуре старенького извозчика, и грустная радость охватила его: ничего, в сущности, не изменилось, он увидел ту же вековую Россию, где доброе и прекрасное постоянно переплетается с отжившим и дурным. Что ждет его впереди?

За границей остались у него друзья, близкие люди, с которыми немало пережил трудностей, но его место здесь: он не может без России и надеется, что нужен ей,

нужен своему народу как певец его многострадальной и героической жизни. Нет, не на торжества приехал он сюда: России предстоят тяжелые времена. Снова волны ненависти захлестывают ее со всех сторон. Враждебный ей мир готовится к новым схваткам с ней. Уж больно вызывающе ведет себя Советская Республика, растоптав все привычные понятия и представления. Вопреки здравому смыслу здесь, например, утверждают: «Хорошо то, что истинно». А на Западе поклоняются только доллару, с их точки зрения, поставить истину выше валюты может или сумасшедший, или дурак, или очень хитрый и опасный негодяй. Да, человек зависит там от денег...

И удивительно, что не чувствуют на Западе прочности своего положения даже те, кто сегодня выглядит властелином... Всех страшит ненасытное чрево биржи, способное внезапно поглотить любые капиталы. Сколько шикарных особняков пошло с молотка. А положение рабочих? Их безумные глаза, глядящие на витрины продуктовых лавок, хорошо знакомы Толстому. Он видел толпы людей, пораженных горячкой голода и отчаяния, видел пожарища, разбитые стекла великолепных зданий, дымы выстрелов, клубки трамвайных проводов, грузовики, оцетиненные штыками, видел красные знамена, видел и черные...

Да, пожалуй, черные знамена все увереннее реют над Европой. Это значит, что грядет произвол, культ силы, разгул национализма. А в России торжествует принцип: «Кто не работает, тот не ест». Честный принцип, близкий ему по духу; уж кому-кому, а ему-то известно, что такое труд, работа, работа тяжелая, изнурительная, ежедневная, порой без сна и отдыха. Ему понятно и стремление современной России к той особой справедливости, которая должна согреть пролетария и каждого человека труда и созидания. Действительно, истина — в справедливости, а

справедливость в том, чтобы каждый осуществил свое право на жизнь как право на труд, делающий его жизнь светлой. Никогда еще и никакое государство в мире не брало на себя обязательств сделать эти принципы фундаментом государственности.

На Западе страшатся диктатуры пролетариата — одни дрожат над своими капиталами, прибыльными делами, другие боятся крайностей, которые были в России. При этом закрывают глаза на кровавые крайности сопротивляющегося старого мира. Иные боятся того, что идея государства, коллектива мыслится при диктатуре пролетариата выше идеи личности. Но как же иначе? Личность свободна до тех пор, пока ее воля не попирает идею укрепления коллектива, идею государственности. Казалось бы, тут кроется противоречие: русская революция ставила, мол, своей целью окончательно раскрепостить личность от государственных, экономических, социальных зависимостей, а сейчас здесь, как нигде, личность подчинена коллективу, зависит от него. Да, это так. По этому поводу многие негодуют и сердятся. Но разве во время битвы солдат ищет свободы? Он ищет победы. Россия сейчас живет стремлением к победе.

Нелегко, конечно, этот процесс. Россия-то раскинулась на полмира. Нужно время, нужны гигантские усилия, нужен небывалый взлет производительных сил, дабы солнце новой жизни осветило каждый уголок великого государства и навсегда согрело сердце каждого человека.

А на Западе? Там действительно государство меньше обращает внимания на личную жизнь человека, там личность более свободна от государства. Но зато не свободна от доллара, от биржи и курса акций. Сегодня человек наслаждается благами земными, а завтра оказывается без работы, без денег, ест картофельную

шелуху, потому что государству нет дела до его «свободной» жизни...

Еще недавно о России говорили не иначе как о стране голода и ужаса, а нынче она обещает вывезти двести миллионов пудов излишков урожая! Это немыслимо!.. Но это и не фантазия. Только вчера казалось, что прежняя великая Россия распалась, раскрошилась, а сегодня для всех стало фактом, что Советское государство собрано в великий союз братских народов. Только вчера русские рабочие крушили устои государства, а сегодня все их усилия направлены к тому, чтобы возродить и укрепить свое государство. Это вызывало в душе Толстого восторженное удивление, и его томила вина, что он, просвещенный человек, художник и философ, не сумел раньше заглянуть в историческое завтра не смог предвидеть и понять то, что было доступно простым рабочим... Пусть тут еще много несовершенства, много недостатков, много противоречий и конфликтов. Но именно здесь загорелась полоса новой зари, когда человека стали ценить по его подлинной ценности, а не по титулам и богатству... Пусть впереди ждет его, бывшего графа Толстого, нелегкая трудовая жизнь, но он твердо уверен, что победа будет за теми, в ком пафос правды и справедливости, — за Россией, за народами и классами, которые пойдут с ней, а значит, это будет и его победа. И как бы хорошо наконец увидеть с порога своего нового жилища успокоенную землю, мирные поля, волнующиеся хлеба, услышать птиц, поющих о мире, о покое, о счастье, о благословенном труде на земле, пережившей такие злые времена.

Набережная у Николаевского моста в Петрограде, кажется, ничуть не изменилась. По-прежнему здесь шумно и суетливо во время прибытия парохода. Много встречающих, цветов, много детей, веселых улыбок. При виде этого неподдельного добродушия,

непосредственности, бескорыстия тепло стало на душе и у Толстого.

До Ждановской набережной, где в доме № 3 заранее снял квартиру, добрались без особых хлопот. Первые дни пребывания в Питере ушли на хлопоты по устройству нового жилья. Отовсюду сыпались приглашения: всем хотелось услышать из первых уст об эмигрантской жизни, об общих знакомых и о бывших хозяевах России — как они там без власти, дворцов и слуг?

В интервью для журнала «Жизнь искусства» Толстой сказал: «В настоящее время я работаю над двумя переводными пьесами. Первая из них — чешская пьеса Чапека «Бунт машин». Это совершенно гениальная, динамитная по содержанию и динамическая по силе развития действия пьеса, но написанная, к сожалению, неопытной рукой. Пьеса эта шла за границей, в Берлине, в одном из ультрабуржуазных театров, и была хорошо принята прессой, но весьма холодно буржуазной публикой. Пьесу придется, как говорят французы, «адаптировать», приспособить к русской сцене. Ее надо, что называется, взять в работу — выбросить все мелкие недостатки, провалы и недоделанности. Тема пьесы мощна, грандиозна и символична. «Бунт машин», несомненно, явится событием в театральной жизни России.

Действие в пьесе «Бунт машин»- происходит в будущем. На одиноком острове существует фабрика искусственных людей, приготавливаемых из протоплазмы и поддающихся починке, производящейся на той же фабрике.

Эти искусственные люди (символы) работают за человечество. Но вот под влиянием прибывшего на остров нового лица, организующего высших людей, в искусственных людях просыпается человеческое чувство. Они прозревают, понимая, что до сих пор

являлись лишь орудием в руках других. Происходит бунт, во время которого искусственные люди уничтожают все человечество, а также и самую фабрику для приготовления искусственных людей. С уничтожением этой фабрики должна наступить гибель искусственных людей. Но тут в них пробуждается чувство Адама и Евы, чувство влечения и любви, и таким образом рождается новое человечество.

Пьесой «Бунт машин» заинтересовалась 3-я студия МХАТ, где пьеса, по всей вероятности, пойдет в предстоящем сезоне. В Петрограде «Бунт машин» пойдет в Государственном Большом Драматическом театре, с которым уже ведутся переговоры по этому поводу».

«Другая пьеса, над которой я работаю, — продолжал А. Н. Толстой, — итальянская комедия «Великий баритон» из жизни актеров...

Третья вещь, оригинальная пьеса из современной русской жизни, которая будет мною закончена осенью. Кроме того, осенью текущего года в 1-й студии МХАТ пойдет моя пьеса «Любовь — книга золотая», которую ставит режиссер Бирман, пьеса эта будет первой постановкой 1-й студии по возвращении ее в Москву. В этом же году я намерен продолжать вторую часть «Хождения по мукам», которая будет обнимать период Революции.

Что касается газеты «Накануне», то в ней я буду редактировать иллюстрированный журнал, который в виде особого приложения предполагается выпускать с 1 сентября вместо прекращенного выходом прежнего приложения к газете. Кроме того, вместе с другими членами редакции «Накануне», проф. Ю. В. Ключниковым, А. В. Бобрищевым-Пушкиным и Василевским (Не-Буквой) я приму участие в поездке по СССР, с целью прочтения лекций и докладов на тему о нравах и жизни современной Европы и чисто

литературных выступлений по вопросам западноевропейской общественности, литературы, искусства и о русской эмиграции».

В одном из таких выступлений Толстой изложил свое отношение к западноевропейской культуре, рассказал о возникающем фашизме, Смерд фашистской идеологии уже пробивается из разных щелей в Германии. Немецкий фашизм, говорил Толстой, свиреп, мстителен и реакционен. В Германии Алексей Толстой не раз сталкивался с молодчиками, для которых перестали существовать такие понятия, как нравственность и культура, они всей душой поверили в единственную «справедливость», продиктованную «царем мира — Джиппи Морганом», то есть господином Долларом. Именно такие отпетые молодчики записывались в фашистские организации, открыто заявившие о своей агрессивной идеологии оголтелого национализма. Только самые реакционные круги русской эмиграции поддерживали фашистов.

Толстой приехал в Россию, переполненный творческими планами. Казалось бы, садись и работай, но жизнь всегда вносит поправки. Так было и на этот раз. Прошло всего лишь четыре года, как покинул он Родину, но за это время произошло немыслимо многое... Нужно было налаживать новые и возобновлять старые связи. Здесь оставались его друзья, знакомые. Но что с ними произошло, какими они стали? Примут ли они сейчас его? Все, что он писал в эмиграции, доходило и до России, распространялось здесь, в том числе и «Хождение по мукам», не говоря уж об «Аэлите». Как отнеслись его друзья, читатели к его последним печатным выступлениям? Может, так, как и рецензент журнала «Россия», который, сравнив его роман с «Путешествием на луну» Жюль Верна, заявил, что даже наивность «Путешествия на луну» была художественно убедительна: читатель поддавался обману и начинал

верить и в самый воздушный шар жюль-верновских пилотов, и в их полет на Луну, а вот ему, Алексею Толстому, читатели не поверят, потому, дескать, что нет художественного оправдания всей затеи Лося. Отказывается верить рецензент и жизни на Марсе на том основании, что писателю не удалось показать марсианские ландшафты и быт марсиан рельефно. Марс, видите ли, оказался подобием Земли, а фантазия писателя уж слишком земного происхождения. Плохо и то, что и героиня романа ничем не отличается от героинь самых что ни на есть реальных романов. Но мог бы в таком случае влюбиться в нее Лось, если она походила бы на некое амебообразное существо, без очарования юности, женственности земной, свежести?..

Роман написан ради того, чтобы показать, как оттаивает мужская душа после небывалого потрясения под воздействием большого чувства.

Дух искания и тревоги не дает ему покоя. И вот этот совершенно изуверившийся человек, попав на Марс, снова испытывает всепоглощающее чувство любви, переживает небывалый душевный подъем: через огонь и борьбу, мимо звезд, мимо смерти устремляется к своей неповторимой Аэлите, которая и не должна отличаться от героинь самых что ни на есть реальных романов.

Да, очень жаль, что не понял его или намеренно не понял рецензент «России». «Мало яркой фантастики», «Нет ее красок и ароматов», «Краски Марса изготовлены на земной фабрике»... «Единственно свежей, живой и по-толстовски сочной фигурой остается в романе спутник Лося — солдат Гусев. Он сделан так, как это мог делать прежний Толстой, находившийся на родной почве, питавшей его творчество и красками, и ароматами». Ясно, что этим хотел подчеркнуть рецензент, но только все это неправда. Максим Горький, которому Толстой рассказывал о своем марсианском романе и читал некоторые главы, говорил, что эту вещь

он написал не по нужде, а в силу увлечения «фабульным» романом, его сенсационностью. Действительно, говорил Горький, сейчас в Европах очень увлекаются этим делом. Быт, психология надоели. Другое дело авантурный сюжет, где можно использовать склонности к сказочному, небывальщине.

Немало значил для Толстого и читательский спрос, который необходимо было удовлетворять, как удовлетворяют жажду. Именно сознание полезности твоего труда, вера в то, что его ждет читающее многолюдье, придают силу и целенаправленность художнику. Это аксиома... Допустим, писатель оказался на необитаемом острове, и он твердо знает, что до конца дней своих не увидит человеческого существа и никто никогда не узнает о его рукописях, если таковые он оставит после себя. Будет ли он писать? Конечно, нет.

Сейчас, на стыке двух эпох, надо с особым проникновением думать о читателе, о новом читателе, который шесть лет назад пришел на литературный рынок и требует к себе полного внимания. Он невозмутимо стоит на рыночной площади и прислушивается к спорам, которые ведутся там. Многие непонятно ему в этих спорах. Например, в чьих руках должна быть литература — у ВАППа, у «Лефа», у «попутчиков»? Какое ему до этого дело. Споров, скандалов, громовых статей хоть отбавляй, а книг хороших нет. Вот и стоит он, новый читатель, хозяин страны, и всматривается в лик писателей своими молодыми, смеющимися, жадными глазами, словно бы спрашивая настойчиво и терпеливо: «А когда же книжечку напишете? Ведь читать нечего...

Читатель — составная часть искусства. В этом Толстой твердо убежден. И «Аэлита», естественно, возникла у него как ответ на веление времени и одновременно как удовлетворение собственной

потребности в остросюжетном произведении. К тому же надо было ответить тем западным прорицателям, которые заговорили о гибели цивилизации или откровенно шумели о грядущем реванше и истреблении неполноценных наций. Разве Тускуб с его идеями подавления личности не похож на некоторых идеологов фашизма в Германии и Италии? «Равенство недостижимо, равенства нет. Всеобщее счастье — бред сумасшедших... Жажда равенства и всеобщая справедливость разрушают высшие достижения цивилизации. Идти назад, к неравенству, к несправедливости.... Заковать рабов, приковать к машинам, к станкам...» Эти слова, конечно, говорят на Земле, а не на Марсе, Тускуб всего лишь олицетворяет реакционные силы на Земле, против которых Толстой всегда решительно выступал. И кто не понимает, что, создавая «Аэлиту» и передавая ее в «Красную новь» и Госиздат, он, Толстой, совершает еще один политический шаг в сторону Советской власти, тот глубоко заблуждается: вся «Аэлита» — это гимн Земле, обновляющейся в революционном порыве, это гимн тем людям, которые совершили революцию на Земле и готовы продолжать ее где угодно, даже на Марсе, если жизнь там действительно устроена так, что торжествует олигархия, а народ поработен. Как же можно этого не заметить?

А что тогда подобные критики будут говорить о «Рукописи, найденной под кроватью»? Пожалуй, никогда не удавалось Толстому так сжато, так психологически достоверно рассказать о человеческом падении, так точно мотивировать, обосновать все фазы разложения некогда нормального человека, потомка славного дворянского рода. Нужны были необычные обстоятельства, чтобы этот человек настолько морально разложился, что не испытывает никаких угрызений совести после убийства своего постоянного

собутельника и друга, не раз его выручавшего из беды. Герой повествования отказывается от Родины, проклинает людей, отбрасывает все понятия о чести, достоинстве, благородстве. «Только бы хватило на мой век, — да, да, именно, — абажура, кофейку, тишины... Отними у меня эту надежду — в ту же секунду рассыплюсь вонючей землей, не сходя со стула... Ахнул Октябрьский переворот, и завертелись мы все, как отравленные крысы... Было крошечное счастье, коротенькое и грустное... Все кануло в синюю бездну времени... Какое мне было дело, что где-то на востоке бушевала революция, сдвигались вековые пласты!.. Счастье, птичье счастье было у меня...» — в этих признаниях Александра Епанчина Толстой передает философию потребителя, живущего только для себя, для удовлетворения своих физиологических потребностей. Зря только в разоблачении этого обывателя некоторые увидели изображение чуть ли не всей российской эмиграции.

Против ожидания Толстой встретил холодный прием в литературных и театральных кругах Петрограда. Одни, возможно, опасались близости с бывшим графом да еще эмигрантом; другие не верили в его искренность, усмотрев в его возвращении приспособленчество, стремление оказаться на поверхности жизни; третьи сторонились как чужого, бывшего врага, принадлежавшего к господствующему классу, свергнутому Великим Октябрем (особенно поразила Толстого статья Полонского, опубликованная в журнале «Печать и революция», где критик откровенно заявлял, что «от идиллических картин любви Даши и Телегина веет непроходимой пошлостью», а всю первую часть будущей трилогии сравнивал с романом П. Краснова, с откровенно антисоветским произведением, усматривал в образе анархиста Струкова пасквиль на «большевистского комиссара»); четвертые равнодушно

приглядывались к нему, не торопясь выражать своего отношения...

В журнале «На посту» он читал: «На правом фланге все реакционные по духу, враждебные революции по существу литературные силы, — от бывших графьев эмиграции до бывших мешочников Октября, от вчерашних друзей Буниных до завтрашних кандидатов в Гиппиусы, — все при содействии некоторых наших товарищей организованы и сплочены для борьбы с пролетарской и на деле революционной литературой». Толстому было ясно, кто имелся здесь в виду. Но он не унывал, он чувствовал свой высокий профессионализм и верил, что делом убедит в своей полезности для новых читателей. Если порой и становилось грустно от этих несправедливых наскоков, он умел скрывать свою грусть.

Во время первой поездки в Москву Толстой побывал в гостях у своего старинного друга Игоря Владимировича Ильинского. Собравшиеся в огромной квартире на улице Воровского, 8 холодно приняли Толстого. Но он все-таки втянул хозяев и гостей в разговор, и разговор не прошел даром: кое-кого Толстому удалось убедить в своей правоте.

Не приняли Алексея Толстого и лефовцы во главе с Маяковским, иронически отозвавшемся о намерении Толстого вернуться на Родину на белом коне своих собраний сочинений. На страницах «Лефа» было высказано много несправедливых суждений о Толстом и его произведениях. Все это, вместе взятое, разумеется, не могло не омрачать жизнь вернувшегося на Родину писателя. Ему предстояло еще многое пережить, перетерпеть, прежде чем его трудовые дни войдут в спокойное творческое русло.

«НАМ НУЖЕН ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

29 сентября 1923 года Алексей Толстой поставил последнюю точку под рассказом «Парижские олеографии», предназначенным для первого номера нового петроградского журнала «Звезда», который будет выходить с января 1924 года. Замысел этого рассказа давно не давал покоя Толстому, он был начат еще перед отъездом в Россию. Отрывок из рассказа понравился в «Огоньке», где и был напечатан под названием «Нинет и Шарль» во втором номере за 1923 год.

Таковыми историями пестрят французские газеты... Вернувшийся с фронта Мишель Риво пришел в отчаяние, увидев, что он никому не нужен; пока они воевали, буржуа, проклятые нувориши, наживались на военных поставках, а теперь им нет дела до них, победителей. Спасителей отечества заставляют протягивать руку за подаванием. А они многому научились в траншеях! Прежде всего — спокойно убивать. Ради того, чтобы хоть раз пойти в шикарное место с подругой, Мишель убивает своего дядюшку и забирает его деньги.

Война лишила человека идеалов, нравственности, культуры. А без этих качеств человек способен на все, вплоть до убийства.

Рассказ закончен и принят. А что дальше? Есть у него еще несколько сюжетов на различные темы заграничной жизни. Конечно, надо рассказать прежде всего о том, как рассыпаются золотые миражи, возникающие в больном воображении тех русских людей, которые надеялись поправить свои дела в Америке. Уезжают туда, дрожа от нетерпеливого волнения, а через несколько месяцев убеждаются в том,

что и здесь им не выбиться из нужды, здесь царит все тот же Джиппи Морган, по движению сигареты которого определяются ценности биржевых бумаг. Пусть его герой будет не совсем потерянным человеком. Он пройдет через все этапы эмиграции. Будет скитаться по холодным, опустевшим, неподметенным южным городам. Будет питаться в кофейнях с разбитыми стеклами, писать в газетах, чтобы хоть как-то свести концы с концами, а ночью играть в карты, но так, чтобы не особенно проигрываться, будет пить, но так, чтобы не особенно напиваться, будут ему предлагать и кокаин, но это он решительно отвергнет.

Его герой не будет ни белым, ни красным, но пройдет через всю грязь, тоску, безнадежность своего времени. Зато он научится угадывать дни эвакуации по выстрелам на ночных улицах, по тону военных сводок, по особому предсмертному веселью в кабаках. И всегда уносить вовремя ноги. Он поплывет в трюме грязного парохода в Европу, будет странствовать в поисках средств к существованию, но так ничего и не добьется. Все покажется ему бессмысленным, растленным... Чему ж тут удивляться: ведь пятнадцать миллионов трупов гнили на полях Европы, заражая смрадом оставшихся в живых. И наконец, его герой станет думать о смерти, как единственной возможности избавиться от омерзения к самому себе. Но стоит выиграть ему сорок семь тысяч франков, как он изменяет свое решение идти топиться. Он поедет в Нью-Йорк, хлебнет новой жизни, помечтает о ста миллионах долларов, которые, как ему покажется на первый взгляд, сами вольются в его карман, стоит только пожелать.

В своих мечтаниях он занесется чересчур высоко: «Каждый волосок на моей голове будет священен... Драгоценнейший — Я. Обожаемый всеми сегодняшними красавицами — Я. Мои слова, обсосок сигары, огрызок ногтя, слюна из моего рта — благоговейны... Напрасно,

господа, заставляли меня шесть недель валяться на константинопольском тротуаре перед бывшим российским посольством... К черту Европу, войны и революции... Мое отечество — это, — здесь, у огня, — кожаное кресло... Сытый желудок, дым сигары, восторг абсолютной свободы».

Только чуда не произойдет, он проиграется на бирже, попытается снова выскочить, но снова безрезультатно.

Вот тогда и подумает о Родине. Здесь, на чужбине, все чудовищно бессмысленно, здесь он постоянно чувствует себя несчастным, бродягой бездомным и никому не нужным, вся жизнь здесь покажется ему миражем. «Назад, домой, на Родину» — эти слова его героя близки и самому Толстому, эти слова должны прозвучать как призыв ко всем русским людям.

Алексей Толстой перебирал в памяти встречи, разговоры, прочитанные статьи... Сколько действительно лопнувших надежд и развеянных иллюзий. Сколько гибнет людей доверчивых, затравленных нуждой, голодом, готовых ради заработка делать все, что прикажут.

Допустим, этот рассказ написан и принят... Но что дальше? О чем писать потом? Какую занять позицию в литературном споре? Уж больно распоясались лефовцы, напостовцы, пролеткультовцы... Почему лефовец Чужак призывает посягнуть на великих писателей прошлого? Почему Н. Альтман, Б. Кушнер, О. Брик, пытаясь обосновать революционное происхождение футуризма, заявляют, что только футуристическое искусство есть в настоящее время искусство пролетариата? А между тем вся «революционность» футуризма сводится к тому, что в их теории и практике бурно проявляются разрушительные наклонности по отношению к прошлому, основная задача искусства, по мнению футуристов, состоит в том, чтобы разорвать все связи с

прошлым, освободиться от «кошмара умерших поколений». Все прежнее искусство может служить только архивным материалом, потому что литература прежних эпох была пропитана духом эксплуататорских классов. А если это так, тогда творчество Тургенева, Льва Толстого, Чехова, Гоголя годится только для музейного изучения?

Напостовцы, те прямо заявляют, что пролетарской литературе необходимо окончательно освободиться от влияния прошлого и в области идеологии, и в области формы. Напостовцы предают анафеме тех стародумов, которые застыли «в благоговейной позе» пред гранитным монументом старой буржуазно-дворянской литературы и не хотят сбросить с плеч рабочего класса ее гнетущую идеологическую тяжесть. Но в чем гнетущая идеологическая тяжесть Пушкина или Льва Толстого? Ведь Пушкин дал нам возможность видеть в самом себе большого человека и любить его. Льва Толстого можно любить уже за одного Платона Каратаева, а Достоевского за Грушеньку, которая хотя бы капелькой, но живет в каждой русской женщине... Нет! Не мог согласиться Толстой и с напостовцами... Их оценки классиков русской литературы противоречили здравому смыслу и элементарному чувству прекрасного, которое присуще всем не угоревшим от псевдореволюционного дурмана людям.

Однако, раздумывая о роли искусства в современной России, Алексей Толстой все больше приходил к выводу, что грандиозность происшедших событий не может уложиться в старые литературные формы. Сейчас, как никогда, нужна литература монументального реализма, способная не только видеть мелькание бытия в его неповторимых подробностях и деталях, не только фиксировать острые минуты, интересные клочки жизни, характерные слова и словечки, случаи, настроения, чем занималась большая часть современных литераторов, но

главным образом способная к созданию живого типа революции, в котором синтезируются миллионы волей, страстей и деяний, в котором осуществляется общая цель литературы: чувственное познание Большого Человека.

Правда, сейчас находятся такие горячие головы, которые считают, что революция с ходу уже переплавila прежний быт. Более того, и человек со всеми его национальными особенностями, дескать, переплавился в горниле революции и стал тем новым человеком, о котором так давно мечтают революционеры всех времен и народов.

Нет, с этим Толстой согласиться не мог. Без национального ведь нет искусства, нет живого человека со всеми особенностями его характера, мотивами поведения, обусловленными временем и социальной принадлежностью. И, работая над образом красноармейца Гусева, Толстой пытался придать ему облик русского человека — мужественного, бескорыстного, простого, увлеченного, с присущими времени революции чертами. «Нам нужен герой нашего времени, — пишет Толстой. — Героический роман. Мы не должны бояться широких жестов и больших слов. Жизнь размахивается наотмашь и говорит пронзительные, жестокие слова. Мы не должны бояться громоздких описаний, ни длиннот, ни утомительных характеристик, монументальный реализм! Русское искусство должно быть ясно и прозрачно, как стихи Пушкина. Оно должно пахнуть плотью и быть более вещественным, чем обыденная жизнь. Оно должно быть честно, деловито и велико духом... Да, литература — это один из краеугольных камней нашего нового дома. И как надо много всем нам поработать, чтобы возвести этот дом целым и невредимым до конца».

Многое казалось Толстому радостным и перспективным в жизни новой России, но уж больно

надоели ему все эти литературные счета, надо спокойно работать, столько интересных замыслов, столько еще не использованных сюжетов, даже из эмигрантской жизни.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

7 ноября 1923 года в «Петроградской правде» был опубликован очерк «Волховстрой» — итог поездки Алексея Толстого на одну из крупнейших гидроэлектростанций того времени. Столько увидел интересного, необходимого ему для понимания России!

Толстой прибыл на строительство в час ночи, а работа не затихала; повсюду были видны огоньки костров, движущиеся поезда, на самом Волхове сыпали искрами пароходики, слышались взрывы, свистки паровозов, вдали виднелась громада железнодорожного моста и зашторенный снегом дальний обрывистый берег. Молодой человек, встретивший его, рассказывал о стройке, показывал ее основные объекты, по ходу дела вспоминал, как все начиналось.

— Вот смотрите, — и он бросил щепку в Волхов, — насколько стремительно здесь течение, три метра в секунду, прегражденная плотиной вода поднимается на одиннадцать метров, а в половодье посмотрели бы, как красиво вода и лед с пятисаженной высоты низвергаются могучим водопадом.

— А что, плотина еще не доходит до правого берега? — спросил Толстой.

— Нет, и не будет, видите, она упирается в монолит, лежащий на кессонах.

Отсюда сооружения разветвляются как бы вилкой; направо тянется высокая ледозащитная стена; через ее подводные арки сброшенная плотиной вода вливается в огромный бассейн-озеро, чистый ото льда.

Налево от монолита Толстой увидел здание самой станции, стоящее в русле Волхова. «Больше Зимнего дворца», — подумалось ему.

— В главном здании, — продолжал свои объяснения провожатый, — могут поместиться пятнадцать тысяч человек. Далее за бассейном и станцией — шлюзовой канал для прохода речных судов. Но многое еще остается только в проектах. Многого не хватает. Грозят вообще приостановить временно работы, а ведь две трети работ можно считать законченными. В гидротехнических работах наиболее тяжелая часть падает на подводные сооружения — кессоны и фундаменты. А к январю должны быть опущены все десять кессонов главной плотины, опущены все кессоны под станцией, возводится фундамент. Вырыт почти весь бассейн, вырыта половина судового канала. Смотрите, сколько сделано, а начали, в сущности, с прошлого года, расчет был на скорость и дешевизну, и мы сделали бы, если б все давали вовремя, а то до сих пор собираем инвентарь со всей России, даже из Туркестана, говорят.

Толстой, внимательно слушая своего гида, делал кое-какие записи на память. Хотя он и инженер по образованию, да и глаз у него меткий, наблюдательный, но его просили в редакции как можно авторитетнее защитить Волховстрой от нападков некоторых прожектеров, иначе Петроград надолго останется без дешевой энергии для освещения и работы. Поэтому он так внимательно присматривался к тому, что делалось вокруг. Был на плотине, спускался на нее с крутого берега по обледенелым лесенкам и доскам среди лесов и деревянных ферм, возведенных для подвозки бетона и других материалов, необходимых строительству самого гребня плотины. Видел те десять временных, деревянных быков-ледорезов, которые послужили началом знаменитой стройки. Осторожно пробирался по зыбким доскам, вслушиваясь, как под ними ревел сдавленный быками Волхов. С завистью любовался на дюжих парней, которые играючи обгоняли его с тяжелыми тачками, груженными бетоном. Нет, не только

могучая сила трудового народа восхитила Толстого при виде гигантской стройки, но и остроумные решения инженеров, сокративших сроки работ при установке кессонов.

— Ну а уж дальше вряд ли стоит идти, спокойно можно свернуть себе шею или сломать ногу, что одинаково нам не подходит...

Действительно, Толстой увидел громаду ледозащитной стенки, паровой кран, который легко поднимал вагонетки с бетоном; а по другую сторону плотины рыли днище бассейна и возводили каменную стену судового канала.

Всюду, насколько хватает глаз, видны торчащие сваи, каркасы, мосты, целые крепостные стены, леса, леса... Гремят машины, взрывается земля. У каменистого откоса Толстой остановился в изумлении: уж очень умно работала странная машина, только появившаяся в России. Об экскаваторах он, конечно, слышал, но так близко наблюдал его впервые. «Как гармонично устроена эта машина, — записал потом Алексей Толстой, — на вид неуклюжа, а так ловко все получается. Туловище похоже на вагон с трубой, внутри которого пытит машина, из вагона высовывается нос на цепях, а поперек носа ходит палец вверх, вниз, в стороны. А зубастый ковш на конце пальца величиной с комод? Просто поразительно... Как живая... Вот зарычала, повернулась, опустила хобот вниз, в грязь, хлебнула ковшем из-под низа и пошла скорее вверх по откосу. Как легко захватила каменную глыбу, несколько бревен, пудов двести земли и грязи и удовлетворенно повертывается к платформе рядом стоящего поезда, высыпает содержимое, и опять нос поворачивается к откосу, болтается челюсть, словно губами шевелит, ворчит что-то, бухается вниз, снова загребает камни. Пожалуй, такая машина может даже сочинять стихи...»

Толстой побывал и на правой стороне Волхова, походил по рабочему поселку, выросшему за два года на пустом месте. Есть здесь рабочий клуб, рынок, книжная лавка, школа, баня, столовая, просторные и светлые бараки для рабочих, типография местной газеты, здание управления... Зашел в столовую, посмотрел, как питаются рабочие. За столами — обедали кессонщики. Студень, жирные щи, мясо, печенье. Толстой порадовался: хорошо стали жить рабочие-строители, хоть вдоволь стали питаться. А давно ли голод тысячами косил людей...

На левом берегу Толстой подошел к костру, у которого грелись рыбаки. У них свои проблемы, строительство плотины распугало рыбу, осторожной стала. А раньше некоторые только этим и жили. Так и было до 1918 года, до прихода питерских рабочих, вздумавших построить здесь электростанцию, самую большую в Европе. Никто не поверил им, потому что они принесли с собой всего лишь шесть топоров. Было над чем посмеяться. Но питерские слов на ветер не бросают, хотя только сейчас размахнулись по-настоящему.

Поднимаясь вверх по обледенелым тропкам, Толстой любовался веселыми огнями ночного Волховстроя; «Вот глядишь и думаешь: это — огни того, что идет. Россия начала строить. Слова облеклись в плоть. Бури, страдания, пафос, гнев, бедствия прошедших лет наконец загорелись первыми вещественными огнями строительства... Но чем объяснить, что кое-кто хочет урезать кредиты на строительство? Разве не понимают, что если урежут, то строительство остановится? А весенний паводок может раскидать ничем не защищенную плотину? Разбегутся строители, а потом снова их собирать... Если представить, что такая точка зрения возможна, — то лучше сегодня же всем строителям взойти вон на те белеющие переплеты и вниз головой в черный Волхов».

Толстой близко к сердцу принял проблемы Волховстроя, и очерк получился по-настоящему боевым, и публикация его в праздничные дни рассматривалась с самой положительной точки зрения и автором, и советской общественностью. Вслед за этим очерком Алексей Толстой опубликовал в той же «Петроградской правде» свои размышления о новом читателе, которые все это время не давали ему покоя. «Литературные листки» — так первоначально называлась статья. Но потом, готовя ее как предисловие к сборнику рассказов «Черная пятница», Толстой уточнил ее название — «О читателе».

Вот так, в тревогах, в размышлениях о новой России, поездках в Москву, на Волховстрой, в работе над новыми произведениями, в обдумывании творческих замыслов, и пролетели первые полгода жизни в Питере. О Берлине и не вспоминалось. Все недавно минувшее казалось далеким сном; новые впечатления быстро отодвинули пережитое, которое становилось все отчетливее по мере того, как отдалялось. Отчетливее стал и его замысел большой повести об одном русском эмигранте, который вовсе и не переживал, не мучился в сомнениях и противоречиях от неясности своего места во время грандиозных событий революции и гражданской войны, а просто попытался урвать от жизни все, что она недодала ему, по его представлениям, в мирное время. Раз в жизни все сдвинулось и перевернулось вверх дном, то почему он не может воспользоваться открывшимися возможностями и не осуществить свои мечтания? «Тихонько, тихо, не противореча, никого не тревожа, бочком пробраться к счастью» — вот уж таких людей Толстой ненавидел всей душой. Для него эти люди олицетворяли все пороки мещанства. К ним не придерешься, они соблюдают все параграфы конституции, правительственные постановления. Вот и его герой» Семен Иванович Невзоров, ничем не

выделяется из массы окружающих его людей. Даже напротив — Невзорова часто путают с другими, настолько невыразительна его внешность. Он безликий чиновник, ни блондин, ни шатен, и жизнь его протекала так же невыразительно и скудно вплоть до Февральской революции. А вот тут он почувствовал «восторг несказанных возможностей», поверив, что именно сейчас ждут его разнообразные приключения, богатство, слава, которые наобещала ему цыганка из табора: тут-то и ловить счастье голыми руками за бесценку — бери любое. Не плошать, не дремать. И он не оплошал, когда «счастье» улыбнулось ему: ограбил хозяина антикварного магазина. Сбылись его мечтания: «достать сто тысяч рублей, бросить службу и уехать из Петрограда. Довольно войны, революции! Жить, жить!» В поисках роскошной жизни он и покидает родной Петроград. Меняет личины, выдает себя то за графа, то за бухгалтера, то за торговца. Он понял, что ничего нет невозможного, в такое время можно помечтать и о троне. В конце концов этот жалкий человечик добивается путем грязных махинаций и интриг богатства и независимости. Работал Толстой над повестью с большим удовольствием. Все давалось легко. Оно и понятно. Среда, в которой произрастали «ибикусы», была великолепно знакома ему, Герой окажется на литературном вечере футуристов в кафе «Бом», в котором неоднократно выступал и сам Толстой; ему, как Толстому, придется около суток сидеть в Курске, побывать в Харькове, жить в Одессе, бежать из России в Константинополь на том же пароходе «Кавказ», на котором и Толстой проделал мучительный путь по Черному морю... Отсюда богатство живых и точных подробностей, взятых Толстым из записной книжки, которую он вел во время странствий. Эти записи и наблюдения он почти дословно вставлял в повесть.

Редакция «Русского современника» подстегивала его; со второго номера началась публикация повести, а готова была только первая часть из трех. Он любил работать, как говорится, в захлеб, с полной отдачей сил. Вот и на этот раз он с головой ушел в повесть, первая часть которой «с колес» пошла в номер. Но не так-то легко сразу перейти к новому методу изображения пережитого. Тем более что его рассказ «Черная пятница» подвергся критике.

В январе 1924 года при Разряде истории словесных искусств Российского Института Истории Искусств образовался комитет по изучению современной литературы, на заседаниях которого авторы читали свои новые произведения, а собравшиеся обсуждали их, а заодно и насущные вопросы теории и практики литературного движения вообще. На одном из первых заседаний Толстой прочитал «Черную пятницу». Один из выступавших точно угадал замысел писателя, сказав, что герой рассказа совмещает в себе Чичикова и Хлестакова одновременно, хвалил за темп повествования, упрекал за конец — самоубийство героя. Б. Эйхенбаум тоже был не удовлетворен концом рассказа. Потом взял слово Евгений Замятин. Да, новая вещь Толстого несовершенна, сказал он, но именно поэтому он ее и приветствует. Несовершенство является признаком отхода автора от привычных ему форм. Недостаточно, чтобы «все была правда». С новыми материалами нужно работать новыми способами.

Эти упреки в адрес одного из лучших рассказов о многом заставили задуматься Алексея Толстого. И прежде всего о методе изображения. Ведь прежде он действительно стремился, чтобы «все была правда», все походило на прожитую жизнь, во всех деталях и подробностях, стремился к тому, чтобы читатели поверили в изображаемых им людей. Теперь же, создавая образ Невзорова, современного

предпринимателя ж дельца, не брезговавшего никакими способами ради наживы, Толстой мог и что-то преувеличивать и таким образом стремиться к синтетическому показу этого распространенного явления не только в годы революции и гражданской войны, но и сейчас, в период нэпа. И если раньше, в «Рукописи» и в «Черной пятнице», в «Парижских олеографиях» и «Золотом мираже», преобладали драматические картины, как и в жизни, то в новой повести Толстому захотелось провести своего героя через исключительные обстоятельства, пусть даже несколько условные и заостренные, доходящие до гротеска, зато ярче и выразительнее выявляющие всю омерзительность этого персонажа.

Да, в другом ключе Алексей Толстой и не мог себе представить приключения мелкого авантюриста, добившегося успеха только благодаря стечению обстоятельств. В какие только переделки не бросал его автор, но каждый раз какой-нибудь случай выручал Невзорова. И Толстой от души смеется над ним, как бы беспомощно разводя руками: ну что с ним поделаешь, и автор иногда бывает бессилён что-либо сделать со своим героем, раз он получился таким двужилым, изворотливым.

Толстой мог бы гораздо быстрее закончить повесть, но уж очень много времени отнимали театры, где сразу репетировалось несколько его пьес. «Любовь — книга золотая», которую он закончил еще в Берлине, была включена в репертуар Первой студии Художественного театра; Большой драматический театр в Петрограде готовил постановку пьесы «Бунт машин», опубликованной во втором номере «Звезды» за 1924 год; Московский театр комедии репетировал переработанную им пьесу американского драматурга О. Нейла «Анна Кристи»; только комедия «Великий баритон» не удавалась ему.

Серафима Бирман, вспоминая театральный сезон 1923/24 года, писала в книге «Путь актрисы»: «Мы вложили в этот спектакль («Любовь — книга золотая». — *В. П.*) всю нежность к пьесе, оттого, несмотря на ее иногда грустный юмор, лирическая струя победила. Пьесу включили в репертуар. И вот вместе с Владимиром Афанасьевичем Подгорным отправились в Политехнический музей (где в тот вечер выступал приехавший из Ленинграда Алексей Николаевич Толстой) сообщить ему, что мы отстаивали его пьесу, потому что любили и произведение и автора.

Как он был счастлив!

Сколько впоследствии достиг он громких побед, но «первенькая» эта удача, как подснежник из-под снега, шепнула его сердцу, что зима прошла... Как он целовал нас — добрых вестников!

«Любовь — книга золотая» прошла шестьдесят раз с аншлагами. Это был веселый и трогательный спектакль...»

Театральные увлечения довольно часто заставляли Толстого откладывать какую-нибудь прозаическую вещь. Уж очень неблагоприятно обстояли дела с театром в России. В прозе и поэзии можно было опираться на авторитет Горького и Брюсова, «часто выступавших в журнальной периодике и до известной степени определявших уровень русской литературы. А вот в театральном мире тон стал задавать Мейерхольд, творческий облик которого был известен Толстому еще по «Бродячей собаке» в Москве. Трагическое время революции и гражданской войны, кажется, ничуть не изменило его. По-прежнему веяло бездушием от его постановок. По-прежнему он заставлял проделывать «цирковые трюки» даже исполнителей классических ролей. В этом Толстой убедился, побывав на двух спектаклях театра Мейерхольда: на «Великодушном рогоносце» и на «Лесе». То, что он увидел, не удивило

Толстого. Удивило и возмутило отношение некоторых театральных критиков, считавших эти постановки достижением русского театра нашего времени. «Зритель получает конденсированный и очищенный образ эмоции или мысли, до странности убедительный, — то и дело слышал он. — Под оболочкой буффонады выступают в ритмическом нарастании образы, ужасающие обнаженной правдивостью».

Наконец его прорвало, весь темперамент сатирика и юмориста Толстой обрушил на эти формалистические трюкачества в фельетоне, который опубликовал «Театр» в феврале 1924 года.

«Заметки на афише: лифт, косяки, актер. Эта замечательная афишка, найденная мною в одном из театров, была вся исписана чернильным карандашом. Я привел в порядок эти записи. Я снабдил их заголовками. Вот они...»

Так начинается эта дерзкая по своей смелости статья, в которой убедительно развенчивался бездушный эстетизм Мейерхольда. Особенно возмущает Толстого надругательство режиссера над классикой, так называемое оживление канонического текста всякого рода трюкачествами. В частности, Большов в пьесе Островского «Свои люди — сочтемся» во время реплик лезет на шест, прыгает с шеста на конструкцию, вертит колесо, занимающее половину сцены, ложится, поднимает ноги, подпрыгивает, раскачивается на семафоре. И все для того, чтобы оживить действие, поразить зрителя. Актер ни одной минутки не должен стоять спокойно, то и дело кидаясь в стороны, а реплики непременно произносить нечеловеческим голосом, вызывая у зрителя юмористическое отношение ко всему происходящему. Эта установка формалистов на развлекательность театра не могла быть принята современностью.

«Старый актер — ходит и говорит, а то еще и сядет. Разве это движение, разве это современность? — иронизирует Толстой. — Это болото! Нет, актер современного театра должен скакать на площадке, хвататься руками, лазить, скатываться, прыгать, вертеться юлой.

Например, «Король Лир» в новом понимании: старик, старик, а откалывает, мол, такие колена, хоть и молодому впору. Не хочешь, а заржешь. Вот как надо «Лира» ставить. Во рту у него лампочка должна вспыхивать, — в штанах — автомобильный гудок, на ногах — пружины.»

Всех этих резонеров, комиков, любовников — к шуту. Одно амплуа, американский монтаж. Возьмите, например, Монахова. Какой в нем матерьял дремлет. Ах! Его бы можно обучить как-нибудь ужасно скрипеть зубами или падать плашмя с колосников. Упал, вскочил, скрипнул и гаркнул: «Пусть скажет Марк Аврелий, что нездоров я...» И пошел колесом. Весь театр лег со смеху. Да, рутина заедает большой талант».

Почти в это же время с такой же острой критикой формалистического эстетизма Мейерхольда выступает и Михаил Булгаков, которого Толстой знал по его публикациям в «Накануне» и ее литературном приложении. В очерке «Листочки из блокнота» Булгаков признается, что театр для него «наслаждение, покой, развлечение, словом, все, что угодно, кроме средства нажать новую хорошую неврастению». Едко, остроумно иронизирует Булгаков по поводу новаторских «штучек» Мейерхольда, разоблачая всю надуманность подобной «биомеханики». «Может, Мейерхольд и гений. Но не следует забывать, что гений одинок, а я — масса. Я — зритель. Театр для меня. Желаю ходить в понятный театр, — заканчивал свои острые заметки Михаил Булгаков. — Спас меня от биомеханической тоски артист

оперетки Ярон, и ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки».

Критиковал Мейерхольда и нарком Луначарский, упрекая режиссера за то, что он предоставляет актеру возможность для цирковых трюков в любой пьесе. Луначарский прямо заявляет: «Но, конечно, так мог бы подумать тов. Мейерхольд, если бы он жил в Америке. А он живет в Москве, и он коммунист». А чуть раньше по поводу «Великодушного рогоносца» он писал: «Все это тяжело и стыдно, потому что это не индивидуальный уклон, а целая, довольно грязная и в то же время грозная, американствующая волна в быту искусства».

Толстой и Мейерхольд — вот два разных пути в жизни, приведших к разному жизненному итогу: один стал народным художником, признанным всем народом, а другой так и остался талантливым экспериментатором.

Алексей Толстой принципиально не принимал эстетическую концепцию Мейерхольда, боролся против нее как художник и публицист. Но это не мешало ему в течение десятилетий сохранять со своим «противником» добрые, товарищеские отношения.

Сейчас борьба только начиналась — борьба по самому большому счету. Толстой неоднократно высказывался по коренным проблемам спора. В статьях «О читателе», «О кино», «О Пушкине» Толстой резко и определенно заявил о своей верности классическим традициям русского реализма.

«ЕСЛИ Б В СУТКАХ БЫЛО СОРОК ВОСЕМЬ ЧАСОВ»

Незаметно промелькнул год. Толстого по-прежнему в критических статьях отлучали от советского общества, называя не иначе как «бывшим», «правым», «реакционером». Изменилось другое: изменилось отношение Толстого к проработочным статьям, изменилось само положение его в новом обществе.

Он вернулся домой в Россию с чувством, что у оставшихся в России нет зла на тех, кто покидал ее в «минуты роковые». И с каждым днем пребывания на Родине ощущал, как крепнет в нем уверенность в своей правоте. Если в первые дни после возвращения, по воспоминаниям Корнея Чуковского, Толстой производил впечатление больного, настолько он был растерян, насторожен, неразговорчив, а походка его, обычно такая спокойная, стала торопливой и нервной, то через какое-то время писатель вернул себе былую уверенность. Примерно к этому времени относится его встреча с Фурмановым. Писатель-большевик подметил, что Толстой пришел в издательство с гордо поднятой головой, без суеты и поклона. Уверенность эта, несомненно, возникла и в ощущения необходимости его творческой работы. И Толстой с наслаждением работает.

Написание «Ибикуса» заняло у него не так уж много времени. Корней Чуковский, читавший повесть в рукописи как один из редакторов журнала «Русский современник», говорил автору, что это одна из лучших его повестей.

— Да поймите вы, Алексей Николаевич, на каждой странице этой понести чувствуешь силу нашего нутряного таланта, добротность повествовательной ткани, такую легкую, виртуозную живопись, такой

богатый, по-гоголевски щедрый язык. Читаешь и радуешься артистичности каждого нового образа, каждого нового сюжетного хода...

— Может, потому, что материал-то повести уж очень хорошо мне известен, — пожимал плечами Толстой, — оттого и пишется без всякой натяги, «как бы реаяся и играя», да и герой мой все больше интересует меня, дрянной, конечно, человек, но есть в нем какая-то потрясающая энергия, неутомимость, неиссякающее стремление к действиям и деяниям. Он сам находит выход из, казалось бы, безвыходных положений. Такого легко вести через все мытарства. Вы же знаете, я очень люблю смех, веселость, игру слова. Ведь искусство — игра. Вот иногда садишься с самым серьезным намерением создать что-нибудь глубокомысленное, а ничего не получается, а если что-то пишется, то выходит какая-то скука. А с игрой, весело — получается иногда неплохо. Не знаю, не знаю» третью книгу быстро напишу, нее уже в голова, осталось только записать.

— Да уж, веселость, игру вы любите... Кто ж этого не знает. До сих пор помню ваших купцов братьев Хлудовых...

И Толстой вместе с Чуковским долго вспоминали свою поездку в Англию к 1946 году, когда, придуманные Толстым, эти братья-пьяницы постоянно и повсюду сопровождали их. Вся делегация, даже мрачный корреспондент «Нового времени» Е. Егоров, потешались над рассказами о братьях Хлудовых. В минуты воспоминаний Толстой и Чуковский становились близкими, словно ничто не разделяло их долгие годы.

Много общего обнаружил у себя Толстой и с молодыми ленинградскими писателями. Узнав о том, что Константин Федин работает над романом «Города и годы», в котором рассказывается о жизни довоенной Германии, Толстой пригласил его к себе почитать новью главы. Вместе с Фединым пришли и его друзья. Один из

них, Николай Никитин, через двадцать с лишним лет вспоминал об этой встрече: «Здесь, в очень скромной квартире Петроградской стороны, за скромнейшей «сервировкой», если так можно сказать о щербатых тарелках и простых железных вилках, состоялся «литературный» обед Толстого. На первое были поданы щи, а на второе — вареное мясо из этих же щей, только с хреном. Толстой как будто» немножко стеснялся и в то же время радушно угощал нас этим блюдом, весело приговаривая:

— Это великолепно, уверяю вас. Французы это очень любят... Это «беф буйи»...

Но сколько было радости после обеда, когда началось чтение «Городов». Толстой с дружеской и легкой простотой вошел в творческое общение; очевидно, отсюда началась его большая и глубокая личная дружба с К. А. Фединым. Ведь многое решает первая встреча».

Толстой умел так подойти к человеку, даже мало знакомому, что стирались все грани, которые могли их отделять друг от друга. Неиссякаемое остроумие, жизнелюбие, бессчетное количество историй на всевозможнейшие темы, какая-то покоряющая доверительность, с которой он рассказывал даже самые простые и общеизвестные истории... Обаяние хозяина было настолько неподдельным, а поведение настолько непосредственным, что тут же развеялись все перегородки, которые могли быть между ним и его гостями из-за разницы в возрасте и положении. Перед чтением глав романа Федин сказал:

— Почти два года я работаю над этим романом, сейчас его заканчиваю. В августе сдаю в набор, выйдет осенью, сразу книгой. Кое-какие главы были напечатаны в журнале «Россия», кое-что будет напечатано, но весь роман провести в журнале вряд ли удастся. Название его «Города и годы». Материал — война и отчасти

революция. На три четверти роман германский: действие развивается в немецком городишке, на фоне обывательского «тыла». Порой мне казалось, когда я работал над этими немецкими, так сказать, главами, что я и думаю по-немецки, настолько вошел в этот материал, а иногда казалось, что перевожу с немецкого, до такой степени влез в Германию. И странно, когда перехожу на русскую землю, к русским людям, к русской речи, испытываю невероятные трудности: как будто чужой материал.

Еще в Берлине от Горького Толстой немало лестного слышал о Федине и «серапионах», поэтому с таким вниманием слушал повествование о жизненных поисках Андрея Старцева. А главное, чувствовалось по всему, что Алексею Николаевичу удалось «зацепить» собравшуюся молодежь, показать им, что он не чужой.

Своим он уже стал для многих, например, для Юрия Шапорина. Толстой знал его еще по «Бродячей собаке» как начинающего композитора и загорелся желанием написать для него либретто оперы о декабристах, в основу которого будет положена подлинная история о том, как Полина Гебль, в прошлом французская модистка, ставшая женой декабриста Анненкова, добилась у Николая Первого разрешения ехать в ссылку за мужем в Сибирь. Множество замыслов породило и знакомство с историком П. Щеголевым, перешедшее вскоре в дружбу.

Павел Щеголев, редактор журнала «Былое», блестящий знаток Пушкина и русской истории, как раз в это время заканчивал издание стенографических отчетов Чрезвычайной следственной комиссии под названием «Падение царского режима», и его рассказы, подробные и увлекательные, о том, что творилось в царской семье накануне Февральской революции, какие чудовищные по своей нелепости дела вершил Григорий Распутин, как задыхались многие честные русские люди

в этой атмосфере темных махинаций и грязных преступлений, возбудили в Алексее Толстом мысль написать пьесу об этом времени. Сколько было разговоров тогда, накануне революции, да и после ее свершения, о причинах поражений русской армии во время войны. И сам Толстой негодовал по этому поводу, а теперь пришло время сказать полную правду об этом мрачном периоде русской истории.

Перед тем как начать работу над «Заговором императрицы», Толстой решил доработать пьесу «Горький цвет», которая ничего не потеряла в своей остроте и злободневности, нужно было только ее чуть-чуть поправить. Новый вариант пьесы под названием «Изгнание блудного беса» (автор посчитал необходимым показать, как Акила изгоняет «блудного и пьяного беса» из Драгоменецкого), был принят к постановке Ленинградским театром драмы, бывшим Александринским. Взялся за постановку комедии режиссер Н. В. Петров, с которым Толстой был давно знаком, все по той же «Бродячей собаке».

Алексей Николаевич опасался, что и его пьеса будет поставлена в духе экспериментального театра Мейерхольда, поэтому для предварительной беседы о постановке он пригласил Петрова к себе. За обедом они вспоминали молодость, общих знакомых. Петров заговорил о своем, наболевшем:

— Ты знаешь, что сейчас происходит в театрах, какие бредовые формалистические концепции совершенно затуманили сознание деятелей театра. Само понятие декораций постепенно исчезает с афиш, и художник, взявшийся оформлять спектакль, прежде всего думает, каким бы необычным материалом поразить воображение зрителя, а потом уж о самом оформлении. Мне много приходится разговаривать с ними. «Все оформление будет сделано из жести и металлической сетки», — сказал мне один; другой на

мое предложение сказал еще хлеще: «Жесты и веревки лучше всего создают среду для данного спектакля»; «Я придумал великолепное решение, — кричит третий, — «все оформление будет построено из громадных деревянных жалюзи». Ты этого хочешь в своем спектакле?

— Нет, как раз этого и не хочу. Ты же читал мою статью «Заметки на афише», так что об этом не может быть и речи. Я вот что думаю, Николай, давай делать... реалистический спектакль!

Сказав эти слова, Толстой внимательно посмотрел на своего друга, а потом наступившую тишину разбудил залихватистый толстовский смех.

— Ты понимаешь, какой поднимется вой и визг? — продолжал Толстой, как только отсмеялся. — Ну и черт с ними, пусть воют, а мы свое правое и нужное дело сделаем и формалистов пугнем! Как ты-то? А то Луначарский только лозунги провозглашает. «Назад к Островскому», — говорит, а в театрах черт знает что делается... Ведь это какой-то собачий бред, что происходит в театрах! Куда мы идем?

— Давай попробуем. Есть великолепный театральный художник, настоящий реалист, вот его бы уговорить взяться за оформление спектакля, — согласился Петров, — тогда твои идея наверняка достигла бы цели. Вой поднимется...

— А кто ты имеешь в виду? — спросил Толстой.

— Щуко...

Петров ушел, а Толстой долго еще размышлял над тем, почему так получилось, что в России, новой, революционной России формалистические увлечения заполонили многие сцены. Допустим, эту трагикомедию суеверия еще можно как-то представить в постановке режиссера-формалиста. А как быть с «Заговором императрицы»? Ведь это же не комедия? Так что же? Драма? Царь, царица, Распутин, Вырубова, князь

Андроников, Протопопов, даже Феликс Юсупов и Пуришкевич не могут быть героями драмы. Тут должно быть нечто смешанное... Как и в жизни... Лучше всего ему, пожалуй, удаются комедии смешанного типа, где уместается и сатира, и лирика, и беззлобное отображение гримас жизни, и утверждение добрых ее сторон. Искусство не знает раз навсегда установленных рамок. Так-то оно так, но опять какой-нибудь критик подойдет к его новому созданию с железным каркасом, куда постарается уместить его: влезло — значит, хорошо, не влезло — долой такое творение. А ведь искусство, как жизнь, сложно, многоголосо, всегда с каплей противоречивости. Вот, к примеру, Павел Елисеевич подобрал ему грудку материала о Распутине и Вырубовой... Материал прочитан, но разве этим материалом можно ограничиться при воссоздании эпохи того времени? Нет, конечно. Живые подробности, детали быта, даже слухи, которые носились тогда повсюду, даже переписка царя с царицей, которая была опубликована за границей, даже воспоминания В. Ж. о Г. Распутине, опубликованные только что в «Русском современнике», а сколько подобного рода воспоминаний опубликовано в Париже и особенно в Берлине. И все это нужно переплавить в картины, эпизоды, в действия живых лиц, индивидуальных по своему характеру и темпераменту. Слабовольный царь, ставший игрушкой в руках сильного, волевого авантюриста, окруженного темными дельцами; одержимая германофильскими идеями русская царица, Феликс Юсупов, в доме которого совершается убийство Распутина... Какие страсти, какой выигрышный материал для увлекательного разворота сценического действия!.. Значит, не стоит откладывать пьесу.

А как же быть с «Голубыми городами»? Уж очень интересный замысел возник у него во время недавней поездки по городам Белоруссии и Украины. В какой-то

степени этот рассказ будет и ответом на упреки в том, что он не пишут о современности. Вот она, самая настоящая современность маленьких провинциальных городов, со все и ее обыденностью, подсиживанием, завистью, мелкими интригами. Это болото кого хочешь проглотит, только появись. Человек способен на все, даже на преступление, чтобы уничтожить это болото, стереть с лица земли и построить новый прекрасный город, особенно если героем взять архитектора, недавно воевавшего за жизнь новую, а попавшего в самую что яви на есть старую. Такой попытается и зажечь этот старый городок, для него, мечтателя, и вся жизнь может показаться «жизтьишком», а все люди похожими на торговца Жигалева или конторщика Утевкина. Великие годы улетели для его героя, он шил полной жизнью тогда, когда как вихрь мчался на врага, а теперь наступившие будни кажутся ему изменой революционным идеалам, подавай ему сейчас же новую жизнь, голубые города, прекрасные здания, идеальных людей, которые бы не грызли семечки у своих ворот, рассуждая о мелкой повседневности. Насколько мучительно нетерпелива и горячечна фантазия таких людей! Крайнее умоисступление далеко заводит их, вплоть до безумных выходов. Раз война окончена, значит, старое под откос, к старому возврата нет. Для таких людей другой альтернативы не существует: либо всем погибнуть к дьяволу, либо повсюду сейчас же построить роскошные города, могучие фабрики, посадить пышные сады, и сделать все по-грандиозному, великолепно, ведь для себя теперь строят. Ох, горячи эти люди, вроде некоторых поэтов «Кузницы», им сейчас подавай мировую революцию, а то и в космическом масштабе. А с такими горячими дела не сделаешь... Новую жизнь строить — не стихи писать. Тут железные законы экономики работают. Тут надо поколения перевоспитывать. Мещанство метлой не выметешь — ни

железной, ни огненной. Оно въедчиво. Его и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно обрабатывать. Пройдут мучительные годы, пока у современного мещанина в голове посветлеет...

Толстой взял со стола записную книжку, разжег потухшую трубку, принялся листать свои записи. Как мало он стал записывать сейчас, главным образом отдельные фразы... Раньше записывал пейзажи, случаи, которые наблюдал, рассказы знакомых и друзей, может, пригодится, но, пожалуй, ни разу не понадобились эти записи, а вот фразы записывать надо. Иногда от одной фразы рождается тип. Где же эта запись, которую он сделал после разговора с Лениным?..

Ага, вот она, нужная запись: «Ленин П. В. Концентрация света, химических лучей. Луч — волос. Ультрафиолетовый луч — вместо электрического провода. Бурение скал. Бурение земли. Лаборатория на острове в Тихом океане. Владычество над миром. Начало: тундра. Ледовитый океан. Комната электрической спайки. Все желтое. Шамонит — чистый углерод. Удельный вес земли 8, оболочка земли 3. В центре земли — платина, золото, уран, торий, цирконий. Оливиновый пояс: железо, оливин, никель (метеориты). Постройка прибора из парафина. Обложили серебряной фольгой. Гальванопластика медью... «Так, так...» Игра на бирже на понижение. Взрыв мостов, взрыв фабрик». Но вот, опять память лучше всяких записей! Нет здесь самого главного: рассказа о том, как один талантливый инженер сделал во время гражданской войны в Сибири двойной гиперболоид и во время опытов погиб. Вот это тема... На большой роман. Сначала поразить острым авантурным началом, потом ввести какой-нибудь тип нового русского человека, крупного ученого, в прошлом рабочего и по происхождению рабочего, столкнуть его с злодеем-изобретателем, поэтому вторая часть будет, пожалуй, героическая, а третья — утопическая,

фантастическая, сатирическая, какая угодно, только не скучная.

— Ох-хо-хо. — Толстой громко вздохнул, потрогал погасшую трубку, почмокал губами, все-таки пытаюсь ее раскурить, но, убедившись, что трубка давно погасла, потянулся за спичками. — Сколько ж сюжетов, только работай, если б в сутках было сорок восемь часов...

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ ЕСЕНИНЫМ

Ежедневно Алексей Толстой садился за рабочий стол и с утра работал до 5 или 6 вечера с перерывом на обед и небольшой отдых. Стоило же ему взяться за пьесу, как и такой напряженный распорядок нарушался, приходилось работать день и ночь, отказывая себе и во встречах с друзьями, и в чтении: в эти четыре-пять недель он жил только одним повышенным настроением, проигрывая вместе со своими персонажами от начала до конца все реплики, ходил по кабинету, отрабатывая жесты, интонацию, мимику. В эти дни он очень боялся расплескать в себе то особое ощущение театра, которое давало неповторимое единство чувства и фантазии, а без этого лучше не браться за пьесу. Он не стеснялся, как другие, произносить фразы вслух. Только первое время было стыдно перед домашними, а потом все привыкли. Поэтому из его кабинета частенько то доносилось завывание на разные голоса, то слышался нарочито благородный авторский голос, то какой-то женский писк, то отвратительным развязным голосом произносит свои фразы какой-нибудь явно отрицательный персонаж. В каждого героя Толстой старался на какое-то мгновение переселиться и одновременно прислушаться сторонним ухом к произносимым фразам. Не сразу он овладел этой наукой — завывать, гримасничать, разговаривать с призраками и бегать по рабочей комнате. А набегавшись, садился за стол и торопливо набрасывал пером только что наигранное, потом садился за машинку и отстукивал продуманное, снова и снова переделывая, казалось бы, уже найденное. И снова размышления вслух и ходьба по кабинету, пока дальнейшее не прояснится.

Он принадлежал к тем писателям, которые, садясь за стол, только в общих чертах знали, о чем они будут писать: детально разработанный план ему казался чем-то вроде прокрустова ложа, чем-то вроде железного каркаса, способного зажать его творческую фантазию. Не раз он в таких случаях вспоминал сверх меры одаренного Леонида Андреева, который рассказывал, как он подробнейшим образом составлял план, вплоть до детализации отдельных глав, а потом только записывал продуманное таким образом в четыре-пять ночей. Может, поэтому так часто у него получались скучные и фальшивые пьесы. Толстой так не мог. Писать по придуманному плану казалось ему бесполезным занятием. Насколько интереснее его метод работы; за трубкой табаку легко возникают образы, ситуации, неповторимые диалоги, пейзажные картины, и сама жизнь представляется сложнее и глубже, только записывай.

Бывали у Толстого и такие дни, когда работа не шла. Откладывал одну, брался за другую, а потом, убедившись, что и тут не хватает каких-то красок, начинал набрасывать нечто совсем иное. Если получалось, продолжал работать. Но чаще бывало так, что все перепробованное им выходило скучным, без огонька, тогда становилось ясно, что надо передохнуть.

В один из таких творческих застоев Толстой бросил все свои начатые рукописи и поехал на пароходике в Петергоф по приглашению своих молодых ленинградских друзей. Оказалось, что они уговорили Сергея Есенина поехать вместе с ними, пообещав ему показать все достопримечательности заповедного места.

Толстой и Есенин встретились сердечно. После Берлина они редко виделись, но все время следили друг за другом. Есенина в этот раз не оставляли одного ни на минуту, на пароходике много было начинающих поэтов,

смотревших на него как на бога. Толстой не очень-то любил такое откровенное обожание кого бы то ни было, поэтому отошел от тесного кружка, усевшегося под душным тентом, и грузно развалился на палубной скамье. Он был явно не в духе, Его терзали творческие сомнения, пугали неудачи последних дней.

Вот подойти да спросить у этих товарищей литераторов: кто из них думает, что именно он ответил на сложнейшие вопросы жизни? Вряд ли кто осмелился бы высказаться утвердительно. И такую скромность понять можно... Искусство — массам. Это общая формула того, что неминуемо должно произойти... Но идея всегда опережает исполнение. За восемь лет революции создано ли искусство, находящееся на уровне великих жизненных преобразований? По этому поводу сколько изломано перьев и сколько сказано кинжальных слов! Многих художников, в том числе и его, Толстого, обвиняли в тайном пристрастии к буржуазности, во всех смертных грехах. Кто только не занимается подобными разысканиями!.. Напостовцы, рапповцы, лефовцы. Ох, как они все надоели со своими поучениями, пожалуй, только Фурманов выделяется среди них своим внутренним благородством... Все-таки как важно, чтобы у власти литературной находились люди порядочные, люди чести и долга, не капралы от литературы. Сколько одна паршивая рапповская овца может натворить, все литературное стадо может испортить, к тому же и траву вокруг вытопчет, и листву сожрет. Конечно, они обречены, уж больно все они бездарны, безграмотны, невежественны. Ни одного живого слова... Прогонят их, но они еще успеют попортить всем кровушки. Особенно таким вот, как этот... И Толстой с непередаваемой горечью посмотрел на веселого, чем-то оживленного Сергея Есенина. Совсем еще мальчишка, и тридцати, видно, нет, а какой величайший поэт. Мечется, ни кола, как говорится, ни

двора, из деревни ушел, а к городу не пристал. И вот расточает свой гений, разбрасывает обеими пригоршнями сокровища своей души...

Толстой увидел, как Есенин встал, подошел к борту, повернулся лицом к своим друзьям и начал читать стихи. Многие из них Толстой знал наизусть, но в исполнении Есенина знакомые строчки приобретали какой-то более глубокий смысл, первоначальная хрипотца исчезала незаметно, понемногу голос набирал уверенность и силу. И вот уже никто не шевельнется, замороженные голосом изумительного поэта. Толстой сам умел читать, и многие уверяли его, что у него есть определенные актерские данные, но то, что он услышал сегодня, потрясло его. Никогда еще Есенин так не читал при нем. И никогда он не видел его таким прекрасным, Есенин стоял у борта в распахнутой рубашке, загорелый, кудрявый, окруженный толпой почитателей, и казалось, что нет счастливее да земле человека. Отчего ж так грустно стало на душе у Толстого, ведь он не столь уж сентиментален?..

Толстой жадно ловил каждое слово поэта. Незаметно для себя подался вперед, пальцы выстукивали какую-то незамысловатую дробь на коленях...

...Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне...

Дальше Толстой уже ничего не слышал: какая-то неведомая сила вдруг крепко и жестко схватила его за горло, и нечем стало дышать, и только через несколько минут отпустила... Есенин вяло махнул рукой, дескать, все, хватит, а Толстой широко шагнул к нему и крепко взял за плечи.

— Ну, спасибо, Сергей, молодец! Сегодня ты в ударе, русская ты косточка! Какие стихи ты нам прочитал, и сам, наверное, не знаешь... Нет, видно, никакие заграничные вояжи не помогут в творчестве. Да и как прожить без нашей березы, без всего вот этого, смотри, даже без вот этого облака. А за «Письмо матери» спасибо вдвойне, свою мать, покойную, вспомнил, и так стало горько...

— И я рад, что вы вернулись домой. Эта земля нам на роду загадана, как же от нее уйти. Всюду, кажется, побывал, а дома лучше. Да и пишется, а там я ничего не написал.

Пароходик подошел к пристани, и веселая компания сошла на берег. Есенин спускался по трапу рядом с Толстым. Видно, Толстой чем-то растрогал его, и он все хотел что-то сказать, но начавшаяся суэта не давала ему такой возможности.

— Знаешь, Алексей Николаевич, почему я поэт? У меня родина есть! У меня — Рязань. Я вышел оттуда и какой ни на есть, а приду туда. Каждый должен иметь свою родину, особенно поэт, как и вообще писатель. Найдешь родину — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины...

— Вот за это я тебя еще больше люблю. Дай, Сережа, я тебя расцелую... — И Толстой крепко, по-русски, расцеловал своего любимого поэта.

— Все они думают так, — смущенно продолжал Есенин, — вот — рифма, вот — размер, вот — образ, и дело в шляпе. Мастер. Черта лысого мастер. Этому и кобылу научить можно! Помнишь «Пугачева»? Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят. Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сеять, вот тогда ты — мастер. Они говорят — я иду от Блока, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть...

Потом Есенина потащили осматривать достопримечательности Петергофа, а Толстой долго еще размышлял над его словами. Действительно, невозможно представить себе Есенина без его родного Константинова, без его родной матери в «старомодном ветхом шушуне», как невозможно представить себя самого без Петрограда и Москвы, без Самары и Сосновки, без тех людей, которые стали близкими и родными. Что бы он делая на Западе? Запас наблюдений о дореволюционной России давно иссяк, многое уже вошло в его произведения, а повторение для художника подобно смерти.

Да, Родина, Россия... А как там Бунин, Куприн, Ремизов, Шмелев?... Пропадут...

И вдруг Толстой вспомнил разговор, который недавно состоялся на теннисной площадке. К нему, только что отыгравшемуся, подсел молодой поэт Николай Асеев, они были чуть-чуть знакомы. Разговорились. Асеев поразил тем, что стал на память читать его юношеские стихи: «...В старинном замке скребутся мыши, в старинном замке, где много книг, где каждый шорох так чутко слышен, — в ливрее спит лакей-старик...» Естественно, Толстой поинтересовался, почему он их помнит. «А вот почему, — ответил Асеев, — вся эмигрантщина и ее поэзия мне кажутся вот таким стариком лакеем. А вам не кажется этого? Все они творчески бессильны, а бессилие оттого, что ушли из России, оторвались от кровных своих, от обычаев, повадок, языка, от народа своего отвернулись, на чужих хлебах жить стали. Ну, разве это неправда, можно ли таким прощать?..»

Почему они никому не хотят прощать? Всюду схватки, бои, каждый воюет за какую-то свою маленькую правдочку, а не хотят понять тех, кто, оказавшись в жестоком и неумолимом в своей неотвратимости водовороте жизни, не мог или не был способен

выбраться из этой круговерти. Правду он сказал, конечно, правду, да ведь и правда бывает разная. И под иную правду нужно подвертку подкладывать! А то ведь ногу сотрешь на большом ходу. А им все нипочем... Некоторые и сейчас думают, что, если зайца бить, он может спички зажигать. Как они не поймут, что всему свое время. Как безусловно и неотвратно человечество пройдет через революцию пролетариата, так литература неумолимо будет приближаться к массам. Но это процесс долгий и сложный. Художнику нужно какое-то время наблюдать поток современности, чтобы быть способным к обобщениям. Здесь зайцу битьем не поможешь. Художник должен стать органическим соучастником новой жизни. Тогда только можно от него чего-то ждать... Нет, невозможен более, непереносим какой-то прочно установившийся патологический подход к революции, нутряной, что ли. Теплушки, вши, самогон, судорожное курение папирос, бабы, матерщина, мародерство и прочее и прочее... Все это было. Но это еще не революция. Это явления на ее поверхности, как багровые пятна и вздутые жилы на лице разгневанного человека. И что же? Разве сущность этого человека в красных пятнах и вздутых жилах?

Нет, революцию одним «нутром» не понять и не охватить. Пора начать всерьез изучать ее, художнику нужно стать историком и мыслителем. Придется поехать по стране, поговорить с участниками событий, порыться в газетах, в журналах, а потом уже продолжать работать над трилогией о революции. Драматично должны складываться судьбы Рощина, Кэти, Даши, но не безнадежно...

Толстой, сдвинув шляпу на затылок и вытерев пот, вдруг удивленно посмотрел на приземистый домик, около которого он оказался. Да ведь это же домик Петра Великого! Сколько горя принес он своей стране, но зато нет ей теперь равных по силе и могуществу. Интересно,

что думают о Петре и о его роли в создании Великой России сегодняшние марксисты? Может, написать рассказ или пьесу о том времени?.. А примут ли? А может, взяться за роман о Пугачеве?.. Тут Екатерина, Суворов, братья Орловы, Петербург, Москва, Самара, всю Россию можно показать, как Чапыгин задумал в «Разине Степане»... Сколько тем, сколько тем...

ПРИГЛАШЕНИЕ СОБЕСЕДНИКОВ НА ПИР

Художественная жизнь в середине 20-х годов была чрезвычайно пестрой. Сколько сталкивалось между собой различных направлений, течений, кружков, групп, сколько противоборствующих программ и деклараций выходило из-под пера «вождей» этих направлений в литературе и искусстве!

Литературные вечера неоклассиков, неоромантиков, символистов, футуристов, презантистов, имажинистов, ничевоков, эклектиков...

Писатели — участники литературных группировок «Серапионовы братья», «Перевал», «Кузница», групп «Октябрь», «Молодая гвардия», «На посту», «Леф» и других — расходились в понимании ряда основных проблем литературы и искусства, между ними шла острая борьба. «Сквозь пеструю ветошь манифестов и деклараций, сквозь мимолетные категорические лозунги проступает главное — само развитие литературы и искусства, не желавших сочетаться с односторонними положениями тех или иных критиков. Дело было не в принадлежности к определенной группировке, а в отношении к революции, строительству новой действительности, воспитанию нового человека. Одни писатели в своих творческих поисках шли по неуклонному пути сближения с народом, с жизнью, все глубже познавая объективные, ведущие закономерности эпохи. Другие — все дальше и дальше от жизни народа, теряли почву под ногами, не понимая основных тенденций, не отличая главного от второстепенного.

Различным был и путь к подлинному герою современности. Одни писатели трудно, преодолевая собственные заблуждения, шли к этому герою, собирали

по крупицам (го черты, другие, находясь в гуще революционных событий, чувствуя прочную опору, без колебаний и сомнений показывали человека из народа, вершителя нового в городе и деревне. Принципиальное значение для советской литературы отели книги, герои которых несли в себе черты документальной достоверности.

В спорах тех лет преодолевалась и такая точка зрения, что человек, с его земными болями и страданиями, радостями и восторгами, взлетами и падениями, с его неповторимым строем мыслей и чувств, должен раствориться в массе людей, слиться с ними, стать незаметным, слепо выполняющим волю пролетариата. Между тем перед советским искусством стояла огромная задача: запечатлеть в художественных образах одну из величайших эпох в истории человечества, когда переоценивались многие ценности, когда новое входило в жизнь каждого человека. Был необходим большой героический характер, синтетически обобщающий революционную действительность. Об этом стали мечтать русские писатели, связавшие свою судьбу не только с новой Россией, но и с традициями русского реалистического искусства. Происходила самая настоящая битва за реализм, и невозможно себе представить, кто выиграл бы эту битву, если бы на стороне реалистов не было бы таких сильных и уверенных бойцов, как Горький, Шолохов, Алексей Толстой, Сергеев-Ценский, Пришвин, Чапыгин, Есенин.

Малейшую возможность Толстой использует для того, чтобы высказать свою верность реалистическому направлению. Вскоре после появления в «Правде» заметок В. И. Ленина «Об очистке русского языка (размышления на досуге, т. е. при слушании речей на собраниях)» Толстой публикует в вечернем выпуске «Красной газеты» статью «Чистота русского языка».

Когда Центральный Комитет партии принял постановление «О политике партии в области художественной литературы», Толстой, ратуя за реалистические принципы художественного творчества, говорит о неотделимости творца от эпохи. Когда журнал «Жизнь искусства» обратился к писателям, деятелям театра с просьбой высказаться о роли Октябрьской революции в современном художественном процессе, Толстой резко обрушился на современную урбанистическую литературу, безъязыкую и надуманную, и поддержал Пришвина, Шишкова, Чапыгина, Соколова-Микитова за их богатый язык, сорность правде жизни. В этой же статье, опубликованной журналом 7 ноября 1925 года, к восьмой годовщине Октября, Толстой, призвав изучать эпоху революции, писал: «Задача огромная, что и говорить, на ней много народа сорвется, быть может, — но другой задачи у нас и быть не может, когда перед глазами, перед лицом — громада Революции, застилающая небо».

Стоял январь 1926 года. Утром 10 января, как обычно, Алексей Толстой сидел за рабочим столом, сосредоточенно перечитывая недавно законченную историческую драму «Азеф». Пора было передавать ее в театр, уже не раз торопили его, а он никак не мог внести последние поправки в пьесу, о которых уже была договоренность с режиссером, и с Павлом Елисеевичем Щеголевым, его соавтором, предоставившим ему еще не опубликованные материалы об известном провокаторе. Алексей Николаевич никак не мог оправиться от потрясения, вызванного трагической смертью Сергея Есенина. Страшная весть надолго выбила его из привычной жизненной колеи. Думал сегодня вслух прочесть пьесу, вживаясь в каждый образ, в каждую реплику, поразговаривать во своими персонажами, но так ничего и не получилось: то и дело Толстой

отключался от своей пьесы, вспоминая то дореволюционные встречи с Есениным, то берлинские, то совсем недавнюю. Не умещались в его душе два таких противоположных человеческих образа. Какой чистый и какой русский поэт! Действительно крупнейший из поэтов современья... День его смерти всегда будет Отмечаться как траурный день в России. Азеф же Всегда будет символом подлости, предательства, двурушничества.

Толстой подошел к окну, посмотрел на быстро бегущих под морозным ветром прохожих, зябко передернул плечами. Работать явно не хотелось, поэтому он входил за почтой. Зашел на кухню отдать последние распоряжения на вечер, заглянул в детскую, где в мрачном одиночестве сидел Митя.

— Ну что, опять нашалил и мама наказала тебя? Сознавайся?

Толстой подошел к сыну, сбоку взглянул на лежавшую перед ним бумажку. Увидел нарисованные на ней два кружочка.

— Что это?

— Корова и начальник... Папа, вы меня замучили, я никогда не буду веселеньким, у меня виски поседали от вас всех, пристаёте и пристаёте: то зубы надо чистить, то надо есть, то надо идти гулять, то не надо игрушки ломать, то не надо... Из-за всякой маленькой вещи вы поднимаете скандал...

Слушая эту гневную тираду, Толстой повеселел. Все идет нормально, все на месте, повсюду кипят страсти, как и должно быть в жизни, тем более у Толстых. Вернувшись к себе, он перелистал газеты, взялся за журналы, где его больше всего интересовали выступления критиков. В журнале «Жизнь искусства» приводятся многочисленные отзывы зрителей о «Заговоре императрицы», говорят об убедительности пьесы, о прекрасном актерском исполнении, особенно о

М. Ф. Монахове, давшем на редкость яркую фигуру Распутина, пожалуй, даже более яркую, чем она была в жизни. То, что зрителю пьеса понравилась, Толстой знал хорошо: в прошлом году пьесу поставили в тринадцати городах, все основные театры Москвы и Ленинграда, в том числе «Комедия», Малый, Большой, Драматический, Василеостровский, Драмтеатр, Госснардом. Лучшей постановкой года назвали зрители «Заговор императрицы» в Большом драматическом. В самом деле, режиссер А. Лаврентьев, художник В. Щуко, композитор Юрий Шапорин отлично оформили и поставили пьесу, а Монахов, Софронов, Комаровская великолепно исполнили главные роли. И Толстой был очень доволен триумфальным успехом пьесы. Однако, как всегда за последние два с лишним года, критики обрушились на него. Каких только недостатков они не увидели здесь! Разве его драма рассчитана на дешевый успех, на сенсацию? Разве она хоть в чем-то похожа на интимные дворцовые драмы, такие, как «Семь жен Ивана Грозного» Д. Смолина или «Фаворитки Петра Первого» Н. Лернера?" Нет, конечно. Все основано на подлинных фактах, какими бы чудовищными они ни показались.

— Алеша, ты не забыл, что у нас сегодня гости?..

Толстой повернулся: в дверях кабинета стояла Наталья Васильевна и укоризненно смотрела на него.

— Пора одеваться, а то гости вечно застают тебя неодетым.

— Нет, нет, Тусенька, я не забыл, но как быстро промелькнуло время, уж вечер близится, а Качалова все нет, — фальшиво пропел он последнюю фразу.

Сегодня Толстой пригласил гостей по случаю премьеры спектакля «Изгнание блудного беса» в бывшем Александринском театре; пригласил не только, всех участников спектакля, но и группу артистов МХАТа, гастролировавших в это время: в Ленинграде. Среди них должен быть и Качалов.

Опасения Натальи Васильевны оказались напрасными: через полчаса Толстой был уже готов к приему гостей, даже успел посмотреть, как шли последние приготовления.

Зазвонивший звонок застал его в своем кабинете. Дверь отворилась, и вошел Петров.

— Ух, какой ты нарядный сегодня, Алеша! Всем голову вскружишь, даже Корчагина-Александровская будет от тебя без ума.

— А у меня сегодня сразу два праздника, — пояснил Алексей Николаевич.

— А какой же второй?..

— Сорок три года назад, десятого января, появился на свет тот, благодаря которому вы еще долго не останетесь без работы.

— Что ж ты не сказал-то?!. Так нельзя!.. Говорил — просто банкет, а тут вон что...

— Мы люди свои — сочтемся. Ничего не может быть лучше для драматурга, как новый спектакль к его дню рождения.

— А это тоже ко дню рождения? — и Петров показал ему на кипу журналов и газет, небрежно оставленных на столике: — Не только тебя, но и нас тут ругают крепенько.

— Тут не только упрекают, но и хвалят.

— Хвалят, конечно, зрители, а ругают, разумеется, критики?

— И знаешь за что? За то, что мы добивались достоверности, жизненной правдивости, за то, что мы добиваемся внутреннего сходства актеров; с действующими лицами... Что ж тут дурного, если в спектакле демонстрировалась настоящая дворцовая мебель?..

— Тоже не понимаю. Что тут дурного, если, драматурги заглянули в закулисную жизни двора из придворных кругов, вскрыли механизм назначений,

полностью разоблачили тех, кто недавно народ: прогнал из России? Надо было показать, как они жили, надо было показать и мебель, и всю ту роскошь, которой, они себя окружали. Правильно сделали... Вот и успех...

— Дескать, успех пьесы объясняется: тем, что на спектакль валит нэпманская публика.

— Сколько уж прошло спектаклей, разве напасешься нэпманов... Нет, тут что-то другое. Новый зритель интересуется истерией.

— А я вот сейчас обдумываю пьесу о современности...

— Правильно, уж года два как, Луначарский говорил, что театру нужна новая этическая и бытовая драма.

— Дело не в Луначарском Жизнь нашего двора уж больно колоритна, такие фигуры, прямо так и просятся в комедию. Кого только нет здесь: и вор, и проститутка, и нэпманы, и вузовцы, и деревенские девчонки, и эстрадные актеры, и просто обыватели, все знающие, что творится во дворе: один управдом наш чего стоит... Это будет комедия мещанских нравов сегодняшнего дня. Ее Тема — молодая жизнь, пробирающаяся сквозь дебри еще не изжитого быта двора, улицы, кабака. Но вот никак не удается найти сюжет пьесы, то есть завязку, которая заставила бы персонажи группироваться вокруг единого стержня, сквозного действия, и совершать те самые ускоренные, более ускоренные, чем в обычной жизни, действия и поступки, что и составляет, сам понимаешь, ткань драматического, в особенности комедийного, представления.

— Чувствуется, ты уже загорелся. И хочется предупредить тебя вот о чем. Работая над «Ядом» Луначарского, мы все время вынуждены были противопоставлять этому яду здоровье. И ты смотри не перегружай комедию проститутками, ворами,

сомнительными дельцами, бездарными артистами. Учти наш опыт.

— Но ведь природа пьесы — гоголевская. Я так и думаю, что ставить ее надо в гоголевских тонах. Здесь быт приходного двора, мещанского болота, взбаламученного революцией. На широкие обобщения я не претендую.

— Пойми, уж очень много проституток и темных дельцов развелось в театре, кино, литературе, хоть пруд пруди, как говорится.

— Опасность есть, но постараюсь избежать трафарета типов. Да, я знаю, что и в других современных пьесах можно найти таких же персонажей, как управдом, вор, проститутка, темный делец, зав, рабочий. И что же? Пользоваться одинаковыми типами и явлениями я считаю вовсе не недостатком драматургии, а скорее заслугой ее: ведь всегда и везде искусство в каждую данную эпоху отображало одни и те же явления и сюжеты. А что касается сгущения красок, тут твои опасения напрасны. Можно придумать любой самый трагический конец, но у меня на этот счет свой взгляд выработался. Театр как таковой не любит трагедий. Главная задача драматурга, на мой взгляд, — уловить волю зрителя к добру, злу, счастью, горю и т. д. и преломить ее в себе, как в фокусе коллектива идеальных зрителей, и беда, если он обманет веру зрителей в правду. Это с его стороны великое преступление. Я люблю счастливые концы, да и зрители чаще всего довольны, когда все переживания героев кончаются благополучно.

— Нам, конечно?

— Нет, вы и так перегружены моими пьесами... В Московский драматический, Подгорному.

— А ты вот эту заметку видел? — Петров полез в карман и вытащил аккуратно сложенную газету. — О нашей премьере почитай, тоже тебе подарок.

Толстой взял газету, а другой рукой машинально провел по лицу сверху вниз, как бы смахивая что-то некстати прилепившееся. Этот жест у него мог выражать и недоумение, и ожидание, и двойственное отношение к происходящему, и неприязнь к говорившему. Этим жестом он как бы давал себе возможность подготовиться для ответа: проведет рукой сверху вниз, тогда, мол, и ответит.

— «Акдрама снова у разбитого корыта, как будто и не было никакого «кризиса театра», как будто бы мы не видели ряда блестящих режиссеров. После постановки «Изгнания блудного беса» в Акдраме можно думать, что наши театры снова засядут в болото бытового натурализма...»

Толстой рассмеялся, и столько было в его тучноватой фигуре непосредственности, ребячливости, добродушия, что и Петров, не ожидавший такой реакции, захохотал.

— Ведь до чего мозги вывихнуты! — все еще смеясь, произнес Толстой. — Реализм не могут отличить от натурализма. Да я сам против натурализма. Когда мхатовцы стали рассаживать актеров спиной к зрителям и выпускать на сцену живую мышь, то я резко протестовал против этого натуралистического правдоподобия. Здесь уже кончается вымысел, театр повисает над пропастью натурализма, он почти перестает быть театром. Мышь губит театр. А у нас? Нет, нет, Мейерхольда и его формалистические ухищрения уже выдают за эталон режиссерской работы. Просто поразительно! Реализм не могут отличить от натурализма! Что же происходит у нас?

— Что происходит... Мода. Боятся показаться отсталыми. Я и сам попал под влияние этой моды. Вспоминаю сейчас, как я ставил «Фауст и город» Луначарского в начале революции. Целиком находился в плену идей режиссерской деспотии. Кругом были только рабы, и, как плеть надсмотрщика, хлестали окрики и

приказы режиссера-деспота. Я довольно умело научился подчинять своей воле все окружающее, и спектакли получались внешне довольно эффектные, но свободного, творческого содружества в них не было; они не могли способствовать дальнейшему росту актера... Да, и Фаусту не удалось построить идеальный город. Даже ему надо было считаться с волей народных масс. А мне тогда удалось поработить всех актеров, раздавить их творческую инициативу, заставил выполнять то, что образно видел, как диктатор. Внешне спектакль был очень эффектен, а внутренне недостаточно глубок. Так органически не слились замыслы режиссера и творческая фантазия актера.

— Вот видишь, значит, дух Мейерхольда еще витал в Александринке, а это чуждо реалистическим традициям этого театра.

— А начинал-то ведь я под руководством Качалова и Немировича-Данченко. Какие замечательные люди, хоть и очень разные. Уроки Качалова, неподражаемое искусство быть все время обаятельным — на сцене, в жизни, — мы просто следили за ним, как он курит, как держит книгу, ручку, как — разговаривает, как смеется, шутит. Красоту искусства, смысл жизни, силу воздействия актера мы постигали, наблюдая за Качаловым. Только узнав Качалова, я понял, что я вовсе не трагический актер. Да и какой я трагик, посмотри на меня: светловолосый, серо-голубые доверчивые глаза, мягкий по натуре. Да и комик из меня не получился.

— Ну почему... А конференс в «Бродячей собаке»?

— Все это пустяки. В школе Адашева поставили водевиль «Слабая струна». И мне предложили там играть одну комедийную роль. После спектакля выстроили нас в линейку, и подходит к нам Станиславский, высказал кое-какие замечания, потом мне говорит: «Поступайте в фарс, большие деньги будете зарабатывать. Я, знаешь, три ночи плакал.

Думал, конец, прощай, театр. И вдруг как-то неожиданно я решил стать режиссером. Откуда возникла эта мечта? Я до сих пор не могу понять, что послужило тогда толчком, причиной моего внезапного прозрения, — просто в моем сознании вместо одной утраченной мечты родилась новая, которая, видишь, оказалась путеводной звездой в моей жизни.

— Да и в моей... Сколько я уже благодаря тебе поставил пьес?

— Ты знай пиши, а поставить всегда поставим. У тебя есть ощущение театра...

— Грешен, люблю театр. Иной раз думаю, что я больше драматург, чем прозаик. Но не могу и без прозы. Так и сижу на двух стульях...

Снова в дверях кабинета появилась Наталья Васильевна, на этот раз из-за нее возвышалась величественная фигура Качалова. Толстой и Петров одновременно вскочили и радостно пошли навстречу знаменитому актеру.

— Я сегодня освободился чуть раньше обычного, — заговорил Василий Иванович, — и решил прямо к вам^[8].

— И очень хорошо сделал, Вася. Сейчас уже и остальные должны подойти.

— Я с удовольствием посижу у вас, на гастролях всегда больше устаешь, чем дома. Каждый день, каждый день что-нибудь...

— Третьего января я был на вашем вечере, — сказал Петров, — «Двенадцать», стихи Маяковского, Есенина, особенно «Письмо матери» и «Этой грусти теперь не рассыпать»...

— А сколько он мог бы еще написать, — сказал Толстой.

И сразу в кабинете нависла тишина. Словно теперь уж навсегда прощались с гениальным поэтом.

— Великая потеря, редкостный поэт, — заговорил Качалов. — Я совсем недавно познакомился с ним. Где-

то в марте прошлого года. Отыграл спектакль, прихожу домой... Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, тогда ему было всего четыре месяца. Я вошел и увидел Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Ксенин одной рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Есенин стал читать... Прочитал «Шаганэ», Замечательно читал он стихи... Я всегда испытывал радость от его чтения. У него было настоящее мастерство и заразительная искренность. И всегда, сколько я его ни слышал, у него и у трезвого, и у пьяного лицо становилось прекрасным сразу, как только, откашлявшись, он приступал к первому стихотворению. Прекрасное лицо: спокойное, без гримас, без напряжения, без аффектации актеров, спокойное, но в то же время живое, отражающее все чувства, какие льются из стихов. Думаю, что, если бы почему-нибудь не доносился голос, если бы почему-нибудь не было его слышно, наверно, ночью было бы, глядя на его лицо, угадать и понять, что именно он читает. А через несколько дней прихожу домой и узнаю от своих, что приходил Есенин, как всегда не один. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. Встретились уже в Баку. В антракте говорят мне, что меня кто-то спрашивает. Выхожу прямо в царском облачении, даже в шапке Мономаха, играл Федора Иоанновича, оказалось — сторож не пустил его в театр, при нем был еще мальчишка-азербайджанец с большой корзиной всевозможной снеди. Помирил его со

сторожем, познакомил со Станиславским и ушел на сцену доигрывать. После спектакля захожу к себе и вижу: сидя трое, один читает, а двое слушают стихи:

Чтоб за все грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Много пришлось мне тогда с ним повозиться, укрощать его. А в общем он был очень милым малым, с очень нежной душой. Хулиганство у него было напускное — от молодости, от талантливости, от всякой игры. А стихи его я сразу полюбил, случайно наткнулся в каком-то журнале, с тех пор не расстаюсь. Во время моих скитаний по Европе и Америке всегда возил с собой его сборник стихов. И такое у меня чувство было, как будто возил я с собой горсточку русской земли. Так явственно сладко и горько пахло от них русской землей... «Корова», «Клен», «Гой ты, Русь моя родная», «Песнь о собаке», «Мы теперь уходим понемногу»... Люблю читать эти стихи...

Толстой слушал внимательно, вся время думая о том, как щедра его жизнь на встречи с такими вот одаренными людьми. «Какая культура слова, — думал он, следя за каждым движением этого поистине великого человека. — Он одним своим появлением на эстраде в качестве чтеца должен служить примером бережного отношения к искусству выразительного слова». — И сказал Качалову:

— А ты и почитаешь нам сегодня. Никуда теперь не денешься. Теперь редко встретишь актера-реалиста, все больше увлекаются биомеханикой, формалистическими ухищрениями.

— Но, Алеша, не забывай о МХАТе, мы по-прежнему верны реализму, правде жизни. Ты видел последнюю нашу работу?

— «Пугачевщину»-то? А как же! Настоящий реалистический спектакль, чувствуется революционное настроение, в декорациях отдает еще условным реализмом, а так ничего не скажешь, на высоте. Особенно потряс меня Москвин. Какая глубина скорби, какая трагедийность! Правильно говорили: «Пугачевщина» только первый шаг в новом направлении, действительно способность театра захватывать зрителя не уменьшилась, а увеличилась. Ну а уж о твоём Николае Павловиче ничего не скажешь. Просто гениально!

— Ну уж ты скажешь, всего лишь три эпизода пробных. Думали-думали, как отметить столетнюю годовщину восстания декабристов, и вот подвернулся Кугель со сзоей инсценировкой Мережковского. Вот и отметили, но Станиславский настаивает на дальнейшем продолжении работы, ему хочется сделать репертуарный спектакль.

— Прекрасно то, что ты показываешь царя как маску, царя-сыщика, царя-следователя, царя-provокатора... А то ведь что получилось? Из театра совсем исчезли маски. Исчезли персонажи. И в первую голову исчез злодей, основа, краеугольный камень, стержень театра... Злодей — это то, что приводит все на сцене в движение. Это интрига. Это столкновение страстей. Это то, что оживляет мертвые декорации, заставляет героя стать героем и заставляет зрителя возмущаться и плакать от умиления. Вы заметили, как только театр лишается злодея, так сразу пылью подергивается рампа, линяют декорации, а суфлер в своей будке зевает от скуки. Образуется какая-то пустота, которую автор пытается чаще всего заполнить моралистическими сентенциями. И тут ничего не поделаешь: бороться-то не

с кем. Скучно. Это черт знает что. Это не театр, а лекции с живыми картинками. Нужен персонаж, у которого душа чернее, чем у дьявола, тогда только пойдут в театр.

— Ты прав, но мой Николай Павлович — не дьявол, он, напротив, очень красив. Помните, у Герцена есть описание Николая: «Он был красив, но красота его отдавала холодом...» Герцен отмечает в нем непреклонную волю и слабую мысль, в нем больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Да и многие говорили о раздвоении характера Николая, об условной личине, прикрывавшей его истинные намерения, он любил декоративность, театральные эффекты.

— А как ты относишься к таким образам, играя их? Трудно небось...

— Немирович-Данченко всегда говорит в таких случаях: «Нужно быть прокурором образа, но жить при этом его чувствами». Вот тогда что-то получится правдивое, достоверное.

— Да, хорошо сказано. Сегодня я все утро промучился, хотел еще раз стать прокурором своего героя-злодея, но так и не смог: настроение было совсем неподходящим, не пересилил себя. Не мог я жить чувствами Азефа...

— Азефа? — вырвалось у Качалова.

— Многие, как ты, удивляются. Действительно, почему именно Азеф? Почему из темной вереницы негодяев, путешествующих да страницам истории, я выбрал Азефа? Трудно сказать. Почему Шекспир придумал Яго, из-за которого Отелло убивает невинную жену? Да и сколько таких Яго прошло на сценах театров за триста лет. Правда, яти Яга постоянно менялись, а ко второй половине прошлого года совсем выродились, исчезли. Вот почему я ухватился за мысль, поданную

мне Щеголевым, кстати, он обещал зайти сегодня, замечательный человек, умница, эрудит, каких сейчас мало. Азеф — злодей сложный. Он по плечу нашему веку. В сравнении с ним Яго ребенок. Нынче Яго приговорили бы всего-навсего года на три без строгой изоляции. А Азеф вел титаническую игру, где ставками были золото, головы министров и революционеров. Азеф метал направо и налево, — банк получал золото и расплачивался головами. И не можете себе представить, каким он был честолубцем. Он любил власть и наслаждался игрой. Он был жаден к жизни, к деньгам, к женщинам. Он шикарно одевался и любил дорогие кабаки. Ах, как он любил власть. Одного его слова, сказанного, как обычно, нехотя, мрачно, через плечо, было достаточно, чтобы человек шел на смерть не колеблясь. Он был умен и проницателен. Он играл с человеком, как кошка с мышью. Он был труслив, но умел владеть собой. Поразительные качества сочетались в нем. Азеф, этот мощный человеческий организм, беспримерный организатор, торговал людьми, революцией, высокими стремлениями, истинным героизмом, жертвенными душами для целей личных, близких, утробных. Да, злодеев ему по плечу мало на страницах истории последних лет. Вот почему, когда Бурцев рассказывал мне о нем еще в Париже, у меня мелькала мысль написать об этом, а теперь вот со Щеголевым удалось сделать эту пьесу о великом злодее. Я сознательно дал место субъективному, личному освещению. Никакого приписываемого ему рыцарства, никакой силы; я выдвигаю на первый план его лицемерие, лживость, трусость, пошлое офицерство.

О дальнейших событиях этого банкета вспоминает Николай Васильевич Петров. Толстой «потчевал гостей отменными блюдами, поднимая тосты и за режиссуру, и за художника, и за исполнителей — за всех вместе и за каждого в отдельности. Мы, в свою очередь, поднимали

тосты за драматурга, и за великого русского писателя, и за радушного хозяина, за Толстого — русского человека. Поднимали тосты и за гостей, среди которых был В. И. Качалов с группой артистов МХАТа, гастролировавших в это время в Ленинграде. Толстой был неистощим в изобретении тостов, тем более что богатство их рождалось и из встречи представителей двух театров, двух театральных культур — Московского Художественного, с В. И. Качаловым во главе, и Ленинградского, бывшего Александрийского, во главе с Е. П. Корчагиной-Александровской. Звучали остроты, звенели бокалы, и собравшееся веселое общество не замечало, как идет время. А оно неумолимо двигалось вперед, и вот сквозь закрытые, тяжелые шторы в комнату начал пробиваться петербургский туманный рассвет. Но веселье, царившее за столом, не умолкало, и казалось, что время остановилось.

Тем более для всех было неожиданно, когда с одного края стола убрали тарелки и закуски, отодвинули бутылки вина и на этот целомудренный край пиршественного стола был подан скромный утренний завтрак для ребят Алексея Николаевича, которые должны были идти в школу. С удивлением смотрели дети на веселящихся взрослых, не очень-то охотно покидая дом, где, им казалось, была более любопытная жизнь, чем в школе.

Появление детей, завтрак и уход их в школу внесли ясность в неумолимый ход времени, и гости начали собираться уходить, но власть хозяина и его радушие взяли верх, а поднятый снова тост за Василия Ивановича Качалова вернул прежнее веселье за праздничный стол.

— Вася! Прочти нам что-нибудь, — обратился Толстой к Качалову.

Этот мудрый стратегический ход окончательно победил гостей. Мы все дружно хором стали просить Качалова, обещая ему установить полную тишину.

Качалов прошелся по комнате. За столом, на председательском месте, остался сидеть Алексей Николаевич. Пуская густые клубы дыма из своей трубки, он как главнокомандующий победоносно осматривал всех, предлагая установить еще большую тишину.

— Абсолютная тишина! — скомандовал он. — Вася, начинай!

В абсолютной, действительно какой-то сверхтишине торжественно зазвучал великолепный голос Качалова.

Качалов читал Пушкина, Блока, Маяковского...

Люди, знавшие и слышавшие Качалова, легко могут себе представить эти часы благоговейной тишины и слушающих вдохновенное чтение первого русского актера... Это были мгновения подлинного, большого, настоящего искусства. Пушкин сменялся Блоком, затем следовал Маяковский. Качалов читал так, что создавалось ощущение зримого присутствия этих поэтов.

— Александр Сергеевич!.. Александр Александрович! Владимир Владимирович! — как будто приглашая их войти в наш круг, объявлял Толстой. И вслед за тончайшими лирическими словами и образами Александра Блока гремела «взрывная» поэзия Маяковского;

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца...
светить — и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой — и солнца! —

закончил Качалов чтение «Необычайного приключения, бывшего с Владимиром Маяковским летом на даче».

Бешеные аплодисменты покрыли последние слова Качалова, а вставший между Качаловым и аудиторией Толстой, подняв обе руки кверху, причем в правой у него была зажата дымящаяся трубка, усиленно топал правой ногой, водворяя тишину. Все смолкли, и Алексей Николаевич неожиданно прочел четверостишие Тютчева:

Умом — Россию не понять,
Аршином общим ие измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только *верить*.

Снова грянули аплодисменты, кричали: «Верим! Верим!» — а Алексей Николаевич подошел и крепко поцеловал Качалова.

Стол был прибран, на нем появились чашки, кофе, печенье, ликеры. Кто-то из актеров принес с собой гитару. Началось пение.

А детский край стола опять был освобожден, и вернувшиеся из школы дети обедали, слушая пение Миши Шуванова.

Только через двадцать четыре часа после входа в дом Толстого гости были отпущены домой.

— Вы понимаете, какая прочная дружба должна родиться сегодня здесь, — шутил Толстой. — Ведь мы на шесть часов перекрыли историческую встречу Станиславского с Немировичем в «Славянском базаре»!

И когда уходившие обратились еще раз с просьбой к уставшему Качалову прочесть что-нибудь на прощанье, он грустно посмотрел на всех и сказал:

— Могу прочесть только Надсона. Алеша, можно?

— Ни в коем случае! Властью хозяина запрещаю! Не разрушай то, что создал. Ты создал подлинное. Мы разойдемся, сохранив это подлинное в наших душах.

И опять неожиданно из уст Толстого прозвучал
Тютчев:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир;

Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был,
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

С этим как бы напутствием уже далеко за полночь
мы покинули радушный дом Алексея Николаевича».

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

СВЕТ И ТЕНИ

Как хорошо становится на душе, когда предотъездная суета уже позади, и ты беззаботно ложишься на нижнюю полку в мягком вагоне, кругом еще устраиваются, зачем-то ходят, что-то ищут, а твои мысли далеко от всего этого, и ты, так хотевший покоя, уже можешь хоть временно отдалиться от всего, что тебя мучило последнее время. А сколько в пути встреч, разговоров, порой никчемных, бессодержательных, пустых. И все-таки отдохнуть приятно от работы, от дома, семьи, от окололитературных разговоров и интриг, от болтовни, которой все еще частенько пробавляются братья-писатели. Но это блаженное состояние продолжается недолго. Независимо от тебя безмятежность куда-то исчезает, и ты снова оказываешься в плену привычных для тебя раздумий.

Под стук колес скорого поезда хорошо думалось Алексею Толстому. Наконец-то он едет отдыхать в Кисловодск... Позади два года напряженной работы. Вторая часть романа «Хождение по мукам», к которой он так долго готовился, завершена, последнюю главу еще при нем Полонский заслал в набор. Увидит свет в июльской книжке «Нового мира». Будут читать, мало кто узнает, что пришлось пережить автору во время работы над романом. Не успел он сдать первые две главы в редакцию, как получил от главного редактора такие замечания, которые могли кого угодно выбить из колеи. Дата публикации романа совпадает с десятилетием Октябрьской революции, а посему редактор опасается неверного распределения в романе света и теней, предлагая снять весьма существенные для него как автора эпизоды, фразы, выражения. В частности, просит снять и первую фразу, которую Толстой так долго искал

«Все было кончено...», Что же тут может быть двусмысленного? Кончилось старое... Шутка ли, конец всему зданию империи. А где ж, дескать, новое? Да ведь новое-то было в диком тумане будущего, о новом-то он собирался говорить на протяжении всего романа. Не мог же он в самом начале пропеть хвалу всему новому? Оценки происходящему должны вытекать органически из самого текста романа. Не для того он начал роман, чтобы только сказать, что Алексеев, Корнилов и Деникин — монархисты и контрреволюционеры. Читатели это и без него знают. Он показал этот лагерь для того, чтобы яснее и четче выявить все трудности и сложности, которые сопровождали победу революционных сил. Чем ярче и объективнее ему удалось изобразить белых, тем естественнее будет выглядеть всенародная победа красных. И уж совсем странно было читать предложение редактора смягчить в романе то место, где он показывает русских людей, бегущих с фронта. А как же иначе писатель может показать их, когда из этой крестьянской стихии развернулись и махновщина, и зеленые, и крестьянские бунты, и, наконец, Кронштадт? Не мог же он представить революцию в таких благоприличных картиночках, где впереди рабочий с красным знаменем, а за ним благостные мужички на фоне встающего солнца? Время таких картинок прошло. Новые читатели требуют правдивого рассказа о величайшем событии в мировой истории. Едва они почувствуют, что автор чего-то недоговаривает, чего-то опасается, изображает красных только чудо-богатырями, а белых сплошь в ресторане с певичками, тут же со скукой бросят книжку. Немало пришлось поволноваться тогда Толстому. Что делать? Чего хотят от него? Романа-плаката? Ура-романа? Нет уж, такого романа он писать бы не стал. Полонский даже предложил ему свой план, предложил начать с победы, с первых же фраз ударить в литавры, а затем показать

поверженных врагов. Сколько уж таких скороспелых сочинений печаталось па страницах различных изданий. Кто помнит о них?

Как непривычно было Толстому в самом начале работы выслушивать предостережения: стоп, осторожно, так нельзя выражаться!.. Какой же толк от произведения, если автор пишет его с чувством страха и беспокойства за судьбу своего детища. Да, много смелости надо современнику писателю, чтобы говорить правду. А что бы получилось, если бы Полонский отверг его план, развитый в письме к нему, и настаивал бы на своем плане? Что получилось бы, если б Толстому не удалось убедить его и всю редакцию, что он признаёт революцию ничуть не меньше, чем они, и не только признаёт, — с одним таковым признанием, он не мог бы приняться за роман — он любит ее величие, ее всемирный размах. Он старался не избегать трудностей, сам достаточно испытал их. Но разве не известно, что чем тяжелее условия, в которых протекала революция, тем величественнее выглядит ее победа? Есть, конечно, люди, которые думают иначе. И среди партийных и среди литературных деятелей немало таких, которые именно в его романе хотели бы найти плакатное изображение революции и уж обязательно будут придирааться к каждой строчке. Да и среди других читателей много найдется таких, которые останутся недовольны романом. Тут ничего не поделаешь... На всех не угодишь. В конце концов, он сам должен нести ответственность за свой роман. И он не боится ее. С открытым сердцем он вернулся на Родину, безо всякой для себя корысти полюбил революцию, полюбил ее как художник, как человек, как историк, как интернационалист, как русский, как великоросс. Неужели он должен на кого-то оглядываться, кого-то остерегаться? Тогда лучше не писать. А это было бы крахом всей жизни: ведь четыре года обдумывал,

встречался с людьми, записывая их рассказы, воспоминания, делал выписки из книг и газет, многие картины почти сложились в голове. К этому времени он уже со всеми своими обязательствами рассчитался: даже «Чудеса в решете» были закончены и поставлены Московским драматическим театром, не говоря о таких рассказах, как «Василий Сучков», «Авантюрист», «Белая ночь», «Случай на Бассейной», «Счастье Аверьяна Мышина». Каждый из этих рассказов встречался в штыки. Упреки в мелкотемье, в бытописательстве... Чего только не нагородили критики о нем за последние годы! Может, только приезд Горького несколько утихомирит разбушевавшиеся было страсти...

...28 мая 1928 года чуть ли не вся Москва встретила Горького на Белорусском вокзале. Площадь забита людьми, повсюду радостные голоса, играют оркестры, слышатся революционные песни. На перроне выстроен почетный караул, пионеры с букетами цветов, представители партии и правительства, рабочих, ученых, деятелей литературы и искусства. Подходящий к перрону экспресс встречают дружные возгласы «ура», лес поднятых рук. И как только Горький, взволнованный, с влажными от слез глазами, вышел из тамбура вагона и попытался спуститься на перрон, его тут же подхватили десятки молодых рук и понесли над толпой. Только на какое-то мгновение ему удастся освободиться от этих дружеских рук, поприветствовать встречающих, погладить по головам близстоящих пионеров. На трибуне выделялся он своей статью рослого и широкоплечего человека, своими живыми глазами, порлиному всматривающимися в гудящую от возбуждения толпу, запрудившую всю Тверскую и ее окрестности. Такой встречи Горький не ожидал. Чувствуется по всему, что он взволнован: усы подпрыгивают, на глаза то и дело набегают непрошеные

слезы. И когда он подходит к микрофону, площадь словно вся затаила дыхание.

— Я взволнован и потрясен, дорогие товарищи! — с трудом произнес Горький. — Вы уж простите меня, я не умею говорить, я уж лучше напишу, что сейчас чувствую.

Под бурные аплодисменты Горький сошел с трибуны, сел в автомобиль, но долго еще сопровождала его восторженная толпа, бросая ему цветы, протягивая для пожатия руки.

В начале июля Горький приехал в Дом Герцена на Тверском бульваре. Здесь, в небольшом зале, собрались московские писатели.

Присутствовал на этом собрании и Алексей Толстой. Вместе с Горьким, Фадеевым, Гладковым, Г. Никифоровым, А. Богдановым, Е. Зозулей, А. Эфросом сидел в президиуме. Они с Горьким крепко подружились еще в Берлине, часто бывали друг у друга во время летнего отдыха в 1922 году, когда Толстой жил в Миздрое, а Горький со своими — в Геринсдорфе. С тех пор Горький очень внимательно следил за Алексеем Толстым, не раз высоко отзывался о некоторых его произведениях, иные поругивал за торопливость. От Чапыгина, в частности, Толстой внал, как тепло Горький отзывался о его небольшой повести «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта», да и в Геринсдорфе немало было сказано Горьким лестного в его адрес. Толстой с радостью ждал теперь выступления Горького, который, как многие надеялись, положит конец литературным распрям в новой России.

— Будем говорить честно, — сказал Фадеев, открывая собрание, — чтобы Алексей Максимович мог иметь живое представление о том, чем мы, собственно, располагаем, какими силами, и чего нам не хватает. Давайте говорить запросто, от души, не замалчивая достижений и не скрывая наших недостатков.

Горький согласился с этим предложением, хотя о положении на литературном фронте знал ничуть не меньше собравшихся здесь: ведь уже несколько лет он переписывался с Фединым, Гладковым, Леоновым, Слонимским, Чапыгиным, Пришвиным, Сергеевым-Ценским, Треневым, Пастернаком, Ольгой Форш и многими другими писателями, которые подробно рассказывали ему о том, что интересного происходило в русской литературе этих лет. Поэтому Горький сказал о том, что больше всего его волновало: он своими глазами увидел, какие величественные перспективы открывались перед строителями нового общества, увидел жизнерадостных людей, целеустремленных, энергичных, знающих свою цель — построение социализма в Советском Союзе. Отсюда, по мнению Горького, вытекали и задачи литераторов — хорошо знать жизнь своего народа и правдиво рассказывать о ней на страницах своих произведений.

Через два дня Алексей Толстой встретился с Горьким в редакции журнала «Красная новь», который напечатал новые главы романа «Жизнь Клима Самгина». Толстой хорошо знал эту редакцию, эти типичные учрежденческие коридорчики из фанерных перегородок, маленькие комнатки, переходы, лестницы. Но на этот раз все словно обновилось: повсюду праздничные лица писателей, собравшихся на встречу с великим современником. Среди них Толстой увидел Всеволода Иванова, Никитина, Федина, Пастернака.

Вспоминая эту встречу, Федин потом писал: «Редакторский кабинет едва вместил всех. Горький нервно вглядывался в лица. Понадобился бы весь алфавит, чтобы перечислить, кто пришел. Горький знал эти имена по книгам, журналам. Так вот они перед ним — живые и в большинстве незнакомые лица. Это и есть новая советская литература, возникшая с небывалой быстротой — за семь лет его отсутствия. Он как будто

наверстывал невольно упущенное, стремился заново понять то, что неверно могло быть понято или представлялось совсем непонятным издалека. Он напряженно вникал в слова, которыми это новоявленное взволнованное общество старалось передать ему с горячностью свое понимание жизни, свои требования к ней, свои ожидания.

Он начал говорить в ответ возбужденно, со страстью, которой не мог овладеть, и стало явственно ощутимо, что произносимое им было не речью на таком-то и таком-то собрании, а делом жизни.

— Я — старый писатель, я — человек другого опыта, чем вы, и наша текущая литература, вернее ее эмоциональные мотивировки, для меня не всегда ясны. Я говорю как литератор. Я привык смотреть на литературу как на дело революционное. Всякий раз, когда я говорю о литературе, я как будто вступаю в бой. Надо ставить, выискивать и открывать положительные черты нового человека. Вчера пришел в жизнь новый человек. Пришел в новую жизнь... Он себя не видит, он хочет себя узнать, он хочет, чтобы литература его отразила, и литература должна это сделать, — какими путями? Я думаю, необходимо смешение реализма с романтикой. Не реалист, не романтик, а и реалист, и романтик — как бы две ипостаси единого существа...»

Слушая Горького, Алексей Толстой вспомнил, как в горьковские юбилейные дни, в конце марта, в Детском Селе собрались истинные почитатели его таланта: Пришвин, Замятин, Шишков, художник Петров-Водкин. Сколь тепло и хорошо тогда все говорили о юбиляре. Даже читали отрывки воспоминаний из только что вышедшего сборника под редакцией И. Груздева. У самого Толстого там была опубликована статья «Ранний Горький», у Пришвина «Мятежный наказ». Кажется, именно от Пришвина тогда и узнали, что Горький

приедет к Троице. И накинулись на него с расспросами: когда? как? при каких обстоятельствах?

А Пришвин только посмеивался, уверяя всех собравшихся, какую огромную выгоду принес ему лично юбилей Горького: «Несколько раз Горький упомянул меня в своих статьях, и книжки мои впервые за всю мою литературную деятельность стали покупать. Это хорошо, потому что силенки у меня еще есть, и хочется поработать, не считая, как всю жизнь это было, двугривенные свои. Ах, как хорошо, что у Горького так своевременно подвернулся юбилей...» Два дня тогда проговорили о нем, каждый вспоминал что-то очень важное в своей жизни, непременно связанное с этим большим человеком.

...Вспоминая последние встречи с Горьким, Алексей Толстой невольно ловил себя на мысли, что в облике хорошо знакомого ему человека что-то изменилось. Нет, внешне он мало изменился, по-прежнему был высок, тонок, бодр и свеж, прежними были его голос и однобокая улыбка, прежними были взгляд и сила в руках; может, чуть-чуть постарел, но ни в фигуре, ни на лице нельзя было обнаружить и тени дряхлости. Морщины стали крупнее и голова посветлела? Нет, все не то. По-прежнему грубовато-нежное обращение с близкими, те же иронически многозначительные улыбки, когда он заговаривал о чем-то необычном, поразившем его. Пожалуй, Толстой никогда еще не видел Горького таким благодушным. Все для него в эти дни было величественным и прекрасным, всюду он замечал только то, что поражало его размахом, широтой замыслов, всюду ему встречались только замечательные люди — на съезде, в коммуне, на собраниях и совещаниях, на заводе и на фабрике, среди писателей и деятелей искусства. На все он смотрел одобрительно, с каким-то даже упоением. Жаль, не успел он спросить у Горького, удалось ли ему прочитать вторую часть его романа...

Почти двое суток Толстой ехал в поезде. Никто не мешал ему размышлять. Дома постоянно что-нибудь отвлекает, постоянно он погружен в бесконечную работу, постоянно нужно думать о том, где достать денег. Все чаще испытывал он какое-то неудобство, заканчивая очередную вещь: торопливость приводила его к художественной недосказанности, к неубедительным мотивировкам тех или иных человеческих поступков. Нужны деньги, а для этого надо быстро писать. Пьеса или рассказ еще не доработаны, но издатели уже ждут, уже получен аванс и даже «съеден». Где уж тут дорабатывать! Поэтому так часто Толстой улучшает свои произведения при подготовке их к отдельному изданию или для собрания сочинений.

Вот и сейчас, на дороге в Кисловодск, только что закончив роман, над которым он так серьезно работал, он уже видел, что некоторые места растянуты, нет точности в психологических мотивах, в исторических деталях. И ничего удивительного: каждый месяц он должен был давать два листа в текущий номер. Это увлекло его, но это же, несомненно, и повредило роману.

Когда сдал последние главы в редакцию, он испытал большое удовлетворение: напряженнейшая работа позади. А сколько было тревог, борьбы. Толстой считал, что у него лучше получается, когда он в дурном настроении, слегка нездоров, болит голова и нужно преодолевать материал. Чем упорнее этот материал, чем больше вкладывал он сил для его преодоления, тем выше в художественном отношении получалось произведение. Он любил такое состояние, когда нужно работать взахлеб, без отдыха, когда ждут, когда все, что он дает, тут же появляется в печати. Поэтому он и брался сразу за десятки дел, бросая одно и хватаясь за другое, третье, чтобы создать такое творческое

состояние, когда словно все горит, надо торопиться, надо выскочить из этого, казалось бы, безвыходного положения.

Поверхностному взгляду такая творческая жизнь могла показаться сумбурной, клочковатой, пестрой. Некоторые знакомые так и говорили ему. Но Толстой не мог иначе. Что-то начинало давить на него, и он взрывался, стараясь сбросить невидимую ношу. В такие дни он работал с удесятенной энергией. Иногда же эта разбросанность не зависела от него самого. Как-то он признавался, что будь материально обеспеченным человеком — а таким он никогда не был, — то написал бы гораздо меньше и продукция была бы ничуть не лучше, а может, и хуже. Почти всегда он начинал под материальным давлением: авансы, контракты, обещания. Лишь начав, увлекался. Пообещал маленькому журнальчику детский рассказик, а написал «Детство Никиты». Согласился Полонский печатать его роман по мере написания. А «Древний путь»? Один из его лучших рассказов возник точно так же. Пришел он как-то поздно вечером и стал жаловаться Наталье Васильевне на свою судьбу: нужно срочно написать рассказ в триста строк, аванс уже взят и прожит. А короткие рассказы он писать не умеет, отсюда и раздражение, недовольство собой и всеми окружающими. Главное — не было темы. «Он был опустошен предыдущей большой работой, — вспоминала Крандиевская. — ...Усталый, полубольной, весь какой-то разобиженный. Хотелось помочь ему, но как? Мне пришло в голову натолкнуть его на один сюжет. Впрочем, это был даже не сюжет и даже не тема. Просто захотелось снова заразить его тем смутным поэтическим волнением, которое охватило когда-то нас обоих по пути в Марсель, через Дарданеллы, мимо греческого архипелага.

— Ты помнишь остров Имброс, мимо которого мы плыли? — спросила н. — Грозу над ним?

— *Ну?*

— Ты помнишь мальчика с дудкой? Он шел за стадом овец, как Дафнис. Помнишь зуавов из Салоник? Закат над Олимпом?

Вытряхивая все это и многое другое из закоулков памяти, я заметила, что он насторожился, помаргивая глазами, и вдруг провел рукой по лицу сверху вниз, словно снимая паутину. Знакомый жест, собирающий внимание. Я продолжала:

— Современному человеку, глядящему в бинокль с парохода на древние берега, в пустыню времени...

— погоди, — остановил он меня, — довольно.

Медленно отвинтил «паркер», полез за книжечкой в боковой карман и что-то отметил в ней. Потом простился и ушел к себе.

На другой день он, как всегда, с утра сел за работу...»

И стоило сесть за письменный стол, как ожили недавние события: Одесса, Константинополь, пароход «Карковадо», русские офицеры, зуавы, хозяйка публичного дома с тремя девочками, жуткий скандал, разразившийся из-за них, а кругом самые древние места, с которыми связано столько поэтических легенд. Толстой представил себе, что на этом пароходе едет умирающий француз, едет из Одессы, где сталкивался с большевиками, и по дороге домой размышляет о судьбах европейской цивилизации.

Но так могут возникать только пьесы или рассказы. Так может возникнуть небольшая повесть. Совершенно по-другому пришлось работать над романом. Нужно охватить огромное количество материала,

систематизировать его, выжать из него все ценное и главное — отвлечься от него, превратить его в память. Для второй части трилогии Толстой собрал такой «грандиозный материал», что через несколько месяцев после начала работы уже начал задумываться, не написать ли две, а может быть, и три законченные книги листов по 16 в каждой, чтобы не комкать и не жертвовать без видимой причины собранным материалом. Потом отказался от этого.

Но и журнальный вариант уже мало удовлетворял его. Чувствовалось, что автор спешил и порой давал непереваренные куски и исторические фрагменты по мере того, как попадались они ему под руку. Между такими фрагментами иногда не было связи, поэтому по мере развития событий Толстому приходилось что-то существенно дополнять рассказами очевидцев. Но давно известно, что по рассказам очевидцев история не пишется. В то же время нельзя стремиться к исчерпывающему охвату всего исторического материала. Если давать историю гражданской войны в хронологической последовательности, со всеми ее сложностями и классовыми противоречиями, то можно написать громадный литературно-исторический очерк, но не роман. А может получиться и так, что вовсе не удастся превратить весь этот материал в ткань искусства. Ошибся он в самом начале работы: ему показалось, что раз принялся за исторический роман, то можно обходиться при его написании без конкретных наблюдений, опираясь только на документы. Хорошо, что вскоре убедился в ошибочности своего суждения... Конечно, его роман должен быть точным, как историческое исследование, и в этом будет его главная сила. Но роман должен прежде всего быть романом, который бы читался с интересом.

Незанимательное произведение похоже на кладбище идей, мыслей и образов, и горе тому

писателю, над детищем которого читатель заскучает. Ничего нет страшнее вязкой скуки в прозе. Только занимательность нового романа Толстого существенно должна отличаться от занимательности «Ибикуса» и «Гиперболоида». Не авантюрными положениями, а прежде всего внутренним движением характеров, борьбой противоречий предстоит ему увлечь своих читателей. Читателя нельзя заставить читать роман, его можно только заинтересовать им. Толстой никогда не забывал об этом, зная пример Достоевского, который мучительно искал занимательную, интересную ситуацию, продумывая до восемнадцати планов за две недели работы, а потом, послав законченную главу в печать, испытывал ужас и сомнения: а вдруг написанное покажется скучным читателю?

Толстой тоже этого боялся. Он был начисто лишен писательского высокомерия, которое иногда приходит вместе с известностью. Такой писатель чаще всего рассуждает: меня знают и будут читать все, что я напишу. Сначала так и бывает. Но наступает момент, когда читатель вдруг задает себе вопрос: «Почему я обязан жевать эту вату?..» Да, читателя надо уважать, Толстой не раз говорил об этом в печати.

Именно поэтому отказался он от попытки дать во второй части трилогии всеобъемлющую картину гражданской войны, полагая, что сие приведет к очерковому изложению материала, засушит его. И только когда он побывал в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Астрахани, Рыбинске, в станице Павловской, где познакомился с одним из видных участников гражданской войны на юге России, Д. П. Жлобой (а сколько было подобных встреч!), обогатился пейзажами, художественными деталями, — только после всего этого Толстой представил своих героев в конкретной обстановке, и они ожили, заговорили естественно, задвигались.

Писатель будто снова очутился в том времени, и работа пошла гораздо успешнее. Новые детали точно ложились в повествование, придавая картинам большую жизненную достоверность, появлялись новые краски, оживала атмосфера тех дней. Писать роман — это значит жить среди своих героев, следить за их поступками, вовремя подталкивать их, поощрять на известные деяния, страдать вместе с ними, руководить слабыми, вместе с сильными переживать могучие страсти, до сих пор, может, неведомые и автору, с отрицательными лететь в бездну грехов и мерзости. По почему у столь многих писателей отрицательные типы ярче положительных? Негодяй, бездельник, трус точно живой лезет со страниц книги, а благородный и возвышенный персонаж разговаривает пыльными монологами, и никак отчетливо не разглядеть его лица.

Толстой много раздумывал над этим вопросом. Не раз ведь говорили, что удачными у него вышли характеры Невзорова, Василия Сучкова, образы жуликов, нэпманов, сатирические образы «Гиперболоида» и «Рукописи, найденной под кроватью»... А вот Шельга несколько статичен, слишком правилен, живет и действует почти безошибочно. Почему у него, Толстого, так получается? Может, потому, что сам он, склонный к игре и мистификациям, по натуре своей полнокровный, жизнерадостный, выдумщик и веселый враль, способный перевоплощаться и актерствовать, человек вольной и щедрой души, любящий дружеское застолье и всяческую пеструю суету, утратил в себе те высокие положительные черты, которыми непременно должен обладать его положительный персонаж? В писателе тоже много человеческих слабостей, и ему, естественно, легче перевоплотиться в человека, который из-за этих слабостей терпит бедствие в житейском море, чем в Человека-героя.

Незадолго перед отъездом в Кисловодск Толстой разговорился со своей дальней родственницей Т. С. Сикорской, оказавшейся во время гражданской войны в стане красных. И таких знавал он немало, о таких приходилось читать, слышать. Но вот только после ее рассказа у него что-то начало созревать новое... Дочь богатых родителей, добровольно пошла в Красную Армию, храбро сражалась, а потом наступили нэповские будни, и надо было ей все начинать сначала. Такая тема еще не разрабатывалась в современной литературе, и мысленно Толстой постоянно возвращался к ней, помещая свою героиню то в одну ситуацию, то в другую. А тут его захватило, писал быстро, удачливо: 15 июля, как раз накануне отъезда, был закончен и сдан в «Новый мир» рассказ «Гадюка» для восьмого номера.

В КИСЛОВОДСКЕ

Первые дни в Кисловодске оказали на Алексея Толстого благотворное влияние: целительный воздух, водные процедуры, прогулки по горным дорогам быстро восстанавливали его силы. И вскоре он стал одним из самых веселых заводил этого курортного городка.

Корней Чуковский, отдыхавший тогда вместе с Алексеем Толстым, вспоминает, как он разыграл одного милого заезжего простака, никогда не видавшего гор: «Заметив, что вверху, на большой крутизне, каким-то чудом пасутся коровы, он с недоумением спросил у Толстого, почему же они не падают в пропасть.

— Видите ли, — очень серьезно ответил Толстой, — у здешних коров с самого рождения особые ноги: две правые вдвое короче двух левых — вот они и ходят вокруг самых узких вершин и не падают. Приспособились к местным условиям — по Дарвину.

— А если они захотят повернуть и пойти в обратном направлении?

— Им это никак невозможно. Сразу же сверзятся в бездну. Только по кругу, вперед, вперед... Впрочем, у каждого горца есть особые костыли, специально для этих коров... привинчиваются к правым ногам, когда коровы выходят на гладкое место.

И Алексей Николаевич стал подробно описывать устройство только что изобретенных им коровьих костылей, а простосердечный приезжий достал из кармана блокнот и благоговейно записал этот вздор.

— А какая гора выше всех? — спросил он, озирая Кавказский хребет.

— Алла Верды, — ответил не моргнув Алексей Николаевич. — Вечером мы собираемся взойти на нее.

«Алла Верды» — кабачок, или, вернее, шашлычная, приютившаяся не на горе, а в низине. Вечером мы втроем совершили «восхождение вниз».

— Почему же вниз? — удивлялся всю дорогу простак.

— Диалектика...»

Толстой любил веселую компанию. Любая затея находила в его лице непереманного участника.

Некоторые, правда, обижались на него, но ничего обидного не было в этих шутках, ибо они — от неумности его натуры, жизнелюбия, широты, склонности к мистификациям. А главное, сказав что-то уж очень несуразное, он тут же впивался глазами в человека, который слушал его: как тот реагирует, понимает ли шутку... Каждый жест человека он словно впитывал — авось когда-нибудь пригодится. И в этом сказывалась его творческая жадность.

Погода в этом году не баловала отдыхающих. То и дело моросил дождь, редко показывалось солнце. Но и в такую погоду трудно было усидеть в маленькой полуподвальной комнатке, которую снял Алексей Толстой. Работать не хотелось, ничего интересного не намечалось, и он пошел, как обычно, на «пятачок». И неожиданно для себя увидел Качалова. Как давно они не виделись! Он бывал в театре, смотрел с его участием какие-то спектакли, но никак не удавалось по-дружески поговорить. А эти разговоры всегда оставляли в душе Толстого неизгладимый отпечаток.

— Так ты уехал со Ждановки? Как мы провели там вечер... Какой там вечер, сутки, до сих пор не могу забыть об этом и даже рассказывал Станиславскому и Немировичу о нашем рекорде. Вот смеялись... А где ж ты теперь?

— В Царском, на Московской, 10, снял квартиру. Собираются переезжать туда Федин, Щеголев, там живут сейчас Шишков, Юрий Шапорин, Петров-Водкин, да и многие очень приезжают туда, из Ленинграда

совсем близко. Скоро в Царском будет целая литературная колония. Видимо, здесь начнется что-нибудь вроде «Озерной школы». У Шишкова будем собираться по пятницам, у меня по средам, так что милости просим, когда будешь. Бывает очень интересно, особенно когда приезжают Пришвин, Ольга Форш, Соколов-Микитов, Александр Прокофьев...

— Да уж непременно... Что ты из такой благодати?..

— Устал, Вася, устал. Да, к слову сказать, и вряд ли собрался бы, если б не прислали приглашение отсюда. Как-то был разговор с одним импресарио о литературных вечерах здесь, я уже и забыл об этом, и вдруг присылают мне аванс — сто пятьдесят рублей, а у меня хоть шаром покати, ни копейки, вот теперь придется отрабатывать.

— Может, и у нас, в ЦКБУ, выступишь? Что ты будешь читать?

— Не очень-то ясно, что от меня хотят. Сначала мне предложили читать вступительное слово перед выступлениями, что-нибудь о моем творчестве; например, рассказать, почему я пишу фантастические романы и тому подобное, я ответил, что сам не знаю почему, и от сообщения о самотворчестве отказался. Тут же мне предложили — о половой проблеме. Я сказал, что об этом больше меня знают Романов и Малашкин. В общем, перспектива моих вечеров показалась зловещей. Тогда я предложил им поставить здесь со здешней гастрольной труппой «Дельца», где я буду играть, раз пять, роль Компаса. Ты, конечно, не видел эту переделанную мной пьесу?..

Я в прошлом году выступал здесь, в курзале, причем накануне простудился. Пел на ветру — просто от удовольствия, как раз в день выступления, и захрипел. Ничего, еле дотянул. Пришлось ходить к доктору. И можешь представить, только меня поселили в отдельном домике, в изоляторе, так сказать, как

получаю известие, что приезжает Константин Сергеевич. Поехали его встречать Мигай, Монахов, Богданович и я. Поезд остановился, и — о ужас! — Станиславский выпорхнул из вагона с неподражаемым легкомыслием. Глянули на его ноги и в один голос заржали: в ночных туфлях такого восточно-экзотического типа, небесного цвета. Спихнулся, уже подъезжая к Кисловодску, и переобуться не успел. Так в голубых туфлях и появился в санатории среди академиков и профессоров. А между прочим, отдыхали тогда Обручевы, Ольденбурга, Каблуков, Сакулин, Яблочкина, Рыжова...

— Вам что, можете побездельничать. А я впервые, можно сказать, выбрался из дома и ничего не пишу. Беру ванны, играю в теннис, был на Малом седле, вот где потрясающий воздух! Питаюсь фруктами и почти не ем мяса. Как видишь, веду размеренный образ жизни, ничто не отвлекает. И часто возвращаюсь в своих мыслях к «Бронепоезду», даже завидую Всеволоду Иванову. Здорово вы поставила этот спектакль. Действительно первая настоящая революционная пьеса пошла у вас. Особенно ты, Вася, здорово сыграл Вершинина. Ты и вождь, и простой мужик. И знаешь, переспрашивали, удивлялись, узнав, что Вершинина играешь ты. «Неужели это Качалов?» — «А что?» — «Да не думал, что с душой крестьянина так сможет сжиться». Уж очень просто, скупо ты играл.

— Об этом и Луначарский говорил. Он тоже не мог себе представить меня в такой коренной крестьянской роли. Привыкли меня видеть в роли Гамлета и его потомков.

— Я вот тоже все время думаю над этим, в каком бы образе воплотить лучшие черты русского национального характера. Вершининых я не знаю...

— А роман «Хождение по мукам»?..

— Этот роман дорог мне, я много работал над ним. Приятно вспомнить, когда все это позади... А чувствую, что не удалось мне создать настоящего русского человека во всей его неповторимой мощи, со всеми сильными и слабыми, как в жизни, чертами... Как-то с Полонским договаривался написать ему рассказ о Петре, который, может, станет основой пьесы. Он охотно поддержал замысел. Я уж начал думать над этим. Но будет ли этот рассказ или пьеса интересна современному читателю?

— И не сомневайся! Но этот сюжет потребует от тебя основательной подготовки. Сколько написано о том времени, а до сих пор нет еще четкого представления и о самом Петре, и о его деяниях. Ты ж ведь наверняка знаешь, что твой великий однофамилец тоже брался за роман о Петре, но дальше набросков не пошел.

— Да, все это я читал. Уж давно нацеливаюсь на этот характер, писал уже об этом, но мало удовлетворяет меня сделанное... Прав, конечно, Лев Толстой: весь узел русской жизни тут, в этом времени.

— Ты правильно, Алеша, задумал: сначала рассказ, потом пьесу, а там видно будет. Ты приходи к нам, выступи у нас обязательно. Ты же знаешь, у нас отличная аудитория для писательского выступления.

Толстой на дороге к себе долго еще размышлял над словами товарища по искусству. Он любил этого прекрасного актера и замечательного человека. Качалов обладая каким-то волшебным обаянием. Он был хорошим товарищем, надежным другом, веселым, общительным; как со-датель неповторимых образов тоже был близок сердцу Толстого, близок своей поэтической творческой силой. Толстой, как и тысячи его современников, восторгался изумительным голосом артиста, докосившим до слушателей всю глубину и проникновенность первоначального замысла. Слушая его, пристально вглядываясь в такие знакомые и

близкие черты лица, Толстой ощущал какой-то праздник, праздник духа. Все пленяло его в Качалове: походка, голос, мягкие движения рук, умные, добрые глаза, иногда насмешливые, иногда задумчивые и благодушные или сверкающие искорками легкого юмора. Ничего не скажешь, природа щедро отпустила благородного материала из своих мастерских на одного этого человека...

Через несколько дней после разговора Толстой писал жене: «Позавчера вечером читал «Дельца» в санатории ЦКБУ при большой аудитории, были Качалов и Станиславский, успех был очень большой».

Качалов и Станиславский поздравили Толстого о успешным вечером, а потом все вместе пошли прогуляться перед сном.

— Василий Иванович рассказывал мне, что вы собираетесь для нас написать пьесу о Петре Великом, — заговорил Станиславский, как только вышли они из толпы отдыхающих, — мы давно ждем от вас пьесу, но, признаться, у вас пьесы не нашего, что ли, профиля. А вот о Петре — это должно быть интересно...

— Давно уж я мечтаю написать для вас и вашего театра, но как-то дальше МХАТа-второго дело не идет. Не эту точно вам передам.

— Пушкин, Лев Толстой, Достоевский, наконец, Мережковский... У вас, как видите, немало предшественников. И все очень знаменитые...

— Да, эпоха уж больно заманчива для художника. В самом начале Февральской революции я обратился к теме Петра. Сейчас-то я вижу, что поторопился тогда, мало прочитал, взял только некоторые факты, выпятил их, и получилось, что Петр на костях своего народа возводит Петербург, жестоко подавляет всякие попытки протеста, за что народ его проклиняет и называет антихристом.

— Вспоминаю, — сказал Качалов, — Александр Блок читал мне один из вариантов «Возмездия»:

И сам Державный Основатель
Стоит на головном фрегате,
Как в страшном сне, но наяву:
Мундир зеленый, рост саженный,
Ужасен выкаченный взгляд;
Одной зарей окровавленны
И Царь, и город, и фрегат...
Царь! Ты опять встаешь из гроба
Рубить нам новое окно?
И страшно: белой ночью — оба —
Мертвец и город — заодно...

Качалов умолк.

— Вот-вот, и у меня такое же представление было о Петре... — воспламенился Толстой. — Ужасен выкаченный взгляд... Так и было, конечно, многие вспоминают о его пронизывающем взгляде, многие пишут о его огромном длинном теле, о его страшном смехе, о его дергающейся вместе с губами налево голове, о его костлявой, сутулой, такой нескладной фигуре в юности. А сколько полетело стрелецких голов! Разве можно все это обойти? А время! Какой удивительный взрыв творческих сил, энергии, предприимчивости! Так и слышу, как трещит и рушится старый мир... Бояре, холопы, казаки, крестьяне, царь со своими помощниками, поп Варлаам со своими проклятьями, Ромодановский, Петр Андреевич Толстой, мой пращур, со своими посольскими делами, царевич Алексей, идущий против начинаний своего отца, и все это такое сложное, противоречивое, что художнику действительно есть чем заинтересоваться. А Европа, ждавшая совсем не того, в изумлении и страхе глядит

на возникающую Россию, окровавленную, вздыбленную, обезумевшую от ужаса и отчаяния, но разбившую непобедимого Карла. Может, и правы те, кто писал, что он ученик Немецкой слободы, что он находился в противоречии со своей страной, со своим народом, что он совершенно стоял изолированный... И лишь немногие были в состоянии проникнуться идеями Петра. А что Валишевский пишет о нем? Уму непостижимо, что он вытворял, какими дикими способами он насаждал свои представления о новой России. Он и воспитатель, но он и величайший деморализатор рода человеческого. Каких только грехов ему не приписывают: и коварство азиатское, и узость, и мелочность, и умственную близорукость, и различные непристойности, и дикость... Все-все, что может его как-то унижить или скомпрометировать, все, оказывается, было присуще Петру.

— А что же Пушкин? — удивился Качалов. — Или Белинский? Называл его величайшим явлением не только нашей, но и истории всего человечества, говорил о нем как о божестве, вдохнувшем душу живую в колоссальное, но поверженное в дремоту тело России. Нет, ты, Алеша, не торопись, подумай. Неоспоримо по громадности и величию дело, совершенное им, блистательны подвиги времен Петра Великого, и его колоссальная личность требует к себе внимательного отношения.

— Я тоже думаю, что не надо спешить, — Константин Сергеевич бережно взял Толстого за руку, — личность действительно громаднейшая. Петр вбирает все, все аспекты человеческого бытия, и ничто человеческое ему не чуждо. Как у нас сейчас говорят: великий человек есть всегда и везде представитель своего народа, который выражает своей деятельностью потребности своего времени. Пусть и ошибки и колебания допускает

он, и жесток и коварен он, но беззаветная любовь к своему отечеству движет его поступками.

— Все это я понимаю... Только не могу себе представить, как мог веселиться Петр со своими друзьями, когда задущенный Алексей, еще, можно сказать, теплый, лежал в Петропавловском соборе. А главное, его же современник Посошков говорил, что наш монарх на гору сам десять тянет, а под гору миллионы тянут. Можно ли возделать одному это дикое поле, каким была Русь того времени? Непомерный труд он взял на себя. Так пишут почти все, кого мне пришлось читать, а читал я довольно много. Двадцать лет стену головой прошибал, двадцать лет огромную ношу нес на плечах, сына казнил, миллионы народу перевел, много крови пролил, а дело его все равно постепенно разрушается, друзья его озабочены только своими интересами, даже жена, верная Катерина, предала его, изменив ему, когда он был болен. Что может быть ужаснее этого? Сердце его ожесточилось... Страшен конец этого человека. Трагична его судьба!

Толстой смотрел на спокойное, уверенное, ласковое лицо Константина Сергеевича и понимал, что этот разговор навсегда останется в памяти. Может, только сейчас он искренне поверил в слова Горького, сказавшего о Stanisлавском, что он красавец человек. Действительно, сколько Толстой слышал о нем, что он весь огонь и кипение, увлекающийся ум, горячий до страсти, до безрассудства, мечтатель, романтик, полный жизни, пламенный реформатор.

В тот же вечер сообщал жене: «Рассказывал Stanisлавскому о предполагаемой пьесе о Петре, он очень взволновался и пришел в восторг. Качалов также настаивает, чтобы я писал».

17 августа, вскоре после этого знаменательного разговора, Толстой послал срочное письмо в Детское: «Сегодня условился с Полонским написать ему для

ноябрьской книжки рассказ о Петре, который будет канвой для драмы. Т. к. времени мало, то прошу тебя о следующем: 1) немедленно вышли мне в Кисловодск книгу «Дело Монса», 2) начни читать сама о следующем: а) казнь стрельцов и все, что было вокруг нее, б) все матерьялы по всешутейному собору, 3) Попроси Федора купить письма Петра к Екатерине...»

В это пребывание на юге Алексей Толстой с большим успехом выступал в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, читал главы из романа «Хождение по мукам», рассказ «Гидра». В хорошую погоду ходил в горы, поднимался на «Замок коварства», как-то заблудился в дороге, но было очень хорошо: пробирался дикими местами и наслаждался красотой открывавшихся видов. Однажды, как только кончились холода и настали теплые дни, Толстой совершил прогулку на Большое седло. Приятно одному, можно не спешить, отдохнуть от напряжения, которое непременно возникает в любой, даже самой милой компании. По пути, на поросшем цветами склоне горы, он прилег отдохнуть. Кругом никого, только стрекот кузнечиков да высоко в небе лениво парили орлы. «Господи, красота-то какая, и уходить отсюда не хочется... Как жалко, что нет моей милой душеньки, здесь без нее все вполовину».

Толстой и не заметил, как сморил его сон. Только в шесть вечера он вернулся к себе. Погода заметно стала портиться, накрапывал дождь, настроение тоже переменялось. Тоска все больше и больше охватывала его. Ее не одолеешь ничем, и он сел писать письмо в Детское.

«Родная моя, милая душенька! Почему ты так мало пишешь мне? Я очень скучаю по тебе. Мне тяжело думать, что тебе так невесело живется в Царском. Я постоянно представляю тебя, Митеньку, наш дом, серенькое небо...

Сегодня последний раз читаю — если только не подведут с билетами, седьмого выезжаю в Днепропетровск». Мне здесь ужасно надоело, я похудел и чувствую себя пониженно, ванны кончил. Считаю, что было полезно провести месяц на воздухе в бездельи...»

7 сентября Алексей Толстой покинул Кисловодск. За неделю он побывал в Ростове, Синельникове, Днепропетровске (бывшем Екатеринославе).

Эти дни значительно обогатили его представления о махновщине и самом Махно. О том, как он работал в поездке, вспоминал Чуковский: «Мне рассказывали люди, которые в 1928 году сопровождали его в Синельникове и в соседние местности (когда он приезжая туда собирать материал для романа «Хождение по мукам»), что он замучил их всех своей неутомимой жадной пытливостью; так неистово изучал он и пейзаж этих мест, и характер их жителей, и местные архивы, и свидетельства участников гражданской войны, что спутники буквально падали от усталости и уходили один за другим отдыхать, а он, забывая о сне и еде, с каждым часом становился все бодрее».

В ДЕТСКОМ СЕЛЕ

Детское Село, куда в мае 1928 года переселился Толстой, раскинулось неподалеку от Ленинграда. Три прекрасных парка, знаменитые пруды, воспетые Пушкиным, широкие тенистые улицы, а главное — тишина и покой, столь необходимые для работы и для писательского отдыха, — все это давно пленило Алексея Толстого, часто бывавшего здесь до революции у Гумилева и Ахматовой, а после возвращения в Россию — у Шишкова и Иванова-Разумника. Неповторимая прелесть Детского Села, в прошлом Царского Села, привлекала многих писателей и деятелей искусства. Кто только не побывал здесь у Толстого: художники, писатели, композиторы, актеры, режиссеры. Пожалуй, никогда еще Толстой не был так счастлив, как в эту пору. Все самое страшное, что столь много лет беспокоило его, казалось, позади. Россия, как добрая и любящая мать, приняла его и дала ему все для работы.

Он полон сил и энергии. Он всегда окружен интересными людьми, повсюду радушно встречают его. Только рапповцы по-прежнему внимательно следят за ним, и каждый его творческий успех отмечают руганью и бранью.

В середине сентября Толстой вернулся из поездки по югу России. Уставший, но довольный результатами увиденного, он сразу же хотел взяться за продолжение романа о гражданской войне. Тем более что договорился ● редакцией «Нового мира» о публикации с января будущего года романа «19-й год» — так он назвал последнюю книгу трилогии. К этому сроку он должен был сдать несколько листов романа, ведь в январе — феврале собирался поехать во Францию, так как часть

действия романа должна происходить в Париже, а воспоминания о нем потускнели.

Но этим планам не суждено было сбыться: по приезде домой он едва, по собственному выражению, «раскачался на работу». Дело в том, что в последние дни пребывания в Кисловодске он простудился, в результате чего получил невралгию лицевого нерва и больше недели его мучила зубная боль. Не сразу он обнаружил, что и роман о гражданской войне у него сейчас не идет. Мысли его были скованы обещанием Полонскому написать для ноябрьской книжки «Нового мира» рассказ о Петре. Можно ли за месяц овладеть таким огромным материалом, который неприступной грудой лежал у него на столе? Да и друзья отговаривали его от этого легкомысленного шага. И первые дни после приезда Толстой просто не знал, за что взяться, хотя ежедневно садился за письменный стол и начинал переключать многочисленные наброски — заготовки к будущим сценам и эпизодам.

Когда совершенно стало ясно, что с Петром не справиться к сроку, он, не желая подводить, вдруг задумался о тех сложностях повседневного бытия, которые сопровождают каждого человека в определенные минуты, и неожиданно для себя начал писать рассказ о современности. По этому поводу он писал Полонскому: «Рассказ странненький, я сам минутами удивляюсь. Уклон — в сатиру, в иронию. В нем ни гражданской войны, ни жилплощади, слава богу, нет. Рассказ — психологический».

И действительно, рассказ «Подкидные дураки», о котором идет речь, несколько выделяется своей тематикой в творчестве Толстого этого периода. От главного героя ушла жена, и он, ничем не одерживаемый, напился до полусмерти. Что с ним произошло, он вспоминает с трудом. Что-то ужасное и непростительное. И вот постепенно выясняется, что

именно он натворил в пьяном виде. Ничего, оказывается, страшного, как уверяет интеллигентный сосед, высмеивая его намерения покончить жизнь самоубийством...

Но писание «Подкидных дураков» только на время отодвинуло главную заботу. Перед Толстым снова встал вопрос: писать все же «19-й год» или нет? Он советовался с друзьями в местном отделении Госиздата. Все в один голос рекомендовали несколько обождать с «19-м годом». Тема настолько острая, неотстоявшаяся, что в теперешней обстановке по-всякому могут истолковать роман. Пусть собран огромный материал, пусть все наготове, но сесть за роман Толстой не мог: а вдруг обвинят, что он выражает кулацкую идеологию? Ведь вся первая часть — о Махно... И Толстой предлагает Полонскому подождать с «19-м годом» до осени.

Но дело было не только в этом. Вернувшись из Кисловодска, он все-таки по-настоящему увлекся темой Петра. Он бывал в букинистических магазинах Ленинграда и Москвы, просил друзей сообщать о книгах, связанных с Петром и его временем, которые есть у них или у их знакомых. Щеголев, Чапыгин, Шишков, Иванов-Разумник и многие другие помогали ему в подборе необходимых материалов, уж не говоря, естественно, о тех, кто непосредственно окружал его: Наталья Васильевна, ее сын Федор, дочь Алексея Толстого Марианна, даже тринадцатилетний Никита и семидесятилетняя Мария Леонтьевна Тургенева. Алексей Николаевич умел заинтересовать всех, кто так или иначе соприкасался с ним, своими проблемами, своими делами и заботами. Через два месяца после Кисловодска у него на столе уже были вороха различных книг, из которых он извлекал необходимые ему сведения. Тут были «История царствования Петра Великого» Н. Устрялова, «История России с древнейших

времен» С. Соловьева, «История Санкт-Петербурга» Н. Петрова, «Деяния Петра Великого» И. Голикова, «Собрание разных записок и сочинений о жизни и деятельности императора Петра Великого», составленные Ф. Туманским, «Письма и бумаги Петра Великого», «Домашний быт русских царей в XVI-XVII столетии» И. Забелина, «Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках», «Гистория Свейской войны», составленная при Петре I и изданная кн. М. Щербатовым под заглавием «Журнал, или Поденная записка государя императора Петра Великого с 1698 г. до заключения Нейштадтского мира», подлинные документы из «Дела царевича Алексея», «Записки» Н. Неплюева, «Дневник» П. А. Толстого... По собственному признанию, Алексей Николаевич влез в эти материалы с головой и к 1 декабря предполагал написать пьесу о Петре. А уж потом он возьмется за роман и снова предложит его «Новому миру» на тех же условиях; в февральскую книжку он сможет уже дать первую порцию.

Читая материалы о петровском времени, Толстой поражался резким контрастам, которыми так была богата эта эпоха. «Какое жалкое зрелище, — говорил он, — представляла феодальная Россия семнадцатого века! Буквально страна нищих: отсталое земельное хозяйство, почти полное отсутствие мануфактур, внутренний рынок ничтожен... И тут же рядом со всей этой непроходимой нищетой сидели сытые, сонные бояре за крепкими заборами среди дармоедов и юродивых. Уныло звонили церковные колокола во славу нищеты и смирения... А потом? Откуда что взялось... Произошел какой-то невероятный взрыв. Одна картина удивительнее другой. Откуда взялась такая энергия и предприимчивость? Какое буйство сил и разгул жестокости... Сколько голов полетело из-за царевича

Алексея... И какой неутешительный итог всей деятельности Петра».

И Толстой быстро, в один, как говорится, присест, написал небольшой рассказ о том, как у Александра Меншикова познакомился Петр с красивой полонянкой и в тот же вечер стала она его любовницей. И пошла-то она всего лишь посветить государю, а через час вернулась от него полновластной фавориткой, о чем сразу догадался и Меншиков, получивший за сводничество здоровенную оплеуху, да и все оказавшиеся у него в доме. После этого рассказа Толстой понял, что он готов писать пьесу; ему показалось, что он овладел огромным богатством, необходимым ему для воссоздания всей эпохи и самого Петра. Как обычно в таких случаях, он несколько недель не выходил из дома, боясь расплескать собравшееся в нем ощущение театра. Из его кабинета вновь стали раздаваться реплики различных действующих лиц... Ничего подобного не приходилось ему писать до сих пор. Мрачные картины сменялись такими же мрачными и безысходными. Уже первая как бы задает тон всему драматическому действию: здесь столкнулись основные силы эпохи. На Красной площади — зарева костров. Уныло, по-кладбищенски звонят колокола. Откуда-то неподалеку доносятся вопли. Боярин Лопухин, торговый человек Калашников, Варлаам, всклокоченный, страшный в своем фанатизме проповедник, дворовый Васька Поспелов, вольный повстанец Лоскут — люди разных социальных слоев слышат крики, хлест кнута, скрип телег, бой барабанов, и каждый из них по-своему относится к происходящей здесь казни стрельцов. За что казнить-то их?

«А за то, — ехидно отвечает поп Филька на молчаливый вопрос собравшихся, — ныне царь немцев полюбил... Он да князь Ромодановский хотят корень русский извести. Побывал царь в Голландии.

Попригляделся, — бойко заморские купчишки торгуют, всякому мастерству горазды... И с нас теперь хочет кожу содрать, чтобы бойчее стали. А нам это зачем?.. Жить нам тихо, стародав-ным обычаем, как отцы, деды жили... Веру блюсти, душу спасать... А нам кораблей не строить... Нам эти корабли поперек горла воткнулись...»

Вслед за этими картинами и репликами, из которых сразу становится ясно, в какое время происходит действие, появляются стрельцы, иностранцы, Меншиков, Ромодановский и сам Петр. Возбужденный от только что пролитой крови, диких криков пытаемых и замученных людей, узкоплечий и сутулый, с торчащими усами на округлом, перекошенном судорогой лице, он словно наглядно подтверждает только что происшедший здесь разговор о нем как об антихристе. Статный, ловкий, синеглазый Меншиков, готовый по царскому указу и бороды рвать, и дурь выбивать из бояр, строго предупреждает собравшихся, что, если будут упорствовать, царь всю землю на дыбы поднимет. Такое предупреждение кое на кого действует ошеломляюще: Васька Поспелов тут же просит принять его на службу — надоело ему спину чесать боярскую. Он понял, что на стороне царя сила, которая сметет старые порядки. Здесь же, на Красной площади, когда крики казненных еще звучат в ушах, Петр пытается объяснить кому-то смысл своей жестокости: пролитая кровь должна образумить тех, кто сопротивлялся его реформам и преобразованиям.

Основой второй сцены послужил недавно написанный рассказ «Марта Рабе». Толстой чуть-чуть только переделал его, придав ему драматическую форму. Труднее давались другие картины: ведь столько исторического и человеческого материала нужно вместить в четырехчасовой спектакль! В последующие картины пьесы он вводит крестьянина Антона Воробья, который жалуется, что «царь Петр, черт голландский,

приказал все забирать у крестьян, а тех, кто не отдает, бить батогами». Война, военные поборы, кормовые, дорожные разорили крестьян. Половина деревни в бегах. Лоскут указывает ему путь: ограбить боярина Лопухина, подаваться на казачий Дон. Выбежавшие солдаты быстро напоминают о том, кто еще крепко стоит у власти. А Лопухин горько сетует, что заворовались русские люди, страшно за ворота выйти: старую веру сломали, а новой все еще нет. После этих сцен становятся вполне понятны признания Петра, что за месяц его болезни все государство врозь поползло... Повсюду чует он измену, падалью смердит. Шведы мешают ему во всех его начинаниях. Войне не видно конца. Король Карл намерен до полного оскудения довести Россию. И в этот критический час Петр вдруг увидел, как мало люди думают о пользе государственной, не служат, не работают, только кормятся. Русские кажутся ему страшнее шведа. А тут еще Петр Андреевич Толстой принес нерадостную весть о восстании на Дону под предводительством Булавина. К тому же и на Украине «великое идет шептание». Вокруг враги, всюду строят козни против него. И в этот смертельный час, когда шведы переходят Неву за Охтой, угрожая Петербургу и целостности государства российского, Петр призывает народ положить жизнь ради государственной пользы. А народ — рабочие, солдаты, арестанты бросают работу, собираются в кучки, совещаются, волнуются по поводу одного и того же вопроса: «Царю любо кричать: помирайте за государство... А мы и так на этой работе ободрались, килу надорвали». Сталкивая Петра с разбушевавшимся народом, подстрекаемым все тем же Варлаамом, Толстой в этих сценах использует материал своего рассказа «День Петра».

Но эта тема глухо проходит в пьесе. Драматическим центром событий в трагедии Толстой считал все более и

более обострившиеся отношения Петра и царевича Алексея. Старое боярство все еще не теряет надежды на возвращение былых порядков, связывая все свои надежды с богобоязненным царевичем. Хоть и многие бояре пытаются приспособиться к новым формам жизни, но все же им милее старые порядки. Все тот же Лопухин, например, сетует на царя, что он всех замучил, дня не посидит на месте, а за ним все должны скакать. Почему боярство должно такие муки принимать?.. Тем не менее он помнит, что князя Одоевского за строптивость отправили градоначальником на такой север, где и дня-то нет. Поэтому он требует, чтобы дочь училась новым манерам, французскому политесу, а сына посылает за границу. Но все эти устремления остаются для него только ширмой, прикрывающей истинные намерения. Вся новомодная мишура слетает с него, как только приходит царевич Алексей и подает ему ногу, как постельничему. Все Лопухины были постельничими, и он хочет остаться им у царевича Алексея, когда тот сядет на престол. Вот кто вернет все старые дедовские обычаи и порядки! Алексею скучны и противны отцовские начинания, но он смертельно боится отца, хотя и был бы яе прочь занять его место на троне.

Через своих подручных Петр, конечно, узнает об этих нехитрых замыслах и сурово расправляется с заговорщиками. И снова царь, оставшись в одиночестве, размышляет о своем положении в государстве: «Русские люди... Ради тунеядства своего любому черту готовы государство продать». Бежавший в Рим Алексей оказывается самым лютым врагом ему. Вскоре из разговора Лопухина и Алексея, состоявшегося на царицыной мызе, выясняется, что поп Филька, слышавший, как царевич кричал, что Петр спит с открытым окном, дал топор плотнику Семену Лукьянову и велел ему покончить с Петром. На царицыну мызу приходит и Петр после допроса сожительницы Алексея,

которая полностью выдала его. Петр страшен, лицо его искривлено. Нет меры страданиям Петра Великого! Он за отечество живота своего не жалел, так может ли он своего сына пожалеть, предавшего все его начинания? Нет, без жалости, как уд гангренозный, отсекает он от себя Алексея. Страшными казнями он надеялся уничтожить гидру отечества. Но оказалось, что гидру он уничтожил, а голова ее уцелела. Бестрепетно передал он сына своего на суд сената. Скорбно его душе... И что ж в итоге? Народ по-прежнему упрекает его во всех смертных грехах. И даже между помощниками нет мира, передрались между собой Меншиков, Шафиров, Шаховской. Все воруют, одни дураки не обманывают государя. Совсем тошно становится Петру после слов Ромодановского, из которых он узнает, что не только министры воруют, но и сенаторы, и комиссары, и бургомистры, и все дворяне от мала до велика расхищают казну. Всех одолела древностная неправда. Всю страну надо судить, плетей не хватит. Уж если казнить всех виновных, то может один остаться. Петр на гору один сам-десять тянет, констатирует Ромодановский, под гору миллионы тянут. Непомерный труд он взял на себя. В этих словах, принадлежащих умнейшему человеку того времени Посошкову, — основной идейный ключ трагедии Петра, как понимал ее тогда Толстой. «Умру, — признается Петр, — и они как стервятники кинутся на государство... Что делать? Ум гаснет... Страшен конец». Несносная тягота вот что осталось в его жизни... Таким представил Алексей Толстой Петра и его время в своей трагедии «На дыбе».

В середине декабря 1928 года он уже договаривался с МХАТом о постановке пьесы, а незадолго до Нового года читал ее актерам театра. К сожалению, ведущие актеры театра, в том числе и его друзья Качалов и Москвин, холодно приняли новую работу. Выражая общую точку зрения театра, Леонидов вскоре после

Нового года писал Станиславскому: «Петр I — слабо». Поэтому, сразу почувствовав обстановку неприятия, Толстой передал пьесу во МХАТ-2 и еще накануне Нового года заключил с этой студией договор. Одновременно с театром пьесу передал в журнал «Красная новь», где ее обещали напечатать в январском номере.

Возвратившись из Москвы, Толстой писал Полонскому 31 декабря 1928 года:

«... «19-й год» я ни в каком случае писать не раздумал. Я хотел поговорить с Вами в Москве, когда был там перед праздниками, но Вы были в отъезде... Хотел я поговорить с Вами вот о чем: мое непосредственное ощущение и убеждение (логическое) заставляет меня погодить месяца три-четыре с печатанием романа. Я боюсь, т. е. я боюсь той оглядки в романе, которая больше всего вредна. «18-й год» я писал безо всякой оглядки, как историческую эпоху, а в «19-м году» слишком много острых мест и наиострейшее — это крестьянское движение, — махновщина и сибирская партизанщина, которые корнями связаны с сегодняшним днем. А эти точки связи сегодняшнего дня крайне сейчас воспалены и болезненны, и отношение к ним беспокойное... Вот пример: Вячеславу Шишкову зарезали в ЗИФе 20 листов. А уж кто может быть лояльнее Шишкова. Вы знаете, что «18-й год» вышел в Госиздате недели три тому назад, и кажется, уже распродан, среди читателей успех очень большой. Но ни одной строчки отзыва в печати. Как будто такого явления не существует. Это настораживает... Кроме того, все, ну буквально, все, даже такие люди, как Тарле, мне говорят: обождите немного. И я решил обождать до весны, с тем, чтобы начать печатать роман с сентябрьской книжки. Я уверяю Вас, что такая небольшая задержка только благодетельна для качества романа. Мы же все знаем, как быстро рассасываются у нас болезненные точки: вопрос сегодня

ставится в ударном порядке, из-за него ломают себе шею, а через три-четыре месяца он переходит в хронический и писать о нем можно, не оглядываясь при каждом слове... Печатанье с январской книжки главы о Махно (5 листов) было бы похоже на историю Иванушки дурачка, который на похоронах пошел в присядку, а на свадьбе — со святыми упокой. И я прав — уже сейчас чувствуется разрежение грозовой атмосферы, а в сентябре роман пройдет, как по маслу. В самое ближайшее время я постараюсь дать Вам рассказ в 1 лист. А Вы поймите меня и не сердитесь, и верьте в мою искреннюю любовь к Вам».

В первые дни нового, 1929 года Алексей Толстой но давно установившейся привычке переключился на новый, современный материал. Не мог он долго заниматься одним и тем же, даже очень интересным. Снова, как и в 1926 году, тема преступного мира привлекла его внимание. Рассказ «Мой сосед», опубликованный в «Огоньке» 10 февраля, как раз и был посвящен исследованию, казалось бы, простого и банального случая: из Невы извлекли труп с отрезанной головой. И фантазия художника заработала. Сколько таких бесчеловечных преступлений совершалось на его памяти. И ничто не могло искоренить их. Толстого не интересовали в этом рассказе тонкости следовательской технологии раскрытия преступления. Его привлекла философия следователя по уголовным делам. Каждое подобное дело доводит его до смертельной усталости. Он переполнен отвращением к тупому и мрачному миру уголовных преступлений. И, стараясь понять психологию преступника, он упрекает тех, кто боится заглянуть в глаза преступнику, выродку. Сколько угодно болтают в газетах и книгах о социальной обоснованности преступления, а разобраться в психологии каждого преступления не хотят. А он, следователь, должен каждого преступника разоблачить и обезвредить. Ему

наплевать, какие социальные причины сформировали его. Кажется, совсем рядовое дело: два человека совершили мелкую кражу. Но стоило посмотреть им в глаза, как следователь понял, что этих людей надо хорошенько проверить, пег ли за ними еще каких-либо нарушений: уж больно лица их отвратительны, мало в них человеческого. Мелкая кража, по их выпускать никак нельзя. И вот ниточка за ниточкой этот человек распутывает клубок преступления. Горько, тяжело переживает он каждую встречу с подобными выродками. После очередного такого дела хочется куда-нибудь подальше уехать: страна отдает все силы на созидание, а тут булыжные головы, пищеварительные аппараты — и только, ничто их больше не интересует. Летают люди через океан, идут на полюс, добиваются до умозрительной точки — какое кипение страстей! А ему, следователю, нужно копать в отбросах... И когда следователь спрашивает: где же здесь трагедия, она ведь должна быть, иначе можно сойти с ума, — то тут же и отвечает себе: трагедия в самом преступнике, это его трагедия... к

В тот же «Огонек» Толстой отослал в феврале рассказ «Атаман Григорьев», в Госиздат — небольшую статейку «О себе» для первого тома Собрания сочинений, в которой признавался, что он медленно созревал, медленно вживался в современность, но, вжившись, воспринял ее всеми чувствами; соглашался с упреками в чрезмерной эпичности, но это свое художественное качество объяснял не безразличием, а любовью к жизни, к людям, к бытию; в феврале же вычитаны и отосланы корректуры первых томов издания. Но все делалось как бы походя: Толстой не прекращал серьезной работы над темой Петра Великого, читал и постоянно делал выписки из огромных исторических фолиантов. Пока нечего было и думать о публикации повести о Петре с февральской книжки

«Нового мира», как предполагал в ноябре прошлого года.

Только в начале февраля Алексей Николаевич вплотную засел за работу. С трудом нащупывал первые фразы, но вскоре дело пошло, и повесть начала разворачиваться, как он того хотел. Жалко только, что Полонский очень сердился на него, как передавали. А чего сердиться? Все свои обязательства он выполняет, правда, с некоторым опозданием, но в этом, право же, его вины мало. Ну ничего, в начале марта он поедет в Москву и все объяснит Полонскому. Тем более не с пустыми руками поедет, а с первыми главами. Если бы только знал редактор, в какое отчаяние приходит иногда писатель, когда что-то не удастся, тогда, может, так ужасно не сердился. Вот будет в Москве 25 марта, прочитает вслух написанное: лучшего он еще не писал. А главное, надо решить, когда начать печатать роман. Стоит ли опять устраивать гонку с подачей материала в очередной номер журнала? Трудно будет ежемесячно подавать новые главы, не хотелось бы писать наспех. Лучше печатать через номер или накопить сразу номера на три. Особенно ему не хотелось торопиться с первой главой: она наиболее трудная и ответственная. Если читателю покажется неинтересным начало, он тут же откажется от книги... Меньше описательности, которой обычно грешат исторические романисты. Больше действия, движения, событийности. Пожалуй, как нельзя более кстати ему пригодится при создании этой вещи драматургический опыт: навык к сжатым формам, к энергии действия, к диалогу и к психологическим обрисовкам. Поменьше безответственной болтовни, всяческих бессмысленных описаний природы, как и вообще всяческих скучных описаний. Писатель должен видеть предмет, о котором пишет, и видеть его в движении. О неподвижных предметах много ли напишешь. Что можно написать о доме? Немного, и это

будет не так уж интересно. Стоит писателю представить предмет в движении, как сразу же отыщется глагол, обозначающий это движение. Что ни говори, размышлял Толстой, отделявая первую главу романа, а движение и его выражение — глагол — является основой языка. Найти верный глагол для фразы — это значит дать ей движение. И Толстой, как бы в подтверждение своим мыслям, в какой уж раз перечитал начало романа о Петре: «Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, — вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик. Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка.

— Дверь, оглашенные! — закричала мать из избы.

Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем.

Страшнее всего блеснули из-под рваного платка исплаканные глаза, — как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:

— Озябли? А то на двор сбегает, посмотрим, — батя коня запрягает...

На дворе отец запрягал в сани... Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами...»

Вот так: действие, действие и действие. И никаких придаточных предложений. Фраза русского языка — простая, короткая, энергичная. Не нужно насиловать воображение читателя. С метафорами надо обращаться осторожно. Никаких сравнений, кроме усиливающих. Опять «Слово и дело» Новомбергского должно помочь

ему в поисках языковых средств. Надо писать так, как эти дьяки, записывавшие показания висевшего на дыбе обвиняемого... Это были ученые люди, они должны были в сжатой форме написать так, чтобы сохранить весь индивидуальный характер данного человека, точно записать его показания, и все это не на книжном, а на живом языке. По этим записям можно изучать русский язык того времени. Этому языку и нужно следовать при создании «Петра»... Язык романа должен быть живым, изменяющимся, растущим. Его надо освободить от наслоений, несвойственных русской речи, освободить от канонов, пришедших с Запада. Нужно овладеть простотой языка и затем играть ею как угодно. Но вначале — точность, ясность, максимальное возбуждение читательской фантазии, а не насильствие ее. Вот как в этой главке: просто, стремительно и точно, в нескольких фразах передать облик героя, его характеристику, его индивидуальный язык.

Нельзя же заставлять героев разговаривать на языке XVIII века, с немецкими, голландскими и французскими словами и оборотами речи, никто не поверит, даже самые неграмотные читатели. Точно так же нельзя давать портрет героя на целых десяти страницах, это незанимательно, несценично. Вот описание матери, в одной строчке есть все: «исплаканные глаза» и «рванный плат», а главное, наглядное, очень емкое сравнение — «как на иконе», и у всех должно возникнуть сразу представление об этой женщине и ее тяжелой доле. Или: «лапти зло визжали по навозному снегу». Коротко и ясно, и настроение передает. Нет, первая глава, что ни говори, действительно наиболее трудная и ответственная... Дневники, записки, письма, приказы... Вот подлинный строительный материал его будущего храма. Его задача не в том, чтобы выдумывать факты, а в том, чтобы вскрыть истинные причины фактов, а это гораздо интереснее. Только часто бывает, и врут эти,

казалось бы, подлинные документы, ведь говорится же в пыточных записях, что после первого кнута редко кто говорил правду, а уж говорили после третьего кнута. Как уловить эту неправду в документах? По-разному смотрели на события и тогда, не только сейчас. Искать, искать нужно правду, каждый документ проверять, сравнивать с другими источниками, вырабатывать историческое чутье, без этого ничего путного никогда не получалось. Нужно найти в этих материалах основное, то есть то, что подтверждает смысл и философию эпохи. Потом, когда весь период будет хорошенько изучен, он сконцентрирует материал, сожмет его в небольшой отрезок времени, но не настолько, чтобы нарушить художественную правду. Это и есть настоящее творчество. Чем больше вымысла, тем лучше, считал Толстой, но одновременно с этим он знал, что вымысел должен быть такой, чтобы в его сочинении он производил впечатление абсолютной правды. Писать без вымысла нельзя. Петр, скажем, или Ромодановский за свой рабочий или нерабочий день скажет одну фразу, выражающую его сущность, а другую он скажет через неделю или через год, полгода и в другой обстановке, а может, совсем не скажет, а просто подумает. Приходится в романе заставлять его говорить в одном эпизоде то, что он говорил в нескольких эпизодах. Это и есть вымысел, допустимый в историческом сочетании, но в этом вымысле жизнь более реальна, чем сама жизнь.

С упоением работал в эти месяцы Толстой. Мысли его мгновенно переносились из плохонькой избушки крестьянина Ивашки Бровкина, считавшегося в деревне крепким, в хоромы дворянского сына Василия Волкова, потом, после общей панорамы Москвы, в царские палаты, где умирал царь Федор Алексеевич, а значит, с его смертью наступали решительные минуты: кого кричать на царство? Петра, крепкого телом и горячего

умом, или слабоумного Ивана? Столь же быстро Толстой переносится из царских палат, с красного крыльца, с площади, где выкрикивали имена новых царей, на двор Данилы Меншикова, где происходит знакомство с одним из основных героев романа — Алексашкой Меншиковым. Стремительно разворачивались картина за картиной. Петра-то и не видно пока, мал еще, события крутятся вокруг царевны Софьи и князя Василия Голицына, претендующих на власть в государстве и в конце концов добившихся ее. Десятки людей мелькают на страницах этой главы, и как один все чем-то недовольны. Дворянские сыновья Василий Волков и Михайло Тыртов недовольны тем, что нет правды на русской земле: всюду царит мздоимство, дьяку дай, подьячему дай, младшему подьячему дай, а без доброго посула и не проси. Куда податься? В стрельцы? Тоже мало радости и корысти: два с половиной года им не платят жалованья. Торговлей заняться? Деньги нужны. Все обнищали, но все новые и новые указы рассылают по государству о данях, оброках, пошлинах, стали брать даже прорубные деньги, за проруби в речке. Только кто половчее выбиваются в люди, живут в богатстве и холе. Кто с челобитной до самого царя дойдет и разжалобит его, а кто подберет храбрых холопов да и выйдет на большую дорогу и тряхнет какого-нибудь купчишку. А почему в других странах люди хорошо живут? Почему только в России живут так плохо? Даже на Кукуе, в Немецкой слободе, недалеко от Москвы, люди живут сытно и весело. Горько этим молодым дворянам, готовы они хоть куда уехать на службу, хоть в Венецию, или в Рим, или в Вену. Во всем помещик виноват: царская казна пощады не знает. Что ни год — новый наказ, новые деньги — кормовые, дорожные, дани, оброки. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощили государство войны, смуты, бунты. После Стеньки Разина крестьяне совсем

отбились от рук, от тягот бегут на Дон, в леса, откуда их ни саблей, ни грамотой не добыть.

Столь же горестные думы одолевают и Ивана Бровкина: «Ну, ладно... Того подай, этого подай... Тому заплати, этому заплати... Но — прорва, эдакое государство! — разве напашешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну, ладно... Ты заставь, бери, что тебе надо, но не озорничай... А это, ребята, две шкуры драть — озорство. Государевых людей ныне развелось — плюнь, и там дьяк, али подьячий, али целовальник сидит, пишет... А мужик один... Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство... Так вы долго на нас не прокормитесь...» Да и то сказать, не так уж много стало землю пахать, много дворовых развелось, бездельничают, а за стол садятся с большой ложкой.

Недовольны стрельцы, недовольны раскольники, недовольны купцы, недовольны царевна Софья и князь Голицын: вместе с Петром к власти пришли Нарышкины и Матвеев. Не знает Софья, как оговорить их. Злоба ее не ведает границ. Стать царицей — это ее единственный шанс вырваться из девичьей светлицы, где много пролила слез от горя и тоски. А для этого надо смести прочь с трона царицу Наталью Кирилловну и Петра. Отсюда и пошла, видимо, версия о том, что Петр — сын патриарха Никона, а не Алексея Михайловича.

Работая над этой главой, просматривая и перечитывая десятки книг и мемуарных свидетельств, Толстой нигде не находил документальных подтверждений этой версии, кое-где только намеки, сплетни, но это многое объясняло бы в будущем Петра. А маска Петра, найденная в Эрмитаже? Разве там нет сходства с Никоном, все говорили, что есть, в том числе и тот, кто нашел ее, — художник Бенуа. А маска снята с

живого Петра в 1718 году самим Растрелли. Если же Петр не сын Алексея Михайловича, а патриарха Никона, но тогда легко понять, почему появилась такая гигантская фигура. Пусть Алексей Михайлович был человеком неглупым, но вместе с тем он был нерешительным, вялым, половинчатым. Никон же из крестьянской семьи, в двадцать лет был священником, потом монахом, епископом, быстро пошел по этой лестнице до патриарха. Он был честолюбив, умен, волевой, сильный тип, такой отец вполне мог породить Петра, не чуравшегося никакого труда.

Все это так, он может быть уверен в этом, но нет документов, одни догадки, домыслы. В историческом же романе все должно быть мотивировано, должно быть обосновано. Но ведь совершенно не обязательно об этом говорить самому автору. Пусть скажет Софья в гневе, в сердцах, в таком состоянии чего не наговоришь по злобе: и правду и ложь. Ей нужно во что бы то ни стало добиться престола. «Весело царица век прожила, — с удовольствием записывал Толстой найденное в долгих раздумьях, — и с покойным батюшкой, и с Никоном-патриархом немало шуток было шучено... Мы-то знаем, теремные... Братец Петруша — прямо притча, чудо какое-то — и лицом и повадкой на отца не похож...» Вот и найден выход из положения, ничего здесь не утверждается, а все ясно, пусть читатель и сам кое над чем поразмыслит.

Так с первой главы Толстому удалось познакомить читателей с основными действующими лицами и главными государственными проблемами, которые нуждались в безотлагательном решении в конце семнадцатого столетия. Одна картина за другой вставляли в его воображении, тут и бояре, тут и стрельцы, и раскольники, и крестьяне, и купцы, и попы — вся многоликая, многострадальная Россия, во всем ее разнообразии и многоцветности.

Полонский, высоко оценив главу, предложил все те же условия: печатать сразу, не дожидаясь завершения повести, печатать с майской книжки, но при условии давать два листа ежемесячно.

Толстой, разумеется, согласился. И, вернувшись из Москвы после этих переговоров, снова окунулся в мир исторических сопоставлений, отбрасывая все сомнительное и заведомо пристрастное. Снова читал и перечитывал архивные документы. Материалом второй главы послужат события после стрелецкого бунта.

В «Записках де ля Невилля» Толстой нашел много интересных свидетельств. Почему же не ввести его в качестве одного из эпизодических героев и не дать его глазами портрет князя Василия Голицына, человека умного и образованного, ловкостью, обманом, лицемерием добившегося полноты власти, но оказавшегося неспособным использовать ее для претворения в жизнь своих любопытных мыслей? «Высокомысленные и мудрые слова» высказывает всемогущий канцлер господину де ля Невиллю. Признает, что два кормящих в России сословия (крестьянство и дворянство) «в великой скудости обретаются». Де Невилль, внимательно слушая его, понимает, что никто еще до сих пор не замышлял столь великих и решительных планов. А бегство правительницы Софьи в село Коломенское, потом в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен от гнева все тех же стрельцов, взбаламученных раскольниками? А Петр в Преображенском и его потешные войска? А борьба Петра и Софьи за власть? А Франц Лефорт и немецкая слобода? А война за Крым? Сколько вопросов и проблем... И всех ведь надо представить живыми, для всех отыскать хоть какие-нибудь неповторимые подробности. Вот поэтому-то Толстой во время работы неизменно обращался к таким книгам, как «Дневник Патрика Гордона», «Записки» И.

Желябужского, «Дневник путешествия в Московию» Иоганна Корба, «Записки» Дж. Перри, «Рассказы о Петре Великом» А. Нартова, «Записки» Юста Юля, «Путевые записки и дневники» кн. Б. Куракина, «Путешествие через Московию» Корнилия де Бруина, «Донесения австрийского дипломата» Оттона Плейера, «Книга о скудости и богатстве» И. Посошкова и, конечно, сочинения протопопа Аввакума. Такое огромное количество материала нуждалось не только в отборе, но и в уточнении. А для этого нужно много времени. Из писем Полонскому известно, как шла работа над первой книгой романа «Петр Первый».

3 апреля Толстой сообщает, что для следующей, июньской книжки у него готов только один лист я послать он его может шестого, а для июльской книжки он даст конец второй главы. Но лучше всего, если его не будут торопить. Если уж невозможно обойтись без его романа, тогда, ничего не поделаешь, придется прислать. 2 мая просит не ругать его: «главу я не закончил и к 4-5 мая прислать ее не могу. Пришлю к 1-му июня. Но зато в ней будет листа 3-3½ и она будет законченным произведением. Если бы Вы знали, как трудно то что я делаю — Вы бы поверили, что только трудностью работы и желанием написать безупречно объясняется моя неаккуратность. С 18 годом этого не было, потому что там я мог оборвать когда угодно. Здесь же — задача в каждой книжке дать как бы законченную повесть — главу — из которых составитсся роман.

Относительно 1-го июня мое слово твердо. (Я не обманул Вас с майской книжкой, хотя дослать те 10 страниц стоило мне невероятных усилий). Весь июнь и половину июля я буду работать над Петром и по всей вероятности пришлю Вам конец первой книги (3-ю главу), т. е. юность Петра. В ней (в 3-й главе) будет Голландия, казнь стрельцов, история с Моне, начало Северной войны и основание Петербурга.

Начав работать над Петром я думал все уложить в одной книге, теперь вижу свое легкомыслие. Простите меня и не сердитесь».

Узнав, что Полонский не решился начать печатать роман с майской книжки без достаточного запаса материала, он обрадованно пишет:

«На днях высылаю Вам около двух листов продолжение. — Вы прочтите и увидите какая это, все же, кропотливая работа. Я хочу, помимо всего, быть точным и использовать возможно полнее мемуарный и архивный матерьял. Печатать я думаю лучше всего с августовской книжки. Июль — бешеный месяц, разопревшая публика не прочтет начало Петра, я уверен. В августе другое дело. Приезжайте на несколько дней сюда и в особенности в Детское, у нас волшебное...»

7 июля Толстой просит Полонского передать Ашукину, что он не может написать в «Красную Ниву» рассказ о войне, как обещал: «...т. к. с головой поглощен Петром и отвлечься от этой работы было бы гибелью. Пожалуйста, подтвердите Ашукину, что я действительно не могу. На днях посылаю Вам еще один лист с небольшим и числу к 20 июля еще лист...» 1 июля он сообщал, что выслал «еще лист с небольшим». Из этого же письма можно узнать, что Толстой 15 августа собирается поехать на месяц в Уральск и оттуда поплывет на лодках вниз по Уралу. 18 июля, получив открытку от Полонского, в которой тот сообщает, что роман ему нравится, Толстой обещает выслать 25-26 еще 1½ листа: «Но, так как, мне нужно отправлять Нат. Вас, и детей в Крым и ударно, сверхударно нужны деньги... Я обещаюсь и даю подписку в том, что следующие Н/2 листа пойдут целиком в уплату аванса... Наташа с детьми едет в Крым... (Если только... но не дай бог... Все же не верится, чтобы разразилась война, другие силы перевесят, этот ужас пройдет мимо)... Я еду с Правдухиным и Сейфулиной (компания 7 чел.) на реку

Урал ловить рыбу и охотиться... Страшно мечтаю об этой поездке. Вернусь через месяц. Очень хорошо, что Вы едете в Теберду, мне рассказывали чудеса об этом крае. Разузнайте, когда будете там, есть ли там охота и на что?..»

Наталья Васильевна с сыновьями и Марьяной уехала в Крым, а Толстой с бабушками и Митей остались в Детском. Много хлопот, как обычно, доставляли денежные платежи. Издательства и журналы не всегда были аккуратны с выплатой гонорара, тратить же приходилось очень много: и за квартиру, и фининспектору, и на отдых детей и жены, и на свой собственный отдых... И все-таки Толстой не унывал: Госиздат ему должен уже две тысячи, да в сентябре еще должны ему начислить за 14-й том рублей 800, так что, когда они вернутся в сентябре, после отдыха, первое время он может не беспокоиться о деньгах и спокойно продолжать «Петра».

Частенько в эти дни, накануне отъезда в Уральск, Толстой вспоминал свою милую душеньку Тусю. Очень бы хотелось ему вдвоем с ней поехать в Козы, где справляли они больше десяти лет назад свадьбу, провести там день и вечером на линейке вернуться. Ну ничего, придется это сделать в будущем году. Представил себе, какими метисами вернутся они сюда, на север, и почувствовал приступ раздражения: ведь Марьянка и Фефка (пасынок. — *В. П.*) непременно будут воображать после юга: надо показать свой загар, а не понимают, дурачки, что первые дни по приезде необходимо страшно беречься, организм ослабеваает на юге, отвыкает от самозащиты и как губка впитывает простуду, Брюсов поплатился за это жизнью, и большинство болеют по приезде на север. Заранее пошлет этим форсунам свое отцовское проклятье, если они вздумают тут без него ходить без пальто. Как они переносят там жару? Судя по газетам, у них тропики...

Зато в Детском благодать, то тепло, то дождички, чудно, что-то среднее между весной и осенью, хорошая серенькая погодка, жаль только, уж третий день он не играет в теннис. А если бы и солнечная стояла погода, вряд ли пошел бы играть, настолько обленился, ничего не хочется делать, очередные страницы «Петра» сдал и ничего не делал эти дни, впал в такую лень, что целую неделю не мог сходить по делу к Разумнику. Взялся было за пьесу, но тут же отложил, она показалась невозможной для переделки.

Среди однообразных и скучных дней выдавались и такие, которые надолго оставались в памяти и служили Толстому пищей для размышлений. Как-то утром он был очень удивлен словами Мити о том, что для сына почему-то 28-й год тянулся очень медленно, а 29-й пролетел как 8 минут. Почему ему так показалось? Может, из-за Тая? Уж очень хорошо сыну с этой собакой. Ведь Тай с утра до вечера только и думает, как бы стащить с Митьки сандалии и носки. Время от времени Толстой с улыбкой наблюдал, как две бешеные тени проносятся мимо его кабинета из кухни в Митину комнату: это Митя и уцепившийся за его носок Тай. Все к этому привыкли, но за завтраком иной раз возникали разговоры, напоминавшие старые анекдоты про испорченный телефон:

— Тая нужно водить гулять, — сказал однажды Толстой.

— Конечно, — согласилась Юля, давняя домоправительница Толстых, — но для этого нужно купить ремешок.

— Какой мешок? — слышалось тете Маше. — Да, для собаки нужен именно мешок.

И она из самолюбия стала настаивать, что для собаки мешок необходим, и тут же сочинила, как у нее была собака, которую она носила гулять в мешке за спиной.

Слушая весь этот вздор, Толстой с огорчением думал, как тяжело старикам.

«Когда я буду стариком, буду только молчать, улыбаться и курить трубку... Хорошо, что с обеими бабушками помалкиваю, не задерживаюсь в столовой, а то совсем жалко их станет. Одна бродит, глядит на часы, стала меньше охать, не перед кем, дочь-то уехала. И все-таки тетя Маша молодец, взяла старую рукопись и на другой стороне что-то строчит в Фефкиной комнате, часов до двенадцати стучит и гремит на машинке, кажется, будто ездит там на тарантасе».

Так понемножку, без особых происшествий, текло его «бобыльское, сиротское житье», как сообщал он в Крым. «Митя очень мил, не шалит, гуляет, возится в саду», «с Митей мы очень дружим, он необыкновенно организованный мальчик, несмотря на мелкие шалости, полон благоразумия».

14 августа по случаю отъезда Толстого у Грековых собрались на прощальный пирог. Пришли Шишковы, Медведевы. Было, как обычно, весело и непринужденно. А на следующий день Толстой уехал в Москву, откуда вся компания охотников и рыбаков отправилась в Уральск.

28 августа он сообщал из поселка Коловертного: «... Мы плывем 8 сутки и вчера вечером остановились в первый раз в поселке, отсюда едем на 2 дня в степь на дудаков и гусей. Каждый день отплываем часов в 10-11, плывем мимо пустынных песчаных берегов, на Урале ни души, несколько раз встретили лодку бакенщика, видели пароход. Урал пустынен, как тысячи лет назад. Стреляем, гребем. К 4 выбираем стан, высаживаемся на песке, разбиваем палатку, кто идет охотиться, кто ловит рыбу, кто занимается стряпней. Обгорели, устали, но настроение прекрасное. Один из экспедиции (нас 9 чел. на 2 лодках) сжегся так сильно, что вот уже неделю болен.

Странно стелить постель на песке, ложиться под звездами среди пустыни. Чувство тоски, величия звездного неба. Спишь каменным сном. Часов в 5–6 идешь купаться. Я очень доволен, несмотря на усталость, испытываешь трудные и редкие для нас, городских, ощущения. Числа 10–12 думаю сесть на пароход и возвращаться. Живем мы дружно и весело. Сегодня спали в избе и пили чай на дворе, сидя на стульях, и это кажется комфортом. Целую тебя, любовь моя вечная. Поцелуй детей...»

Вернувшись из поездки в Детское, Толстой, как и предполагал, взялся за работу над двумя пьесами — «Махатма» и «Так будет». Хотя одну из них, надеялся он, ему удастся продать в какой-нибудь театр, чтобы обеспечить дальнейшую работу над «Петром» и не отвлекаться, не заботиться о добывании денег. А в этом году много их понадобится Толстому, так как наконец он решился арендовать в Детском дом, надо его ремонтировать, а там налог опять тысяч в восемь. И только, пожалуй, с конца ноября он вплотную засядет снова за «Петра». Пора заканчивать первую книгу. Остались не менее сложные главы: Азов, поездка за границу, казнь стрельцов. Придется работать над концом книги уже в марте, раньше не получится, не успеть. А печатать пусть начинают с февральского номера, листов восемь вполне можно растянуть на три номера, вплоть до апрельского, а после апреля снова попросит Полонского сделать перерыв еще на два месяца, и тогда он успеет сдать ему материал для второй книги «Петра». Скажет: опять подвел со сроками, но что же делать. В начале лета он действительно предполагал, что сможет обойтись без этого перерыва, но так утомился, что не смог работать над пьесой и пришлось ее отложить на осень. Ведь к 1 января у него будет готово страниц сорок, да послано уже двадцать четыре, вот как раз для февральской книжки журнала

уже есть, а впереди еще три месяца — успеет. Честное слово, роман стоит того, чтобы потеснились в журнале.

Толстой с большим напряжением преодолевал трудности, которые чуть ли не ежедневно возникали перед ним как автором исторического повествования о Петре Великом. Однако в каждом месяце «Новый мир» давал роман небольшими порциями.

12 мая 1930 года Толстой поставил последнюю точку в первой книге романа. Пора бы вернуться к современности.

СНОВА В БЕРЛИНЕ

Как же быстро мелькают дни! В суете, хлопотах, творческом напряжении... Ведь только, кажется, вчера Алексей Толстой, сдав в «Новый мир» очередную часть нового романа «Черное золото» и получив тысячу рублей от Петра Петровича Крюкова за будущее участие в подготовке ряда сборников «Истории гражданской войны», предпринятой по инициативе Горького, отправился на Селигер, где и провел в деревне Неприи две незабываемые недели: купался, ловил рыбу, охотился, надеясь надолго запастись зарядом бодрости. Но стоило вернуться в Детское, как снова бесконечные собрания, совещания, выступления в прениях. Снова тревожные раздумья над тем, что продолжать в этом, 1932 году: вторую часть «Петра» или «19-й год»?

Вот уже больше года этот трудный вопрос не дает ему покоя. Вернувшись из поездки по югу в августе 1930 года, Алексей Николаевич уже, казалось, окончательно решился на продолжение романа «Хождение по мукам». Не было человека, не было организации, собрания, библиотеки, где ему не задавали бы вопроса о «19-м годе». Интерес к этому будущему роману превзошел все его ожидания, и он почувствовал, что если теперь же не выполнит этого буквально социального заказа современности, то совершит непоправимое упущение.

Сколь наивно было полагать тогда, что трудности ему удастся обойти, стоит только вместо всей картины взять фрагменты, как он это пытался делать в «18-м годе». Предполагал дать Париж, тыл Добрармии, Махно, Григорьева, Одессу, фрагменты Сибири, Волгу, Царицын, Кавказ в период с ноября 18-го по декабрь 19-го. «Петр» может годик подождать, от этого работа над ним только выиграет: перерыв даст много свежих красок для

романа. И уже настолько твердо он решил начинать с «19-м годом», что договорился с Полонским прислать ему для январской книжки начало романа 8—10 декабря и в дальнейшем для каждого очередного номера присылать к 5-му числу текущего месяца. А потом как-то незаметно все планы работы разрушились: не удалось вовремя закончить пьесу для 2-го МХАТа, затянулся ремонт дома, а поэтому жена поминутно отрывала его из-за разных пустяков; писалось с огромным трудом, ничего не успевал сделать, и как-то само собой решилось, что лучше всего сейчас начать работу над романом о русской эмиграции, подвести некоторые итоги раздумьям о печальной участи многих людей, затянутых в белогвардейские сети. И это не будет так далеко уводить его от трилогии, напротив, может оказаться промежуточным звеном, необходимым в его эпическом повествовании о современности.

Сколько замыслов теснилось в его голове... Договорился с «Известиями», что напишет им 7-8 фельетонов о черной металлургии, хотел рассказать о старых, реконструированных и новейших заводах, дать ряд характеристик и портретов. А прочитав в «Правде» статью Горького «История фабрик и заводов», уже совсем, казалось бы, точно взялся за книжку, собрал материал об Ижорском заводе, несколько раз бывал там, видел петровские и елизаветинские постройки, наблюдал отливку самой крупной части блюминга, разговаривал с мастерами, рабочими... Разве это не заманчивая тема для него, в прошлом инженера-технолога? Когда только писать-то?..

А что делать с повестью для «Молодой гвардии»? Интересно будет узнать молодым читателям, какие события предшествовали постройке Турксиба на этой земле, какие ожесточенные сражения здесь происходили в гражданскую войну. Что-то помешало осуществлению и этого замысла, нужны были какие-то

подробности, без которых он не мог представить задуманных трех братьев, как действующих героев. Так и пришлось в спешном порядке написать «Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и злом коте Хаме», лишь бы погасить задолженность по договору. Но самое обидное, горькое воспоминание связано все-таки с повестью «Записки Мосолова». Обидно получать такие письма от работников журнала «Красная новь», где он столько раз печатал свои вещи. Зачем, спрашивается, связался с Сухотиным, который так крепко подвел его? А ведь твердо договорились, что тот возьмет лишь за основу материалы, использованные в пьесе «Это будет», и самостоятельно обработает их, а Толстой тщательно отредактирует подготовленное. Получилась же чудовищная халтура, о чем Толстой и заявил Фадееву как главному редактору журнала, когда прочитал гранки сделанного Сухотиным. Предлагал даже выбросить все, но редакция не согласилась и все-таки напечатала этот халтурный текст: в портфеле редакции ничего не оказалось готового. Два месяца ждал от Сухотина черновую рукопись, как договорились, а вместо этого сразу получил гранки несусветной чепухи. Надо было браться одному и переписывать все заново. Но где взять время? Да, пьеса «Это будет» — их совместная работа, однако из пьесы хотели взять только десятую часть текста, в сущности, была задумана новая вещь. И так бездарно провалились эти «Записки» из-за соавтора!

«Черное золото» Толстой не успел закончить, а в печати появились отрицательные отзывы. Даже Михаил Абрамович Рафаил под давлением ругани в печати дрогнул и вынул было роман из производства и объявил вне закона. Тяжелый инцидент, ничего не скажешь. Пришлось уже в верстку последней, декабрьской книжки журнала добавлять послесловие, в котором

резко говорилось по поводу этих критических нападок. Сами ничего толком не знают, а берутся упрекать в несерьезности, авантюризме, халтурности и еще много кое в чем. Иногда Толстому казалось, что все это делается для того, чтобы сорвать публикацию романа. Но этим его не испугаешь. Роман закончил 12 декабря 1931 года, в тот день, когда сдал верстку с этим послесловием. Действительно, как ни обвиняли его в недостоверности фактов, а все можно документально подтвердить, все факты романа исторически точны и подлинны. Пусть почитают брошюру Воровского «В мире мерзости запустения. Русская белогвардейская лига убийц в Стокгольме». Или пусть послушают рассказы профессора Александрова, его легко встретить, он сейчас служит директором МХАТа-2. Именно он был одним из тех, кого эта лига убийц приговорила к смерти и чуть не привела свой приговор в исполнение. К тому же он сам многие факты хорошо помнит, много ему в свое время пришлось услышать от знакомых, узнать из газет того времени, в работе над романом все пригодилось, все пошло, как говорится, впрок... В отдельном издании «Черного золота» он кое-что поправит, а сейчас трудно все-таки усмотреть за всеми линиями романа, который, словно конвейер, безостановочно движется в типографскую машину. Дней через десять будет верстка, пришлют ее в Сорренто, там он спокойно сделает все необходимое. Успеют ли? Время так стремительно... А что дальше? Горький настоятельно советует продолжать «Петра»... Если бы он мог выехать в Сорренто хотя бы не позднее первого марта и побыть там рядом с Горьким 5–6 недель, тогда еще можно было бы взять с собой материалы о Петре. А у него всего лишь недели три останется на Италию, и в Берлине много дел. Роман о Петре до того становится ответственным, до того трудным, что Алексей Николаевич даже и не представляет, как он может его

начинать в Детском, среди текущих дел и суеты. Материалы для первых глав подготовлены, и начало обдумано. Если б он мог сейчас сидеть в Сорренто и работать... А вместо этого пришлось участвовать в работе комиссии по премированию проектов Дворца Советов, писать статью «Поиски монументальности» и заседать. Но что можно сделать за три недели в Сорренто? Ничего объемного туда брать не следует... Другое дело — пьеса...

Хлопоты Горького увенчались успехом, и Толстой получил разрешение на заграничную поездку. Он пересекал границу впервые за последние десять лет. В Варшаве он пересел на другой поезд и держал курс на Берлин. Побывает в Берлине и его окрестностях, а потом поживет в Сорренто.

И в дороге он не переставал работать. Проезжая Польшу, наблюдал из окна вагона и поражался тому, что здесь почти ничто не изменилось. Толстой выходил на остановках, прогуливался по перрону и повсюду видел военные козырьки, начищенные голенища сапог, усатые физиономии польских офицеров. Все было как и двадцать лет назад. Прогремели великие годы, а тут все стоит как стояло: убогие деревеньки, грязные улицы, огромное количество костелов на видных местах. Вот такой же была и дореволюционная Россия: нищие, невероятно нищие деревни, жалкие городки, — будто над страной остановилось время.

Толстому казалось, что в Польше половина людей — военные. Вечером в Варшаве он прошелся по одной из центральных улиц и обратил внимание, что поляки, не желая, видимо, отставать от Европы, украсили город в ультрасовременном стиле: повсюду сверкали зеленые и красные рекламы, над крышами и вдоль фасадов прыгали буквы. Но от этого ощущение провинциального уныния не развеивалось.

Побродив по Варшаве, он вернулся на вокзал. В вагоне было невыносимо тесно и жарко. И когда утром проснулся и прошелся по поезду, обратил внимание на один вагон, который шел, оказывается, прямо на Париж. Поразила комфортабельность вагона: весь какой-то гладкий, лакированный, полосатый, в белых и бледно-зеленых тонах, с множеством каких-то умопомрачительных кнопочек, лампочек, вешалок, умывальников. «В стиле Корбюзье», — подумал Толстой и, отыскав кондуктора, попытался уговорить его разрешить ему перейти сюда. Но получил отказ.

Вернувшись к себе в вагон, Толстой поднял штору и посмотрел в окно. Мимо проносились чистенькие фермерские домики. Снег с полей уже стоял и только чуть-чуть удерживался на прошлогодней траве. Сквозь падающий редкий снежок можно разглядеть обычный европейский пейзаж: выющийся из фабричных и заводских труб дым, неясные очертания неуклюжих серых домов, такие же серые улицы. Вскоре начались огромные предместья Берлина. На первой же остановке, выгадывая время, Толстой сошел и пересел на поезд, идущий по круговой дороге. И здесь впервые он увидел худые, спокойно-мрачные, усталые лица: экономический кризис, потрясший недавно весь капиталистический мир, давал о себе знать, прежде всего ударив по рабочему классу.

Выйдя из вагона, Толстой обрадовался, увидев встречающих его Ионова и Тера, работников посольства, но тут же и огорчился, посмотрев на себя как бы со стороны: совсем тепло, люди в демисезонном, а на нем неуклюжая шубища, невероятная, как у турка, шапка, паршивый чемодан в руке. Такой контраст с толпой, идущей по Курфюрстендамм, не устраивал Толстого. Необходимо привести себя в человеческий вид, решил он и вместе с Тером, милым и обязательным человеком, отправился по магазинам. Сразу же на углу

Курфюрстендамм и Иоахим Сталлерштрассе, в магазине Гринфельда, Толстой был потрясен. Какие за десять лет здесь произошли изменения! Вертящаяся дверь, круглый лифт, столь же круглая шахта, отделка внутри — все из стекла и никеля. Посреди такой роскоши Толстой, в своей нелепой шубище и турецкой шапке, небритый, вначале оторопел, но, естественно, ненадолго. Вскоре в этих роскошных апартаментах уже раздавался его характерный смешок. Ни шеф магазина, ни продавщицы не подали и вида, что заметили минутную растерянность иностранца, и предложили свои услуги. Весело Толстой расплачивался с шефом магазина, который вовсе не хотел так быстро его отпускать, предлагая то одну, то другую вещь. Толстой знал свою натуру, боялся, что не выдержит и быстро потратит свои деньги, поэтому поспешил раскланяться.

Много еще магазинов было на пути Толстого, и почти в каждом он что-то покупал или себе, или детям, или Наташе, или друзьям и знакомым.

Вскоре Толстого было не узнать, настолько он преобразился. Шубу оставил в магазине (пришлют!). В шикарном пальто, в серой шляпе — настоящей барселине, в желтых роскошных ботинках, он уже ничем не отличался от преуспевающего бизнесмена, на минутку вышедшего из своей машины. Алексей Николаевич выглядел даже несколько похудевшим и помолодевшим в свои сорок девять лет.

Вечером отправился посмотреть Берлин. Фантастическое зрелище поразило его: фасады домов очерчены красными, синими, желтыми огненными линиями, рисунками, буквами, витрины залиты светом, за стеклами манекены — эдакие фифишки с заломленными руками. А мимо них равнодушно проходили привыкшие ко всему берлинцы, проносились по зеркальному асфальту вереницы машин.

Он еще немного прошелся, вглядываясь в мелькающие рекламные надписи, как вдруг услышал:

— Зайди...

Толстой поднял голову и увидел жалко улыбающуюся молодую женщину, ждущую ответа. Он прибавил шаг, подумав, как просто и трагично прозвучал ее шепот, словно стон голода. Ведь шесть миллионов безработных...

За восемь дней пребывания в Берлине Алексей Николаевич успел сделать все свои дела. Переговорил с издателями, заключил некоторые творческие соглашения, но, главное, два дня ездил вместе с секретарем посольства по заводам и окрестностям Берлина.

«Впечатлений переизбыток, — писал он 24 марта 1932 года Н. В. Крандиевской, — но устал невероятно, потому что сплю только 5 часов в сутки, по-видимому от старости...» То, что он увидел в Шпандау, просто потрясло Толстого. Никогда еще ему не приходилось сталкиваться со столь резкими контрастами капиталистического мира: дорога к гигантскому зданию с башнями заросла травой, многоэтажные дома со всеми удобствами пустуют, а рядом, у въезда в городок, стихийно возник другой поселок — из фанерных ящиков, похожих на собачьи будки. Заводы Сименса стали, рабочие выброшены за ворота и из квартир и вот теперь нашли себе убежище в этих жалких лачугах. А дома пустуют. Буржуазная цивилизация на высшей точке своего развития смыкается с натуральным хозяйством: безработный человек уходит в лес, в болото, собирает коренья, грибы, ягоды, пытается заниматься огородничеством.

Недалеко от Шпандау Толстой посетил знаменитую Биллу Мендельсона, где все предусмотрено для абсолютного покоя ее хозяина: ничего лишнего, все целесообразно и продумано; для каждого члена семьи

белоснежная ванная комната, всюду чистота, оголенность хирургического отделения, но стоит нажать кнопку, как окажешься на бетонной террасе и можешь любоваться красивым видом на озеро... Затем снова автомобиль... Они мчались по тем же изумительным дорогам, восхищаясь мудростью и целесообразностью технического гения немецкого народа. И снова мертвенная тишина встречает их около газогенераторного гиганта, закрытого хозяевами и покинутого рабочими...

26 марта Алексей Толстой выехал из Берлина в Сорренто.

БЕСЕДЫ С ГОРЬКИМ

«Тусинька, милая, второй день в Сорренто, — писал Толстой 29 марта. — Все представляется сном: Неаполь и городки, горы, Везувий, море и лимонные сады. Когда освоюсь немного напишу подробнее, — пока еще в голове хаос. Здесь меня встретили, как родного. Вчера и сегодня я в гостинице, но с завтрашнего дня буду у Горьких. При их вилле сад с пальмами, кактусами и цветами, террасой; ниже — теннис. Идти вниз узенькими в три-четыре метра извилистыми улочками (за каменными изгородями на высоких деревьях висят лимоны, те самые, которые подают к чаю) — спускаешься к морю, к римским развалинам. На той стороне, в синеве курится Везувий.

Тусинька, сделай экстренно и умненько вот что: Горькие уезжают отсюда 20 апр., я уеду на два дня раньше. Если Генрих вышлет мне корректуру 10-го, то она меня в Сорренто не застанет, и получится катастрофа. Нужно чтобы высылка была немедленно...

Такой спешный отъезд Алексея Максимовича объясняется тем, что он хочет до 1-го мая побывать на Днепрострое. В Берлине я с ним соединюсь и повидимому в Москве мы будем числа 25 апреля. Грустно, что так коротко в Италии, но ничего не поделаешь. Алексей Максимович приглашает тебя осенью в Сорренто...»

Незадолго перед Толстым в Сорренто приехали братья Корины, Афиногеновы, ожидали и приезда Фадеева. Это было обычным явлением здесь: кто-то уезжал, в его комнату непременно кто-то переселялся из гостиницы, чтобы быть поближе к Горькому. И Толстой точно так же, как и многие до него, через два

дня поселился в комнате, которую освободил ему Иван Николаевич Ракицкий.

«На юге Италии в марте месяце временами начинает дуть теплый африканский ветер, который называется там «широкко». Он дует днем и ночью, проникает во все щели, двери хлопают, все время слышишь его назойливый свист. Однажды во время «широкко» мы все утром сидели, пили кофе. Вдруг дверь открывается, появляется полный, с веселым лицом лет пятидесяти человек и говорит: «Здравствуйте, ветер-то воет точь-в-точь, как в Художественном театре, здравствуйте, Алексей Максимович». Алексей Максимович встает, радостно его приветствует, целует: «Садитесь, Алексей Николаевич». Это был А. Н. Толстой, — так вспоминает Павел Корин появление Толстого у Горького. — Он много интересного и веселого внес в нашу жизнь».

Алексей Толстой быстро нашел общий язык с драматургом Афиногеновым, чью пьесу «Страх» совсем недавно поставили в Ленинграде, ездил с ним в Неаполь, был на советском пароходе, отплывающем во Владивосток, а вечером оказались на представлении Жозефины Беккер. Первые дни Толстому не удавалось поговорить с Алексеем Максимовичем: 28 марта было очень много гостей, приехавших из Рима и Неаполя на день рождения Горького, а следующий день он отдыхал от поздравлений и только посоветовал пока не работать, а поразвлечься, отдохнуть, побывать в Неаполе, Помпее, посмотреть окрестные городки.

Вскоре Толстой уgomонился, сел за рабочий стол, стал обдумывать пьесу. И, как на грех, выглянуло весеннее солнце, стих надоевший ветер «широкко», потянуло к морю, на воздух, к людям. В такие дни Горький позировал Павлу Корину, и Толстой пошел посмотреть, как идет работа. Вот-вот художник должен был закончить портрет. Алексей Николаевич сначала скептически отнесся к братьям Кориным. И ошибся. В

первые дни, проходя умываться через их комнату, он, скользнув взглядом по развешанным на стенах картинам, с сожалением подумал о симпатичных, но бездарных ребятах. В живописи он хорошо разбирался и никого не щадил. А сегодня, как обычно, проходя умываться, он увидел разложенные на полу акварели, остановился, внимательно стал смотреть. Оказалось, что эти замечательные акварели принадлежат Павлу Корину, а то, что висело на стенах, осталось от художников, живших здесь до этих славных ребят. Толстой сразу же потеплел к ним...

Алексей Николаевич подошел к террасе, где обычно Корин работал над портретом. Горький подозвал его:

— Можно, можно, заходите, Алексей Николаевич. Павел Дмитриевич закончил, доделывать будет после нашей критики, если таковая воспоследует.

Толстой зашел на террасу, остановился перед полотном. Он увидел фигуру Горького, размером больше натуры, на фоне Неаполитанского залива. Толстой долго смотрел на портрет и, когда Горький, довольный, вопросительно взглянул на него, сказал:

— Все наиболее ценное, значительное попало... Лицо тонко схвачено... Голова серьезная... Все это интересно, взято здорово... Голова удалась и по форме и особенно по выражению глаз. Здесь вся сущность оригинала. Боюсь только, кое-кому из наших пострелов — блюстителей идейной чистоты, не понравится: скажут, что художник написал портрет не советского писателя, основоположника пролетарской литературы, а какого-то индивидуалиста, сурового и одинокого.

— Будут обвинять, заступимся... Портрет вышел кондовый, впечатляющий... Пейзажный фон Неаполитанского залива хорош, красочен. Ничего лучшего я не видел...

— Понимаете, Алексей Максимович, пейзажный фон более реален, чем фигура, психологически тонкая,

глубокая, но писанная не на воздухе, а на террасе. Вы чувствуете разницу? Фигура и фон недостаточно еще слиты.

При этих словах Горький вновь внимательно посмотрел на портрет, но ничего не сказал. Пусть в этом разбираются специалисты, а он никогда еще не видел такого замечательного портрета. Сколько ведь художников писали его...

— Почти тридцать лет тому назад, — после длительной паузы заговорил Горький, — писал мой портрет Нестеров... Вот хороший художник, какой замечательный человек...

— У нас в Палехе, — сказал Александр Корин, незаметно оказавшийся рядом со старшим братом, — имя Нестерова было не только известно каждому, оно для всех нас было гордостью. Когда Павла, ученика московской «Иконописной палаты», лет двадцать назад Михаил Васильевич привлек к работам по росписи храма в Марфо-Мариинской обители, радости нашей не было границ. Вот человек!.. Всегда приветлив, мудр в своих советах...

— Да, он виновник того, что мы стали художниками, — сказал неторопливо Павел Дмитриевич.

— А я виновник того, что вы, Павел Дмитриевич, стали портретистом? Подсел я как-то к нему и говорю: «Знаете что, напишите-ка с меня портрет». А он, — и Горький сурово посмотрел на старшего брата, — стал было отказываться, дескать, я портретов не писал, боюсь, отниму у вас драгоценное время, замучаю вас, и ничего из этого не выйдет. А я то же говорю, что обычно говорят в таких случаях: «Ничего, попробуйте, зато вы вернетесь домой с портретом Горького, и это может послужить оправданием вашей заграничной поездки». И посмотрите: каков новый портретист? Договаривайтесь, Алексей Николаевич, позировать, а то зазнается, сам

выбирать будет. А может, уже выбрал? Эти братья норовистые... По глазам вижу, выбрал.

— Я хотел бы написать портрет Ромена Роллана, Алексей Максимович.

— Ну что же, отлично. Я ему напишу, а вы сфотографируйте мой портрет, фотографию приложу к письму. И поезжайте в Швейцарию, он там сейчас.

— Нет, сейчас я не могу, устал... Или осенью, или на следующий год.

— Правильно, Павел Дмитриевич, вам надо отдохнуть, у вас даже глаза провалились, так похудели. Поезжайте, как договорились, путешествовать, а когда будет удобно, устроим вам поездку в Швейцарию. Этот старик стоит того. Человек мужественный и действительно независимый. Написал «Над схваткой», а сам смело ринулся в эту схватку двух миров. И не его одного тревожат события в Маньчжурии. Что делается в мире!.. Возмущает цинизм, с которым господа капиталисты разрывают Китай, и какое презрение возбуждает «Лига» лицемеров всех наций! И как равнодушна европейская интеллигенция к событиям, которые угрожают ей гибелью! Какая нищета духа, какое полное отсутствие сознания чувства ответственности пред своей честью и пред историей своих народов... А европейская буржуазия обнаруживает перед народами Азии во всей наготе свое варварство и свою грязную жажду наживы. Миром правят преступники, и преступность их столь очевидна, что невольно возникает вопрос: «Неужели ослепли интеллигенция и пролетариат Европы? Неужели они не видят, что им грозит смертельная опасность?» Я отнюдь не «паникер», но я не представляю себе, что может остановить готовящуюся катастрофу, если рабочий класс, если интеллигенция не активизируются, не мобилизуют все свои жизненные силы?

— Какой-то процесс, Алексей Максимович, видимо, происходит, — заговорил Толстой. — Вот в Берлине... Я целый день ездил с одним немецким коммунистом в машине по Берлину. У меня очень острое восприятие окружающего, вы знаете. И что ж вы думаете? Повсюду в толпе мы видели юношей в спортивных костюмах, в беретах, они шли решительными шагами, глядя поверх голов, поверх гибнущей этой Германии. Это уже новое явление, словно другая порода людей. Идут буржуа, лавочники, дельцы, праздные люди, плывут, как полуживые, без страстей и высоких помыслов, и вдруг сталкиваешься вот с таким плечистым юношей в потертом спорт-костюме, без шапки, волосы откинuty, шея открыта, глаза — поверх отживающей толпы, взгляд красноречиво говорит о том, что юноша не желает больше созерцать распад и гниение, происходящие в стране. Я спросил у знакомого коммуниста, кто эти молодые люди, сурово шагающие в будто чужой им толпе. «Трудно сказать точно про каждого: представители двух сил, крайних противоположностей. Ты видел, говорит, безработица, нищета, голод, впереди — колониальный ужас... Ты видел: кризис, умирающая торговля, умирающие заводы... Диалектика событий порождает полярные силы, две противоположности, — они шагают по Берлину. А эта толпа, эти медузы — отмирающее поколение. Фашизм — последняя ставка буржуазии, коммунизм — первая ставка пролетариата. Делай сам заключение об исходе борьбы». Тогда об этих же молодых людях я спросил у нашего посла Хинчука, кстати, обаятельный человек, большой культуры, старый немецкий студент, так вот он сказал, что эти юноши или коммунисты, или фашисты. В Германии сейчас активны только эти две силы. Кто из них победит? В Берлине отчетливо пахнет погромом...

— Погромом пахнет не только в Берлине. Недавно было опубликовано сообщение о террористической

деятельности русских генералов в Париже, Праге, Варшаве, происходящей с благословения и при участии французского генерального штаба. Цель их — убить Сталина, Литвинова, Довгалецкого и некоторых других. А слышали, что происходило недавно в Чикаго? Мэр города обратился с воззванием: «Боже, спаси Чикаго». Оно полно проклятий по адресу политических деятелей и содержит угрозу закрыть все школы, канализацию и все коммунальные службы. Думаю, что впервые капиталистическая анархия приводит к столь анархическим административным мерам. Собрать бы десяток подобных примеров и представить их на суд интеллигенции — быть может, это заставило бы ее немного призадуматься о своей судьбе. Да и вам бы следовало написать о своем путешествии в другой мир. Ведь лет десять никуда не выезжали из Союза?

— Да, почти десять... Все некогда, Алексей Максимович, то одно, то другое, не успеваю с одним договором разделаться, как предлагают другой, третий, четвертый... Лишь пиши. Только что закончил «Черное золото» печатать в журнале, как жду, вот-вот пришлют сюда корректуру отдельного издания, надо что-то исправить там, торопился, непременно что-нибудь найдется. Тема-то очень актуальная сегодня... Эмиграция в девятнадцатом году...

— Тема, конечно, интересная. А знаете, замечаются признаки нравственного просветления среди этих несчастных в их отношении к Советскому Союзу: недавно мне сообщили, будто около семи тысяч русских эмигрантов выразили желание возвратиться на Родину. Но вот вопрос: почему, с какой целью? Чтобы отстаивать свободу своей Родины или же чтобы сплотить бывших богачей для борьбы против рабочего класса, который строит свое общество равных?

— В Берлине мне рассказывали: интересный случай там произошел... Граф Стенбок-Фермор, наследник

богатых уральских промышленников, гвардейский офицер армии Вильгельма Второго, вступил вместе с десятком других офицеров в немецкую коммунистическую партию. И еще называли несколько фактов психологической перестройки эмигрантов, например, князь Святополк Мирский, сын бывшего министра внутренних дел, тоже объявил себя коммунистом, и сын князя Хилкова, проживающий в Бельгии, бывший офицер, а теперь рабочий-шахтер, внезапно порвал всякие связи с эмигрантами. Происходит какое-то нравственное возрождение русской эмиграции, в лучшей ее, разумеется, части.

— А знаете, что говорил Бунин по случаю вашего приезда в Европу?

— Нет, интересно.

— Мария Игнатьевна как раз перед вашим приездом рассказывала мне. Как только слух о вас донесся туда, в Париж, один из поклонников Бунина спросил его, как он отнесется к вам, если вы покаетесь в своих грехах, простит ли он погрязшего в еретичестве и покаявшегося? Закрыл, говорят, Иоанн Бунин православные очи своя и, подумав немало, ответил со вздохом: «Прощу!» Весьма похоже на анекдот, сочиненный человеком, недоброжелательным Бунину, но рассказано сие как подлинная правда, и я склонен думать, что так оно и есть — правда! Жутко и нелепо настроен Иван Алексеев, злопыхательство его все возрастает, и — странное дело — мне кажется, что его мания величия — болезнь искусственная, самовнушенная, выдумана им для самосохранения. Плохо они живут, эмигранты. Старики — теряют силы и влияние, вымирают, молодежь, — вы напомнили мне хорошие факты, я слышал и о Хилкове, и о графе, — а молодежь не идет их путями и даже не понимает их настроения. Вы, кстати, что делаете после обеда? Не

хотите прогуляться со мной? Как ваша пьеса, продвигается к завершению?

— Да пьеса-то пока лежит на столе, как была, на той же странице и осталась. Эти дни отдыхал, развлекался, устал в Берлине, много было хлопот...

— Ну вот, пойдемте после обеда прогуляемся, поговорим. Очень интересно вы рассказываете.

Они шли по дорожке среди олив и пиний к морю. Впереди бежали внучки Марфа и Дарья, собирая по пути хворост: там, у моря, они все это сложат, а дедушка зажжет костер.

— Так где ж вы побывали, тезка и землячок? Рассказывайте, вы же знаете, я жаден до рассказов... Какие впечатления?..

— Столько, Алексей Максимович, впечатлений, что просто хаос в голове, какое-то обалделое состояние. Был в Неаполе, бродил по старым улочкам, ступеньками поднимающимся на высокие скалы над заливом. А вечером были на Жозефине Беккер. Вот, должен сказать вам, что такой трепотни и очковтирательства я давно не видел, просто фантастическая трепотня! Представляете, вышколенный джаз из 14 человек, конференсье-французишко, этакий мелкий кот, декорации: серебряный в блестках задний занавес, второй — из настоящих кружев, музыканты в сомбрерах, в розовых шелковых куртках. Играли, болтали, трепались... И, наконец, вышла Жозефина: полноватая бабища, очень, правда, хорошо сложенная, но абсолютно не умеющая ни танцевать, ни петь, голосишко слабенький. Костюмы только роскошные, голова в металлической пудре, длинные пальцы с металлическими ногтями, но, видимо, разжирела, и уж не то, и успех очень средний.

— Но все-таки пользуется успехом? Аплодируют?

— Да еще как! Уж очень все шикарно, броско... И чем глупее, тем больше успех. В том же Берлине, в «Кабаре

комиков», например, несусветная чушь, а хохот не умолкает...

— Рассказывайте, рассказывайте...

— Трехъярусный театр полон, в партере — столики, вертящиеся, как в корабле, кресла. Заказываем пива. На сцене — развязный конферансье. Не смешно. Затем — оперетта-пародия, автор — Миша Шполянский... Он тут же в оркестре — маленький, лысый, дохлый; конечно, эмигрант, москвич, музыка краденая, но скучная. Содержание: длинная канитель между двумя хозяевами двух торговых домов. Затем — водевиль. Содержание: ппишел муж, жена прячет любовника за занавеску. Муж: «А это чей котелок?» Жена: «Швейцара». Муж зовет швейцара, комика, конечно. Швейцар, выручая жену, надевает котелок, который ему мал. Смех, конечно. Муж замечает ноги за занавеской. Жена: «Это твои башмаки». Муж для чего-то уходит. Любовник выбегает, разувается, убегает. Опять смех в зале. Муж возвращается. Жена показывает башмаки. Но муж, в свою очередь, показывает жене монокль: «Этот монокль я нашел в вашей постели». Это считается самым сильным местом. И занавес...

— Нет, на такие вечера я уж не ходок. На Шаляпина бы, еще хоть разок, пошел бы, в Риме и Неаполе сейчас гастрوليрует, а встречаться с ним не хочется. Года три назад, в мае, пел он Бориса Годунова в Риме. Успех был, конечно, колоссальный. Мы провели с ним несколько милых вечеров. Я и вовсе не предполагал, что он предъявит иск Советской власти за издание своей книги...

Горький и Толстой уже добрались до конечной цели прогулки: дошли до высокого берега моря, где стояла скамейка, на которой можно было отдохнуть. Марфа и Дарья уже сложили хворост в одну большую кучу, и Горький, как обычно, поджег костер и сел на скамейку, любуясь разгорающимся пламенем. Толстой тоже присел

на скамейку, молча закурил трубку и посмотрел вдаль на Неаполь, на Везувий.

— Станный, беспокойный человек, — Горький вновь заговорил о Шаяпине. — Сколько раз собирался ко мне, уж и визы выправлял, и даже чемоданы укладывал, и не приезжал. Бог судил иное, оправдывался он в письмах ко мне. Ссылался на разные семейные и прозаические устройства в жизни, которые то и дело мешали ему побывать здесь у меня. То жаловался на излишки сахара, то на концерты и контракты. Где он только не побывал, даже в Австралию ездил. — Беспрерывная работа привела к тому, жаловался он сам, что утратила для него то прекрасное, чем он жил раньше. Действительно, художественные задачи смяты сейчас во многих театрах, валюта вывихнула у всех мозги, и доллар затемняет все лучи солнца. И сам он теперь рыскает по свету за долларами. Хоть и не совсем, но по частям продает душу черту. Сам так писал мне. Вот и докатился... Дом купил в Париже на доллары, такой, в каком никогда еще в жизни не жил. И все-таки был недоволен, мечтал о простом, родном сеновале, где так незаменимо пахнет сеном и русскими лошадьми. Звал как-ю в Испанию: он купил там клочок земли и хотел строить дачу. Ох, какая в нем ненасытная душа... Как он горевал, что не удалось ему эти «Записки» продать подороже... И вот предъявил иск, какая нелепость и как не стыдно... Ну, тогда я ему и написал, года два уж назад, объяснил, какое дрянное дело он затеял. Сам-то он и не додумался бы, это ему внушили окружающие его паразиты. И все это они затеяли для того, чтобы окончательно закрыть перед ним дорогу на Родину. Не на чем строить иск... Ведь это я уговорил его диктовать час в день стенографистке, диктовал он всего часов десять, а потом я обработал, отредактировал, и рукопись написана моей рукой. Напечатал в «Летописи», заплатил ему по 500 рублей за лист, хотя «Записки» его

— на три четверти мой труд. Написал я ему тогда, чтобы не позорил себя. И все равно этот его иск, как грязное пятно, лег на светлую память о нем. Какая жадность! Просто спасу нет! Много вреда принесла его таланту вот эта страсть накапливать деньги. Такой великий и прекрасный артист и так позорно ведет себя. Если б не это... Как хорошо бы послушать его, вспомнить нашу молодость, поговорить о Волге, пожаловаться друг другу на старость. Пожалуй, ближе его у меня никого не было...

Алексей Толстой посмотрел на Горького, и стало ему как-то не по себе: столько неизбывной горести было во всей его фигуре, в лице, в глазах...

— Уеду отсюда... Дни проходят в нервном напряжении, в ожидании всевозможных оскорблений, и ожидание это неизменно оправдывается. Жить вне Советского Союза становится все мучительнее, особенно теперь... Там непрерывный поток впечатлений получаешь, жизнь там так бурно течет, так интересна и разнообразна, что, возвратись сюда, я чувствую себя непривычно и неловко. Как будто у меня что-то отняли и я заключен в неподвижное время, а тут еще стали донимать меня письмами из Союза, почему я снова уезжаю в Италию. Совсем недавно получил очень хорошее письмо от одного, видимо, молодого человека, резко выговаривает мне за то, что я живу в Сорренто. Неужели, спрашивает, у нас в Союзе нет таких мест, как Сорренто? Или вы боитесь расстаться со своей виллой, окружили себя всяческим комфортом, учите своих сыновей в буржуазной школе? Словом, действительно, наслушался всяких эмигрантских выдумок и все так сразу и бухнул. Славный паренек! К этим упрекам мне не привыкать...

— И что ж, вы ответили ему?

— А как же, конечно, ответил, — сказал Горький. — Написал, что никогда никаких вилл у меня не было, нет

и, разумеется, не будет. Было бы великой ложью, если бы я обзаводился собственностью, одновременно радуясь мощному строительству социализма рабочим классом Союза Советов. Написал, что в Москве мне мешают работать различные заседания, посещения и т. д. А здесь я живу совершенно изолированно, одиноко, и это позволяет мне спокойно работать десять-двенадцать часов в сутки. В Москве соблазняли бы театры, поездки туда-сюда, здесь я в театры не хожу, и даже в городе, три километра от меня, не был уже три месяца... Все подробно, как на духу...

— Сейчас-то дом выглядит неплохо, когда тепло, нет ветра и нет дождей. А зимой не могу себе представить, как вы тут выдерживаете, — Толстой даже передернул плечами. — Дует же всюду.

— Бывает, бывает... — покачал головой Горький. — Дом-то старый, ремонтировался последний раз в 1872 году. Как пойдут дожди, завоет ветер, с крыши посыплется черепица, со стен отпадает штукатурка... Ну, говорим, все пропало, скорее давайте переезжать куда-нибудь. А переезжать в другой — неохота, этот далеко от города, изолирован хорошо, да и переехать-то хочется к вам, в Москву, поближе к своему народу, который смело перекраивает свою землю и перестраивает свою жизнь...

— Поразительные перемены происходят! Куда ни поедешь, всюду вздыблена земля. Летом я люблю путешествовать. — Толстой от приятных воспоминаний потер руки. — В позапрошлом году, в июле — августе путешествовал с Шишковым в Ленинград, Рыбинск. Потом пароходом в Нижний, Сталинград, поездом — в Ростов... Побывали в Сальске, Краснодаре, по реке Кубань в Темрюк, на лошадях в Тамань, через Керченский пролив в Керчь, а уж оттуда в Феодосию, к своим...

— Я уж такие маршруты вряд ли выдержу... — Горький сдержанно вздохнул. — В двадцать восьмом году с удовольствием поездил по стране, был и в Ростове, правда, проездом. Вовсе и не думал там останавливаться, но куда деваться... Как только поезд остановился, пришли в вагон представители партийных и краевых организаций и уговорили выйти хоть на несколько минут. А когда вышел, то стали уговаривать сказать что-нибудь... _ Хорошо им, а мне каково? Я же не умею ораторствовать... Вышел... Кругом, куда ни глянешь, молодые, веселые лица... Какое сердце выдержит... Аплодисменты, возгласы, что только творилось... И, конечно, уже готова трибуна, ведут под руки туда, на трибуну. Вся площадь забита людьми, сидели даже на крышах... Вроде бы должен привыкнуть к такому приему, а все равно растерялся... Стою на трибуне, опираюсь на перила и молчу. Думают, что собираюсь с мыслями, а я просто растерялся, не знаю, что сказать... Сорок лет назад я грузчиком работал в этом городе, на берегу... Кожу, табак разгружали из турецких пароходов. Грязный был город. Плохо платили рабочему человеку... И полиция была свирепая. Узнал я тут почем фунт лиха. И как-то само собой получилось, что это я и сказал... Какие великие перемены... Кто бы мог подумать... А сейчас и подавно... Целый переворот в деревне... Как завидую я вам, что можете наблюдать новую Россию...

— Вспоминается мне одна картина, — Толстой подхватил мысль Горького. — Плыдем по Волге. Настроение хорошее. Только что закончил я первую книгу «Петра», впереди Черное море, хожу, наблюдаю. На трюме сидит пятидесятилетний мужик, нос длинный, какой-то звериный, и весь словно утопает в длинных волосах. Рядом — дочь, мягкая девка, ей не то жарко, не то беспокойно, поминутно вынимает гребенку, чесанет и опять засунет. Рядом чисто одетый человек, ясно, что

колхозник. Тут же еще один мужик. Лениво нарезает какой-то заплесневелый хлеб. «Пятьдесят лет работаю. Я не трудящийся? Это как это по-вашему? — доносится до меня скрипучий голос заросшего мужика со звериным носом. — По какой такой причине меня голоса лишают?» Колхозник, слышу, ему в ответ: «А по той причине, что ты — кулак». — «А это что? Мозоли, дружок...» — «Креститься мне на твои мозоли». — «Перекрестись, трудовые...» — «Врешь, кулацкие». — «Тьфу, — плюет заросший мужик. — Разве такие кулаки-то?» — «Вот то-то, что такие». — «Книжник ты, сукин ты сын». Дочь щиплет отца, чтобы замолчал. «Нет, не такие кулаки-то. Я из навоза пятьдесят лет не вылезал. Хлеб мой небось жрешь, не давишься...» — «Это вопрос... Может, я и давлюсь твоим хлебом. И голоса тебе сроду не дадим, потому что ты — отсталое хозяйство и ты кулак, как класс». — «Хозяином был, хозяином и останусь. Свое добро не отдам, сожгу». Девка опять ущипнула отца, молчи, мол. А тот ни в какую: «Так ты мне и скажи. Силой меня в колхоз! Мы уж тебе поработаем — все дочиста переломаем, все передеремся... Да я лучше всех норов зарежу, лошадям ноги переломаю». — «Невежа, — говорит колхозник. — Колхоз по всей науке — высшая форма хозяйства. Упирайся, нет ли, все равно. Ты — мужик мертвый...»

— И сколько таких... Но ничего, понемногу крестьянство вместе с рабочими построит новые формы хозяйства и создаст новую, справедливую, разумную жизнь на всей богатой нашей земле... Я вот уж много лет живу среди крестьян еще более диких, чем наши, — Горький оглянулся в сторону берега. — Я вижу, как мало они имеют, как много им надо. Их не толкают в шею к новой жизни, им внушают фашисты идею необходимости бить французов. Это очень несчастные люди, посмотрите как-нибудь на них, тем более несчастные, что они только что, и с ужасом, начинают чувствовать

это... А у нас, слава богу, другие проблемы. Действительность с бешеной скоростью обновляется, или, скажем точнее, изменяется...

— У нас все кипит, повсюду молодежь что-то строит: животноводческие совхозы, силосные башни, холодильники, консервные заводы. И ведь ничего этого не было год-два тому назад. Словно ожила вековая степь. Была ровная как стол, а теперь повсюду видны какие-то сооружения. А какая молодежь, Алексей Максимович!.. Отстроили здесь, а завтра уже за тысячи верст, та же стройка. Личное имущество — холщовые штаны в известке или машинном масле и стоптанные штиблеты. За плечами — молодость. Моральный стержень — строительство социализма в своем отечестве. Потребности внутренние просто огромные, иначе не скажешь, а потому что велика цель... А какой завод в Сталинграде затеяли, просто невероятно. Длинные стеклянные здания его скорее похожи на оранжереи, ни мусора, ни закопченных мрачных окон. Кругом асфальт, чистота, тишина...

— Да не покажется это вам парадоксом, но я уверен, что в истории человечества не было столь сокрушительного удара по психике человека, как комбайн и трактор. Я видел, как мужики знакомились с работой этих машин, — Горький коротко засмеялся. — Аэроплан, подводная лодка, радио и даже будущий полет на Луну — все это пустяки в сравнении с трактором и комбайном. Какое дело мужику до завоевания воздуха? Он — на земле. И вот он видит, что можно освободиться от каторги крестьянства. Это поистине переворот, это начало иного, более интенсивного горения мозга, что ли. Вот почему я так радуюсь, что и вы это понимаете. И вам надо непременно что-то сделать как художнику, статьи тут мало, что-то обобщающее нужно.

Костер догорал. Горький пошевелил палкой в оставшейся золе и, удовлетворенный тем, что угли все истлели, поднялся со скамейки.

— Дарья, Марфа! — крикнул он внучкам, собиравшим какие-то корешки и камушки у самой воды. — Ну что, Алексей Николаевич, пора двигаться, сейчас почеевничаем, да и потрудимся, несколько писем надо написать — Федину, Ромену Роллану. Кстати, у вас нет охоты съездить к Роллану? Вы очень обрадовали бы старика и развлеклись бы, послушали хорошей музыки, он ведь музыкант, и, говорят, серьезный.

— Я просто мечтаю о свидании с ним, но ведь домой надо, дел невпроворот.

Горький и Толстой медленно пошли по той дорожке к вилле Сорито, владению обедневшего итальянского герцога, где Горький занимал второй и третий этажи. Толстой сбоку взглянул на этого замечательного человека, так много сделавшего для России и для него лично, и еще раз поразился, как точно передал Павел Корин эти складки морщин на щеках и на шее, точно увидел, как горбятся широкие плечи его от тяжести пережитого, как пластично переданы нависшие брови и непослушная прядь седых волос на правом виске. «Да, стар Горький, — подумал Толстой. — Беспощадно правдива кисть художника. Видимо, действительно далеко пойдет этот тихий, не очень-то разговорчивый молодой человек».

— Что? Сравниваете, Алексей Николаевич, оригинал с портретом? — уловив взгляд Толстого, неожиданно повернулся к нему Горький. И его ясные, пристальные глаза словно просверлили насквозь Толстого.

«Вот что омолаживает его, как и в портрете, — молодой взгляд придает и всей фигуре какую-то прочность», — мелькнуло в сознании Толстого.

— Вы угадали, Алексей Максимович, только успел подумать об этом, а вы уж перехватили мой взгляд. Я

ведь несколько дней не принимал их всерьез. Прохожу, смотрю на картины, развешанные на стенах, и думаю: «Вот бездельем занимаются ребята», а оказалось, что это не их картины и этюды...

— Да, братья — это особое дело. Эта порода людей сейчас вымирает и, может быть, обречена на полное уничтожение. И однако, пока они существуют, я не устану ими любоваться. Любоваться моральными, душевными их свойствами. Оба брата дают мне много радости. Нестеров, говорят, особенно выделяет Павла. Действительно, он имеет почти все, чтобы быть большим художником, мастером. У него есть все, что ценилось в мое время. Все это должно вернуться, как неизбежная реакция на всяческие кривляния, которые почему-то часто называют «исканиями». Как ни велики силы зла, но и добро могущественно. Много хорошего жду от них, особенно от старшего, человека высоких понятий, способностей и настроений. А этот Александр сделал удивительную копию с Леонардовой «Мадонны Литта», многие мне говорили, что среди копий — эта лучшая и совершеннейшая. Вы не видали портрет Нестерова, изобразившего этих братьев?

— Нет, я только здесь услышал о них.

— Оба, каждый по-своему, интересны. Один в стиле итальянцев, в стиле Возрождения, другой — в стиле ультрарусском, этаким Микула Селянинович. Один драматический, на огромных полотнах будет показывать людям человеческие переживания, «катаклизмы» человечества, другой на небольших досках даст деликатную, мастерскую лирику... Так или иначе, они сыграют свою исключительную роль в будущем художественной России. А ведь полгода тому назад я тоже ничего не слышал о них. Пошел я к ним на чердак. Живут они на Арбате. Комнаты украшены античными гипсами: Венера Милосская, Лаокоон, Боргезский боец, на стенах укреплены плиты фриза Парфенона, висят

древние иконы, на столах уставлены рукописные и старопечатные книги, лежат папки с древними иконописными рисунками, среди этих рисунков, говорят, и рисунки их прадедов, и всякие старинные вещи, привезенные из Палеха. Ну, думаю, куда это я попал... А потом, когда Павел показал свои работы... Прекрасные вещи. Все пересмотрел, все этюды, всех, кого написал Павел для своей картины. Ну что, думаю, пора им мир посмотреть и себя показать. Вот и предложил поехать за границу: Павлу — в Италию, Александру — в Париж, пусть копирует в Лувре «Джоконду». Упрашивал продать мне «Мадонну Литта», нет, говорит, он не торгует. Каков, а?

— Прекрасные ребята. Ничего не скажешь. Может, сходим в Риме к Коненкову? Говорят, он из Америки переехал в Рим?

— Да, здесь обосновался. Занял отличную мастерскую и создал таких «Петра и Павла», что весь Рим, говорят, перебивал у него, восхищаясь нашим российским Фидием.

— Имя его, как когда-то Иванова, у всех на устах, все славят его, величают. Даже у нас в Питере говорят о нем.

— Прекрасный талант, к тому же и пить перестал. А вот и наше герцогское владение, только что-то никто не встречает нас, дворни маловато... А что, Алексей Николаевич, двигается ваша пьеса или нет? Вы так и не рассказали, что вы хотите в ней показать. Тоже хочу написать пьесу, но все не решаюсь. Драма — самая трудная форма искусства слова, ибо она гораздо больше, чем роман, повесть, рассказ, вторгается в область изобразительного, «пластического» искусства. Можно сказать так: в романе, как в кино, человек дается двухмерным — драма требует трехмерных фигур. Роман легче писать, тут у нас с вами два приема в ходу: диалог

и описание, а в драме только диалог, как хочешь, так и действуй...

— Без пьесы мне не прожить и ни одного романа не написать. Романы пишутся долго, я автор уже двух незаконченных романов, а пьеса — недели за три.

— Не торопитесь, тезка, не торопитесь... — строго сказал Горький.

— Как же не торопиться? Вот просят в спешном порядке о будущей войне. Значит, надо писать, не могу же я об этом год писать, ведь устареет. Или вот сейчас. Мировой кризис, безработица, а у нас все кипит, строится. Почему бы не воспользоваться этой острой ситуацией и не столкнуть эти два мира в жестоком единоборстве? Я взялся написать представителей буржуазного мира, а Старчаков — представителей советского общества. Пусть действуют хозяин, гениальный изобретатель, которого он эксплуатирует, дочь хозяина, этакая дорогая бездельница. Кризис, неотвратимый, как стихия, непонятный. Кризис — мировая загадка для капитализма. Как только на бирже все ценности покатались вниз, сразу все меняется в отношениях между хозяином и рабочими, между хозяином и изобретателем, между отцом и дочерью, между женщиной и мужчиной. Все продается, и Анни, дочь хозяина, по совету отца сразу меняет свое отношение к молодому Рудольфу, человеку большой совести и великого таланта.

Он дал заводу очень много, поднял его на колоссальную высоту, но он действовал незаметно, как серый герой, таков был договор с хозяином, вся слава доставалась хозяину, а ему жалкие гроши: 118 патентов Конрада Блеха — это 118 гениальных изобретений Рудольфа. Все — товар, и гениальность — товар, говорит Блех. Хозяин уговаривает его подписать столь же кабальные условия и на 119-й патент, но Рудольф отказывается. Пусть лучше голодная смерть, 119-й

патент должен быть его, лучшего он никогда не придумает. Но Анни его уговаривает подписать этот кабальный договор, обещая ему свою благосклонность. И он взамен мировой славы принимает ее, холодную и прекрасную. И вот завод закрыт, касса пуста, рабочие бьются за свои права, а Блех подписывает с русскими выгодный контракт: он согласился поехать в Россию в качестве консультанта, но без Рудольфа он ничего не может сделать, поэтому забирает с собой его и дочь. Уже в России они сталкиваются совсем с другим миром, где царят и другие отношения, где русский изобретатель Михайлов, совсем недавно безграмотный, создает такой проект, перед которым гений Рудольфа меркнет. И Рудольф, как честный, не испорченный капитализмом человек, понимает, что значит новая социальная система, где нет эксплуатации человека человеком. Рудольф завидует этому Михайлову, потому что он не знает волчьих спазм в челюстях, когда посягают на его собственность. Вот примерно, Алексей Максимович, что мы хотим дать зрителям. И серьезное и смешное вместе, все там будет, как обычно.

— То, что вы сейчас рассказали, кажется интересным и очень нужным, — сказал Горький. — Тема актуальная, злободневная. Когда напишете, прочитайте ее мне. Прочитал я протоколы заседаний по вопросу о праздничном репертуаре к пятнадцатому Октябрю, прочитал и все три проекта не одобрил. У меня есть кое-какие соображения и темы, которые я хотел бы представить вниманию и суду талантливых наших драматургов: Булгакова, Афиногенова, Олеси, а также Всеволода Иванова, Леонова и других. Ну, об этом поговорим в Москве, пойдемте чай пить...

Когда они вошли в столовую, там уже все сидели за чайным столом: режим на вилле Сорито строго соблюдался.

Пьеса, о которой так живо и интересно рассказывал Толстой Горькому, так и не была написана в Сорренто. К тому было много причин, конечно, уважительных, как казалось Толстому. Взявшись за пьесу в соавторстве, он надеялся на облегчение в работе, а получалось наоборот: много уходило времени на подготовительную и организационную работу.

Правда, Старчаков выполнил обещание и прислал наброски пьесы, но, прочитав ее, Толстой понял, что все надо заново переписывать: настолько слабый материал... К тому же много времени потратил он на чтение корректуры «Черного золота».

10 апреля он писал жене: «...Сегодня были с Афиногеновыми в Помпее. Сегодня был первый лазурный день. Помпея потрясла меня, писать не хочется об этом, я купил альбом и подробно расскажу по приезду. Помпея это был город такой изумительной культуры, о которой мы не знаем. Весь он с колоннадами, садиками внутри домов, с театрами, пестрыми и живописными улицами, кабачками, храмами — на фоне лазурного воздуха, и вдали, видный отовсюду сквозь колоннады, курится Везувий... Ужасно, что я ничего не успел сделать с пьесой. Числа с 3-го, 4-го в Детском придется засесть за нее, как сумасшедшему... Рабинович ответил мне отказом в крайне наглой и оскорбительной форме. Придется расправиться с ним без пощады, т. к. он — вор. В Берлине соберу обличительные документы. У меня, Тусенька, так мало денег, что я в отчаянии, — слишком много истратил в Берлине и сел на бобах. А тут нужно послать еще Юлии. Не знаю, как доберусь домой. В общем, ужасно быть непрактичным».

И в такое положение Толстой попадал довольно часто. Кажется, зарабатывал он много, ибо выходили книги, собрания сочинений, ставились его пьесы, почти все написанное им печаталось в журналах и газетах,

однако редко когда в доме или на сберегательной книжке было у него несколько лишних сотен рублей. Правда, сам Алексей Николаевич не отличался бережливостью, любил жить на широкую ногу, а Наталья Васильевна, кажется, вообще не знала счета деньгам, полагаясь на мужа. Но это мало его заботило: привык выкручиваться и всегда выкручивался, с шуткой, веселой улыбкой признавался в этом, и все понимали его, зная его полную непрактичность, его бездумную любовь к красивым вещам. В письме жене он признавался, что у него такое чувство, будто подхватил его ураган и он мчится, не сопротивляясь, по ветру.

Из-за этого состояния несобранности оставил в России много недоделанных дел. Не подписал с Алянским договор на издание трех книг: «Петра», «Сестер» и «18-го года», не закончил либретто оперы для Юрия Шапорина. А сколько ему дали поручений, как только стало известно о его поездке за границу! Разве можно все выполнить? И дело даже не в деньгах, которых вечно не хватает, дело во времени... Но, казалось бы, бремя забот ничуть не тяготило его. По-прежнему он весел, сердечен, постоянно принимает участие в вечерах Пешковых.

14 апреля Толстой писал в Детское:

«...Передай, пожалуйста, Старчакову, что матерьял его получил. Позавчера только кончил страшенную корректуру «Черного золота» и сегодня уже сел за пьесу. Во всяком случае к 25 мая мы ее напишем.

А все-таки, в Детском лучше всего. Обожаю тебя и люблю. Твой А. Толстой».

МИР ИСТОРИЧЕСКИХ СОПОСТАВЛЕНИЙ

«Это было в апреле 1932 года, вскоре после ликвидации РАППА... Я пришел с Н. С. Тихоновым, который передал мне приглашение Горького прийти в ближайшие дни и рассказать о Ближнем Востоке... В тот день у Алексея Максимовича былолюдно. Из Ленинграда приехали Алексей Николаевич Толстой, Тынянов и Тихонов, пришли москвичи — Фадеев, Ермилов, кажется, Никулин и еще кто-то. Разговор шел сразу о многом», — вспоминал памятный день П. Павленко. В этот день много говорили о том, что действительно рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций стали настолько узкими, что оказались серьезным тормозом развития литературы. Немало вспоминали собравшиеся о критической дубинке, которой постоянно размахивали рапповцы, сводя литературные счета. Решение создать единый союз писателей отвечало насущным потребностям развития советской литературы, появилась надежда, что наконец-то воцарится братская солидарность писателей, объединившихся вокруг великого Горького.

Алексей Толстой, возвратившийся вместе с Горьким из Сорренто, давно ждал подобного решения вопроса. Не раз выступал он против неправильного отношения рапповцев к современному писателю, против ложного подхода к большинству талантливых писателей, как к «попутчикам». На конференции Всероскомдрамы в октябре 1930 года он начал свою речь с того, что отвел от себя и многих товарищей по литературе то клеймо, которым пытались их заклеить в течение последних лет: «...Я говорю о понятии — попутничестве.

Попутчик, — может быть, эта категория, эта полочка имела когда-нибудь какое-нибудь значение. Не знаю. Может быть, она обозначала тех, кто шагает сбоку дороги за войском, — некоего штафирку, по анкете — сочувствующего. Может быть, означала дорастающее сознание. Пора с этим словом покончить... Такое слово уже архаизм. Наша аудитория — строители социализма, учащиеся и рабочие, рабочие толщи. Наше сознание, наше мышление перестроено нашим читателем. Мы не бежим сбоку дороги под грозную музыку «Интернационала». Мы в рядах, смею вас уверить, товарищи, многие из тех, кого по дурному шаблону вы все еще называете попутчиками, у кого, как вам чудится, душевная организация редиски, — многие из нас — в передних рядах. Такова диалектика жизни... Почему так скупа художественная продукция пятилетки? Причины две: раздробленность писательской массы... Писатель погружен в будни строительства... Писатель еще не охвачен общим планом, — он не на вышке, откуда виден весь необъятный горизонт строительства... Вся жизнь охвачена пятилетним планом, — писательская масса не охвачена, и потому пафос строительства размельчается в очередях и суете обывательщины...»

Уже тогда Алексей Толстой выступят как сознательный и зрелый участник строительства нового общества, как советский писатель, которому близки и дороги социалистические перспективы развития его страны. Он горячо и страстно относился ко всему новому, что происходило в стране и что способствовало улучшению жизни народа. Вернувшись из Сорренто и приступив к работе над пьесой и над либретто оперы о декабристах, которое так ждал Юрий Шапорин, Алексей Николаевич с восторгом прочитал Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 мая 1932 года о комплексном переустройстве Волги. И в тот же день, 23 мая, написал

письмо Горькому: «Дорогой Алексей Максимович и земляк. Что делается! Декретом о барраже Волги открывается новая страница мировой истории. Так и будет когда-нибудь написано: в то время, когда на Западе гибли цивилизации и миллионы людей выкидывались на улицу, когда Восток заливался кровью и страны искали спасения в войне и истреблении, — Союз, поднявшись над временем, издал декрет о барраже Волги. Аркольские мосты, Аустерлицы и Иены кажутся игрой в оловянные солдатики. Обнимаю и целую вас».

1 июня Толстой получил ответ от Горького: «Дорогой друг — письмо Ваше получил, прочитал и — обрадовался. Очень хорошо! Вы, поистине, земляк, — человек, влюбленный в свою планету, в родину свою, человечще такой же талантливый, как ботата она талантами. Письмо я использую в печати, разумеется, сохранив Ваше авторство. Буду писать о традициях, нормах, законах ж о нашем революционном отношении к ним.

Вы, землячок, революционер по всем эмоциям Вашим, по характеру таланта. Мне кажется, что Вам мешает взойти на высоту, достойную Вашего таланта, Ваш анархизм — качество тоже эмоционального порядка. Вам, на мой взгляд, очень немного нужно усилий для того, чтобы несколько взнуздать это буйственное качество, гармонизировать его с Вашим умом и воображением. Простите меня, тезка, за эти слова и не принимайте их как «поучение», я очень далек от желания «учить» Вас, но я много о Вас думаю, мне кажется, что — понимаю Вас и — очень хочу видеть Толстото Алексея там, где ему следует быть и где он в силах быть, вполне в силах. Крепко жму руку. Привет Тусе».

Не только из этих писем, но и из воспоминаний современников хорошо известно, что Горький особенно

тепло относился к Алексею Толстому, приглашая его повсюду, где бывал сам. Летом этого же года Толстой довольно долго жил у Горького в Горках, где, как и в Сорренто, перебивало много интересных людей. Часто собирались здесь писатели, чтобы обсудить текущие организационные вопросы по объединению в единый Союз. Горький был избран председателем созданного Оргбюро, а Толстой вошел в его состав. Толстой почти всегда поддерживал Горького в вопросах строительства новых отношений между писателями. И Горький, естественно, ценил эту поддержку в трудной борьбе. Многим не так-то было легко отказаться от своих групповых интересов. Часто Толстой наблюдал, как Алексей Максимович бродит с палочкой по большому тенистому парку, любителю открывающейся красивой панорамой с высокого берега реки, потом снова не спеша побредет по парку, собирая по пути сучки, шишки, сухие листья. И каждый, кто гулял по парку, знал, что кучки хвороста, попадающиеся то и дело на пути, собраны Горьким. Вечером, если не было тумана и воздух был хорошо прогрет, Горький любил зажечь костер и долго смотреть, как пляшет огонь и как искры далеко улетают вверх. И, не раз наблюдая его за этим любимым занятием, Алексей Толстой видел, как в его серо-синих глазах отражается большое удовольствие. Горький говорил: «Ну вот, а доктора, черти драповые, не пускали, может, говорят, сыро будет... Все равно сегодня зажгли...» Но это бывало уже не так часто, как бы хотелось: «черти драповые» могли проявить и настойчивость. Толстой, как и другие гости, знал, что физические усилия, быстрая ходьба запрещены Алексею Максимовичу: берегли его сердце, и без того перегруженное колоссальной работой.

Вместе с Горьким Толстой побывал в Болшевской трудкоммуне ОГПУ, ознакомился с бытом, людьми, делал пометки в своей записной книжке; перед поездкой в

Болшево разговаривал с руководящими работниками ОГПУ и договорился с ними, что напишет роман и пьесу о жизни этой трудовой колонии. Та перековка людей, которую он наблюдал во время посещения коммуны, должна была лечь в основу нового романа и пьесы.

В этом же месяце Толстой заключает договор с издательством «Молодая гвардия» на повесть «Красный конь», ведет переговоры с Д. Шостаковичем о либретто оперы на тему о современном человеке, подписывает договор на сокращенное издание первой части «Петра Первого» для юношества. Он весь переполнен желанием отразить в своих произведениях наиболее важные этапы революции, быстротекущую современность. Если в первые годы пребывания в Советской России он только разумом признавал необходимость революционных преобразований, то сейчас он всем сердцем принимает происходящее, и не только принимает, но и старается, как художник, запечатлеть ход этих преобразований. «Я стал участником строительства новой жизни на земле, — признается он. — Я вижу задачи эпохи. Мне ясны мои задачи. Факел пролетарского искусства должен осветить мир. Искусство, литература — это память эпохи. Люди, дела, события проходят. Время стирает все. Искусство берет быстротекущий отрезок эпохи и создает из него нетленный кристалл. Это культура. Из этих кристаллов строится дворец труда пролетариата.

Материал для постройки должен быть высшей доброкачественности».

Зимой и весной этого года Толстой так много работал, что пора было подумать и об отдыхе. Сначала планировал поехать отдыхать в Кисловодск и уже написал было Наталье Васильевне, что захватить из его вещей, чтобы не возвращаться в Детское. Но план этот не удался: путевок в ЦКБУ не оказалось.

Семейные заботы поглощали не так уж мало времени. Много сил отнимали хлопоты о московской

квартире. Совсем неожиданно ему предложили на выгодных условиях квартиру в Нижнем Кисловском переулке: надо было достроить этаж, и за это взялся Петр Петрович Крючков, секретарь Горького, пригласив в пайщики Толстого, Сухотина и Юрия Соболева. Крючков гарантировал успех этого предприятия, а главное — льготный кредит для оплаты материалов и работ.

В эти дни Толстой не раз бывал у Гронского, временно исполнявшего обязанности главного редактора «Нового мира» вместо умершего Полонского, разговаривал с ним о Старчакове. Выхлопотал ему аванс под новую пьесу, рекомендовал его на должность редактора журнала. Так что Старчакова нужно было срочно вызвать в Москву для переговоров с Гронским и для получения аванса. Не очень приятный разговор состоялся с директором МХАТа Марковым, прочитавшим пьесу «Патент 119». Его замечания сводились к тому, что пьеса перегружена очевидностями, что она суха. Если авторы продолжают работу, то они, по мнению Маркова, должны направить свои усилия в сторону очеловечения персонажей, в сторону косвенного, а не прямого, лобового решения драматургии. Назначил последний срок сдачи доработанной пьесы — 22 августа.

Много было затеяно и других дел, но мало что делалось, и это Толстого раздражало. «Все здесь делается отчаянно медленно, — жара, все на дачах, всем отчаянно лень. Но я добьюсь: 1) утверждения плана квартиры; 2) подписания договора с Болшевской колонией; 3) ремонта зубов; 4) денег для Старчакова...» — писал Толстой жене в середине июля. В этом же письме он попросил прислать ему фланелевый костюм, который вскоре после того, как был прислан из Детского, послужил предметом бесконечных шуток. Вот что об этом рассказывает художница Валентина Хадасевич, тоже в это время гостившая у Пешковых в

Горках: «Конечно, А. Н. Толстой вносил в жизнь Горок и свою ненасытность к развлечениям и озорство. Тут были и рыбная ловля бреднем или сетями, и далекие походы в леса за грибами, и купанье в Москве с чехардой и кульбитами в воде, и множество других, внезапно возникавших, но всегда увлекательных затей, на что были очень падки все живущие в Горках во главе с самим Алексеем Максимовичем. Однажды летом решено было организовать под вечер «грандиозную, сверхъестественную» рыбную ловлю бреднем в Москве-реке, на высоком берегу которой расположены Горки. Тут же на берегу по предложению Горького предполагалось разложить костры и варить уху из будущего улова — как известно, Алексей Максимович питал особую любовь к кострам.

В тот вечер у Горького собралось довольно много народу. Спустились к реке. Вода была весьма прохладной. Молодежь должна была лезть в воду и вести бредень. Толстой рвался тоже участвовать в этом, но ему воспрепятствовали. Алексей Николаевич одет был в очень простой, но восхитивший всех костюм какого-то необычного, замечательно синего цвета. «Это дома так дивно выкрасили, а рубаха и штаны самые обыкновенные, из полотна», — хвастался Алексей Николаевич. Он любил детально обдумывать свою одежду, и цвет играл в этом очень большую роль. Все, что на нем бывало надето, всегда отличалось чем-то не совсем обычным, а главное — он умел носить одежду непринужденно, как бы не замечая.

Рыбная ловля началась. Бредень повели. Мы все стояли на берегу и наблюдали за рыболовами — больше всех волновался Толстой. Внезапно бредень зацепился за корягу, и ведущие тщетно пытались его отцепить. Никто не заметил, как и когда Толстой не выдержал, влез в воду в одежде и обуви и по горло в воде уже стоял около бредня. Вскоре бредень был отцеплен, а

Алексея Николаевича с трудом уговорили выйти на берег. Когда он уже на берегу прыгал, фыркал и отряхивался, смешно имитируя выкупавшуюся собаку, мы заметили, что вода, стекавшая с него, шея, руки были ярко-синими, а лицо — в синюю крапинку. «Дома выкрашенный» костюм линял и явно был виной этому. Решено было тут же раздеть Алексея Николаевича и вымыть. Кто-то, уже вскарабкавшись по откосу, бежал к дому за мылом и мочалкой. За ужином Толстой предстал в голубом виде, что нимало не смущало, а скорее веселило его. В течение недели ежедневно топили баню, отпаривали и отмывали уважаемого писателя и наконец довели до естественного цвета».

12 июля Толстой писал жене: «Здесь очень мило, только очень шумно и утомительно. Купаюсь, играю в теннис, физически чувствую себя не слишком важно. Я люблю собранность, а тут — собранности не получается...» 23 июля он еще ждет ее приезда в Горки к концу месяца, сообщает ей, что в Горках он работает над тремя актами пьесы, а четвертый предстоит еще написать, но уж писать придется в Детском до Кисловодска, где они должны хорошо отдохнуть: осенью ему предстоит такая напряженная работа, что необходима зарядка. Я договорился с Союзкино (по желанию Бубнова) о говорящем сценарии «Черного золота», договор подписывают в конце месяца. Очень важно: если Шостакович в Детском, повидать его и скажи, что в либретто в начале изменение. Прислать ли ему либретто сейчас, или в августе по приезде?»

Но Наталья Васильевна так и не приехала в Горки: она не могла бросить дом наспех, не устроив всех дел. На август Толстой вернулся в Детское, где вскоре и закончил вместе со Старчаковым пьесу «Патент 119». В очередной приезд в Москву Алексей Николаевич заходил к Горькому и по его просьбе оставил ему один экземпляр. В письме от 17 сентября 1932 года Горький

подробно анализирует недостатки пьесы: «...пьесу я прочитал, и в чтении она показалась мне очень тяжелой, недостаточно действенной. Когда Вы сами читали ее, Ваше умение прикрыло это ее качество. А теперь мне кажется, что первые два акта излишне растчнуты, многословны, фигура Рудольфа наделена или сделана излишне пассивной, слабовольной и что Вы неоправданно лишили ее той черты пафоса, той «сумасшедшинки», которая свойственна крупным изобразителям и так хорошо удается Вам... В общем — пьеса не кажется мне удачной, и я, на Вашем месте, не ставил бы ее на сцену в данном виде. Крайне не хотелось бы, чтоб она прошла без «успеха». Мне очень жаль, что я не могу ничего иного сказать Вам, и жаль, и тяжело. Хочется еще раз просить: не берите сотрудников!»

15 октября Толстой отвечал Горькому: «...Когда я поразмыслил над вашим письмом, — то понял, что вы правы, и я вам благодарен за верный и тонкий художественный анализ. Теперь (отдохнув в Кисловодске) вижу, что пьесу в некоторых местах нужно сломать, лишить гладкой рассудочности — внести в нее «сумасшедшинку». И это сделаю.

Вы пишете о Старчакове. Он был мне нужен, как известный этан — вернее, беседы с ним — для того, чтобы привести в порядок все мои мысли и впечатления о современности. Старчаков понадобился потому, что жизнь слишком стремительна — в движении, в задачах, в выводах, в новых формах. Но, конечно, художественно Старчаков меня сковал и повредил...»

И действительно, Толстому пришлось еще раз переделывать эту пьесу, но довести до такого уровня, чтобы за постановку ее взялись мхатовцы, как предполагалось в самом начале, не удалось. Напечатана она была в «Новом мире» (№ 1 за 1933 год). Но все эти «мелочи», хлопоты, заботы, выступления отошли на

второй план, как только Толстой почувствовал необходимость продолжать роман о Петре и его эпохе. За это время накопился такой огромный материал, что он снова опасается потонуть в нем. Прошелся по первой части романа, готовя его для юношеского издания, дописал даже новую главу о мытарствах Алешки Бровкина в Москве. Так что, вернувшись в Детское, полный сил и энергии, Толстой самым решительным образом взялся за свое любимое произведение.

Стояла зима. Детское Село утопало в снегу, становилось все холоднее, а в деревянном доме Толстых жарко пылали печи. В рабочем кабинете Алексея Николаевича тепло и уютно. Повсюду гравюры, книги, рукописи и другие материалы, так или иначе связанные с эпохой Петра Великого. Даже есть мебель того времени и старые портреты. За громадным письменным столом возвышается Толстой, под стать этому столу, массивный и внушительный в своей теплой мохнатой куртке. Нередко на его голове ловко пристроено нечто вроде тюрбана из полотенца. Он любил, когда голове тепло: лучше работалось. Недалеко от стола — конторка, за которой работал стоя. В книжных шкафах от пола до потолка собраны книги — все о том времени: Петр Великий вошел в этот дом, чувствовалось по всему, надолго, покорив хозяина кабинета великими деяниями и силой своей личности.

Чем больше вникал Толстой во все обстоятельства Петровской эпохи, чем больше узнавал фактов, деталей, тем глубже проникался он симпатией к этому гениальному венценосцу. Нет, он ни на минуту не забывал о тех ужасах и страхах, которые испытали его современники от реформаторской деятельности. Первая книга романа даже завершалась словами: «...Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилося по темным углам. Кончалась византийская Русь. В мартовском

ветре чудились за балтийскими побережьями призраки торговых кораблей».

В первой главе второй книги тоже много говорится об этом. Не приемлет народ новые порядки и по-своему борется против них, уходя в леса разбойничать, отказываясь везти в Москву продукты своего труда, «... нет, Москва сейчас — место погиблое», говорит один из крестьян, и всему виной, по их представлениям, Петр, который вконец «оскоромился» с немцами и немками. Повсюду раскольники чуть ли не открыто говорят о Петре как об антихристе, пришедшем в мир, чтобы нарушить благолепное течение устоявшейся жизни. Нет, Толстой ни на минуту не забывал, что Петр — крепостник, жестокий и сильный властелин, без жалости и сострадания ломающий вековые человеческие привычки, обычаи, установления. Но он и понимал Петра, который, вернувшись из-за границы, невольно сравнивал свою страну с западными странами и ужасался от этого сравнения: по всем статьям Россия отставала — и в политическом, и в экономическом, и в социальном, и в военном, и в государственном отношениях; за что бы он ни брался, все обветшало, изжило себя, все нужно было менять. Всякое сопротивление раздражало его, особенно челобитные против немцев, против немецких обычаев, против Лефорта. В протестах он видел неприятие своих нововведений, которые следовали одно за другим. В первые дни он сам ласково подзывал к себе приближенных бояр и ножницами укорачивал их бороды, потом этим занимались его шуты и помощники. Так началась борьба со стариной. Казнь стрельцов он тоже рассматривал как богоугодное дело, как исполнение своей обязанности по защите государства и народа от злодеев. Эти мрачные, печальные, кровавые страницы из истории Петра Великого хорошо знал Толстой и не мог обойти их молчанием: без них картина

была бы неполна, неправдива. Петр вспыльчив, раздражителен, скор на руку, неразборчив с женщинами, жесток, беспощаден. И Толстой далек от того, чтобы идеализировать своего героя. На страницах романа Петр нет-нет да дернет в ярости головой, округлит свои пылающие гневом глаза. Но все больше и больше задумывается он над сложнейшими государственными вопросами, проявляя при этом глубину мудрости, терпеливость в их решении. Толстой прекрасно понимает, что Петр — человек своего времени. Ни в чем он не знает удержу: ни в забавах, ни в самозабвенном труде, ни в средствах к достижению поставленной цели. Он непоседлив, готов в любую минуту мчаться хоть на край света ради задуманного дела, резок, правдив, суров и справедлив, насмешлив, добр, тверд, прост в обращении.

Да, Петр — фигура противоречивая. Никуда от этого не денешься. Еще Пушкин удивлялся двойственности Петра, замечая разницу между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами? «Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестки, свое-1 нравны, и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика».

Непомерны страдания народа. Естественно и правдиво Толстой раскрывает истоки зреющего протеста против реформ Петра. И народ прав в своем протесте против Петра и тех, кто по его указанию сдирает три шкуры у крестьянина.

Белинский, говоря о тяготах народа и его протесте против неслыханных притеснений, писал: «Народ тогдашний по-своему был прав. Скажем же ему от всего сердца! «Вечная память и царство небесное!» Своими страданиями и тяжким терпением искупил он наше

счастье и наше величие». Одна Полтавская битва исторически оправдывает его. Именно после Полтавской битвы Петр произносит слова, которые в истинном свете освещают все его деяния: «За людей и отечество, не щадя своей особы, поступал, как доброму приводцу надлежит».

Трудно постигнуть дух той суровой эпохи, еще труднее правдиво передать его в художественных образах, через судьбы сталкивающихся между собой людей. Прав Белинский, думал в эти дни Толстой, реформы Петра были серьезным испытанием для народа, но когда же и где же великие перевороты совершались тихо и без отягощения современников?.. Осина ломится и сокрушается ветром, дуб мужает и крепнет в бурях. Вот и окрепла Русь. Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат. Великий Октябрьский переворот тоже трагически отозвался на судьбах многих людей, но сейчас миллионы строят новую жизнь. Молот истории, крушащий старое, беспощаден...

Почему на сталкивающихся с Петром так неотразимо действовало обаяние его личности? Все поразились его знаниям, быстроте усвоения, любознательности, предвидению в политической игре, естественности и непринужденности поведения, где бы и с кем бы он ни встречался. В первой книге Толстой показал, как Петр стронул Россию на путь преобразования, поехал сам и послал самых смысленных дворянских сыновей учиться у Запада жить по-современному, по-новому. Грубо, решительно, по-варварски покончил он с теми, кто стоял на пути его преобразований. Борьба за власть завершилась полной его победой. Настала пора подумать о государственном устройстве, где тоже, как и повсюду, надлежало все менять и налаживать. Не могла же старая боярская дума по-прежнему решать сложные государственные вопросы.

Неспокойно было в то время в Русском государстве. Стрелецкие розыски и казни прекратились, но на юге России каждую минуту мог вновь поднять голову давнишний и грозный враг — турки, с которыми все еще не был заключен мирный договор. Внутри государства не было проходу и проезду от разбойников. Воеводы в своих воеводствах стремились только к тому, чтобы быстрее разбогатеть, и больше думали о своем кармане, чем о соблюдении порядка и законности в стране. Отовсюду поступали жалкие крохи, а Петру нужны были большие деньги: его грандиозные замыслы нуждались в материальном обеспечении. В Воронеже полным ходом шло строительство флота для Азовского моря, возводились новые крепости, в частности Таганрог, набирались новые полки, нужны были новые люди, а следовательно, уже сейчас нужны школы, книги, а поэтому необходимо повысить государственные доходы. Для этого требовалось поднять жизненный уровень народа, укрепить его уверенность в завтрашнем дне, восстановить законность и порядок.

Прежде всего Петр учреждает Бурмистерскую палату по примеру западных стран, чтобы торговый люд был менее зависим от воевод-лихоимцев. Свои дела они должны решать сами, с помощью выборных авторитетных лиц. В это же время Петру передали челобитную дворового человека боярина Шереметева — Алексея Курбатова, в которой говорилось о новой статье дохода: об орленой бумаге, то есть о гербовой. По царски наградил дворового Петр за эту мысль: Алексей Курбатов получил звание дьяка оружейной палаты, которая должна была следить за сбором с продажи гербовой бумаги, кроме того, подарил ему каменный дом в Москве и поместье. Вот такие люди и шли за Петром, на таких и опирался он в осуществлении своих замыслов.

Толстой, изучая факты, сопоставляя их, отбирая наиболее проверенные и бесспорные, приходит к выводу, что в первой книге он недостаточно убедительно показал многогранность личности Петра, его способность полностью отдаваться затеянному делу. Многие документы, письма, воспоминания современников свидетельствуют о том, что Петр во всех делах и начинаниях принимал непосредственное участие. Днем вместе с плотниками, строителями, мастерами он прилежно орудует топором и молотом, конопатит, промазывает смолой корабельные пазы и швы, а большую часть ночи готовит инструкцию для посла, который вскоре должен отправиться в Турцию, чтобы заключить мирный договор. Толстой с удовольствием читал и перечитывал подлинные письма русского посла Украинцева, просидевшего около года в Турции, но все-таки добившегося необходимого и почетного мирного договора. И главным козырем в его руках оказался построенный в Воронеже военный флот. Впервые русские военные корабли стали бороздить Черное море, и султан не был готов противостоять им: его интересы были на Западе. Так Петру удалось обезопасить свои южные границы. Все его интересы после этого были связаны с Балтийским морем, а значит, Россия начинала длительную борьбу за прибалтийское побережье, за свои исконные славянские земли, столь необходимые для развития торговли, промышленности, культуры. «Сидим на великих просторах и нищие» — эти слова Петр произносит с горечью, тоской, негодованием. Страна отстала в своем развитии от Европы.

Начавшийся подъем национального сознания при Иване Грозном незаметно спал, а в Смутное время и после него было не до этого: так была разорена страна, так обнищали люди. И только при отце Петра постепенно стала обретать страна свою прежнюю мощь и силу. А Европа за это время уже далеко ушла в

политическом и экономическом развитии. В короткие сроки необходимо было догнать и перегнать наиболее развитые страны, чтобы не оказаться у них в кабале, не потерять национальной независимости. Наиболее опасным противником России на Балтийском море являлась Швеция, скорее шведская армия во главе с юным, отважным и сумасбродным королем Карлом XII. Непосредственному столкновению с ним и его армией предшествовала политическая борьба, в которой одержал победу Петр. Ему удалось столкнуть Польшу и Саксонию со Швецией, а самому усиленно готовиться к войне. И только после заключения мира с Турцией на 30 лет Петр двинул свои полки на помощь королю Польши и Саксонии Августу. Так началась Северная война, вокруг которой и сосредоточивается внимание Петра.

Большое внимание уделяет Алексей Толстой Карлу XII, «этому последнему, запоздавшему рыцарю-бродяге, последнему кондотьеру, 18-летнему озорнику, распоряжавшемуся судьбами Европы». «Этот кондотьер, — писал он Горькому, — сталкивается с варваром, государственным, строителем, организатором». Первоначально, задумывая во вторую книгу уложить восемнадцать лет нового столетия, Толстой непременно хотел показать в романе и поездку Петра с Лейбницем по Германии, и их разговор о колонизаторской роли России на Востоке: Лейбниц отводил России служебную роль, рассматривая ее «транзитным» государством, полуколонией; существенное значение в романе должно было приобрести движение раскольников, как движение русской нарождающейся буржуазии, своего рода пассивная, затяжная революция, избравшая для достижения своих целей самые реакционные средства и формы, вплоть до мракобесия включительно. Движение это было настолько целеустремленным, что уже при Екатерине II три четверти русского капитала и большая

часть промышленности (Север, Урал) контролировались раскольниками. Толстой надеялся показать во второй книге «короткий подъем торгового и промышленного капитализма, окончившийся дворянской контрреволюцией», надеялся показать и Полтавскую битву, Прутский поход. Ему казалось, что, только проследив эти важнейшие этапы исторического развития России, он сможет во всей многогранности раскрыть становление личности Петра. Он понимал, что перед ним стоит сложнейшая задача, поэтому так тщательно готовился к ее выполнению. 1 января 1933 года писал Горькому: «...Роман начал. Тут, конечно, главное — не утонуть в материале, но пока идет гладенько. Начинать было страшно, слишком ответственно...»

В эти дни многие спрашивали его, почему он все-таки снова отважился взяться за «Петра», когда у него столько накопилось замыслов о современности? Толстой обычно отвечал:

— Действительно, у меня возникало много желаний написать то о том, то о другом, столь же волнующем и интересном. Я не мог пройти равнодушно мимо творческого энтузиазма, которым охвачена вся страна наша. Но писать о современности, побывав раз, другой на наших новостройках, я не мог. Путь, по которому движется художник, сложен и не всегда прямолинеен. Вычислить траекторию с помощью четырех правил арифметики нельзя. Я решил откликнуться на нашу эпоху по-своему, так, как умею. Вот почему я снова обратился к прошлому. На этом материале я расскажу о победе над стихией, косностью, азиатчиной. Трудности возникают совершенно непредвиденные. Долгое время в исторической науке господствовала так называемая школа Покровского, которого считали крупнейшим историком-марксистом. Считалось, что он в своих работах дал впервые марксистское освещение всей

истории России. А между тем Покровский и его ученики вольно истолковывали исторические факты, подтасовывали их, подгоняли под свою концепцию. Мне приходилось читать его «Русскую историю». Да это же не история! Это сушеная вобла! Экономические справки могут быть полезны для романа, но живых людей, которые творят жизнь, в них не увидишь. Я во многом не согласен с Ключевским, но какой большой художник этот историк! Его главы о Петре захватывают. Однако все наши историки на один покррой. Все они не видят народа, массы, не знают народного языка. Что говорят они о Петре? Естественно, они признают огромную волю, талант организатора и богатую инициативу его личности, но тут же стараются всячески смазать его роль в истории России, выпячивая его крайнюю психическую неуравновешенность, жестокость, запойное пьянство, безудержный разврат. Эти историки говорят, что неправильно считать его царствование резким переломным моментом, оно лишь отчетливо развило наметившиеся ранее тенденции. Нельзя согласиться с такой упрощенной трактовкой истории. Играть фактами как заблагорассудится нельзя.

В журнале «Большевик» (№ 8 за 1932 год) была опубликована беседа И. В. Сталина с немецким писателем Эмилем Людвигом. В частности, в беседе Сталин высказался и о Петре: «...Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождающегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Вместе с тем укрепление национального государства происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры». И Толстой хорошо знал эту характеристику Петра, во многом отличающуюся от мнения Покровского и его последователей. Эта характеристика Петра и его роли в укреплении национального государства

полностью совпадала с его творческими планами. От фактов никуда не денешься. Поэтому уже с первых страниц романа он показал, как страдает и мучается народ под гнетом царских налогов. Жить стало еще труднее. Человек становится еще менее вольным в своих помыслах и поступках. Да и никуда не скроешься, как раньше, от людей Петра, проникавших в поисках солдат и работных людей в такую глушь, куда раньше никогда не добирались.

Как раз в это время появились статьи, в которых Толстого упрекали за модернизацию истории, за неверное освещение личности Петра, за идеализацию буржуазной культуры Запада, за культ личности ницшеанского тина, за образ героя одинокого и противостоящего толпе. В частности, в «Звезде» (№ 7 за 1932 год) И. Гринберг утверждал, что Петр в изображении Алексея Толстого весьма похож на Азефа, Дантона, Гарина. Словом, Петр вызывал решительное осуждение у этих критиков, да и весь роман они рассматривали как ошибку писателя, поддавшегося идеологически чуждым влияниям. Так что писателю нужна была большая отвага, чтобы закончить задуманное.

«Глупцы, — с досадой размышлял Толстой, сталкиваясь с подобными суждениями. — Неужели не могут понять, что нельзя изображать Петра как человека ненормального, всегда пьяного, неврастеника, страдавшего психастеническими припадками тоски и буйства, как человека, возненавидевшего старое и слепо принявшего новое, как человека, до конца дней своих оставшегося ребенком, больше всего возлюбившим игру и игравшим всю жизнь в войну, в корабли, в парады, в сборы, в иллюминации, в Европу, как о нем пишет Пильняк? Неужели, по мнению этих критиков, Пильняк более прав, считая, что Петр тридцать лет воевал только потому, что подросли его потешные войска и флоту

было тесно на Москве-реке? Неужели только древняя Россия прекрасна и нетленна, а Петербург — это ложь, мираж? Нет, Петр — это разум, вдох, воля, целеустремленность, а противостоит он стихийности, косности, реакции... Нет, это не аналогия, это не роман о нашем времени в образах XVII века... Это исторический роман об огромной, до сих пор неправильно освещавшейся эпохе русской истории на грани XVII и XVIII веков, об эпохе, которая может быть понята только теперь, через опыт 15 лет Октябрьской революции, строительства пятилетки и социалистического переустройства сельского хозяйства... Да, я желаю понять свою современность и для этого возвращаюсь на сотни лет назад... Ведь мы связаны крепкими нитями с нашей историей. Для истории такого большого народа, как в России, какие-нибудь 200–300 лет являются, конечно, двумя-тремя днями историческими, и поэтому корни очень многих вещей лежат глубоко исторически, и чтобы понять многое из совершающегося теперь, необходимо заглянуть в прошлое...»

Он знал, что написал нечто подлинное, успех его романа не так уж случаен, Горький зря не похвалит. И не раз он с благодарностью вспоминал свое деревенское детство, родную Сосновку, где пролетели детские годы. Если б он родился в городе, а не в деревне, то он не знал бы с детства многих вещей, которые оказались столь необходимыми при описании семьи Бровкиных, картин старой Москвы, религиозных празднеств, гаданий, даже зимней вьюги в степи. Глубокие детские воспоминания, давние рассказы матери, деда, тетки Марии Леонтьевны словно ожили и придали картинам старой Москвы яркую вещественность, необыкновенно точное ощущение эпохи. В его сознании возникали образы людей того времени — тоже из давних представлений о старом человеке его детства.

«Личность Петра, — говорил Толстой в одной из бесед того времени, — была вытолкнута на поверхность эпохи группой западников, и отчасти немецкой колонией в Москве. Личность Петра оказалась чрезвычайной и сама стала воздействовать на эпоху. Петр становится фокусом приложения действующих сил, становится во главе классовой борьбы между помещным дворянством и нарождающейся буржуазией. Но фокусом не пассивным, а действенным, волевым. Эпохе нужен был человек, его искали, и он сам искал применения своим силам. Здесь было взаимодействие. Конечно, он один ничего сделать не мог. Вокруг него накапливались силы...»

Работая над «Петром», Толстой иной раз проверял ту или иную только что написанную сцену на слушателях. Одним из таких постоянных слушателей был Лев Коган, живший неподалеку от Толстого. И вот, наработавшись, Толстой выходил проветриться. В лыжном костюме и шапке появлялся он перед окнами Льва Когана, тихо стучал в окно его кабинета, тот столь же тихо открывал ему, и они долго беседовали: было уж далеко за полночь, и все уж спали. Толстой зажигал спиртовку, присаживался к письменному столу и, потирая холодные с мороза руки, вполголоса начинал рассказывать о том, что только что написал. Он был доволен, имея рядом собеседника, с которым можно поделиться только что пережитым и таким образом проверить себя. А рассказывать Алексей Николаевич был мастер. Он поднимал очки на лоб или вовсе снимал их, и глаза его словно освещались каким-то мягким внутренним светом. Отпивая маленькими глотками кофе, он начинал свой рассказ. Увлечется — вскочит, бегаёт по комнате, изображает в лицах целую сцену, и как!

В Толстом, несомненно, были задатки крупного актера, и мимика и жест его отличались большой выразительностью, а дикции могли бы позавидовать

многие актеры. «Помню, — рассказывает Коган, — он замечательно разыграл сцену путешествия посла Украинцева с капитаном-португальцем Памбургом в Константинополь:

— Представьте себе такую здоровенную медно-красную морду с заплывшими пьяными глазами и с растопыренными усищами, как у кота. Бандитская рожа. Голос как из бочки... Это — Памбург.

Он очень живо изобразил, как Украинцев и Памбург, почти не понимая друг друга, пили «до изумления».

Толстой иногда рассказывал о дальнейших своих намерениях, о предполагаемых сценах и эпизодах, но обычно только в самых общих чертах. По-видимому, рассказывать он мог лишь то, что видел в своем изображении и как нечто завершенное, вполне законченное. До какой степени он добивался этой законченности, какое огромное значение имела для него иная с первого взгляда даже мелкая деталь, показывает следующий случай.

Однажды я застал его вечером за разглядыванием старинной гравюры петровского времени, — продолжает Коган. — Гравюра была прикреплена кнопками к наклонному деревянному пюпитру, стоявшему на письменном столе. На гравюре изображен был Петр во весь рост. Алексей Николаевич через лупу напряженно разглядывал пуговицы кафтана Петра, стараясь выяснить, гладкие они или имеют какое-то тиснение.

— Нельзя понять, — досадовал он, — кажется, что-то есть, а что — не разобрать, орел ли? А ну-ка взгляните вы, я ведь плохо вижу.

Но и я ничего не мог разобрать. Мне казалось, что на пуговицах нет никаких изображений.

— Ну добро бы мундир был военный, тогда понятны были бы тиснения на пуговицах. А тут ведь не мундир, а кафтан...

Толстой неожиданно впал в несвойственное ему уныние и начал жаловаться, что из-за проклятых пуговиц он совсем потерял образ Петра и дальше не может работать. Однако он тут же вспомнил, что в Эрмитаже имеется сундук с вещами Петра, и решил немедленно ехать в Эрмитаж и дознаться, нет ли в сундуке сходного кафтана Петра. Но ехать нельзя было: на дворе стояла ночь, Толстой совсем расстроился.

На следующий день перед вечером он зашел ко мне и рассказал, что ночью почти не спал, а с утра поехал в Эрмитаж. Заветный сундук принесли в кабинет директора и открыли. Среди вещей Петра там оказался и кафтан того же фасона, что и на гравюре.

— Пуговицы были гладкие, — засмеялся Алексей Николаевич, — за это познание я заплатил бессонной ночью и добрый час чихал от проклятого нафталина. Но зато я снова вижу Петра».

Так работал Толстой над романом о Петре Великом. Но если б он смог тогда закончить свое великое произведение... Видно, не суждено. Слишком беспокойное было время, заманчивое своей новизной и неповторимостью. А Толстой был из тех, кого манила и звала эта новизна, сулившая острые переживания и впечатления, так необходимые, по его мнению, художнику. Не успел он сдать в печать первые главы «Петра», как неотложные дела по организации съезда писателей закружили его в своем водовороте. Когда уж тут писать... «Мелочи» на этот раз одержали верх, трагически отозвавшись на его здоровье да и на творчестве.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
«ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ДАЛА МНЕ ВСЕ»

ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ

Новый год Толстые встретили невесело. Накануне умерла дочь Юрия Шапорина от миокардита, долго мучилась, и все «детскоселы» близко к сердцу приняли горе друга. Тяжело переживал и Алексей Толстой, который не любил смерть и всячески избегал близкого с ней соприкосновения. А тут никуда не денешься... Из всех грехов самый тяжкий — уныние...

Он не любил бывать на похоронах, на поминках. Горе друга измучило и его. О серьезной работе не могло быть и речи. И Толстой за весь день написал только письмо к Горькому, в котором рассказал о пьесе, поблагодарил за критику еще раз, сообщив, что работа над романом идет полным ходом. Но не только личные переживания волновали Толстого в эти дни; все больше и больше своего времени отдает он общественным делам; все больше и больше людей обращается к нему за помощью, зная, что он ни в чем не может отказать, если есть возможность помочь. В этот день в очередном письме Толстой обращается к Горькому прежде всего с общественными вопросами. «...К вам — два дела. Первое — о *Колтоновской*. Она дважды хлопотала о пенсии, — сначала через ВССП, потом, в 31 г., через Литфонд. Оба раза ей отказали на том основании, что будто бы у нее нет десятилетнего стажа, несмотря на то, что в представленных ею документах было о ее литературной командировке в Петроград в 1921 г... Весь вопрос здесь идет о ста рублях пенсии.

Второе дело. Мы во Всероскомдраме затеяли всесоюзный конкурс на комедию (посылаю вам отчет заседания). Ваше доброжелательное участие к конкурсу и ваше участие в жюри совершенно необходимы. Было бы очень хорошо, если бы вы могли написать о комедии

(о драматургии). Писательской молодежи необходимо указать русло большой драматической культуры. Все драмкружки работают вразброд и кустарно (исключая политической установки). Современной советской драматической школы нет. Прогремит какая-нибудь пьеса, и все сразу начинают брать это за образец, не сообразуясь, что часто успех на сцене еще не означает роста культуры, и какой-нибудь гремящий автор Викторин Скрежезубов просто попал в точку...»

Прошло несколько дней. И обычные хлопоты закрутили Толстого. Жизнь брала свое. 10 января исполнялось Толстому пятьдесят. К этому времени он решил приурочить и свой 25-летний юбилей творческой деятельности, хотя печататься начал несколько раньше. Одним из первых в эти дни побывал у него в Детском корреспондент «Литературной газеты» Борис Реет. С большим интересом разглядывал он, поднявшись по ступенькам толстовского дома и войдя в столовую, старые портреты, хрусталь в прозрачной горке, петровскую мебель. Встретивший его Алексей Николаевич стал рассказывать о своих удивительных приобретениях. Старинные вещи он действительно любил и знал в них толк. Мог об этом говорить часами. И только потом повел своего гостя в кабинет. Внимание корреспондента привлекли два больших шкафа, плотно набитых книгами.

— Вот вам наглядный труд за мои двадцать пять лет, — сказал Толстой. — Тут еще не все собрано. Много растерял.

— Это, вы считаете, мало? Да тут сотни книг! Сотни изданий! Вряд ли у нас найдется писатель, которому бы посчастливилось столько написать и издать...

— Каторжный труд... Сколько сил потрачено... — Алексей Толстой вынимал одну за другой написанные им когда-то книги.

— А ваша первая книга сохранилась?

Толстой достал с самого верха одного из шкафов небольшую книжечку и передал ее Ресту.

— Это был жалкий опыт. На редкость скверная книжка...

— Редко кому удавалось, Алексей Николаевич, начинать удачно. Все ведь кому-то подражали, у кого-то заимствовали, а потом стыдились...

— Да, все верно, и мне было стыдно своей первой книжки, хотя она не такая уж плохая.

— Расскажите, как вы начинали? Что послужило толчком к писательству? И вообще расскажите о себе поподробнее.

— Нет, подробная и обстоятельная автобиография должна писаться в конце жизни. Тогда, если ценен художник, ценен и его рассказ о себе. А что можно сказать о себе на середине пути? Я, конечно, говорю о середине творческого пути. Что из сделанного важнейшее? Какие события жизни должны быть особенно отмечены? Не знаю...

Толстой задумался, словно действительно вспоминал самые значительные события своей жизни, левая рука потянулась к очкам, а правая прошла сверху вниз по лицу, «вымыв» его.

— Вот с этой книжкой стихов я пришел в литературу... А до этого реальное училище в Самаре, в 1901 году я студент Петербургского технологического института, литературой интересовался мало, разве, как и вся молодежь, писал иногда плохие стихи...

Начал писать стихи и никогда не думал, что буду писать прозу. Я много раз пробовал, но ничего не выходило. Это были скучные, пошлые рассказы. Многие из них я даже не закончил. Как-то в Коктебеле я вдруг почувствовал противоречие. Смешно сказать, но это истинная правда: я всегда был толстым, здоровым человеком, а стихи писал лениво. Мне стало казаться, что это мало почетное занятие: такому здоровому

человеку полдня искать рифму. Это объясняется, конечно, тем, что у меня не было темперамента поэта. Я и сейчас пишу стихи служебные, например, для оперы «Полина Анненкова». Но прозаической книгой была только четвертая.

— «Заволжье»?

— Да, «Заволжье»... В 10-м году в «Аполлоне» была напечатана «Неделя в Турене», с тех пор всерьез пишу только прозу. В том же году опубликовал и «Заволжье», и «Аггея Коровина», и «Сватовство», и «Казацкий штосс». В том же году вышли «Сорочьи сказки» и сборник повестей и рассказов в издательстве «Шиповник», на эту книгу обратил внимание Горький. Сейчас это уже многим известно. В письме Коцюбинскому он писал, что Алексей Толстой обещает стать большим и первостатейным писателем. До сих пор стараюсь оправдать его надежды. Уж не знаю, оправдал ли... Каждая книга дается с трудом... После «Заволжья», вы знаете, были написаны романы «Хромой барин» и «Чудаки», построенные на семейной хронике, собранной на Волге, моей родине, где прошло мое детство. На этом заволжские материалы оказались исчерпанными. Тогда наступило для меня какое-то распутье. Это был самый печальный период моей литературной деятельности. Я не владел ни словом, ни стилем... Я жил в замкнутой среде модернистов, в упадочническом кругу писателей. Я не видел жизни, не мог отобразить современности. Начал роман о современности, но так и не закончил... 1912–1914 годы были годами распутья. Пытался вырваться из этой среды, но ничего не получалось. Уехал в Москву, думал, там поспокойнее... И вот война... Поехал военным корреспондентом от «Русских ведомостей». Сейчас я понимаю, что мои фельетоны плохи, но зато на фронте я увидел трагедию жизни, трагедию народа. Я вышел из заколдованного круга и увидел все исторические процессы. Правда, тогда еще

разобраться в них не мог... В этом переломном периоде застала меня революция 1917 года. Первая часть трилогии «Хождение по мукам» («Сестры»), написанная мной в 1919 году, по существу, начинает новый этап моего творчества. Эта книга — начало понимания и художественного вживания в современность. Можно понимать современность разумом, логикой, чувством. Художник же должен понимать современность, находя художественные образы. И мой путь от «Сестер» к «Петру» — это путь художественного вживания в нашу эпоху. Вживания диалектического. Я понимаю эпоху в ее движении, а не как неподвижный отрывок времени. И правильно, по-моему, отметил один из критиков, что «Петр I» — это подход к современности с ее глубокого тыла...

— А что вы сейчас делаете? Над чем работаете?

— Я заканчиваю сейчас вторую книгу «Петра I». Потом приступлю к третьей, заключительной части «Хождения по мукам», которая должна отобразить 1919–1920 годы. В печати уже сообщалось, что я буду работать и над пьесой о Болшевской коммуне имени ОГПУ...

— Какую роль в вашей судьбе сыграла Октябрьская революция?

— Если бы не было революции, в лучшем случае меня бы ожидала участь Потапенко: серая, бесцветная деятельность дореволюционного среднего писателя. Октябрьская революция как художнику мне дала все. Мой творческий багаж за десять лет до Октября составлял четыре тома прозы, за пятнадцать последних лет я написал одиннадцать томов наиболее значительных моих произведений.

— Алексей Николаевич, еще один вопрос... Может, самый необходимый в нашей сегодняшней беседе... Как вы стали таким популярным в широких народных

массах?.. Вы самый читабельный, так сказать, писатель, за исключением, пожалуй, Горького. Почему?

— До 1917 года я не знал, для кого я пишу (годовой тираж моих книг, кстати, был в лучшем случае 3000 экземпляров). Сейчас я чувствую живого читателя, который мне нужен, который обогащает меня и которому нужен я. Двадцать пять лет назад я пришел в литературу как к приятному занятию, как к какому-то развлечению. Сейчас я ясно вижу в литературе мощное оружие борьбы пролетариата за мировую культуру, и, поскольку я могу, я даю свои силы этой борьбе. Это живущее во мне сознание является могучим рычагом моего творчества. Я вспоминаю, как в первое свое литературное десятилетие я с трудом находил тему для романа и для рассказа. Теперь я задумываюсь, как мало осталось жить и как мало сил в одной жизни, чтобы справиться с замечательными темами нашей великой эпохи... Для художника важно, как он читает книгу жизни и что в ней читает. Но для того, чтобы читать книгу жизни, а не стоять растерянным перед нагромождением явлений, нужна целеустремленность и нужен метод. Если я расту как художник, то этим я обязан тому, что мою художническую анархию ощущений, переживаний, страстей я все глубже пронизываю целеустремленностью, все тверже подчиняю методу. Подлинную свободу творчества, ширину тематики, не охватываемое одной жизнью богатство тем я узнаю только теперь, когда овладеваю марксистским познанием истории, когда великое учение, прошедшее через опыт Октябрьской революции, дает мне целеустремленность и метод при чтении книги жизни. Может, этим объясняется успех моих книг... Может, еще и тем, что я все время думаю о читателе, чтобы он не скучал, чтобы было интересно... Ну, видимо, уморил я вас своими рассуждениями...

Пойдемте лучше обедать... За обедом продолжим нашу беседу...

Толстой встал, а корреспондент все еще писал, не полагаясь на свою память.

ТВОРЧЕСКАЯ ЖАДНОСТЬ

25 января 1933 года в Ленинградском Доме искусств состоялось необычное заседание: сюда пришли писатели, режиссеры, артисты, художники, партийные работники, читатели и зрители, чтобы отметить творческий юбилей одного из любимых своих писателей и драматургов.

Появление Толстого за столом президиума собрания было встречено шумными, долго не смолкающими аплодисментами. Собравшиеся стоя приветствовали создателя замечательных произведений национального искусства. Во вступительном слове ответственный секретарь оргкомитета Ленинградского Союза писателей И. Мартынов говорил об огромных творческих возможностях юбиляра, говорил о его популярности, глубоких связях с новой жизнью.

— Алексей Николаевич, — сказал он, — своей творческой деятельностью, своими произведениями связал себя с трудящимися Советской страны. Эта связь с рабочим классом, строящим социалистическое общество, обеспечивает наиболее сильное и правдивое отображение писателем нашей эпохи... Большой интерес вызвал у читателей всех поколений его роман о Петре Первом... Автор сейчас работает над второй книгой, он согласился почитать сегодня отрывок из этой книги, не опубликованный еще в печати. Пожалуйста, Алексей Николаевич!

Толстой вышел на трибуну, разложил листки и посмотрел в зал. Все затихли, приготовились слушать. Сколько уж раз он вот так выходил на трибуну читать свои произведения, но никогда еще не испытывал такое волнение.

— «Князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а домашнему — Роман Борисович, в одном исподнем сидел на краю постели, кряхтя, почесывался — и грудь и под мышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку: брито, колко, противно... Уа-ха-ха-а-а... — позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало, — мутно и скучно...»

Голос Толстого звучно и сочно раздавался в тишине. И перед слушателями возникали как живые исторические фигуры минувшего: Роман Борисович Буйносов, его дочери, сын Мишка, его жена, старший приказчик Сенька, княгиня Авдотья, боярыня Волкова. Все перевернулось в доме Буйносова, нет прежнего покоя и чести хозяину. Весь уклад жизни изменился. Как хорошо было раньше! В прежние-то годы каждое утро он в куньей шубе и бобровой шапке до бровей проходил по своему двору, садился в возок и, сопровождаемый поклонами многочисленной дворни, отправлялся в царский дворец. А теперь? Все минуло... Разорил молодой государь свое царство, жить больше нечем. А куда деваться? Придется обождать да потерпеть...

Нельзя было без улыбки слушать о размышлениях и поведении несчастного князя Буйносова, настолько автор точно и зримо представил его в действиях и поступках, в разговорах со своими ближними и наедине с самим собой. Уж очень не хочется притворяться князю, а приходится. Получается неуклюже, неестественно. И вот это противоречие вызывало улыбку у слушателей. К тому же и сам автор читал так, словно перед слушателями проигрывал роль, вживаясь в каждого своего персонажа, одухотворяя его неповторимыми жестами, интонациями...

— «...Боярыня Волкова уехала. Роман Борисович, посидев за столом, велел заложить возок — ехать на службу, в приказ Большого дворца. Ныне всем сказано служить. Будто мало на Москве приказного люда.

Дворян посадили скрипеть перьями. А сам весь в дегтю, в табачище, топором тюкает, с мужиками сивуху пьет...

— Ох, нехорошо, ох, скушно, — кряхтел князь Роман, влезая в возок», — закончил Толстой.

После этого председательствующий предоставил слово для приветствия Михаилу Чумандрину, одному из руководителей бывшего РАППа. Один за другим поднимались на трибуну Алексей Чапыгин, М. Козаков, Николай Тихонов, М. Соколовский...

Зачитывали телеграммы, поступившие от различных учреждений и лиц. Их было так много, что все прочитать было невозможно. Последним выступил Алексей Толстой.

— Я почувствовал, — сказал он, — что я еще молод. Я благодарю моих друзей. Я благодарю моих товарищей.

Я благодарю нашу эпоху и тех, кто ее строит, кто дал мне возможность работать — мне и всем нам.

Но дороже всех выступлений было письмо Горького, присланное из Сорренто: «...Узнав стороною, что Вы, многоуважаемый тезка и почтенный друг, отработали в литературе русской уже 25 лет, мы, соррентинцы: Вс. Иванов с женой, Торквато Тассо, Сильвестр Щедрин, Марион Крауфорд, Генрих Ибсен и др., решили послать Вам приветственную и благодарственную депешу. Но — не послали по причине преждевременной смерти некоторых и потому что остальные разбежались неожиданно. Остался один я и сородичи мои. Посылая шутки к черту, я от всей души горячо поздравляю Вас. Вы знаете, что я очень люблю и высоко ценю Ваш большой, умный, веселый талант. Да, я воспринимаю его, талант Ваш, именно как веселый, с эдакой искрой, с остренькой усмешечкой, но это качество его для меня где-то на третьем месте, а прежде всего талант Ваш — просто большой, настоящий русский и — по-русски — умный, прекрасно чувствующий консерватизм, скрытый во всех ходовых «истинах», умеющий хорошо

усмехнуться над ними. Вы сделали немало весьма ценных, но еще недостаточно оцененных вещей, есть и совсем непонятные, и — хотя это грустно, а — не плохо. Прозрачность — качество весьма похвальное для оконного стекла, сквозь него — все видно, но самого-то его как будто и нет, в бинокле, микроскопе, телескопе — тоже стекло. И — остальное Вы сами понимаете. Мне еще хочется сказать Вам, что для меня Вы, несмотря на Вашу четвертьвековую работу, все еще «начинающий» и таковым пребудете даже до конца дней. «Петр» — первый в нашей литературе настоящий исторический роман, книга — надолго. Недавно прочитал отрывок из 2-й части — хорошо! Вы можете делать великолепные вещи. Ваш недостаток — торопливость. Вот читаю сейчас «Хождение по мукам» — «18-й год», — какое умение видеть, изображать! Но — есть досадные, недописанные страницы. Ну, это уже начинается старческая воркотня. Баста! Крепко обнимаю, будьте здоровы! Сердечный привет милой умнице Тусе».

В ответ на это письмо Толстой писал: «Дорогой друг, Алексей Максимович. Я был очень обрадован и взволнован Вашим письмом. За двадцать пять лет работы было нужно, чтобы такой художник, как вы, дали оценку работы. В этот год я, как никогда, чувствую, что все еще впереди, все еще начинается. Может быть это неверно, но важно так ощущать. И в этом, во многом, повинны вы... Сдал в печать первые листки «Петра», снова работаю над пьесой для МХАТа. В Ленинграде и здесь (т. е. в Москве. — *В. П.*) были мои юбилейные дни. Все хорошо, если бы в сутках было бы 48 часов. Мне бы очень хотелось быть и эту весну у вас, в Сорренто, — но невозможно, пока не кончу первую книгу 2-й части, никуда не двинусь из Детского. Что вы пишете? На днях видел у вахтанговцев «Булычева». Вы никогда не поднимались до такой простоты искусства. Именно таким должно быть искусство — о самом важном,

словами, идущими из мозга, — прямо и просто — без условности форм. Спектакль производит огромное и высокое впечатление. Изумительно, что, пройдя такой путь, вы подошли к такому свежему и молодому искусству. В театре мне говорили, что «Достигаев» — лучше. Не знаю. Обнимаю вас...»

Юбилейные хлопоты отняли много сил и времени. А тут еще началась подготовка ко Второму пленуму оргкомитета советских писателей, в повестке дня которого стояли вопросы драматургии, очень близкие для Толстого. Естественно, что он должен был принять самое деятельное участие в этом пленуме. Председатель оргкомитета И. М. Гронский просил Толстого подготовиться к выступлению об актуальных проблемах драматургии, и Толстой не мог отказаться от предложения, тем более что и Горький обращал его внимание на эти вопросы. Работа над «Петром» то и дело откладывалась. 12-19 февраля в Москве состоялся Второй пленум оргкомитета Союза писателей СССР.

— Перед нами задача — поднять драматургию до той высоты, когда это трудное синтетическое искусство станет достойным отражением нашей эпохи, станет одной из монументальных частей новой культуры, — говорил на пленуме Толстой. — Все мы понимаем размеры великого плана перестройки страны, еще недавно бывшей унылыми задворками Европы, в страну с высшими, на наших глазах впервые осуществляемыми формами хозяйства, духовной культуры и человеческой личности...

Перестройка совершается по-большевистски, взрывая революционное напряжение всех сил страны. Для остального мира наш процесс представляется как величественное зрелище, для одних грозное, для других долгожданное... Картины человеческой трагедии торопливо сменяются одна другой с неумолимой логикой. Художник, творец, драматург не может не быть

захваченным до последнего атомного ядра всем совершающимся.

Толстой откровенно говорил о болезнях, которыми страдали многие современные драматурги. И главным образом о том, что довольно часто драматурги схватывали только внешнюю правду явления и человека, не проникая в их психологическую суть. Вот почему в пьесах различных авторов появлялись весьма похожие друг на друга персонажи с портфелями и в одинаковых серых рубашках.

10 марта Алексей Толстой выступил в Коммунистической академии в Ленинграде на вечере, который был посвящен годовщине со дня смерти Карла Маркса. На следующий день в вечернем выпуске «Красной газеты» это выступление было опубликовано под названием «Марксизм обогатил искусство». 23 апреля к годовщине постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» Толстой написал статью «О том, как нужно обращаться с идеями». В начале апреля встретился с коллективом редакции журнала «Смена», прочитал отрывок из романа «Петр Первый» и ответил на вопросы. И сколько таких хлопотливых дел отвлекало его от самого серьезного и важного дела — работы по завершению второй части романа «Петр Первый»! А главное, Алексей Толстой согласился сделать доклад о драматургии на предстоящем в мае, как предполагалось, съезде советских писателей. Много времени пришлось потратить на этот доклад. Толстой его почти закончил, а съезд перенесли на осень.

Снова оживились Горки, ставшие в связи с приездом Горького своеобразным центром подготовки съезда советских писателей. Часто бывает там и Толстой. В одном из писем он жалуется, что его, конечно, нагроулили работой. Все эти дни, бывая в Горках, Толстой читал пьесы как председатель конкурсной комиссии. «...

Конкурсная комиссия собирается только 26. Мне подвалили читать 10 пьес... Ал. М. очень мил. Сегодня опять еду туда, — читать пьесы. Это кошмар...»

Больше месяца Толстой провел в Москве. Читал новые главы романа у Гронского в присутствии Куйбышева, Микояна, Фадеева, Леонова, Гладкова, Москвина... Все собравшиеся дали восторженный отзыв, и Толстой переживал нечто вроде триумфа. Потом Художественный театр предложил ставить немедленно пьесу «Петр Первый», если автор согласится сделать кое-какие поправки. Пришлось этими поправками и заняться в Москве, чтобы не отрываться от режиссуры. Много времени ушло и на хлопоты о машине: Толстым непременно надо было поменять свою старую на новую. Все эти большие и малые заботы порой надолго отрывали от работы за письменным столом. И не мудрено, что от такой напряженной жизни Толстому иной раз хотелось куда-нибудь убежать, побывать наедине с самим собой. И когда возникла мысль о поездке на Север для участия в подъеме парохода «Садко», затонувшего в Кандалакшском заливе еще до революции, Толстой немедленно согласился. Вместе с Шишковым, Никитиным, Соколовым-Микитовым, Борисом Липатовым отправился на подъемные работы, которые должны были состояться 23 августа, но почему-то задержались до 3 сентября. «...Пишу тебе из фантастического места: в лопарской горной тундре, на берегу озера, в доме горной станции, в 12 верстах от Хибиногорска. Здесь мы живем 4-й день (Шишков и Никитин)... Приходится ждать, и мы, чтобы не терять времени напрасно, выехали в Хибины. Здесь изумительно. Сегодня жаркий летний день. Сейчас едем в совхоз, совершенное чудо за Полярным кругом. Впечатлений очень много. И, что интересно, — впечатления многое мне дают для Петра», — писал Толстой Наталье Васильевне в Крым.

Один из участников этой поездки, писатель Николай Никитин, вспоминает следующее:

«...В Толстом было много творческой жадности. Вспоминаю одну нашу поездку, после которой он собирался «отразить жизнь водолазов». И как в этой же поездке он заинтересовался тысячей многих «превосходных вещей». И что самое главное, именно в эти дни в нем, в его писательском арсенале зародилось многое, касавшееся русского Севера, что и вошло впоследствии в роман о Петре, — люди, ощущения, пейзажи. Как же это было? Мы едем вместе на подъем «Садко». Он, Шишков и я. Но ему мало было только этого подъема. Он изменил весь маршрут, нарушил все планы начальника ЭПРОНа Фотия Ивановича Крылова.

Беломорканал, пристани, шлюзы, капитаны, чекисты, заключенные, консервные фабрики Кандалакши, океанографические станции, совхоз «Имандра», опытные полярные поля, Хибины, рудники, горнорабочие, инженеры, старообрядческие деревни на Выге — все необходимо ему, кроме водолазов и кроме подъема парохода, затонувшего еще в годы первой империалистической войны.

Он говорит о горных породах как металлург с геологами и с академиком Ферсманом. Со старухами крестьянками в деревнях беседует о «старой вере», «двуперстии», покупает медные иконы, отлитые здесь несколько веков тому назад, ходит на охоту, ловит форель, участвует в литературных вечерах... Вячеслав Яковлевич еле дышит, а Толстой засыпает как ребенок и встает с прекрасным цветом лица. Каждый день он обмывается с головы до пят, встает раньше всех и, фыркая над ведром, будит Шишкова своей обычной, постоянной шуткой:

— Работать!.. Вячеслав!.. Работать!..

Так всегда начинался «толстовский» день в нашей поездке.

Тут же, то есть среди всех этих многообразных интересов, зреют в нем замыслы и, очевидно, возникают «подробности» Петровской эпохи, подробности о скитах петровского времени и старцах, о петровских людях, шедших в глубь этих таежных северных лесов, чтобы «рушить» старое и подымать новь.

Помню Толстого в кожаном пальто, в военно-морской фуражке, подаренной Ф. И. Крыловым, которую он всегда носил в этой поездке и которой даже «гордился». Мы плыли на маленьком гидрографическом судне среди шхер Заонежья. Толстой часами разговаривал с капитаном о путях Петра в этой глуши.

Помню, как он стоял, опираясь о поручни, смотрел на маленькие острова и зеркальные протоки, по которым мы шли, как с берега, с подлеска, вплотную подбежавшего к воде, сильный ветер бросал на палубу охапками осеннюю листву...

— Здесь все Петр, все Петр... — тихо говорил Алексей Николаевич, чуть прищурясь, и точно уже прощупывал глазами свои будущие страницы, точно читал еще не написанное.

Так рождался «север» в романе о Петре».

Вернувшись 11 сентября из поездки, Толстой прежде всего написал Горькому: «Дорогой Алексей Максимович, я только что три недели провел на Севере (Хибиногорск, Нивастрой, Кандалакша, канал). О замечательных впечатлениях расскажу вам при свидании. Дело вот в чем: повсюду — на стройках, в лагерях, в городках — ужасающий книжный голод, проще говоря — никаких книг нет, какие-то жалкие обрывочки. Книга нигде так не нужна, как на Севере. Первый вопрос у каждого — дайте книг. Мы (Шишков, Никитин и я) ехали целый день на дрезине. Ночью с фонарем подходили начальники станций, — «передайте, чтобы прислали книг». О заведующих клубами и библиотеками и говорить нечего. На Нивастрое (где мы провели один из лит. вечеров) —

молодежь, ударники, тут же вынесли решение: «В объявленном штурме сентябрьской программы — лучшей бригаде присвоить имя Ленинградского Союза писателей». На Медвежьей горе просили передать Оргкомитету — взять культурное шефство над строительством Б-Б комбината. А сейчас там начинают строиться социалистические города (на 50 тысяч жителей). А книг нет, и книг не будет, если не будет обращено внимание Книгоцентра на то, что книгу нужно завозить в первую голову туда, где в полярную ночь работают в три смены, где книга нужнее хлеба.

Алексей Максимович, если бы вы могли оказать давление на ОГИЗ, чтобы обратить внимание ОГИЗа на всю важность снабжения книгами Севера. Я только передаю вам вопль десятков тысяч людей».

В Детском Толстой с удесятеренной энергией взялся за продолжение «Петра»: тут и доработка пьесы для МХАТа, и сценарий для кинофильма, и, конечно, вторая книга романа. А в промежутках — множество газетных статей и публичных выступлений: в день 15-летия Ленинского комсомола, в годовщину Октябрьской революции... Выступает на Ленинградской партийной конференции, приветствует Е. Корчагину-Александровскую в дни ее 45-летнего юбилея сценической деятельности, принимает участие в дискуссии о языке. А 2-я часть романа «Петр Первый» все-таки была закончена к 22 апреля 1934 года. Новая редакция пьесы тоже закончена, усиленно шла работа над киносценарием, и сколько еще было написано статей, сколько ему приходилось встречаться с читателями, сколько потрачено сил во время съезда писателей, состоявшегося в августе 1934 года! Алексей Толстой не мог иначе, он жил и работал в полную меру своих возможностей и сил. И сердце его не выдержало такой нагрузки: 27 декабря 1934 года у него произошел инфаркт миокарда.

ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ

Необычная тишина стояла в Детском в январские дни 1935 года: главный заводила всех веселых забав оказался прикованным к постели. Опасались самого худшего. В доме все притихли. Через несколько дней болезнь отступила, и Толстой уже прилаживал папку у себя на коленях, чтобы делать первые наброски сказки для детей «Золотой ключик». Наталья Васильевна отбирала у него папку: врачи строго наказали ей, что работать ему ни в коем случае нельзя. Алексей Николаевич обижался, но ничего поделать не мог. Оставалось Только одно: думать. И он целыми днями перебирал в памяти события последних месяцев. Почему так случилось, что он сейчас лежит прикованный к постели? Казалось, жизнь раскрывала ему такие горизонты, какие и не снились. Съезд был для него, в сущности, триумфальным. Все говорили о его докладе как самом содержательном и коротком. Тысячи три слушали его очень внимательно. Правильно он сделал, что читал доклад не по печатанному, а перед самым выступлением переделал его. Много из него выкинул и кое-что развил. Тогда он же познакомился с чудесными людьми. Грузины Тициан Табидзе и Паоло Яшвили после съезда пригласили его в Грузию, славные армянские писатели — в Армению, кто только не приглашал, каждому хотелось поближе с ним познакомиться. Но выбора у него не было: Туся была в Кисловодске и ждала его приезда. И как хорошо все складывалось. По Военно-Грузинской дороге проехали в Тифлис, потом несколько дней в Кахетии, затем две недели в Цхалтубо, потом — Армения, Батум...

Фильм, конечно, тоже доставил много хлопот, да еще и доставит. Как оскандалился Борис Липатов со

сценарием! Надо же, написал такую возмутительную и наглую халтуру, где нет ни строчки из его романа и ни черточки его Петра. Пришлось выкинуть из дела и самому взяться за сценарий вместе с режиссером Петровым. Сколько дней потратил, работая над планом сценария. Может, дело и стоило свеч, как говорится, фильм-то о Петре предполагается грандиозный, сниматься будет одновременно с русскими и французскими актерами. В конце ноября планировалась поездка в Париж с Петровым для рекламы фильма. Ничего не жалеют для этого фильма.

А еще читал рукописи по гражданской войне, делал выписки. Надо было тогда же все это прекратить, чувствовал себя неважно, каждый день болела голова, и не просто болела, а как-то по-особенному. А как же прекратить, когда работники архива дали ему потрясающий материал для «19-го года», материал совершенно неизвестный, в романе это будет сенсационно... Или нет... Все началось, пожалуй, накануне съезда и во время съезда. Уже накануне съезда он написал 11 статей и статейек. Вот уж когда он устал до последних человеческих пределов. А потом — съезд. Днем и вечером, Алексей Максимович несколько раз просил его бывать, не пропускать заседания, потом замучили банкеты после одиннадцати вечера. Какое же надо здоровье, чтобы все это выдержать... Никогда он так не уставал, как тогда... Да и такой почет ему был тогда отовсюду, какого никогда не бывало. Как же тут было устоять... Отдохнуть-то отдохнул, но, видимо, где-то все-таки осталась усталость. А то разве стал бы он просить Туею никому не говорить о его возвращении накануне Октябрьских торжеств. Иначе его действительно замучили бы статьями и разными интервью. Да и в Москве ему пришлось выступить на предсъездовском колхозном собрании, а потом скрываться от газетчиков... Никогда так не хотелось ему

покая, как после съезда. И не удалось... И вот возмездие за расточительность... Приходится лежать... Сколько уж дней... Ничего серьезного... Ничего серьезного...

Толстой был очень недоволен врачами, категорически запретившими ему работать. Наталья Васильевна в эти дни не отходила от него. И болезнь постепенно отступала, врачи разрешили друзьям и товарищам навещать его.

Однажды зашел Николай Никитин. Толстой обрадовался старому другу.

— Слушай, — сказал Толстой после того, как ответил на вопрос о своем здоровье, — у меня есть один замысел. Рассказать?

— Рассказать-то, конечно, рассказать, но тебе можно так долго говорить-то? Не прогонит Наташа меня раньше времени за это?

— Ничего... Так слушай... Когда я был маленький, — очень, очень давно, — я читал одну книжку, она называлась «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». Не читал?

— Нет, что-то не помню.

— Деревянная кукла по-итальянски — буратино. Повесть произвела на меня очень сильное впечатление, но куда-то сразу затерялась, и я не мог перечитывать ее, как хотелось бы, к тому же я поделился своими впечатлениями со своими друзьями, которые теребили меня, упрашивая хотя бы рассказать содержание этой повести. И я стал рассказывать моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения Буратино, но каждый раз пересказывал по-новому, что-то добавляя, переиначивая. Стала получаться какая-то новая история, я выдумывал такие похождения, каких в книжке не было. Так вот слушай, что я хочу сделать. Написать книгу о приключениях деревянного человечка, причем объяснить читателю, что в данном случае я

именно вспоминаю прочитанное и забытое. Что ты скажешь? По-моему, это хороший прием...

— Да, да, — поддакивал Никитин, а сам поражался неистощимой энергии этого никогда не унывающего человека.

— Слушай, я придумал, что когда деревянный человечек во время своих странствий встретится с кукольным театром, то куклы сразу узнают деревянного человечка. Правда, они видят его впервые, но ведь куклы узнают друг друга, на то они и куклы. А? Как ты думаешь, правдоподобно? Это чудовищно интересно... Этот Буратино... Превосходный сюжет! Надо написать, пока этого не сделал Маршак...

«Он захохотал, — вспоминает встречу Никитин. — В этом желании прикоснуться ко всему, все успеть была какая-то пленяющая творческая жадность, точно у Дюма. И часто мне казалось, что в этом он был похож на него. Он был так же трудолюбив, как этот француз, написавший целую библиотеку, и, садясь за стол, за обед, он так же чувствовал себя мастером, который хорошо поработал и потому имеет право «поесть».

Не прошло и месяца, как Толстой снова был на ногах. Побывавший у него в это время директор Литературного музея В. Д. Бонч-Бруевич писал Горькому о своих впечатлениях: «...Внешне совершенно здоров, очень бодр, ходит, весел, но у него на лице какой-то особо страдальческий отпечаток, очевидно от перенесенного и передуманного о том, что глубоко задело его. Видно по всему, что он радуется своему бытию... Он полон творческих сил и намерений, весь поглощен мыслью о третьей части его «Петра», а также очень много думает, расспрашивает и знакомится с 19 годом, о котором хочет писать. Причем эта последняя его работа сейчас превалирует над ним, и он полагает, что сначала начнет писать о 19 годе. Тут же очень много посвящает времени истории Иоанна Грозного, собирает материалы

— книги, портреты, — и говорит, что в его сознании Петр имеет свои истоки в Иоанне Грозном и что Иоанн Грозный для него даже интереснее, чем Петр, колоритнее и разнообразнее. Хочет о нем писать. Вообще весь в творчестве».

Горький внимательно следил за ходом болезни Толстого, о которой ему подробно сообщала Наталья Васильевна. Естественно, Горький знал и о том, что Алексей Толстой порой не мог удержаться от житейских соблазнов, и правильно угадывал в этой неводержанности одну из причин его болезни. Поэтому, получив от Натальи Васильевны извещение о болезни Толстого, он в шутливой форме высказал несколько советов, как надо вести себя человеку его возраста: «...В 50 лет нельзя вести себя тридцатилетним бойкалем и работать, как четыре лошади или семь верблюдов. Винцо пить тоже следует помаленьку, а не боченками». Горький советует, кроме того, ограничить все формы общения с женщинами, духовно чужеродными, отказаться от, может быть, и сладостного, но, в сущности, пустого и мало поучительного истребления времени со своими соплеменниками, а лучше всего вообще отдохнуть ему от наслаждений жизнью, особенно же от коллективных, всегда неумеренных и потому вредных. «Должен сказать, — писал Горький в заключение письма, — что я сугубо взволнован нездоровьем вашим, милый мой друг. Пора вам научиться беречь себя для той великолепной работы, которую вы так мастерски, уверенно делаете. Попробуйте пожить несколько осторожнее! Не превращайте творчество в каторжную работу, как это свойственно вам...»

В ответном письме Толстой, кажется, внял мудрым советам своего старшего друга, признаваясь, что болезнь многое переменит в его жизни, прежде всего сделает более осторожным. Но последующие его планы

и размышления как бы опровергают эти добрые намерения вести размеренный образ жизни. Уже 15 января Толстой писал Горькому: «Дорогой Алексей Максимович, спасибо за ваше доброе письмо, мне очень хочется за него обнять вас крепко, потому что, помимо прочего, я вас очень, очень люблю. Туся держит при себе это письмо вроде шестопера, чтобы бить меня по затылку в случае каких-либо легкомысленных намерений с моей стороны.

А, в общем, вышло к лучшему, — жизнь надо было давно переменить, но это было очень трудно без вторжения чего-то насильственного. Точка. Честное слово, я начал жить серьезно. Лечит меня Бадмаев, изумительный человек, умный и нежной души. Пью разные травы и настойки, медвежью желчь, тертых ящериц и прочие замечательные вещи. Второй день выхожу, но чувствую себя все еще неважно, так вроде какого-то серого обывателя. Вот что значит сердце. В ноябре написал пьесу, в три недели 12 картин, а сейчас трудно связать две фразы. Бадмаев говорит, что наладится. Мне очень хочется приехать работать в Тессели в апреле — до жаров. Буду вести у вас исключительно примерную и трудовую жизнь, работать над 19-м годом».

В этом же письме Толстой рассказывает Горькому о планах создания Клуба мастеров при Доме Союза писателей, вокруг которого должны были объединиться талантливые силы по всем искусствам. Толстой намерен привлечь в этот клуб молодых композиторов, которые вскоре будут греметь по всему свету: актерской группе — все по плечу; о молодых балеринах во главе с изумительной Галиной Улановой и говорить нечего: настолько они талантливы. Восторженно говорит Толстой об этнографическом театре Всеволодского.

И действительно, к этому времени самые талантливые люди Ленинграда собираются вокруг

Толстого как вокруг некоего центра, всегда заряженного энергией, творчеством, выдумкой.

«Клуб уже обставлен и украшен всевозможными антиками, — сообщает Толстой Горькому. Эрмитаж дал нам 20 картин, да своих у нас штук 70. Клуб не только для развлечения, понемногу в нем должна сосредоточиться творческая жизнь Союза писателей — авторские чтения, кровавые выступления критиков, кружки и пр. Клуб должен вмешиваться в редакционные дела наших обоих журналов и литгазеты и, в общем, расколыхать застаивающееся болото успокоенной средненькой литературной жизни». Горький обрадовался этому «здравомыслящему» письму и приглашает Толстого, если позволит здоровье, в Горки, где он живет в эту зиму. Приглашает не одного, а вместе с Тусей, словно зная или догадываясь, что в этом долголетнем браке наметилась глубокая трещина. Но широкий круг друзей пока ни о чем не подозревал. Обычный ход жизни в доме Толстых ничем не нарушался. Вскоре Толстой сообщает Горькому, что он сейчас занят подготовкой юбилея Чапыгина. Причем праздник этот ему хочется устроить не банально, а по возможности весело, празднично, с юмором. При этом просит Горького похлопотать перед кем нужно о присвоении Чапыгину звания заслуженного деятеля искусств. «Я работаю над «Пиноккио», вначале хотел только русским языком написать содержание Коллоди, — писал Толстой Горькому в феврале. — Но потом отказался от этого, выходит скучно и пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему. Мне очень хочется почитать эти книжку в Горках — посадить Марфу, Дарью и еще кого-нибудь, скажем, Тимошу, и прочесть детям.

Здоровье совсем восстановилось, и даже чувствую себя лучше, чем прежде, потому что не употребляю горячительных напитков и горячим вином не упиваюсь

до изумления. Когда вы поедете в Тессели? На апрель и май я бы увязался с вами работать над «19 годом». Можно? О Тессели я мечтаю, как о счастье...» 13 февраля Горький ответил на это письмо: «Дорогой мой Алексей Николаевич — прежде всего; спасибо за «Петра», получил книгу, читаю по ночам, понемножку, чтоб «надольше хватило», читаю, восхищаюсь, — завидую. Как серебряно звучит книга, какое изумительное обилие тонких, мудрых деталей и — ни единой лишней!.. Глубоко рад знать, что Вы поправились и снова работаете, но — не слишком ли? Как смотрит на это премудрая и милая Туся? «Хождение по мукам», «Пиноккио», сценарий Петра, и, наверное, еще что-нибудь? Дорогой друг мой, — переутомляться не надо, следует беречь себя для 3-ей части «Петра».

В Тессели еду в марте, на апрель, май, но, надеюсь, увидимся еще до марта когда приедете в Горки, где и установим сроки твердо...»

И жизнь Алексея Толстого пошла своим чередом. Уже в конце февраля он приехал в Москву: Галина Уланова должна была выступать впервые на сцене Большого театра. В Ленинграде она давно уже снискала себе славу одной из первых балерин, а вот в Москве ей предстояло пройти серьезное испытание. «Мне предстояло танцевать в «Лебедином озере», — вспоминает эти минуты Г. Уланова. — Безумное волнение, безумный страх перед спектаклем, никого из близких рядом... В тот день в номере гостиницы, где я жила, раздался телефонный звонок. Голос Толстого — громкий, веселый. Я даже сразу не сообразила, что он в Москве. Почему оказался в Москве?

— Галя, — говорил он, — ты не бойся. Я здесь! Буду на спектакле. Не волнуйся, пожалуйста, все сойдет хорошо.

Во время спектакля ко мне в уборную принесли записку от Толстого. Он писал, что все идет хорошо, что

после спектакля будет ждать у подъезда с машиной меня и Сергеева. Надо ли объяснять, как я была благодарна Толстому. После спектакля Алексей Николаевич повез нас в дом Горького. Самого Алексея Максимовича дома не было. Ужин подходил к концу, но на столе появилась яичница с ветчиной, приготовленная специально для нас. Помню, я сказала, что мне очень нужно позвонить маме в Ленинград, она волнуется, как прошел спектакль. И тогда Алексей Николаевич повел меня в кабинет к Горькому и соединил с домом... Сейчас, спустя годы, память о дебюте в Большом театре неразрывна для меня • памятью о душевной щедрости Толстого...»

В Москву Толстой приехал для участия в работе пленума Правления Союза писателей СССР, да, кстати, продолжить собирание материалов о гражданской войне. Во время болезни он почувствовал острую необходимость завершить свое неоконченное произведение. Начал было в Детском, но герои, как говорится, забастовали: ничего свежего и интересного, как хотелось бы, не получалось. Значит, надо отложить. Значит, надо еще подумать, отдохнуть, поговорить с людьми — участниками этих событий. В Москве Толстой встречается, как и раньше, о Минцем, участником гражданской войны на юге; внимательно изучает материалы газет и журналов, в которых широко освещалась годовщина освобождения Царицына от окружения белыми полчищами; все более ясной для него становилась ведущая роль обороны Царицына в летних событиях 1918 года. Что теперь делать? Написать предисловие к роману «18-й год»? Но разве на пяти-шести страничках объяснишь читателям, что автор многое не понимал в то время, когда работал над романом? Вставить в него главы о Царицыне? Нет, это невозможно... Тогда придется все переписывать заново. Но и без обороны Царицына нельзя себе представить

развитие исторических событий, а значит, и дальнейшего течения трилогии. А если вводить оборону Царицына как основной и главный эпизод в развитии событий, то, видимо, придется изображать Сталина и Ворошилова, сыгравших ведущую роль в это время? Об этом он может только прочесть... Достаточно ли этого будет для художественного произведения? Нет, нужны новые встречи, беседы. Неужели Горький не поможет ему устроить встречу с Ворошиловым и другими военными деятелями? Встретиться и откровенно поговорить... Иначе нельзя. Скелетом романа должна стать творческая воля партии: организация Красной Армии, организация продовольствия, борьба с белым движением и борьба с кулачеством в виде махновщины, григорьевщины и других бандитских шайек. Украина, Северный Кавказ, Волга... Ввести новых героев... Создать характер большевика... Не стихийного партизана, такие уже показаны в литературе, но организованного, дисциплинированного, идейного, мужественного, с «легким дыханием», человека, преодолевшего почти, казалось бы, непреодолеваемые препятствия, — победителя в страшной войне 19-го года. А не оттеснит ли этот герой его давних и любимых героев? Ведь пора завершать судьбы Кати, Даши, Телегина и Рощина... А может, выделить оборону Царицына да и написать новую повесть?

Пленум закончил свою работу, а Толстой все еще оставался в Москве. Что-то не тянуло его в Детское. За последнее время охладел как-то, не было прежней тяги домой. Дети подросли, зажили своим миром, своими интересами, несколько изменились и отношения с женой. Упреки, подозрения, ревность... Она не хотела быть только полновластной хозяйкой дома, она хотела быть единственной властительницей всей его духовной жизни, а он с этим не мог примириться. К Горькому он стал еще ближе, все доверительнее становились их

отношения. Может, после смерти Максима Горький на него перенес всю свою отцовскую любовь? Во всяком случае, Толстой часто бывал и в Горках, и на Малой Никитской. В Горках он прочитал только что законченное либретто оперы о декабристах, давно начатое, много раз переделываемое, но никак не поддающееся завершению. Вот и на этот раз Горький не одобрил либретто, которое казалось Толстому совершенно отделанным. Авторы, по его мнению, чересчур много внимания уделяют личным отношениям декабриста Анненкова и Полины Гебль и совершенно упускают при этом общественно-политическую атмосферу того времени. Толстому ничего не оставалось, как согласиться подумать над этими замечаниями. А с другой стороны, он же вовсе не собирается в этой опере давать развитие идей декабризма... Он в этом частном эпизоде просто хотел показать властную силу любви, способной на жертвы. Нужны ли здесь исторические деятели? Стоит ли вообще тратить на нее столько времени? Нет, напечатает, как получилось... 3 марта Толстой писал жене в Детское:

«Все эти дни я работаю над оперой. 8-го читаем ее с Юрием Климу Ворошилову. В Горках еще не был (из-за оперы). Поеду туда 7-го и затем после 10-го. 9-ш еду в Орехово-Зуево (присем прилагается для твоего честолюбия бумага). Благоразумие: — вчера, например, обедал на Никитской. Алексей Максимович выпил две большие рюмки виски, а я — нарзан. (Леля кричит из столовой, что поражена моим твердым характером.) Через 10 минут едем с ней к Коле на Клязьму...»

«Я получил очень интересные данные для романа, — < писал Толстой жене чуть позже, — и теперь не только могу начать писать, но мне хочется начать; начну с 1 апреля, параллельно заканчивая «Пиноккио». Написал еще одну главку (среди суеты), до 26 напишу еще 2 главы...»

«Новый роман для детей и взрослых — «Золотой ключик, или Приключения Буратино» — так написал Толстой на титульном листе своей сказки 26 апреля, в день ее окончания. Роман он, конечно, так и не начал, хотя именно этим он и предполагал заняться. Все оказывалось слишком серьезным. Среди той суеты, какой он снова жил это время, такие вещи не делались. Можно увлечься фантастическим, сказочным миром, где нужны выдумка и легкость фразы, но он еще не был способен к серьезным размышлениям и сопоставлениям научного порядка. Да и работа над киносценарием неожиданно затягивалась. Режиссер оказался настолько требовательным и настойчивым, что не раз заставлял Толстого переделывать ту или иную сцену. А потом сам взялся перечитывать чуть ли не всю литературу о Петре и его времени. Толстой хорошо знал, что законы драматургии и киносценария, в сущности, одни и те же, только средства воплощения разные. Поэтому он передал свой сценарий Петрову и надеялся, что режиссер сам доведет его до съемочной площадки. Но все оказалось сложнее. Пришлось провести много часов над составлением плана сценария, не раз его перерабатывать, чтобы добиться полного взаимопонимания. В конце апреля Толстой выступил на конференции по вопросам киносценарии. 22 апреля в письме к И. И. Минцу Толстой сообщал, что все неоконченные работы он закончил и мог бы приступить к роману, но до сих пор у него нет плана обороны Царицына. А без плана какая же работа? Тем более что Горький обещал познакомить его с Ворошиловым, который может вспомнить необходимые ему подробности. И снова Толстой отправляется в Москву в надежде встретиться с Ворошиловым.

Эта встреча состоялась на квартире Горького. Толстой посетовал на то, что в романе «18-й год» он как-то недоучел всей значительности обороны Царицына и

вот теперь не может продолжать работу над романом, зная, какой промах он допустил. Ворошилов подтвердил, что в Царицыне действительно решалась судьба революции и Советского государства. Живой, энергичный, умный, деловитый, Ворошилов покориł Толстого своими рассказами. Климент Ефремович дал указание одному работнику Генерального штаба проконсультировать Толстого по Царицынской обороне. Казалось бы, все стало ясно. Даже план набросал. Получалось, что третья часть романа «Хождение по мукам» должна состоять из четырех книг: «Оборона Царицына», «Республика в опасности», «План Сталина», «Начало победы». Но дело дальше этого пока не пошло. Правда, в одном из интервью, 17 мая 1935 года, Толстой четко определяет сроки завершения работы над романом «Оборона Царицына»: к 20-летию Октябрьской революции. Однако пройдет еще несколько месяцев, пока Толстой вплотную засядет за работу над романом.

К этому времени ухудшившиеся отношения с женой привели к тому, что она переехала с детьми в Ленинград, на квартиру, которую только что обставила по своему вкусу. Толстой остался в Детском с двумя старухами: теткой Марией Леонтьевной и тещей. Он сразу оказался не защищенным от множества бытовых мелочей, но пощады не запросил. Конечно, никто всерьез не верил в семейный разрыв: столько лет эта супружеская пара была для всех примером человеческого счастья, духовной близости, настоящей дружбы. И вот... разъехались. Да и Наталья Васильевна, умная, талантливая, обаятельная женщина, наверно, никак не могла поверить, что произойдет что-то трагическое в их отношениях, хотя за последнее время между супругами происходили частые ссоры, резкие объяснения, тяжелые для обоих сцены. Она страдала от нараставшей отчужденности и наконец решила: пусть поживет один, намаяется от житейских неурядиц, сам

придет с повинной, А потом все-таки дети, которых он обожает. Вероятно, с этим она связывала свои надежды.

Жизнь в Детском Толстому действительно показалась нестерпимо одинокой. Неизвестно, что бы произошло, если бы он в числе делегации советских писателей не отправился на Первый международный конгресс писателей в защиту культуры. Время, думал он, подскажет, как поступить.

НА КОНГРЕССЕ В ЗАЩИТУ КУЛЬТУРЫ

Поездка так захватила его, что спал он не больше четырех часов в сутки, но чувствовал себя бодрым, настолько был увлечен происходящим на его глазах. Гамбург... Лондон... И наконец — Париж.

Целый день он бродил по мертвому порту Гамбурга.

С сожалением смотрел на доки, краны, огромные кирпичные здания складов, заводы, верфи ¹— все эти огромные материальные ценности казались бесполезными и никому не нужными. И невольно приходили на память картины порта в Ленинграде, шумного и делового. Кто бы мог подумать, что знаменитая «Кап-Полония» будет беспомощно стоять на мертвом якоре. А он сам своими глазами видел ее при въезде в порт. Сколько же людей остались безработными!..

В Лондоне не было такой мертвящей тишины. Дворцы и древние церкви подавляли его величием и грандиозностью. А утром его разбудили соловьи Сент-Джеймского парка, совсем такие же, как и в Детском. Легко и весело стало на душе Толстого в то утро, когда он прощался с гостеприимными работниками советского посольства. Но настроение его тут же испортилось, как только он сел в поезд. Оказалось, что в одном с ним купе ехал старый господин, а вместе с ним накрашенная девчонка-француженка с пучеглазой собачонкой на коленях. Толстой уселся на свое место и пристально посмотрел на этого господина. Лицо показалось знакомым. «Господин-то точь-в-точь такой, каких у нас рисуют карикатуристы, изображая «буржуя» — мышинового жеребчика: серые брючки, коричневый пиджачок, галстук бабочкой. Сидит охорашивается, как

воробей... Но кто же он?.. Ясно, что мы хорошо знакомы... И он меня узнал... Но не хочет, чтобы мы заговорили...» Не успел Толстой подумать об этом, как «мышинный жеребчик» поднялся и вышел из купе, встал у окна, да так и простоял до самой Нью-Гавен. И уж когда садились на пароход и снова столкнулся с ними, он вспомнил, по походке, что ли, что это Денисов, «персонаж» из романа «Черное золото», глава антисоветского движения, лютей враг. Ну, подумал, повезло, началось!

Франция поразила его тем, что здесь почти ничего не изменилось за четырнадцать лет... Те же заржавленные пароходы, те же старенькие кафе, те же пыльные улицы, те же рыбаки и лодыри на набережной. А по дороге в Париж — все те же фруктовые сады. То ли жара на Толстого подействовала, но все, что проносилось мимо него и что он видел вблизи, казалось ему старым и неторопливым, а Париж настолько знакомым и неизменившимся, что он даже огорчился: точно он никогда не уезжал отсюда, точно время остановилось над городом. Побродив по Елисейским полям, по Большим бульварам, посидев в кафе, встретившись с некоторыми своими давними знакомыми, Толстой вдруг почувствовал какое-то странное, неожиданное разочарование в Париже: как при встрече с другом, постаревшим, но не изменившим ни одной из своих привычек, рассказывающим все те же рассказы.

Здесь у него оставалось много знакомых. Он не искал с ними встречи, но получалось так, что чуть ли не каждый день кого-нибудь встречал. Зашел как-то в кафе, сел за столик, к нему подсел какой-то дряхлый господин. Толстой узнал в нем своего давнего знакомого, которого считал погибшим. Поздоровались. Тот обиженно сказал:

— Говорят, ты меня описал... Я, правда, не читал, но рассказывали, что очень гадко и некрасиво...

И потом, без всякого перехода:

— Не найдется ли у тебя сто франков, послушай?.. Ну, если ста не найдется, дай пятнадцать...

А ночью на Елисейских полях его вдруг остановили два человека, в одном из которых Толстой узнал очень известного в свое время кадетского журналиста, а в другом — знаменитого художника, который брал когда-то за портрет по десять тысяч фунтов. Один из них сказал:

— Тут людно, пойдем посидим где-нибудь, чтобы никто не мешал нам.

Зашли в какое-то маленькое кафе, каких очень много было в Париже, и наперебой стали рассказывать Толстому о своем плачевном положении:

— Здесь жить нельзя, все гниет. Все безнадежно. Люди — сволочь. Все расползлись по своим щелям. Бунин пьет горькую, Алданов растолстел до неузнаваемости, покрыт какими-то лишаями. Булгаков принял священство, он «отец Сергей», одну за другой выпускает толстые книги. Бердяев ничуть не изменился, по-прежнему читает про антихриста... Можно нам вернуться, как ты думаешь?

Толстой задумался. Что им сказать? О возвращении надо было думать раньше.

— Нет, не знаю. По-моему, нельзя, — наконец сказал он.

— Ну а как-нибудь, если через Милюкова?

— По-моему, тоже нельзя.

Попрощались и разошлись в разные стороны. А на другой день он увидел еще более тягостную картину. Шел вдоль сада Тюильри по одной из центральных улиц. Был полдень. На улицах в это время мало прохожих, магазины пусты, горячий ветер подметал бумажки с тротуара. Толстой обратил внимание, как навстречу ему брела супружеская, по-видимому, пара: дама в черном, похожая на генеральшу, рослая, лицо явно московское,

курносое, и с ней господин в потертом просторном пиджаке. Все было в нем убого: пиджак болтается, руки болтаются, колени вялые. До Толстого донеслись сердитые голоса. И когда подошли поближе, Толстой ясно услышал! «У меня живот болит, отстань от меня», — сказал мужчина отчаянным голосом и подошел к витрине магазина, где были выставлены какие-то продукты. И горько стало на душе Толстого: ясно, что это соотечественники, у которых денег ни сантима, невращения и тоска. «Почему эти две тени, никому, даже себе, не нужные, бродят по Парижу? А в России могли бы быть полезными...» — думал Толстой, глядя, как они снова пошли по улице. На Елисейских полях он условился встретиться с Евгением Замятиным, недавно выехавшим из Советского Союза. Он только успел подойти к кафе, как из подъезда монархической газеты «Возрождение», расположившегося как раз напротив здания редакции, вышел Гукасов, владелец газеты, и художник Константин Коровин, которому было в то время под семьдесят. Коровин, узнав Толстого, бросился к нему:

— Алексей Николаевич... Я больше не могу здесь... Мечтаю вернуться... Можно как-нибудь устроить, ради бога? У меня больное сердце, но я уехал бы. Я задыхаюсь здесь. Зарабатываю кое-как писанием в газете, пишу рассказы...

Что мог Толстой ответить и этому некогда блестящему художнику? Не уполномочен. Тем не менее на следующий день в «Возрождении» появилась заметка: «Бывший граф Толстой, подававший надежды стать неплохим писателем, ныне гнусный лакей на службе ГПУ, занимался вербовкой наших сотрудников у самого подъезда нашей редакции». Что тут скажешь? Верны себе...

Накануне конгресса Толстой пришел вместе с другими советскими делегатами в Трокадеро, куда

собрались представители прогрессивной Франции, чтобы отдать должное памяти великого сына французского народа Виктора Гюго, умершего пятьдесят лет тому назад. Читали стихи Гюго, пели «Молодую гвардию». Многие делегаты принимали участие в этом торжестве французской культуры. Для Толстого Виктор Гюго был первым писателем, книги которого когда-то ввели его, мальчишку, в неведомый мир страстей большого человека. «Труженики моря», «Собор Парижской богородицы», «Человек, который смеется»... Этими книгами он зачитывался. Было время, когда с каждой колокольни смотрело на него лицо Квазимодо, а каждый нищий скрывал под своими лохмотьями благородного Жана Вальжана. «Собор Парижской богородицы» был первым его уроком по французскому средневековью, может, после этого он вообще полюбил историю, а Гуинплен дал первый урок социологии, высказав в палате пэров мысли о социальной справедливости, о равенстве людей...

Вечером, бродя по улицам Парижа, прогуливаясь по Монпарнасу и бульвару Сент-Мишель, он испытывал какое-то совершенно необъяснимое чувство независимости ото всего этого сверкающего блеска: теперь он жил совсем в другом мире, далеком и таком непохожем на этот мир, переполненный толпами безработных, голодных, несчастных, которые нередко продают себя, чтобы хоть как-то существовать в этом мире купли и продажи.

Большинство сидящих в кафе — это сутенеры, уставшие от работы девки, потенциальные и явные преступники. И так каждый день... Никакой другой цели у них нет. Посидят, вышьют, похочут с невеселыми глазами — и разойдутся, не веря друг другу. А главное, ни у одного из них нет веры в завтрашний день, живут только сегодняшним. Такого кризиса, морального и материального, Париж еще никогда не переживал. Во

всяком случае, на памяти Толстого. Ни одного живого, ни одного красивого лица не увидел он на улицах Парижа. Какое уж тут очарование... У людей такая беда.

21 июня в Большом зале «Палэ де ла Мютюалитэ» начал свою работу Первый международный конгресс писателей в защиту культуры. Сюда, во Дворец солидарности, по инициативе Анри Барбюса съехались почти все прогрессивные писатели Европы и Америки. Публика занимала балкон и последние ряды партера: первый были отведены для делегатов.

Медленно прошел Барбюс, чувствуется, что он нездоров; за ним, с папиросой во рту, Андрэ Мальро. Все с любопытством разглядывали появившегося Андрэ Жида. Потом пришли Люк Дюртен, Жан-Ришар Блок, Жан Кассу, Шарль Вильдран, Пьер Бост, Луи Арагон... Слегка прихрамывая, с палкой в руках вошел давний знакомый по Берлину Эгон-Эрвин Киш, за ним Генрих Манн, Анна Зегерс, Бехер, Андерсен-Нексе, Гекели... Толстой вместе с советскими делегатами А. С. Щербаковым, Кольцовым, Вс. Ивановым, Микитенко, Киршоном, Николаем Тихоновым, Лупполом со своих мест наблюдают за тем, как быстро наполняется огромный зал. В президиуме конгресса Толстой сидит рядом с Уальдо Фрэнком, Генрихом Манном, Сфорца, Барбюсом.

Андрэ Жид открывает съезд:

— Духовное обнищание некоторых стран, я сожалению, доказывает нам, что культура в опасности, но в наши дни взаимная связанность стран так велика, так велика возможность заразы, что примеры соседей являются для нас поучительными, и все мы чувствуем себя более или менее в опасности...

На первом заседании с докладом о культурном наследстве выступил английский прозаик Форстер:

— Я не фашист, но я и не коммунист, возможно, я был бы коммунистом, если был бы моложе и смелее.

Зал аплодирует этим словам.

Различные мысли высказывались на конгрессе: приемлемые и неприемлемые, но по всему чувствовалось, что главное не в этом, а в самой атмосфере товарищеского сотрудничества, в попытке разобраться во многих проблемах человеческого существования на земле. Интересные мысли о роли писателя в обществе высказал Гекели:

— Чтоб обеспечить защиту свободы, надо рассмотреть методы защиты и установить искомую цель. Каково может быть влияние писателя? Оно может быть огромно, если его произведения созвучны эпохе. В противном случае, как бы ни был велик успех данной книги среди читателей, она не окажет на них никакого практического влияния...

— Замечательные поэты, среди которых Поль Валери является одним из самых знаменитых и зорких, полагают, что проблема поэтического творчества подчинена исключительно нуждам художественной техники. Однако нельзя оставлять в стороне проблему читателя и его требований. И если распространить этот вопрос на всю читающую публику, то станет ясно, что все общество в его совокупности играет большую роль в драме творчества. При капиталистическом строе художник оторван от публики...

Эти слова Жан-Ришара Блока были очень близкими Толстому. Сколько раз он выступал и писал о взаимоотношениях писателя и читателя, всякий раз призывая писателей иметь в виду читателя, для которого пишешь.

Хорошо выступили Ф. Панферов, Авдерсен-Нексе, Луи Арагон, М. Кольцов.

Толстой все время посматривал в зал в надежде увидеть кого-нибудь из русских писателей-эмигрантов: ведь в Париже Бунин, Зайцев, Куприн, Шмелев, Ходасевич, Бердяев, Мережковский, Зинаида Гиппиус...

Ни один из них не пришел на конгресс. Это было совершенно ему непонятно! Не пришли хотя бы в публичке посидеть. Все-таки какие-то новые идеи высказываются, вот приехали советские писатели. Что-то там происходит... Нет, не пришли, нелюбопытно.

Выступление Толстого было посвящено свободе творчества. Вряд ли кто-нибудь другой из присутствовавших на этом конгрессе мог с таким знанием сравнить положение писателя в буржуазном и социалистическом обществе. Он на своем опыте познал силу и проникновенную глубину ленинских слов о зависимости писателя от буржуазного издателя, в полной мере узнал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Совсем другое отношение он почувствовал, когда познакомился с такими издателями, как Полонский и Воронений. Бывали, конечно, случаи, когда ленинградская цензура запрещала то или иное произведение, но ведь достаточно было обратиться к Горькому за помощью, как все сразу восстанавливалось. Так было с Шишковым. Так было с Зощенко. По поводу Зощенко Толстой сам писал Алексею Максимовичу. Иначе нельзя... Мало ли дураков, которым что-то может показаться не так. Нет, эта система Толстому по душе.

— Моему поколению приходится пересматривать некоторые понятия, которыми нас пеленали в колыбели, — < восстанавливать их для новой жизни, — говорил Алексей Толстой. — Увлекаемые в перспективы — все более отчетливые и вещественные — новой жизни, мы иногда оборачиваемся на ходу, чтобы оглянуться на выжженную пустыню гуманизма. Нужно ли это? Для нас, по-видимому, это естественно и нужно...

Толстой говорил о кризисе индивидуализма в капиталистическом обществе, через который ему самому пришлось пройти, и о том, что в современном

социалистическом обществе писателю предъявляют только одно-единственное требование: быть правдивым в изображении действительности, разобраться в запутанном хаосе противоречий, где одни разрешаются, а другие только возникают и протягивают свои нитки в туманное будущее.

— Мы хотим, чтобы художник был историком, философом, политиком, организатором жизни и провидцем ее... Цель всего дела Советского Союза — человек, его свобода, его счастье, — человек, мыслимый нами в его все более неограниченном развитии...

Еще целый месяц Толстой провел вдали от Родины. И только 28 июля на теплоходе «Кооперация» прибыл в Ленинград.

31 июля в Доме писателей имени Маяковского состоялся расширенный пленум правления Ленинградского отделения Союза советских писателей. С докладом выступил Николай Тихонов. Своими впечатлениями поделился и Алексей Толстой.

В эти дни произошел серьезный разговор с Натальей Васильевной: она решила жить отдельно, в ленинградской квартире. Толстой попросил ее оказать ему последнюю услугу: подыскать ему секретаря для систематизации архива и для контактов с издательствами, с журналами, библиотеками... В эту осень ему предстоит серьезная работа. Пора продолжать трилогию. Понадобятся, возможно, дополнительные материалы. А кто может это сделать? Наталья Васильевна пообещала подыскать.

Вскоре после этого разговора Наталья Васильевна приехала в Детское с Людмилой Ильиничной Баршевой и представила ее в качестве секретаря. Толстой согласился. Он уже не раз видел ее в компании своих детей: она дружила с женой его пасынка, Лидой Радловой, и дочерью Марианной. Часто бывала и у Шишковых.

Всю вторую половину августа Толстой много читает, составляет планы будущих глаз, вживается в эпоху, вновь вспоминая и переживая давно минувшее. На этот раз он твердо решил начать «19-й год». Как всегда за последние годы, отвлекали всяческие издательские дела и просьбы. Вместе с Накоряковым, Лупполом и Орловым включился в подготовку нескольких сборников. Написал коротенькое письмо Горькому, в котором сообщал о своих делах: «...Посылаю Вам письмо Бунина, — для архива. Покуда не напишу 2 листа «19-го года», в Москву не приеду и бороды брить не буду...» Но прошло еще две недели после этого, а начать роман так и не удалось. Не создавалось того неповторимого душевного состояния, когда влечет к письменному столу, когда герои оживают и притягивают к себе, как магнит, и уже ничто не может оторвать от них. Толстой принуждал себя, садился за стол, но решительно ничего не получалось. Снова и снова всплывали в памяти эпизоды семейной жизни. Что произошло? Вроде бы ничего... По-прежнему Туся была центром большого дома... По-прежнему она блистала в кругу талантливых людей, которые собирались у них. По-прежнему он ни в чем ей же отказывал, и денег она тратила сколько хотела. И на этот раз она отделала городскую квартиру, не считаясь с возможностями, влезла в чудовищные долги, которые и за два года не уплатишь... Хоть слово он ей сказал? А теперь вот все самое дорогое его сердцу она увезла на ленинградскую квартиру. Сразу нарушилась гармония его дома. Нарушилось его душевное равновесие... Она хочет заняться литературной деятельностью. Ну что же. Она может многого добиться. Она такая способная, так может убедить любого человека в своей правоте, такая умелая. У нее прекрасный вкус, она умеет выбирать красивые вещи, картины, она умеет ладить с горничными, портными, с издателями, редакторами. Она все умеет и

всего добьется. Она говорила ему, что они расходятся дружески. Конечно, какой может быть разговор... Естественно и то, что он будет выплачивать необходимое пособие... Не очень-то приятно остаться в полупустом доме с двумя старыми и беспомощными старухами, но, может, это к лучшему?.. Как хотелось ему, чтобы все кругом было красиво, весело, гармонично. Не получилось. Видно, зря гасил в себе эту неудовлетворенность сложившимися отношениями. Работал, работал, и все как в пропасть... Вот пропасть и разверзлась теперь перед ним...

Однажды Толстой вышел на прогулку по Екатерининскому парку. Всюду и здесь, как и у него дома, видны следы запустения и разрушения. Сколько раз он обращался в Ленсовет, чтобы выделили средства на восстановление дворцов и памятников Детского. Легко понять, как трудно выделить на это средства, когда столько строится в стране заводов и фабрик. Но уж больно смотреть, как приходят в запустение некогда красивые и уникальные памятники русской старины. Во время этих прогулок он часто думал о недавней заграничной поездке, о встречах с писателями, с эмигрантами, мечтающими вернуться на Родину, о Петре, о замысле своего пока на осуществленном исторического романа «Падение Рима», столь горячо одобренного Горьким, о том, как тяжело жить в пустом доме, где совсем недавно шла налаженная и, казалось, счастливая жизнь. Толстой то с грустью вспоминал самые смешные приключения младшего сына Мити, то впадал в уныние и растерянность от неустроенности сегодняшнего положения.

Приехали с юга дети. Дом постепенно наполнялся привычными звуками, но жизнь от этого не вошла в прежнюю колею. Толстой начал писать. Три варианта первой главы «19-го года» были отвергнуты им. Что-то невысказанное мешало ему целиком отдаться

творчеству. Как трудно начинать серьезную вещь. Как трудно переключиться... А надо. Другого времени не будет: третья книга «Петра» тоже нуждалась в завершении.

Раздумья над трилогией привели его к тому, что он начал работать над новым романом, который вскоре получил название «Оборона Царицына». «...Взялся с трудом, — писал он Горькому 22 сентября, — с самопринуждением, но сейчас увлечен, так что дым идет из головы. Минц снабжает меня всеми материалами. Трудность написания романа — в количестве матерьяла, в том, чтобы все успеть переварить, не обожраться. Но, кажется, выходит лучше, чем «Петр». Как вы живете? Когда едете в Тессели? Очень хочу вам перед отъездом почитать начало».

Огромные творческие трудности Толстой преодолевал, работая над материалом о гражданской войне. И прежде всего не мог установить контакт со своими героями. Долго мучился, никак не мог найти подходящего начала. Как вместить, думал он, в небольшой размер книжки такой материал? Как заставить этот материал «звучать»? А что делать с образами Ленина, Сталина, Ворошилова? Ведь надо написать так, чтобы это были живые люди, а потом разве легко подключить к историческим фигурам вымышленные персонажи, сделать так, чтобы тематика ушла «вглубь», стала органической двигающей силой произведения?.. Тут нужна особая форма, особый стиль: лаконизм, простота, экономия изобразительных средств, язык, почти лишенный эпитетов, язык почти на границе сухости исторического повествования.

4 октября 1935 года Алексей Толстой на три недели уехал в Чехословакию.

После возвращения Толстой разошелся с женой и женился на Людмиле Ильиничне Баршевой.

ЭПИЛОГ

Пять лет промелькнули как одно мгновение. Поездки в Западную Европу, многочисленные выступления, статьи, депутатские хлопоты, участие в заседаниях комитетов, советов, в комиссиях, где Алексей Толстой состоял непременно членом. А главное — он так и не выполнил еще своих писательских обязательств перед читателями, ждущими от него двух его незаконченных произведений: третьих книг «Хождения по мукам» и «Петра». Правда, к 20-й годовщине Октября он все-таки успел закончить «Хлеб» («Оборона Царицына»), но особой творческой радости эта книга не принесла.

Небывалый успех фильма «Петр Первый» — вот, пожалуй, единственная настоящая творческая удача за эти годы. Подбор актеров, художников, съемки фильма —¹ все это Толстой вспоминал с удовольствием. Общение с талантливыми людьми всегда ему доставляло неповторимое наслаждение. А тут своими глазами он видел, как воплощались образы его героев. Это было прекрасно. Орден Ленина, полученный им за фильм, — высшая награда Родины — согревал его сердце. А потом стал академиком... Членом комитета по Сталинским премиям... Членом многих юбилейных комиссий... Только так уж повелось, что на заседаниях не пишутся книги. Вот и «прозаседал»... Правда, много времени и сил отдал необходимой работе над «Сводом русского фольклора» и русскими народными сказками. Без него это не сдвинулось бы с «мертвой» точки... Но все равно сделано мало и сейчас... Надо наверстывать... Три года назад Толстой и его молодая жена переехали в Москву, где у них была небольшая квартирка. А жили главным образом в Барвихе, в одном из чудесных уголков Подмосковья... Здесь Толстой начал третью

книгу романа «Хождение по мукам». Наконец-то он снова мог заняться судьбами своих любимых героев. Почти два года назад, летом 1939 года, он приступил к завершению трилогии. И приступил с таким ощущением, как будто до этих пор никогда ничего не писал. Так почти всегда с ним случалось, когда он начинал новую вещь. На какое-то время он становился как бы начинающим. И только постепенно, нащупывая материал, подход к нему, он как бы заново учился творить. В каждой строке он как бы проверял свою способность к творчеству, которому он отдал больше тридцати лет... Сколько уж он написал, а разве может он сказать, что нашел себя?.. Свой метод, форму, взгляд на жизнь?.. У каждого писателя все впереди... Так, во всяком случае, казалось, коща он работал над «Хлебом». И не раз он призывал тогда писателей задуматься над тем, почему все они, изображая гражданскую войну, делают своих героев маленькими, эпизодическими людьми. Как сплелась его собственная судьба с судьбой страны, России, так и судьбы Телегина, Кати, Даши и Рощина должны слиться с судьбой народа и страны. Русский народ, Россия — такова должна быть основная тема романа. Показать характер русского человека во всем его разнообразии, богатстве оттенков, показать широту его жизнеощущения, неистребимость его духа, могучую волю в преодолении трудностей и препятствий.

Никогда еще не писал он такого произведения. Ни «Сестры», ни «Восемнадцатый год» не были по своему замыслу похожи на то, что получалось в последней части трилогии. А поэтому прежде всего должна меняться сама стилевая направленность работы. Ведь все больше врывались голоса истории, все больше разветвлялся сюжет, вбирая в себя широту и многогранность действительности. Вместе с психологическими переживаниями своих героев, их страстями, чувствами писатель должен дать читателю

необходимые военные сведения, точные приметы места и времени, передать строй речи и лексику. Вот почему сухой, протокольный язык военных приказов неожиданно для самого Толстого сталкивался с эмоциональной авторской интонацией или речью его героев, создавая достоверность в передаче неповторимых черт времени. Естественно, вводя персонажей из народа, Толстой стремился придать их речи разговорно-бытовой характер, смело употреблял диалектные слова и словечки. Более того, создавая этих персонажей, он давал через их восприятие картины природы, отношение к тем или иным событиям, людям, решениям, фактам. Вот хотя бы и недавно написанное: «...Сапожков не стал глядеть на Телегина, когда тот подошел к плетушке, тяжело перегнув ее, влез и опустился в сено. Лошади тронули рысцей. На расстоянии трех миллионов световых лет над головой Сапожкова протянулся раздваивающейся туманностью Млечный Путь. Поскрипывало вихляющееся заднее колесо у плетушки, но старик на козлах не обращал на это внимания, — сломается так сломается, чего же тут поделаешь...».

Вот три человека едут по степи, задумался Толстой, Телегин, Сапожков и извозчик-старик... Телегин не обращает внимания на окружающее... Сапожков весь устремлен к небу, неотрывно глядит на Млечный Путь, а старик извозчик думает, как бы в яму не угодить... Сапожков мечтает о том времени, когда человек, глядя на звезды, совершенно просто и очевидно поймет, что ужаса непомерного пространства нет, а рядом сидящий с ним мужик, глядя на то же самое, что и его седоки, высказывает свою заветную мысль: землю назад мужики все равно не отдадут, а силой с ними не справиться. И каждый человек здесь как на ладони. Но этого нелегко добиться. Он и раньше, конечно, знал, что каждый человек по-своему воспринимает мир. Только уж очень

трудно найти индивидуальное восприятие того или иного явления или события в каждом из действующих лиц. Столько всевозможных обстоятельств нужно учесть, чтобы получилось правдиво, достоверно, как вот в этом эпизоде. Трудность заключалась как раз в том, чтобы найти для каждого особый язык жестов. В этом одна из важнейших его творческих задач... Здесь, пожалуй, он удачно о ней справился. Степь, закат, грязная дорога, полная неожиданных сюрпризов. Едут три человека... Три восприятия, значит, три описания, совершенно различных по словарю, по ритмике, по размеру... Пусть предметы говорят сами за себя. И пусть читатель смотрит на дорогу не его глазами, а видит ее и глазами Телегина, и глазами Сапожкова, и глазами старика извозчика. Как можно меньше авторских комментариев, как можно меньше авторских описаний и характеристик... Пусть герои действуют как бы по своему усмотрению, без авторской подсказки. Но это несколько не значит, что он с объективистской холодностью, добру и злу внимая равнодушно, описывает происходящее на его глазах. Авторское отношение к жизни, им воссоздаваемой, должно сказываться во всем: и в отборе материала, и в его композиции, и в портретных характеристиках, и в ремарках, и в художественных деталях... Никогда еще так обостренно он не чувствовал необходимости экономии художественных средств. Трилогия и так получалась объемной. Разбивать ее последнюю часть еще на три книги, как предполагал он несколько лет назад, когда только-только замысел ее обрисовывался, нельзя. Материала-то много, и жалко его отбрасывать неиспользованным, но надо подумать о читателе. А то уж больно затянется трилогия. В последней части ничего не должно быть лишнего. Ни в композиции, ни в языке. Язык должен двигаться к точности и выразительности через простоту и экономию. Эх, хорошо

бы дожить до такого времени, когда по поводу лишнего или неправильного эпитета можно ожидать литературного скандала.

Толстой встал, подошел к окну, выглянул в сад. «Будем надеяться, что идем именно к такому совершенству», — снова мысли Толстого возвратились в привычное русло. Он подошел к столу, взял вчера написанные листочки и с карандашом в руках стал перечитывать... Что такое? Карандаш, обычно такой беспощадный, словно намертво затих в его большой руке. Ничего... Несколько раз он быстро мелькнул, чтобы проставить знаки препинания. А так ничего... Значит, что-то произошло за эти годы неустанной работы. Может, он наконец нашел себя? И теперь умеет выработать в себе центр зрения, к которому так долго стремился?.. В каждом произведении необходим один центр. Художник-писатель не может с одинаковым интересом, с одинаковым чувством, с одинаковой страстью относиться к различным персонажам, точно так же, как художник в живописной картине тоже не может иметь несколько центров. Разные предметы не могут быть выписаны с одинаковой точностью, с одинаковым изображением деталей, с одинаковой силой красок. В каждой картине должен быть центр. Центром картины является смысл этой картины, ее идеология. Значит, понял смысл своей работы, уяснил философию революционной борьбы народных масс. Ничего лишнего... А сколько по ходу работы возникало интересных эпизодических фигур, картин, событий, явлений. Чуть только тронешь этот материал, как он сразу оживает, мгновенно обрастает подробностями. Что тут делать?.. Отбрасывать, сурово и беспощадно. Иначе образуется гигантский нарост, который может на какое-то время заслонить главное. Да, композиция романа так же не любит ничего лишнего, как и архитектура здания. И потом каждый раз надо еще

искать непосредственную точку зрения. Допустим, он разрабатывает какой-нибудь эпизод, берется описать то, что видит в данный момент, У него целая гора материалов, статьи, воспоминания, приказы, свои впечатления и переживания... Как же тут разобраться? Так и хочется все сгрести в кучу и описать. Все ж это так интересно! Нет! Так обычно поступает только начинающий... Писать роман — дело невероятно трудное, даже после тридцати лет успешной вроде бы творческой работы. Сколько раз он смотрел с пригорка вниз на расположение города или пейзажа. И что же, он с одинаковой отчетливостью видел раскинувшееся перед ним? Нет, конечно... В центре пейзажа он, допустим, хорошо различает озеро, дом, фабрику, лес. То, что находится по сторонам, как-то расплывается перед глазами, а то, что находится сзади него и далеко в сторонах, он совсем не может видеть. Так и художник: в центре его видения должно быть главное, а для этого нужно искать каждый раз непосредственную точку зрения. Художественная точность и предельный минимум средств — вот что сейчас самое главное для него. Внутренний вкус должен быть острый и объективный, как у хорошего дегустатора. Вкус к своим мыслям, к своим чувствам, к своим восприятиям: это пресно, это знакомо, это вяло, как мочалка, это отвратительно, а вот это неожиданно остро, это благоуханно...

Толстой и не заметил, как чайник с черным кофе опустел. Значит, пора заканчивать. Пора отдохнуть. Написано не так уж много сегодня, зато прошелся по написанному вчера и в чем-то очень важном для себя окончательно убедился, поверив выработанному им в процессе работы над романом.

Художник, как генерал перед решающим сражением, должен проверить, всё ли на месте, все ли на местах. А ему предстояло дать именно «генеральное

сражение»! последние главы романа «Хмурое утро» необходимо было закончить весной. Это еще, пожалуй, поответственнее, чем штурм какой-нибудь твердыни. Решалась судьба героев, полюбившихся сотням тысяч, миллионам читателей.

Толстой встал, накинул теплую тужурку и спустился вниз. Взял лопату и начал подравнивать грядки. Неторопливо, как опытный садовник, высаживал цветы. Он только здесь полюбил работать в саду. Раньше как-то не понимал всей прелести такого отдыха от тяжких раздумий и кропотливой работы над рукописями. Да и раньше-то теннис был. А теперь не до тенниса. Сердце все чаще давало о себе знать. Казалось, ничто не должно нарушать его душевного равновесия. Присуждена Сталинская премия за «Петра Первого». Столько поздравлений, столько газетных похвал. Что ж еще человеку надо? Почет и уважение небывалые. Близится к завершению его самое заветное произведение... И все-таки он не мог считать себя счастливым человеком. Столько горя кругом, страданий... Целый год работал он над сценарием фильма о Серго Орджоникидзе, собрал материалы, представил план двухсерийного, как договорились, фильма, но комитет почему-то отказался утвердить его. Ну что ж делать! Согласился на односерийный, опять сделал так, как договорились. И опять отказали... Одновременно с этим кто-то организовал прямо-таки заговор молчания вокруг его пьесы «Чертов мост». Как будто и не было ее постановки в двух ведущих театрах. А ведь тема пьесы, ее проблематика очень злободневны. Не нужно забывать, что так называемая фашистская идеология, расовая теория, ненависть к рабочему классу и к коммунизму вдалбливаются в головы миллионов. И ему казалось, что пора советскому искусству перейти к открытой борьбе с фашизмом. Отложив все дела, он взялся за пьесу, твердо полагая, что каждое

художественное антифашистское произведение — это залп по врагу. Он достаточно нагляделся на фашизм в Европе и счел себя вправе рассказать об увиденном. Кому ж тогда не понравилась пьеса? Да ладно, бог с ними, не стоит ворошить прошлое. Какие-нибудь сплетни о нем дошли до писательской верхушки. Вот и дали «указание». Хорошо, что все это позади. Да и сколько этих взлетов и падений было уже на его веку. Выступление Молотова на VIII Чрезвычайном съезде Советов, назвавшего его бывшим графом, заслужившим любовь и признание народа, открыло перед ним широкие перспективы общественно-политической деятельности. Он после этого поднялся на такую высоту, стал, что называется, отовсюду виден. С любой точки нашей земли, а писателю это не всегда идет на пользу. Зависть всегда сопутствует популярности. Да к тому же больно замучили всяческими заседаниями. Юбилей Шевченко, юбилей Салтыкова-Щедрина, 100-летие армянского эпоса «Давид Сасунский», юбилей Лермонтова, юбилей Акакия Церетели, и все надо было готовиться, заседать, выступать... Сколько упущено времени. И ничто не воротишь. Зато как быстро работается сейчас... Соскучился, видно, по настоящему делу, накопилось силенок...

Толстой посмотрел на дачу, похожую на старинный терем, на сосны и ели, окружавшие ее, как верные рыцари, на живописную местность, которая далеко просматривалась из его сада... И так радостно и легко стало у него на душе.

А дело в том, что он наконец решил для себя вопрос формы.

И это произошло с ним совсем недавно. Несколько дней назад, проработав положенные часы за столом, он обнаружил, что написал больше обычного и совершенно не устал. Даже огорчился от этого успеха! видимо, плохо написал, поэтому так много. Теперь придется

много править и выбрасывать. Подосадовал на себя, но перечитывать не стал. В тот же вечер перечитал, почти ничего не поправил: на следующее утро карандаш только кое-где коснулся рукописи. И понял, что он стал хозяином формы. А столько лет все давалось с невероятным трудом.

Здесь, в Барвихе, как и в Детском, установился твердый распорядок дня. Вставал, как и в прежние годы, довольно поздно. Читал газеты, письма, депутатскую почту и тут же диктовал ответные письма. Потом завтракал, выходил в сад. «Последнее десятилетие, — вспоминал Ю. А. Крестинский, работавший в 1943—44 гг. у Толстого секретарем, — Алексей Николаевич очень увлекался цветоводством... Он сам перекапывал землю, пересаживал растения, прививал, подрезал, полыл. Это была и физическая зарядка, и отдых от умственного творческого напряжения. Когда работа не ладилась, Толстой шел туда и принимался за какую-нибудь нехитрую операцию — большей частью подрезку... Обычно, проработав около часа в саду, Алексей Николаевич шел писать. Стоя у конторки, он набрасывал черновики. По его словам, в моменты работы для него не существовало кругом ничего, кроме того, что он описывал. С ясностью галлюцинации он видел вокруг себя описываемую обстановку, своих героев, жил среди них, переживал за них, разговаривал с ними и за них. Написанное Толстой обычно проверял на слух. Он как бы взвешивал звучание фразы, повторяя ее иногда с разными интонациями. Он отходил от конторки, набивал и раскуривал трубку; у небольшого столика, где обычно стоял кофейник, делал несколько глотков остывшего черного кофе; снова возвращался к конторке. В черновиках можно увидеть, как одну и ту же фразу или эпизод писатель, добиваясь совершенства, повторяет в шести-восьми вариантах...

Заканчивал работу Алексей Николаевич к обеду — часам к 5–6. В среднем в день он писал около двух страниц машинописного текста. Когда написанное удовлетворяло его, он был весел, шутил, сразу отвлекался от работы. Если созданное вызывало сомнения, был сосредоточен и никак не мог выйти из состояния творческого напряжения... После обеда, как правило, следовала прогулка и часовой отдых. Вечером Алексей Николаевич читал или текущую беллетристику, или же материалы для своей работы... День кончался далеко за полночь». И только что-то исключительно важное могло нарушить этот распорядок. Как и в Детском, здесь часто бывали гости. По-прежнему доставляло Толстому много радости и удовольствия участвовать в приготовлении праздничного обеда. В эти годы у Толстого собирались, как вспоминает Валентина Ходасевич, Шостакович, Нежданова, Корин, Голованов, Федин... Велись умные и серьезные беседы, много было и непринужденного веселья. К этому побуждала вся атмосфера праздника, которая сопутствует всюду Алексею Николаевичу... Бурлили горячие споры, возникало тесное общение между даже впервые встретившимися людьми... «После ужина переходили в другие комнаты, смежные со столовой. В одной из них к услугам музыкантов был прекрасный рояль Бехштейна, звучало пение Неждановой, Лодий; Шостакович и Шапорин играли свои произведения. Все это обсуждалось, многие делились своими мыслями о новых задуманных произведениях, и так — до рассвета. Надо было удивляться, каким неутомимым и умным дирижером и режиссером жизни был Толстой. Его талант умел зорко видеть и ненасытно брать все примечательное от людей и щедро отдавать воспринятое».

Здесь побывали, кроме упомянутых, Уланова, Сарьян, Эйзенштейн, Качалов, Гилельс, Завадский, артисты

Театра сатиры после премьеры «Чертова моста». И добрые, гостеприимные, талантливые хозяева были всегда рады принять гостей.

18 июня 1941 года Алексей Николаевич и Людмила Ильинична побывали в Центральном парке на вечере памяти Горького: пять лет уже прошло со дня его смерти. За несколько дней до этого Толстой написал статью для «Известий», посвященную памятной дате. Вернувшись в Барвиху, долго сидели на крылечке. Алексей Николаевич рассказывал о Горьком, о Шаяпине.

А Людмила Ильинична, пристроившись рядом, внимательно его слушала. И так им было хорошо, что они дождались того момента, когда все кругом осветилось тихим предрассветным светом. Покой, тишина, удивительный запах от запоздавшей в своем цветении вишни. Это навевало какую-то незнакомую до сих пор умиротворенность. Не знали они, что всего лишь три дня отделяют их от самой страшной грозы, которая только может разразиться над страной, полной мирных замыслов. Что всего лишь три с половиной года остается Алексею Толстому жить на земле.

Три эти дня Алексей Толстой не подходил к телефону: к воскресенью он должен закончить трилогию. Надо было наконец поставить точку. Должен был закончить еще в апреле, потом в мае, но что-то не получалось. Работалось с трудом... Как обычно, к телефону подходила Людмила Ильинична. И на вопрос, что делает Алексей Николаевич, в эти дни отвечала:

— Работает... Третий день никак не может закончить...

Работал и по вечерам. Может, какое-то предчувствие скорого перелома в жизни подстегивало его фантазию, и он упрямо шел дописывать конец. «В тот памятный вечер, — вспоминает Ю. Крестинский, — часы давно пробили полночь, вдоль забора дачи пропыхтел паровоз последнего барвихинского поезда на Москву, а Толстой продолжал работать. Из кабинета доносилось постукивание пишущей машинки. Его сменял толстовский, высокого тембра голос. Приглушенные дверью и бревенчатыми стенами, звучали в тишине загородного дома отдельные фразы. Иногда они повторялись — Толстой произносил их с разной быстротой, ударениями, интонациями. Проверилось каждое слово, точно взвешивалось. То ли оно? На месте ли? Голос умолк. Наверное, теперь, стоя у конторки, Алексей Николаевич правил машинопись или писал дальше от руки. Шаги к столу... И снова стучала машинка... Короткая июньская ночь кончалась. За окнами посветлела полоса неба над сосновым бором, когда была поставлена последняя точка в трилогии. В ту ночь с субботы на воскресенье на даче в Барвихе, в столовой, ждали Людмила Ильинична, гостившая у нее подруга детства и я, когда Толстой с рукописью в руках вышел из кабинета. Взмолванный, возбужденный, он как будто все еще видел перед собой только что созданную картину. Провел рукой по лицу, словно умылся, — жест, в котором сказалась усталость сегодняшнего чрезмерно длинного рабочего дня. У обеденного стола Алексей Николаевич стал читать заключительную сцену. Временами он останавливался, вносил небольшие исправления, отмечал царапнувшие ухо строчки... Вспоминается, как после чтения финала, за бокалом сухого вина с ломтиком сыра, Алексей Николаевич развивал планы предстоящего отдыха. За окнами рассвело. Воскресное утро выдалось солнечное, жаркое. Алексей Николаевич еще не вставал, когда на

дачу пришла страшная весть. Включили радиоприемник... Пришел Алексей Николаевич. Он еще в халате. Ничего не спрашивая, стал у приемника, наклонил голову, стараясь не пропустить ни одного слова из правительственного сообщения. Война...»

Как и в 1914 году, все ждали ее, она неотвратимо приближалась, все видели, что Европа становилась вроде пороховой бочки, но все надеялись, что самое худшее произойдет не скоро: правительство сделает невозможное и отсрочит нависшую войну. И все-таки война... Значит, что-то не предвидели, что-то недосмотрели...

Толстой, как и почти тридцать лет тому назад, одним из первых обратился в редакции центральных газет с предложением участвовать в их работе в качестве публициста. Все личное отошло на последний план: немецкие лавины стремительно неслись по родной стране, сея смерть и причиняя невиданные разрушения. Шесть последних лет его усилия, так же как и усилия множества всемирно известных деятелей культуры, были направлены на то, чтобы остановить роковой для мира день. Он участвовал в работе конгрессов в защиту мира, выступал со статьями, когда началась война в Европе, наконец, написал пьесу, направленную против войны и фашизма.

Но черный день наступил. Не удалось народам мира твердой рукой осадить агрессора.

...Теперь надо направить усилия народов на разгром оголтелого врага. Писательское перо тоже может оказаться серьезным оружием в этой битве народов.

Уже 27 июня в «Правде» опубликована его статья «Что мы защищаем». «Разбить армии Третьей империи, с лица земли смести всех наци с их варварски-кровавыми замыслами, дать нашей Родине мир, покой, вечную свободу, изобилие, всю возможность дальнейшего развития по пути высшей человеческой свободы — такая

высокая и благородная задача должна быть выполнена нами, русскими, и всеми братскими народами нашего Союза... Наш народ прежде поднимался на борьбу, хорошо понимая, что и спасибо ему за это не скажут ни царь, ни псарь, ни боярин. Но горяча была его любовь к своей земле, к неласковой родине своей, неугасимо в уме его горела вера в то, что настанет день справедливости, скинет он с горба всех захребетников, и земля русская будет его землей, и распашет он ее под золотую ниву от океана до океана... В русском человеке есть черта: в трудные минуты жизни, в тяжелые годы легко отрешаться от всего привычного, чем жил изо дня в день. Был человек — так себе, потребовали от него быть героем — герой».

Военная публицистика Алексея Толстого занимает особое место в советской литературе и в его собственном творчестве. Постоянно находясь на передовых рубежах идеологического фронта, сражаясь с вражеской пропагандой и вдохновляя своих соотечественников живым и неотразимо действующим словом, Толстой добился выдающихся успехов. Глубоко драматические события 1941 года пробудили в его сердце высокие патриотические чувства, небывалый душевный настрой, какой возникает действительно в самые трагические мгновения человеческой жизни, когда все с детства любимое разрушается и гибнет под ударами злобного и безжалостного врага. Отстоять свои земли, отстоять свободу и независимость советского народа — вот главное идейное содержание публицистики писателя. Таково было веление времени.

Незадолго до начала войны Толстой признавался, что он испытывал «полное счастье» от осознания целесообразности своей жизненной и творческой работы, «где общая цель — счастье твоей родины». С радостью утверждал он, что эту глубину полного счастья открыла перед ним революция, и он

почувствовал себя строителем единого и прекрасного мира, где не будет крови, грязи и страданий. И когда чудовищная машина фашистского вермахта устремилась на Россию, на великое Советское государство, во всем блеске раскрылся талант Толстого как художника-патриота. И до этого все его произведения были пронизаны светлой любовью к Отчизне, сыновней преданностью нетленному великому наследию своих пращуров, стремлением отобразить лучшие черты русского национального характера в художественных образах. Но теперь, когда дело шло о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, теперь художник должен был сказать особое слово, набатно-зовущее, вдохновляющее и вооружающее.

9 июля 1941 года в «Красной звезде» появилась статья А. Толстого «Армия героев». В ней писатель обращается к воинам Красной Армии, заслонившей перед лицом врага свою землю «стальной грудью танков, жерлами метких и сокрушительных орудий, свинцовым ураганом огня, тысячами боевых самолетов». Толстой восхищается храбростью, находчивостью, сметкой, стойкостью советских воинов, раскрывает сущность гитлеризма и предсказывает его неизбежную гибель. «Надо знать, — писал Алексей Толстой, — что русский народ даже в самые трудные и тяжелые времена своей истории никогда перед врагом-захватчиком шапки не ломал, но уж на крайний случай брал навозные вилы и порол ему брюхо. За святыню — русскую землю — наш народ не щадил жизни своей. Жизнь нам дорога, мы — народ веселый, но дороже нам жизни Родина, склад наш и обычай, язык наш, стать наша, твердая уверенность, что сил у нас хватит и оборонить Советский Союз и устроить у себя свою особенную изобильную, богатую всеми дарами земли и ума человеческого, свободную жизнь, такую, чтобы

каждый новый человек, появляясь из материнской утробы на свет, получал путевку — на счастье...

Фашистам на нашей земле делать нечего! Убьем...»

Уже в этих первых статьях Толстого наметились основные черты, присущие его публицистике: его непревзойденное мастерство неразрывно связывать прошлое и настоящее в истории народа и тем самым пробуждать великие чувства любви к Родине, гордость за ее героическое прошлое и счастливое настоящее, укреплять веру в нашу победу. Затем Толстой не раз возвращается в своих статьях к отдельным эпизодам великой отечественной истории, не раз вспоминает Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Петра Великого, Суворова и Кутузова, героев гражданской войны, не устает подчеркивать, что наш народ не хотел воевать и был занят мирным созидательным трудом. «Для выполнения этой задачи мы нашли те особенные формы, которые ни в какой мере не находились в противоречии с историческим развитием России. Эти формы были глубоко заложены в народном сознании в виде надежд и мечтаний о царстве справедливости, добра и мира».

Толстой хорошо знает историю войн и военного искусства. Но история еще не ведала таких бесчестно-подлых солдат и офицеров, какими оказались гитлеровцы. «...Будь у меня угрюмая фантазия самого дьявола, мне не придумать подобных пиршеств пыток, смертных воплей, мук, жадных истязаний и убийств, какие стали повседневным явлением в областях Украины, Белоруссии, Великороссии, куда вторглись фашистско-германские орды».

«Я призываю к ненависти» — так называлась одна из статей Толстого, опубликованная 28 июля 1941 года в «Правде». Ненависть советских людей должна удесятить их силы в борьбе с гитлеровскими армиями, укреплять мужество в бою и приближать этим победу

над озверевшими фашистскими ордами. Эта ненависть — «не черная, которая разрушает душу, но светлая священная ненависть, которая объединяет и возвышает, которая родит героев нашего фронта и утраивает силы у работников тыла». Пожалуй, Толстой одним из первых в советской публицистике подчеркнул, что советский народ вовсе не стремится уничтожить Германию и немецкий народ: не-мецкий народ в результате этой битвы «должен будет очиститься от грязи гитлеровского фашизма, чтобы спасти свое существование». И это было сказано на Всеславянском митинге в Москве уже 10 августа 1941 года.

Тема Родины, Отечества звучала в каждой его статье, в каждом его выступлении, но особенно глубоко и ярко разработана эта тема в книге «Откуда пошла Русская земля», написанной в остро полемическом духе. Эта книга была направлена против тех, кто пытался «доказать, что организация русского государственного строя не является результатом политической способности славянства», то есть прежде всего против фашистских «историков», которые утверждали, что Россия как государство возникла в результате «созидательной государственной деятельности германского элемента в среде неполноценной расы». Толстой убедительно доказывает, что русский народ является подлинным и единственным творцом Русского государства. «Еще византийские историки в десятом веке, — пишет он, — со страхом писали о русских воинах Святослава: «Россы почитают ужасным бедствием лишиться славы и быть побежденными. В кольчужных бронях, с огромными, до самой земли, щитами, выставив копья и сомкнув щиты наподобие стены, они бросаются на неприятеля с ужасным и страшным воплем и дерутся, как бешеные львы. Смерть они предпочитают позору и никогда живые не сдаются неприятелю, но, вонзая в чрево меч, себя убивают...» Русский человек должен

гордо нести голову через века прошлого в века будущего. Красноармейский штык в наши дни восстанавливает истину и честь великого русского народа».

Уже в первых статьях Толстого не удовлетворяла чисто публицистическая форма выражения мыслей, и он пытается создавать художественные зарисовки, в которых намечались образы замечательных героев первых месяцев войны. В этом отношении характерны очерки «Смельчаки» и «Таран».

Лейтенант Жабин рассказал писателю, как он и его группа оказались в тылу врага и как смело и находчиво действовали советские солдаты. И этот рассказ лейтенанта как бы подтверждал ранее высказанную мысль Толстого: «Был человек — так себе, потребовали от него быть героем — герой». Вот и связист Петров, о котором рассказывал лейтенант, оказался отчаянным и смелым нарвем, а по виду никогда не скажешь, что он может быть храбрым, находчивым, сонный какой-то, задумчивый, нерешительный. Над ним все время подтрунивали бойцы: «Петров, да кто ты — человек или пень ходячий? Ведь ты же на войне, — расшевелись». — «Отвяжитесь от меня, — отвечает, — когда надо, расшевелюсь...» И действительно расшевелился, показал себя бесстрашным воином, сметливым, находчивым.

В очерке «Таран» Алексей Толстой создает образ летчика-истребителя Виктора Киселева, который протаранил немецкий бомбардировщик, причем сам отделался легкой царапиной на щеке. Произносит Киселев в очерке всего лишь несколько фраз, но остается надолго в памяти читателей. Интересен и лейтенант Катрич, который пришел к выводу, что «можно таранить, сохранив самолет».

Толстой много раз бывал в частях Красной Армии, разговаривал с партизанами, солдатами и офицерами.

Именно эта повседневная связь с воющим народом давала ему уверенность и право писать: «Навстречу тотальной войне встала сила народной войны. Навстречу развязанному зверю встала собранная, воодушевленная любовь к Родине и правде, нравственная сила советского народа. Навстречу террористической организации рабского и принудительного труда встала организация свободно отданного, безгранично могучего всенародного труда».

Даже в самые тяжелые, поистине трагические дни, когда немцы были под Москвой, а фашистские заправилы уже принимали решение о дне парада фашистских войск на Красной площади, Алексей Толстой уверенно говорит о конечной победе Красной Армии: «Наша задача в том, чтобы остановить гитлеровские армии перед Москвой. Тогда великая битва будет выиграна нами. Наши силы растут... Настанет час, когда мы перейдем к наступательному удару по германскому фронту». «Эти люди намерены нас победить, бросить себе под ноги, наступить нам сапогом на шею, нашу Родину назвать Германией, изгнать нас навсегда из нашей земли «оттич и дедич», как говорили предки наши.

Земля «оттич и дедич» — это те берега полноводных рек и лесные поляны, куда пришел наш пращур жить навечно. Он был силен и бородат, в посконной длинной рубахе, соленой на лопатках, смышлен и нетороплив, как вся дремучая природа вокруг него. На бугре над рекою он огородил тыном свое жилище и поглядел по пути солнца в даль веков. И ему померещилось многое — тяжелые и трудные времена: красные щиты Игоря в половецких степях, и стоны русских на Калке, и установленные под хоругвями Дмитрия мужицкие копы на Куликовом поле, и кровью залитый лед Чудского озера, и Грозный царь, раздвинувший единые, отныне нерушимые пределы земли от Сибири до

Варяжского моря; и снова дым и пепелища великого разорения... Но нет такого лиха, которое уселось бы прочно на плечи русского человека. Из разорения Смуты государство вышло и устроилось и окрепло сильнее прежнего. Народный бунт, прокатившийся вслед за тем по всему государству, утвердил народ в том, что сил у него хватит, чтобы стать хозяином земли своей. Народ сообразил свои выгоды и пошел за Медным всадником, поднявшим коня на берегу Невы, указывая путь в великое будущее...

Многое мог увидеть пращур, из-под ладони глядя по солнцу... «Ничего, мы сдюжим», — сказал он и начал жить. Росли в множились позади него могилы отцов и дедов, рос и множился его народ. Дивной вязью он плел невидимую сеть русского языка...»

Много говоря о прошлом русского народа, Толстой этим не намеревался подчеркивать его исключительность. Он-то уж прекрасно знал, что еще тысячу лет тому назад митрополит Илларион в «Слове о законе и благодати» отстаивал и развивал тему равноправности всех народов, резко выступая против идеи богоизбранничества лишь одного народа. С тех пор передовые русские писатели всегда оставались верны этой мысли ж всегда подчеркивали равноправие всех народов. И Алексей Толстой не раз выскажется по тому же поводу. «Несокрушимой крепостью» называет Толстой дружбу народов, населяющих Советский Союз: «У нас всех, на каком бы из ста пятидесяти языков мы ни говорили, где бы ни стоял наш родной дом, — на опоганенном фашистами, залитом кровью и слезами берегу Днепра, или у мирно журчащего арыка Ферганской долины, в суровой сибирской тайге, или у благодатного южного моря, — равно для всех нас одно Отечество — Советский Союз, источник всей жизни нашей, наша несокрушимая крепость».

Уже в первые месяцы войны Толстой написал больше двадцати статей ж очерков. Он никогда не думал, что с такой силой развернется его публицистический талант.

До сих пор ему казалось, что легче написать большой рассказ, чем небольшую статью. Теперь же, встречаясь с людьми, столкнувшимися непосредственно в битве с врагами, расспрашивая их о переживаниях и впечатлениях, Толстой приводил их скупые и точные рассказы о зверствах фашистов на нашей территории, о героических подвигах советских людей, о примерах подлинной любви к Родине. Так рождались его статьи «Армия Героев», «Смельчаки» и другие.

В начале августа возникла мысль организовать Всеславянский митинг в Москве. И без того Толстой часто бывал в Москве, а тут пришлось чуть ли не каждый день ездить из Барвихи. В организации митинга он попросил помочь ему Е. П. Пешкову, и она предоставила для первых заседаний Славянского комитета столовую-библиотеку в особняке Горького. Почти каждый день Толстой заходил к Пешковой и частенько уговаривал ее поехать вместе с ним в Барвиху. «Как-то мне не хотелось ехать на ночевку в Барвиху, — вспоминала Е. П. Пешкова. — Алексей Николаевич уговорил. А вернувшись в город на другой день, мы узнали, что был большой налет, упала бомба у Никитских ворот. На месте памятника Тимирязеву оказалась большая глубокая воронка, а самый памятник откинуло в соседнюю улицу». 10 августа Толстой произносит речь на Всеславянском митинге в Москве. «Весь славянский мир для разгрома фашизма должен объединиться» — под таким названием она была опубликована в «Правде» на следующий день. «Мы хотим мирного процветания себе и нашим соседям, — говорил Толстой, — мы хотим высших даров

человеческой свободы: развития культуры, искусств и наук, благоденствия, счастья... Культура, а не война...»

Вскоре после этого Толстой вместе с семьей уехал в Зименки Горьковской области, где жил около трех месяцев. Здесь он закончил сценарий фильма «Рейд Н-ской дивизии», написал несколько значительных статей, в частности «Бессмертие» и «Родина». Здесь же Толстой начал работать над пьесой из жизни Ивана Грозного, впоследствии получившей название «Орел и орлица».

15 сентября Толстой приехал на завод «Красное Сормово». Раз уж на фронт не пускали, как он ни просился, то хоть посмотреть живые картины рабочего тыла.

Толстой еще не раз бывал на заводах и предприятиях Горьковской области и каждый раз выносил оттуда твердое убеждение, что «в этой войне русский гений схватился на жизнь и смерть с гигантской фашистской машиной войны, и русский гений должен одержать победу». В той же статье, откуда взяты только что процитированные строки, Толстой спустя месяц после посещения завода «Красное Сормово» писал: «Если бы русские знали свои силы, никто бы не смог бороться с ними, а от их врагов сохранились бы кое-какие остатки», так писал в XVI веке один из писателей, побывавших в Москве. Он прав. Но теперь мы знаем свою силу...

Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся в надеждах на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны...»

Страшным несчастьем казалось людям, что враг, жестокий и неумолимый, приближался к Москве. Немцы уже предвкушали удовольствие разместиться на зимних квартирах на Тверской, Мясницкой и на Арбате, у

Спасских ворот Кремля... Но Толстой, как и огромное большинство русского народа, не верил в то, что немцы займут Москву. В эти грозные дни, писал Толстой, германские армии будут остановлены перед Москвой и лягут в снега. Да, неисчислимы наши жертвы, много разрушено городов и сел, захвачен врагом Киев — мать городов русских, вытоптаны нивы, миллионы людей советских стонут под игом свирепых захватчиков. Возможно, советский народ понесет еще большие жертвы, но самой большой жертвы он не принесет немцам: Москва по-прежнему будет сверкать своими кремлевскими звездами.

7 ноября 1941 года одновременно в «Правде» и «Красной звезде» была напечатана статья Алексея Толстого «Родина» — пожалуй, самая глубокая, самая лирическая и задушевная его статья, в которой он раскрывает отношение русских людей к своей Родине. От имени миллионов Алексей Толстой признается в своей *любви* к Родине: «За эти месяцы тяжелой борьбы, решающей нашу судьбу, мы все глубже познаем кровную связь с тобой и все мучительнее любим тебя, Родина.

В мирные годы человек, в довольстве и счастье, как птица, купающаяся в небе, может далеко отлетать от гнезда и даже покажется ему, будто весь мир его родина. Иной человек, озлобленный горькой нуждой, скажет: «Что вы твердите мне: родина! Что видел я хорошего от нее, что она дала мне?»

Надвинулась общая беда. Враг разоряет нашу землю и все наше вековечное хочет назвать своим.

Тогда счастливый и несчастный собираются у своего гнезда. Даже и тот, кто хотел бы укрыться, как сверчок, в темную щель и посвистывать там до лучших времен, и тот понимает, что теперь нельзя спастись в одиночку.

Гнездо наше, родина возобладала над всеми нашими чувствами. И все, что мы видим вокруг, что раньше, быть

может, мы и не замечали, не ценили, как пахнувший ржаным хлебом дымок из занесенной снегом избы, — пронзительно дорого нам. Человеческие лица, ставшие такими серьезными, и глаза всех — такими похожими на глаза людей с одной всепоглощающей мыслью, и говор русского языка — все это наше, родное, и мы, живущие в это лихолетье, — хранители и сторожа родины нашей».

В этой статье Толстой сконцентрировал те мысли, которыми жил всю свою жизнь.

Еще восемнадцатилетним юношей он записал в дневнике свои первые размышления о родине: «...Боже мой, сколько в этом слове чувства, мыслей, радостей и горя. Как подчас горько и сладко звучит оно. Бедный, бедный, затерянный среди огромных степей маленький хуторок. Мой бедный сад. Теперь ты облетел, стоишь холодный, и ветер свистит в твоих сучьях. И пруд, высохший, покрытый зеленью, мертвый и молчаливый. И догнивающая старая лодка. И старый серый деревенский дом, с маленькими окнами и белыми комнатками, где, бывало, я сидел у лампы на диване и долго внимательно слушал голоса зимних вьюг.

И покосившиеся качели с болтающимися веревками, и там, в глубине деревьев, заброшенная скамейка. О, как мне все это жалко...»

Эти строки были написаны Толстым, впервые покинувшим свою малую родину, свой степной хутор Сосновку, где он вырос и сформировался как человек. Он приехал в Петербург поступать в институт. И потому с такой тоской и грустью вспоминает все, что покинул на долгие годы, а может быть, навсегда.

Тема Годины получит свое дальнейшее развитие в годы первой мировой войны. В своих очерках и статьях он шире трактует эту извечную тему, но все-таки на трактовке этой подчас сказывался налет официальной идеологии. В годы эмиграции Толстой не раз выскажет свою сыновнюю любовь к России, русскому народу, не

раз погорюет о своей скитальческой судьбе, надолго отторгнувшей его от материнской земли.

Истинное, глубокое понимание темы Родины нашло свое воплощение в творчестве Толстого только в годы социалистического строительства в Советском Союзе.

14 июня 1937 года «Известия» опубликовали его статью под названием «Родина»: «Что такое родина? — размышлял писатель. — Это весь народ, совершающий на данной площади земли свое историческое движение. Это прошлое народа, настоящее и будущее. Это его своеобразная культура, его язык, его характер, это цепь совершаемых им революций, исторических скачков, узлов его истории. К этому народу принадлежу я. Это моя родина. И моя задача вкладывать все мои силы в дело моей родины, к тому, чтобы моя родина шла великой и счастливой среди других народов к тем целям, которые мы, и в данном случае мы — сыны Советского Союза (и пусть эта наша гордость и наша слава) — указали другим народам».

И вот сейчас, в суровые годы военных испытаний, Алексей Толстой просто и доходчиво высказывает одну из коренных идей своего творчества: все мысли русских людей связаны с судьбами Родины, весь гнев и ярость их направлены против ненавистных ее врагов, все настоящие люди встали на защиту ее священных рубежей и национальных святынь. «Родина — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную культуру и непоколебимую веру в законность и неразрушимость своего места на земле».

Возможно, размышляет Толстой, что когда-нибудь национальные потоки сольются в безбурное море единого человечества, но в наш век предстоит

серьезная и суровая борьба за национальную независимость, за свободу и за право строить по своим законам свое общество и свое счастье. Такое право предстоит еще отстаивать в настоящем и будущем до тех пор, пока существуют такие явления в мире, как фашизм. Фашизм враждебен всякой национальной культуре, старается все растоптать на своем пути, уничтожить национальные ценности, стереть с лица земли даже память о прошлом других народов. Ничего человеческого не осталось у солдат и офицеров фашистской Германии, все растоптано в их душе фашистской идеологией. Никогда не победить нас этим людям, потерявшим человеческий облик. Никогда наша Година не будет ходить под Германией, какой бы сильной она сейчас ни казалась. Не раз приходили на нашу землю наши недруги, но всякий раз бывали биты и еле-еле уносили ноги восвояси. Так будет и на этот раз.

Напоминая факты русской истории, Толстой призывал советских людей следовать славным героическим традициям своего народа, не забывать об исторической преемственности в развитии страны. Святослав — уже русский воин. Дружины Игоря Святославича, рати Александра Невского и Дмитрия Донского, войска Ивана Грозного и Петра Великого, ополчение Минина и Пожарского, бессмертные победы солдат Суворова и Кутузова, героические атаки неприступных высот Плевны русскими солдатами во главе со Скобелевым, блистательные победы русских войск во время брусилковского прорыва, наконец, битвы Красной Армии под Царицыном и под Перекопом — все это звенья одной цепи, которая и составляет воинскую славу русского народа. И не ради каких-то завоеваний сражались русские люди от века и доныне, а ради светлой и человеческой, новой и справедливой жизни, за свое Отечество.

Огромной популярностью пользовались статьи Алексея Толстого во время войны.

Сотни писем фронтовиков со словами благодарности получил писатель. «Пользуюсь случаем еще раз передать Вам глубокую благодарность за Ваши прекрасные статьи для «Правды» и сердечный привет от всего коллектива правдистов», — писал Толстому главный редактор «Правды» П. Н. Пospelов.

И эта популярность объясняется не только тем, что Толстой высказывал дорогие и близкие каждому мысли о нравственной силе и стойкости советского человека — защитника своего Отечества, но и тем, что статьи эти были написаны великолепным русским языком, насыщены строками народных песен, пословицами, шутками и прибаутками, близкими и понятными народу. Его статьи расцвечены былинно-сказочными образами, к которым с детства был приучен русский человек.

Рассказав историю возникновения Москвы, напомнив своим читателям о том, что Москва, не раз сгорая и восставая из пепла, всегда оставалась сердцем русской национальности, сокровищницей родного языка и искусства, источником просвещения и свободомыслия даже в самые мрачные времена, Алексей Толстой в заключение статьи «Родина» использует замечательный художественный образ: «Как Иван в сказке, схватился весь русский народ с чудом-юдом двенадцатиглавым на калиновом мосту». «Разъехались они на три прыска лошадиных и ударились так, что земля застонала, и сбил Иван чуду-юду все двенадцать голов и покидал их под мост...»

...Наша земля немало поглотила полчищ наезжавших на нее насильников. На западе возникали империи и гибли. Из великих становились малыми, из богатых — нищими. Наша родина ширилась и крепла, и никакая вражья сила не могла пошатнуть ее. Так же без следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было, так будет.

Ничего, мы сдюжим!...»

Мастерски Толстой использует и архаическую лексику, казалось бы, давно вышедшие из употребления слова и целые обороты речи, старые грамматические формы. Бросит походя одно-два таких слова и сразу придаст своеобразную окраску словесной ткани. А национальным колоритом, национальной спецификой даже в публицистических статьях и очерках Алексей Толстой очень дорожил. Особенно точным и ударным такое словоупотребление становится при изложении исторических экскурсов и ассоциаций, при воспевании героического прошлого «народа бессмертного и непобедимого» — творца собственной великой истории. Толстой часто пользовался и приемами ораторской речи, стереотипами высокой книжной лексики, эмоциональными восклицаниями, риторическими вопросами — все это придавало его статьям торжественно-патетическую тональность, романтическую приподнятость, что неотразимо действовало на читателей. И все-таки, бывая на заводах, встречаясь с бойцами Красной Армии, работая над статьями и сценарием фильма, Толстой чувствовал, что этого для его морального и творческого удовлетворения явно недостаточно. Его статьи оказывали огромное воспитательное значение. Но знал он и то, что как художник может сделать гораздо больше для своего народа именно сейчас, в годину его страшных бедствий. России не впервой оказываться на краю гибели. И каждый раз она выходила еще более сильной и крепкой из любого лиха. Юрий Долгорукий... Иван Калита... Димитрий Донской... Иван Грозный... Петр... Битва Ивана Грозного с иноземцами за укрепление и единство Русского государства — вот что сейчас может быть актуальным и злободневным. А он, Толстой, давно нацеливался на эту эпоху с ее трагическими контрастами и столкновениями. Чаще всего в Иване

Грозном видели жестокого, мстительного и злобного властителя. Что ж, много крови пролилось при нем. Вотчинники-князья и самовластное боярство не захотели добром понять, что время удельного княжения миновало. Россия стояла перед задачами огромного размаха, а они все еще хватались за старое, обветшавшее. Была кровь, была жестокость, были и семь жен... Но Москва при Грозном обстраивается и украшается. Огромные богатства стекаются в нее из Европы, Персии, Средней Азии, Индии. Москва оживляет торговлю и промыслы во всей стране и бьется за морские торговые пути. Больше миллиона жителей становится в Москве. Толстой смотрел прежние карты и поражался сказочной красоте древней Москвы. А Красная площадь... Сколько замечательных страниц осталось об этой центральной площади в сохранившихся книгах. Здесь шла бойкая торговля. Сюда стекался народ во время смут и волнений. Здесь произошла знаменитая, шекспировской силы, гениальная по замыслу сцена между Иваном Грозным и народом — опричный переворот... Да и вся эпоха Ивана Грозного, как и эпоха Петра Великого, отразила огромный подъем творческих сил русского народа. Да, многолетняя, победная вначале борьба Ивана Грозного окончилась военной неудачей, но Русское государство было создано и широко раскинулось до Каспия и до Байкала. Земля стала единой и отечество единым. Иван Грозный укрепил Русское государство.

Пора написать драматическую повесть о нем, и она будет ответом на унижения, которым немцы подвергли его Годину. В первых же трех картинах, написанных в Зименках, Толстой попытался раскрыть основное противоречие времени: конфликт между царем и боярами. Причем народ стоит в этом противоборстве на стороне царя. Нельзя больше терпеть обиды со стороны соседей, открыто попирающих достоинство Русского

государства. Об этом с болью в сердце говорит царь Иван: «...Позавчерась в думе говорю: несносно нам более терпеть обиды от магистра ордена Ливонского, от немецких рыцарей, от польского короля да литовского гетмана... Куда там! Думные бояре уперлись брадами в пупы, засопели сердито... Собацкое собрание!..» Отклик своим большим планам и мечтаниям Иван находит только у «худородных». Им он и исповедуется. «Тебе откроюсь, — признается он Малюте, — тому пятьсот лет, как прародитель наш, князь Святослав киевский, объехал на коне великие границы русской земли. Нерадивы были правнуки его, измельчали землю, забыли правду. Один род Ивана Калиты ревновал о былом величии. Ныне на меня легла вся тяга русской земли... Ее собрать и вместо скудости богатство размыслить. Мы не беднее царя индийского, бог нас талантами не обидел. О нашей славе золотые трубы вострубят на четыре стороны света... А я, убогий и сирий, мечусь в этой келье... Душно мне, душно...» Великие силы почувствовал в себе и в своем народе царь Иван. Дать бой заносчивым немцам и напоить коней в Варяжском море стало необходимостью государственного значения.

Толстой вовсе и не предполагал, закончив пьесу «Орел и орлица», что ему придется продолжить драматическое повествование об Иване Грозном. Это выяснилось на обсуждении пьесы, которое состоялось уже в Ташкенте, куда он переехал в ноябре 1941 года. Здесь в кругу ученых, писателей, деятелей театра Толстой впервые прочитал свою пьесу. Он опасался, что будут придирааться к языку, к выдуманным им деталям, Но академики Греков, Шишмарев, Виппер и другие высоко отзывались о пьесе. 14 марта в газете «Литература и искусство» появилась заметка об этом факте литературной жизни: «Собравшиеся с затаенным дыханием вслушивались в музыку русской речи XVI века, столь блестяще воскрешенной автором».

Через неделю в той же газете появился отрывок из пьесы. Толстой отправил текст директору Малого театра И. Я. Судакову и директору Художественного театра В. И. Немировичу-Данченко. Оба театра дали восторженные отзывы. В частности, Немирович-Данченко писал: «Толстой талант огромный. В исторических картинах по выписанности фигур, по языку, я не боюсь сказать, что не знаю ему равных во всей нашей литературе. Ряд сцен в его пьесе превосходит все, им до сих пор написанное».

Неожиданно все переменялось. Председатель Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко в статье «Современная советская драматургия» упрекнул Толстого в том, что Иван Грозный показан у него преимущественно в личном быту и пьеса не решает задачи исторической реабилитации его. После этого посыпались упреки. Судаков, озадаченный выступлением Храпченко, направил Толстому письмо, в котором просил переделать пьесу. «Переделки ни к чему не приведут. В ноябре будет новая пьеса», — телеграфировал Толстой Судакову. Так возникла мысль о продолжении драматической повести, с тем чтобы показать широкий размах государственных преобразований, осуществленных Иваном IV. «Трудные годы» — так Толстой назвал свою вторую пьесу об Иване Грозном.

18 ноября 1942 года он выступил в Свердловске с докладом «Четверть века советской литературы» на юбилейной сессии Академии наук СССР, посвященной 25-летию Советской власти. Толстой говорил: «Двадцатипятилетие советской литературы лежит между двумя мировыми войнами. В нынешней войне, особенной и небывалой, человечество потрясено в основах бытия, и народные массы призваны к повышенному волевому и моральному состоянию. Нынешняя война — это война моторов. Это так, но это не

полное определение: моторов и силы преодоления страданий, нравственной силы. В этой войне не счастье, не случай и не только талант полководца принесут победу; победит та сторона, у которой больше моторов и тверже нравственный дух народа... Советская литература в своем художественном развитии от человека массы пришла через четверть века к индивидуальному человеку, представителю воющего народа, от пафоса космополитизма, а порою и псевдоинтернационализма пришла к Године, как к одной из самых глубоких и поэтических своих тем».

Вскоре после этого Толстой прибыл в Москву и 29 ноября выступил на антифашистском митинге работников литературы и искусств в Колонном зале Дома Союзов. И снова статьи, выступления, статьи, заседания, поездки по освобожденным местам в качестве члена Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

13 января 1943 года, выступая в Московском клубе писателей, где состоялось его чествование по случаю шестидесятилетия и награждения орденом Трудового Краеного Знамени, Толстой сказал:

— Дожил я до шестидесяти лет. В мирные времена тут-то бы и начать писать мемуары и сажать розы. Но другая сила зовет нас под старость снова в шумный, грозный водоворот жизни. Все силы отдать нашему народу в его борьбе с фашизмом и после победы все силы отдать для реконструкции нашего Отечества — вот что лишает нас всякого права ощущать свою старость. Наша молодость — в любви и преданности нашему народу, который выполняет великую историческую миссию спасения человечества и гуманитарной культуры от неслыханной опасности...

Статьи, статьи, статьи... Редко когда найдется время для работы над второй частью драматической повести

об Иване Грозном. Да и что-то не чувствуется у Толстого того творческого подъема, который ощущал он, работая над первым вариантом «Орла и орлицы». Уж слишком много раздавалось замечаний по его адресу. Слишком многие требовали тех или иных поправок и переделок. Естественно, он пытался что-то сделать приемлемое для него. Но возникали новые... Во всяком случае, постановка пьесы затягивалась, и это раздражало Толстого... Много сил забирала Чрезвычайная государственная комиссия. Возвращался Толстой с освобожденных территорий весь черный от увиденного и пережитого. Он всегда избегал страшного в жизни, сторонился смертей, похорон, а тут не мог уклониться. И увидел такие бездны человеческой подлости и опустошения, такие страдания человечества, что душа его ужаснулась. Он все чаще стал жаловаться на усталость, как ни бодрился. Особенно тягостной была для него поездка в качестве корреспондента «Правды» в Харьков на судебный процесс по делу немецких преступников. За короткий срок «Правда» опубликовала его статьи «Фашистские преступники», «Палачи», «Варвары», «Возмездие». Только после этого, накануне нового, 1944 года, он взялся за «Петра».

Жизнь в Барвихе понемногу налаживалась. Советские войска неудержимо продвигались на запад. Успехи на фронте наполняли душу Толстого радостью и гордостью за свой героический народ. И он никогда еще, пожалуй, с таким подъемом и удовольствием не садился за письменный стол. Дело не только в том, что соскучился по своим героям, оставленным на полдороге десять лет тому назад. Дело в том, что сейчас их деяния, направленные на освобождение исконных русских

земель, как нельзя лучше отвечали патриотическим чувствам сегодняшнего читателя, с неослабным вниманием следящего за героическими действиями Красной Армии.

Третья книга романа «Петр Первый», по характеристике самого автора, должна была стать самой главной частью романа, во всяком случае, она должна была охватить самый интересный период жизни главного героя: Толстой намеревался показать законодательную деятельность Петра, его новаторство при изменении уклада русской жизни, дать картины не только русской жизни, но и вместе со своими героями побывать во Франции, Польше, Голландии. В частности, он твердо собирался одну из глав посвятить пребыванию Александры Волковой в Париже, где она должна была затмить всех тамошних красавиц и не одного француза свести с ума своей неотразимой красотой. Но эту главу он все время почему-то откладывал. Может, потому, что как-то невольно увлекся мирными картинами старомосковского быта, образом царевны Натальи Алексеевны и ее идеей создать в России русский театр, и незаметно для него отодвинулась гигантская фигура Петра со всеми его штурмами, осадами, строительством новых городов. Хотелось чуть-чуть отдохнуть от войны, хотя и быт старой Москвы весь был подчинен нуждам войны. Во всех московских кузницах работали на войну, даже конопляной веревочки невозможно было купить. Торговля замерла, деловая жизнь утихла, только недреманное око Ромодановского бдительно следит за назревающим новым заговором против Петра. Да царевна Наталья Алексеевна от всего сердца старается помочь в деле преобразования России своему братцу, который, уезжая на войну, просил ее, чтобы она не давала покоя старозаветным бородачам, всячески шевелила их. Петр уже появился в его третьей книге. Военную передышку он использовал для укрепления

армии, ее снабжения всеми необходимыми средствами для достижения победы над шведами. Всеми помыслами он на севере страны. Здесь, на краю земли русской, строился Питербурх. Его указ, чтобы «отныне знатность по годности считали», способствовал выдвижению на самые высокие государственные посты тех, кто выделился среди его помощников своим умом, деловитостью, энергией, знаниями. За одним столом усаживались и особы княжеского, даже королевского рода, и так называемые худородные, не забывшие еще своих курных изб, где родились и выросли. При Петре так уж повелось, что каждый мог высказываться до конца, не таясь, но последнее слово всегда оставалось за Петром.

Толстой все меньше писал по заказу газет и радио. Все меньше откликался на всевозможные поручения и просьбы, только в конце января в составе Комиссии по расследованию преступлений немецких фашистов выезжал в Смоленск и провел там целую неделю, наблюдая раскопки могил и присутствуя на допросах свидетелей. А после этого он снова не мог несколько дней работать. В эти дни он часто выходил гулять по саду или подолгу, казалось, просто так сидел у камина и смотрел, как пламя поглощало дрова. Потом брал листки «Петра» и начинал их перечитывать, все больше и больше загораясь идеями и замыслами двухсотпятидесятилетней давности. Листал приготовленные для работы книги, просматривал выписки и наброски, и все вновь оживало, становилось таким ясным и зримым, что бывало даже страшно за себя: откуда же берутся такие силы и возможности? Указывая в своих воспоминаниях именно на эту черту творческого видения художника, К. Чуковский писал: «Его воображение дошло до ясновидения. Это поразило меня еще за год до того, как он окончательно свалился в постель. Я был у него, на его московской квартире, и он,

не зажигая огней, импровизировал диалог между царицей Елизаветой Петровной и кем-то из ее приближенных — такой страстный, такой психологически тонкий, с таким глубоким проникновением в историю, что мне стало ясно: как художник, как ведатель души человеческой, как воскреситель умерших эпох, он поднялся на — новую ступень. Это ощущал и он сам, и, счастливый этим ощущением своего духовного взлета, строил грандиозные планы, куда входили и роман из эпохи послепетровской России, и эпопея Отечественной войны, и еще одна драма из эпохи Ивана IV.

— Мне часто снятся целые сцены то из одной, то из другой моей будущей вещи, — говорил он, радостно смеясь, — бери перо и записывай! Прежде этого со мной не случалось».

Только вошел в создаваемый им самим мир героев петровского времени, как новая волна заседаний накатилась на него: на этот раз больше двух недель Толстой потратил на чтение выдвинутых на соискание Сталинских премий художественных произведений и обсуждение их в комитете. Нужно было прочитать десятки произведений, посмотреть некоторые фильмы, спектакли, архитектурные ансамбли. Правда, он ничуть не сетовал на это, зная, насколько важны для развития будущей литературы и искусства решения комитета. И от души радовался, когда его, так сказать, подзащитные, такие, как Вячеслав Шишков и его роман «Емельян Пугачев», Борис Горбатов и его повесть «Непокоренные», Сергей Голубов и его роман «Багратион» и другие, бывали отмечены премиями. Все-таки он не зря работал, заседаая и выступая по несколько раз в защиту всего настоящего, подлинного в литературе и искусстве. Но бывало горько на душе, когда видел, что собственный роман уж очень медленно движется. Почти полгода прошло, как он начал работать

над ним, а написано всего лишь три главы... Хорошо, что хоть одна из них уже напечатана в «Новом мире», значит, отступать некуда, надо работать дальше. Только у военного времени свои законы, свои темы...

Зашел он однажды в редакцию газеты «Красная звезда», особых дел у него не было, скорее по привычке — нет ли каких заданий, порасспросить, что нового на фронте... Да и надолго остался в редакции, слушая необычный даже для военного времени рассказ полковника А. Я. Карпова, заместителя главного редактора и заведующего литературным отделом газеты. Живого места не осталось на лице одного танкиста после того, как он горел в танке. Его спасли. Десятки пластических операций сделали искусные хирурги, чтобы придать его лицу более или менее человеческий вид, и все-таки он выглядел страшно изуродованным. После выздоровления командование предоставило ему отпуск. И он поехал навестить своих родных. Но как показаться им в таком виде? Стоит ли их пугать своим лицом?.. Так и не признался танкист, выдав себя за другого. А мать и отец по мелким деталям и подробностям характера восстановили образ сына, столь обезображенного войной.

Такой сюжет нельзя было откладывать. «Петр» снова может подождать, а этот случай нуждается в немедленном художественном воплощении. Он может оказаться завершающей историей из рассказов Ивана Сударева, а герой — стать воплощением лучших черт русского национального характера.

«Рассказы Ивана Сударева» возникли еще летом 1942 года, когда Толстой, приехав из Ташкента, снова поселился в Барвихе. Рядом с Барвихой находилась специальная военная школа, где проходили обучение партизаны. Толстой часто встречался с курсантами и преподавателями этой школы, рассказывал им о своих творческих планах, о том, как он работает, они, в свою

очередь, делились воспоминаниями о войне, сообщали интересные эпизоды из своей боевой жизни. Живейшее участие в этих беседах принимали партизаны Василий Васильевич Козубский и Андрей Федорович Юденков, старший лейтенант Иван Филиппович Титков, передавший Толстому свой дневник, который он вел с начала войны до февраля 1942 года. «Если Вам мои записи могут служить материалом, то можете их пустить в ход», — писал Титков, улетаая на очередное задание к партизанам. Много поучительного и интересного Толстой узнал от бойцов и командиров Первого гвардейского конного корпуса генерал-лейтенанта П. А. Белова, с которыми он встречался в конце июля 1942 года. Корпус только что вернулся из глубокого рейда по тылам противника, впечатлений накопилось много, было что поведать его участникам. Да и образ самого рассказчика Ивана Сударева, бывалого кавалериста, человека честной и чистой души, с поэтическим восприятием окружающего мира, возник у Толстого после этой встречи с кавалеристами. Сразу же после возвращения Толстой и засел за эти рассказы. За три недели августа 1942 года ему удалось написать «Ночью в сених на сене», «Как это началось», «Семеро чумазных», «Нина», «Странная история». Все пять рассказов были напечатаны в «Красной звезде» в августе, а затем выходили отдельной книжкой в Военмориздате, в Куйбышевском областном издательстве, в «Советском писателе» все в том же 1942 году.

Алексей Толстой, захваченный новым сюжетом, перелистывал свои прежние рассказы из этого цикла. Нужно было обновить впечатления тех лет. Прошло ведь два года, кое-что и подзабылось. И, перелистывая «Рассказы Ивана Сударева», Толстой снова почувствовал настроение простого, душевного, мужественного человека, много повидавшего на своем вѣну. Сердечно

рассказывает он о русских людях, оказавшихся в тяжелом положении на окну-пированной территории. Вот Василий Васильевич Козубский и Андрей Юденков, поднявшие знамя партизанской борьбы. О чем рассуждает директор школы Козубский? О великом историческом испытании, которое выпало на их долю. Пропадет ли Россия под немцем или немцу пропасть? Русские святыни, взорванные немцами, требуют отмщения. Культуру нашу, честную, мужицкую, мудрую, растоптали немцы. И все мы виноваты, что мало ее берегли. Русский человек расточителен. Ничего... Россия велика, стойка, вынослива. А знает ли Юденков, какая в русской тишине таится добродетель? Какое милосердие под ситцевым платочком! Какое самоотвержение!

Трагически закончилась и «странная история» Петра Филипповича Горшкова. Дерзко и смело работал Горшков, доставал ценные сведения для партизан. За уголовное прошлое немцы назначили его бургомистром, поверив в его ненависть к Советской власти. Но Горшков о многом передумал за годы лагерного заключения. Многие прочитал за эти годы. И задумался над главным: за какую же правду он страдает? Вот был в городе Пустозерске протопоп Аввакум, в яме сидел при царе Алексее Михайловиче. Ему отрезали язык за то, что не хотел молчать. С отрезанным языком, сидя в яме, продолжал стоять за свою правду, непокоренный и несломленный, писал послания русскому народу, моля его жить по правде и стоять за правду. Понятно, тогда была одна правда, сегодня другая, но — правда... А правда есть — русская земля. Она у всех — одна, дорогая и незабвенная. До каких же пор безнаказанно немцы будут издеваться на русской земле над русскими людьми? Как это понять? Антихрист, что ли, пришел? Русская земля кончилась? Власть Советская вооружила народ и повела в бой, чтобы перестал смеяться проклятый немец.

Так рассуждал Горшков, справедливо осужденный за вредительство и честно отбывший свой срок. А сейчас, назначенный немцами бургомистром, он предлагает партизанам передавать сведения о своих новых хозяевах. Действительно, странная история, но только для тех, кто не знает русских людей: «Русский человек — не простой человек, русский человек — хитро задуманный человек». Немцы были уверены, что в лице бургомистра нашли преданного им, смышленного слугу, а бургомистр словно издевался над ними, проводя дерзкие операции. И только случайность погубила его. Сколько ни пытали его немцы, ни слова им не сказал. Только когда пришли партизаны, он, подвешенный за ребро, умирающий от зверских пыток, проговорил: «Ничего... Мы люди русские».

Пожалуй, новый рассказ так и стоит назвать — «Русский характер», подвести некоторый итог своим размышлениям о русском человеке, оказавшемся лицом к лицу с ненавистным врагом.

«Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься — который предпочесть...»

Иван Сударев, от имени которого Толстой ведет повествование, считает, что не стоит сейчас рассказывать о героических подвигах своего приятеля Егора Дремова: на груди его сверкает золотая звездочка и множество орденов. До войны он был обыкновенным колхозником, простым, тихим. Только внешность его бросалась в глаза; сильный, красивый, он привлекал внимание своей душевной улыбкой. И вот с ним произошло несчастье: во время Курского побоища его танк был подбит и загорелся, водитель вытащил его,

обгоревшего, едва живого, и пополз с ним на перевязочный пункт. «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев, — слышу, сердце у него стучит...»

«Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно».

Поехал Егор Дремов домой для полного восстановления здоровья. Обрадовался при виде родного дома, родной деревни, знакомого колодезя с высоким журавлем. И вдруг его словно обожгло: как же он покажется родителям, ведь если медсестра при виде его лица отвернулась и заплакала, а генерал, отпуская его в деревню, отвернулся и старался на него не смотреть, то каково же будет матери и отцу глядеть на него и не узнавать в нем того, кого они вырастили и воспитали. И тогда он решил не говорить им, что он их сын. Просто приехал, чтобы передать привет от сына. Так он и сделал. И долго рассказывал он про войну, про сына, то есть про самого себя, но так и остался неузнанным. «Ему было хорошо за родительским столом и обидно». На следующее утро пришла его невеста. «Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти, — сегодня же.

Мать напекла пшениных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства... Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял

ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Друзья его встретили радостно, а вскоре пришло от матери письмо, в котором она высказывает догадку, что именно он приезжал к ним. Тогда признался он матери, что не хватило духу сознаться. Мать и невеста приехали в часть.

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота».

7 мая рассказ был опубликован в «Красной звезде», а 8 мая ему пришлось вылететь в Ленинград все по тем же делам расследования зверств, содеянных немецкими фашистами. Побывал он в Детском, посмотрел на разрушенный дом, где прожил почти десять лет, побывал в Петергофе, в Кронштадте, на Толбухинской косе, названной так по имени полковника Толбухина, отличившегося в битве со шведами во времена Петра Великого. Этот эпизод Северной войны Толстой намеревался отобразить в третьей книге романа. В Ленинграде выступил по радио, встретился с писателями, руководителями Ленсовета, провел литературный вечер в одной из воинских частей.

Он знал, что его родной Ленинград вынес большие трудности, но то, что он увидел и услышал от знакомых и очевидцев, переполнило его сердце мукой и горем. Да и до сих пор в Ленинграде, недавно освобожденном от блокады, было голодно, неуютно. Только однажды он в гостинице «Астория», где остановились артисты театра имени Кирова, недавно приехавшие из Алма-Аты и тоже переживавшие горечь от встречи с родным городом, позволил себе хоть на время позабыть о горе и страданиях. Кто-то из артистов раздобыл рыбу невероятного цвета. Многие отказались даже прикасаться к ней. Толстой разрешил все сомнения,

предложив сделать из нее котлеты. А когда он принес бутылку вина, сказав при этом, что с таким вином можно проглотить и сырого крокодила, то сомнения рассеялись, и все принялись за пиршество. В такой компании молодых и талантливых людей Толстой всегда чувствовал себя приподнято, бодро, сверкал остроумием. И на этот раз он тоже громче всех смеялся, рассказывая забавные случаи из прошлой и современной жизни!

Вернувшись в Барвиху, Толстой наконец надеялся, что вплотную займется «Петром». И действительно, поначалу так и было: в конце мая сдал четвертую главу в «Новый мир», а потом опять что-то разладилось. Временами он стал чувствовать какое-то необъяснимое удушье. Может, от курева?.. Стал чаще выходить в сад, брал лейку и поливал цветы, а потом бродил по саду, стараясь наладить дыхание. Казалось, что удушье проходило, и он снова уходил в свой кабинет. Через некоторое время оттуда начинал доноситься стрекот машинки, и обеспокоенные его состоянием близкие облегченно вздыхали. А Толстой широко раскрывал «двери» своего исторического творения, и туда бодрым шагом входили король Лещинский, князь Любомирский, комендант нарвского гарнизона генерал Горн и его племянник Арвид Горн, незаметно и ловко въехала в лагерь Карла графиня Козельская, фаворитка короля Августа Саксонского, подославшего ее просить у Карла мира; появилась чета Собещанских, а вслед за ними и князь Голицын, казачий атайан Данила Апостол со своими войсками. Столько новых персонажей входило и входило в повествование, что порой Толстого брала оторопь: а справится ли он со всеми этими энергичными и страстными героями, каждый из которых требовал к себе большого внимания? О каждом из них надо знать предельно много. С одним из его героев чуть не произошел курьез. Да и в самом деле произошел бы,

если бы не случайная встреча со знакомым антикваром в Ленинграде во время последней поездки. Толстой уже написал Данилу Апостола таким, каким его представлял. И вдруг ему преподнесли в Ленинграде портрет Данилы Апостола, написанный с натуры неизвестным художником. Оказалось, что казачий атаман был не черноволосым красавцем, каким представлял его Толстой, а одноглазым рыжеватым гигантом. Разглядывая портрет своего героя, Толстой был так раздосадован своей неосведомленностью, что сгоряча хотел все три главы переделывать. Но все обошлось изменением нескольких фраз.

Работа над пятой главой романа то и дело прерывалась недомоганиями. А так хотелось писать... Его героям предстояли героические бои за Юрьев и Нарву. В этих боях раскрывается гений Петра как полководца, неумная смекалка и хитрость Меншикова, храбрость и мужество русских солдат. А с каким творческим наслаждением он работал над образами художника Голикова и Гаврилы Бровкина, такими разными по своим характерам и образованию, но в чем-то одинаково родными и близкими. И как хорошо, что у них, скачущих в Москву по заданию Петра, сломалась телега... Без этого Толстой не мог бы их столкнуть с братьями Воробьевыми, кузнецами, прекрасными работниками и замечательными людьми. На таких вот работниках, как бы говорил Толстой, и стоит земля русская. Он откровенно любит их силой, ловкостью, сноровкой, несокрушимым моральным здоровьем. А сам в это время переживает удушье, общее ухудшение здоровья. Рентгеновский снимок, сделанный в кремлевской больнице, показал затемнение в легком. Врачи посоветовали бросить курить, бывать больше на воздухе, не заниматься серьезной работой, несколько отдохнуть. Поэтому Толстой, закончив пятую главу и сдав ее в «Новый мир» для 8—9-го номеров, стал

заниматься сбором материала для нового романа о работе тыла в годы Отечественной войны. Не один раз приезжали к нему режиссеры МХАТа А. Д. Попов и М. О. Кнебель, артист Н. П. Хмелев, чтобы посоветоваться о постановке второй части драматической повести «Иван Грозный» — «Трудные годы».

В ответ на приглашение Челябинского обкома партии приехать в Челябинскую область Толстой сообщает: «Я давно собираюсь поехать на южный Урал посмотреть на все перемены, происшедшие там за военные годы, и познакомиться с людьми, совершившими это. Мне совершенно необходима эта поездка, так как я собираюсь после окончания романа «Петр Первый» (над которым работаю сейчас и думаю закончить весной 1945 года,) писать большое произведение об Отечественной войне. Поездка в ваши края дала бы мне богатый материал о жизни нашего тыла». И даже название романа Толстой придумал: «Огненная река (На великом пути)». Но дальше этого работа не пошла: в конце сентября здоровье снова резко ухудшилось, и Толстые решили отдохнуть и полечиться в подмосковном санатории «Сосны». Галина Уланова, одновременно с ними отдохнувшая в санатории, вспоминает: «Толстой находился там вместе с женой, работал и лечился. Болезнь подступала к нему все настойчивее. Он отшучивался от нее, сказал мне однажды: «Смотри, Галя, мне стала мала шапка. Голова выросла, наверное, поумнел...» Ему надо было пить сушеницу, настоящую на русском масле и водке. Он заявил, что один эту гадость пить не будет, что я обязана составить ему компанию. Два раза в день мы вместе принимали по ложке лекарства... Во время прогулок или вечером в гостиной перед горящим камином Толстой рассказывал... Иногда это были какие-то маленькие смешные истории, внезапно мелькнувшая мысль. То вспоминал свои детские годы, то как писал

«Детство Никиты». Пожалуй, интересней я никогда ничего не слыхала. Он говорил образно, неожиданно, пленяя воображение, но всегда просто и естественно».

Через два месяца Толстой вернулся в Барвиху и сразу приступил к работе над шестой главой «Петра», всецело посвященной штурму Юрьева и Нарвы. Перечитывая предшествующие главы, Толстой обратил внимание на то, что образ Натальи как бы заслонил фигуру Петра, отодвинул его на второй план. «Понятно, — думал Толстой, — и ее заботы очень интересны и важны, но все-таки второстепенны по сравнению с заботами Петра. Не прошел бы он у меня на втором плане в виде статуи. Ведь меня как ветром тащило в сторону. Два месяца не мог работать... Какая жалость... А начинать надо прямо с Петра. Это-то я сделаю, но вот как втащить в роман новых персонажей, расширить его поверхность? Оказывается, это совсем не легкая штука. В первой и второй частях это было легко, а сюда надо ухитриться их втаскивать. А как хочется написать о Саньке, о Париже! О Булавине тоже надо написать, хотя советские книжки о нем такие скромные, что противно взять в руки, а в старых и вообще мало что найдешь. Придется роман довести только до Полтавы, может, до Прутского похода, трудно сейчас сказать. Не хочется, чтобы люди в нем состарились, что мне с ними, со старыми, делать?..»

10 января 1945 года Толстой, как обычно, пригласил своих друзей на день рождения. И как обычно, было неповторимо просто, душевно в доме Толстых в этот день. Только виновник торжества иногда выходил куда-то, вскоре возвращался, чтобы снова включиться в общее веселье. Никто и не догадывался, что у него уже шла горлом кровь. «Алексей Николаевич был весел и шутлив, как прежде, — вспоминала Галина Уланова. — Мы приехали к Толстому в Барвиху вместе с его старинным другом, Николаем Николаевичем Качаловым

(ученый-физик. — *В. П.*). Поднялись по деревянной лестнице на небольшую галерею, куда выходили комнаты. Дверь в первую из них была раскрыта, и мы увидели Толстого, сидящего в большом кресле... Я услышала громкий спокойный голос, который почти буквально повторил фразу, сказанную мне столько лет назад, когда я впервые выступала в Большом театре:

— Галя, ты не бойся, это ерунда, все пройдет...

Он долго не отпускал нас. Когда мы уходили, все шутил над своей болезнью, словно хотел отпугнуть неизбежное. И все просил поскорее приехать еще...

Больше мы не виделись. Алексей Николаевич умер спустя два месяца».

Эти полтора месяца Толстой уже не работал. Читал газеты, слушал радио, жадно узнавая о продвижении советских войск к Берлину. 23 февраля Толстой скончался в Барвихинском санатории.

На следующий день в газетах было опубликовано правительственное сообщение о смерти выдающегося русского писателя, талантливейшего художника слова, пламенного патриота нашей Годиной, депутата Верховного Совета СССР Алексея Николаевича Толстого. На траурном митинге, посвященном памяти А. Н. Толстого, Михаил Шолохов сказал:

— Алексей Толстой — писатель большой русской души и огромного разностороннего таланта... Все мы испытывали чувство большой, теплой радости от того, что вот он — жизнелюбивый, брызжащий искрометным русским талантом... живет и творит рядом с нами.

23 февраля было опубликовано постановление СНК СССР «Об увековечении памяти писателя Алексея Николаевича Толстого». И вот уже почти тридцать лет бывшая Спиридоновская улица носит имя Алексея Толстого, а неподалеку от церкви, где венчался Пушкин, установлен памятник Алексею Толстому.

Его произведения ничуть не устарели и по-прежнему находят отклик в сердцах современных читателей. Его книг», привлекают внимание и композиторов, и режиссеров, и актеров. Прошло более тридцати лет со дня его смерти, а он по-прежнему вместе с русскими читателями и читателями братских народов нашей Родины участвует в строительстве нового общества, по-прежнему доставляет огромное наслаждение своими бессмертными образами, своим изумительным языком, подлинно русским, подлинно народным, подлинно художественным.

«Среди самых передовых писателей русской литературы советского периода Толстой был индивидуальностью ярчайшей и талантом ослепительным. Он не повторял никого ни в чем, — писал Константин Федин, — и одновременно был тонко ощутимой связью с неумирающим нашим наследием XIX века. Золотая нить, которую он тянул из прошлого, нежнейшими волосками своими уводила к Тургеневу, Аксакову, Лермонтову, Пушкину.

Качества его дара разнообразны, но одно из них бросается прежде других в глаза: это художник весенней жизнерадостности. Все в нем сияет отражениями солнца, все омыто первым грибным дождем, все наполнено голосом иволги — птицы, любящей только вершины деревьев.

Да, Толстой давал немало картин грозных, жестоких, кровавых. Но все они отступали перед его упоением жизнью, перед его неповторимой лирикой, перед его любовью к смеху. Да, он бывал гневен, и в гневе своем груб — как же еще мог он говорить о врагах обожаемой им России? Но вряд ли кто другой нашел такие оттенки почитания и ласки в словах о самом драгоценном на свете — о русском человеке и о родине».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

1883, 10 января (29 декабря 1882 г. по ст. ст.) — В городе Николаевске родился Алексей Толстой в доме мелкопоместного дворянина Алексея Аполлоновича Бострома. Отец — граф Николай Александрович Толстой; мать — Александра Леонтьевна Толстая, урожденная Тургенева.

1901 — В мае закончил Самарское реальное училище и уезжает в Петербург, где поступает в технологический институт.

1905 — Производственная практика на Балтийском заводе и Невьянском металлургическом.

1906 — В январе в казанской газете «Волжский листок» опубликовано три стихотворения Алексея Толстого. В феврале уехал в Дрезден, где жил и учился до июля. 25 июля умерла А. Л. Тургенева, мать Толстого.

1907 — В марте выходит его книга стихов «Лирика». В журналах «Луч» и «Образование» печатаются стихи и статьи.

1908 — Живет в Париже и работает над подготовкой к печати книги стихов.

1909 — Возвращается из Парижа в Петербург, сближается с сотрудниками журнала «Аполлон».

1910 — В январе в журнале «Аполлон» опубликована повесть «Неделя в Туреневе». В этом же году публикует рассказы «Аггей Коровин», «Самородок», «Лихорадка», «Два друга», повесть «Заволжье».

— Книга «Сорочьи сказки» вышла в издательстве «Общественная польза». В издательстве «Шиповник»

выходит первый том его повестей и рассказов, о котором одобрительно отзывается Горький.

1911 — В литературно-художественном альманахе «Шиповник» — (№ 14-15) опубликован роман «Две жизни» («Чудаки»). «За синими реками». Сборник стихов, издательство «Гриф».

1912 — Осенью переезжает из Петербурга в Москву. Опубликован роман «Хромой барин».

1913 — Печатает в газете «Русские ведомости» рассказы и повести «За стилем».

1914 — В январе газета «Правда» положительно оценивает творческую работу Алексея Толстого. В августе в качестве военного корреспондента «Русских ведомостей» выезжает на Юго-Западный фронт.

1915 — В феврале в качестве военного корреспондента выезжает на Кавказ, где началась война с Турцией.

1916 — В январе состоялась премьера пьесы «Нечистая сила». В феврале — марте в составе делегации русских писателей и журналистов посетил Англию, Францию, побывал на Западном фронте. Летом работает над пьесами «Ракета» и «Касатка», над рассказами «Прекрасная дама», «В июле».

1917 — 2 сентября состоялась премьера пьесы «Горький цвет». В октябре в журнале «Народоправство» опубликован «Рассказ проезжего человека». В ноябре в газете «Луч правды» опубликованы статьи «На костре», «Власть трехдюймовых», «Ночная смена».

1918 — В январе состоялась премьера пьесы «Кукушкины слезы». Публикует рассказы о петровском времени — «Наваждение», «Первые террористы», работает над рассказом «День Петра». В июле выезжает из Москвы в Одессу.

1919 — В апреле на пароходе «Кавказ» отплывает из Одессы в Константинополь, а затем в Париж, где начинает работать над романом «Хождение по мукам».

1920 — Первые главы романа «Хождение по мукам» напечатаны в журнале «Грядущая Россия».

1921 — В журнале «Современные записки» роман «Хождение по мукам» напечатан полностью. Переиздаются романы «Хромой барин», «Чудаки». В октябре переезжает вместе с семьей в Берлин.

1922 — В феврале опубликована повесть «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта». В апреле исключен из Союза русских писателей в Париже за сотрудничество в газете «Накануне». Работает над романом «Аэлита».

1923 — В августе возвратился в СССР.

1924 — Работает над повестями и рассказами об эмигрантской жизни.

1925 — В марте состоялась премьера пьесы «Заговор императрицы». Публикует рассказ «Голубые города», роман «Гиперболоид инженера Гарина».

1926 — В апреле состоялась премьера пьесы «Азеф».

1927 — В журнале «Новый мир» № 1 опубликован рассказ «Василий Сучков», в «Красной Ниве» — «Бывалый человек»; собирает материалы для второй книги романа «Хождение по мукам».

1928 — В феврале опубликована пьеса «Фабрика молодости». В мае вместе с семьей переехал в Детское Село иод Ленинградом. В августе опубликована повесть «Гадюка». В июльском номере «Нового мира» закончена публикация второй книги романа «Хождение по мукам» — «Восемнадцатый год». В декабре завершает пьесу «На дыбе».

1929 — В феврале состоялась премьера спектакля «На дыбе». В это же время начинает работу над романом «Петр Первый». В июле «Новый мир» начал публикацию романа «Петр Первый».

1930 — 12 мая завершает работу над первой книгой романа «Петр Первый».

1931 — В декабре закончил работу над романом «Черное золото».

1932 — В марте выезжает к Горькому в Сорренто.

1934 — Принимает участие в подготовке и проведении Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

1937 — Избран депутатом Верховного Совета СССР.

1938 — 23 марта награжден орденом Ленина за сценарий фильма «Петр I».

1939 — В январе избран в действительные члены Академии наук СССР и награжден орденом «Знак Почета». В феврале работает над второй частью драматической пьесы об Иване Грозном («Трудные годы»).

1941 — Завершает работу над трилогией «Хождение по мукам». В первые месяцы войны пишет десятки публицистических статей.

1942 — Февраль — Закончил первую часть драматической дилогии «Иван Грозный», «Орел и орлица».

1943 — 10 января — Указом Президиума Верховного Совета СССР в связи с шестидесятилетием награжден орденом Трудового Красного Знамени. 19 марта за роман «Хождение по мукам» присуждена Сталинская премия первой степени. 30 марта появилось сообщение в газетах о том, что Алексей Толстой передает присужденную ему премию в сто тысяч рублей на постройку танка «Грозный». 31 декабря в Барвихе начинает работать над третьей частью романа «Петр Первый».

1944 — 7 мая в «Красной звезде» опубликован рассказ «Русский характер». В июне врачи обнаруживают злокачественную опухоль в легком. Август — Заканчивает пятую главу третьей книги «Петра Первого». Октябрь — Присутствует на премьере пьесы «Орел и орлица» в Малом театре.

1945 — 23 февраля скончался.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

А. Н. Толстой. Собрание сочинений в десяти томах. М., Гослитиздат, 1958–1960.

А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в пятнадцати томах. М., Гослитиздат, 1948–1954.

Гр. Ал. Толстой. Лирика. Спб., изд. автора, 1907.

Гр. А. Н. Толстой. Сочинения в двух томах. Спб., изд-во «Шиповник», 1911–1912.

Гр. А. Н. Толстой. Сочинения в десяти томах. М., Книгоиздательство в Москве, 1913–1918.

Алексей Толстой. Хождение по мукам. Роман. Берлин, изд-во «Москва», 1922.

И. И. Векслер. Алексей Николаевич Толстой. М., «Советский писатель», 1948.

В. Р. Щербина. А. Н. Толстой. Творческий путь. М., «Советский писатель», 1956.

Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. М., Изд-во АН СССР, 1960.

Л. М. Поляк. Толстой — художник. Проза. М., «Наука», 1964.

Вадим Баранов. Революция и судьба художника. А. Толстой и его путь к социалистическому реализму. М., «Советский писатель», 1967.

И. С. Рождественская, А. Г. Ходюк. А. Н. Толстой. Семинарий. Л., 1962.

З. А. Никитина, Л. И. Толстая. Воспоминания об А. Н. Толстом. Сборник. М., «Советский писатель», 1973.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Александра Леонтьевна Толстая с сыном Алексеем.



Алексей Толстой в детстве.



Толстой А. Н. 1899-1900 гг. Самара.



Толстой А. Н. (на первом плане) с матерью и друзьями. Сосновка.



С Юлией Рожанской. 1902-1903 гг. Самара.

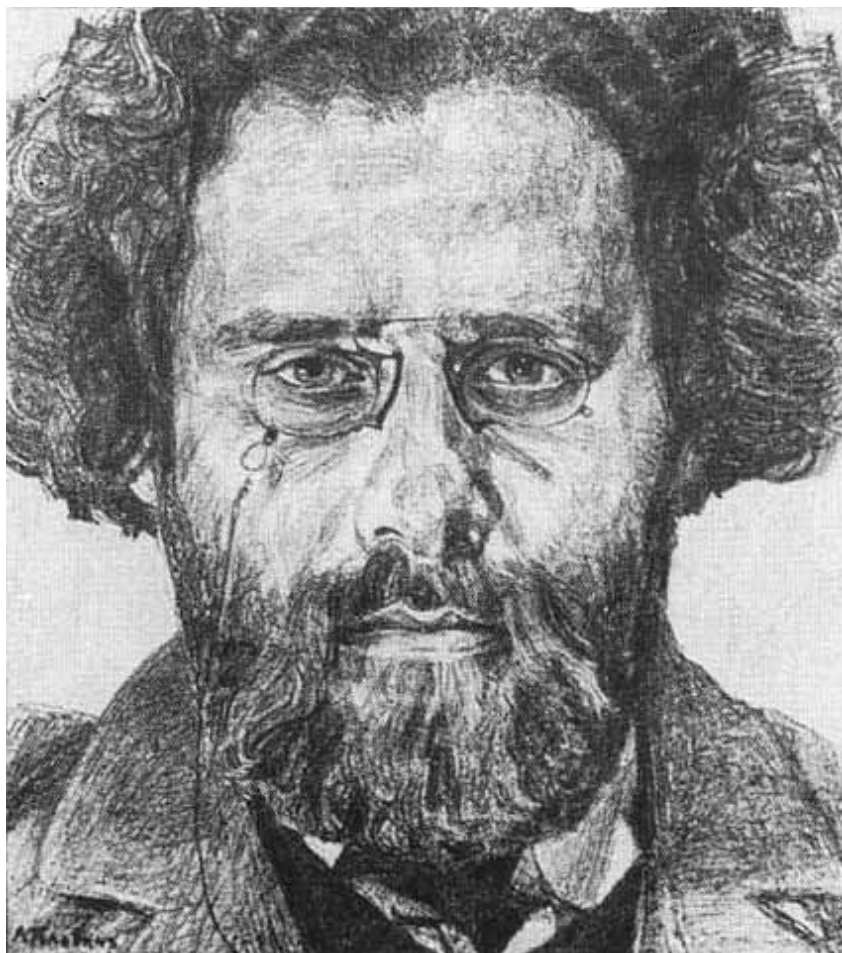


Толстой А. Н. Литография Бакста.

Пределяю себя, дорогая мама и мамочка, что
я еще не игралась пианино. Только сейчас узнаю,
что такое, что такое эстетическое чувство, крик
наших терпений и не выдерживаемых. Выходит
на каждом пофигисту и все это и это.

Земляки земли короче. А как же это, что
принадлежит размышлениям человека в восторг.
Сначала было трудно, но потом привелись. Най-
милейшие мои очень понравились за то, что даю-
современное и чуждое мышление к восторгу, за
короче из наших восторгов и за величественный
талант принадлежал. Это творчество этого усе-
ноушного и восторго, что можно увидеть в
то, что в нем в восторге мышления и восторге.

Автограф письма к матери и отчиму, Алексею
Аполлоновичу Бострому.



Максимилиан Волошин.



Валерий Брюсов.



Иннокентий Анненский.



Толстой А. Н. 1916 г.



Групповой снимок. *Стоят:* Толстой А. Н., Жилкин И. В., Панкратов А. *Сидят:* Пришвин М. М., Толстой И. Л., Скиталец (Петров С. Г.).



Толстой А. Н. 1916 г.



Наталья Васильевна Крандиевская.



Толстой А. Н. Москва. 1918 г.



Толстой А. Н. 1923 г.



Толстой А. М., Щеголев П. Е. и Шапорин Ю. А.
Ленинград. 1925 г.

20/
x 1945
Дружеское Слово
Приморский 4

Дорогой Алексей Иванович,
ленинградская газета "Зор-
сон" кнута Зоненки (про-
ведущий в ... Шведе"). Внесла-
ние идеи от этого дела
Грушевое. Приморско при сен-
тисмо Слонимского. Не
могу ли вы помочь?

Как вы чувствуете?
Там у вас, должно быть,
изменилась жизнь. Оби-
мало вас и молю.

Вам А. Манежов

Письмо Горькому А. М. 1933 г.



Толстой выступает на I Всесоюзном съезде советских писателей. 1934 г.



За рабочим столом.



Василий Качалов.



Константин Станиславский.



Толстой А. Н. и Горький А. М.



За работой над пьесой «Петр I».



Рисунки Толстого на полях рукописи романа «Петр I».



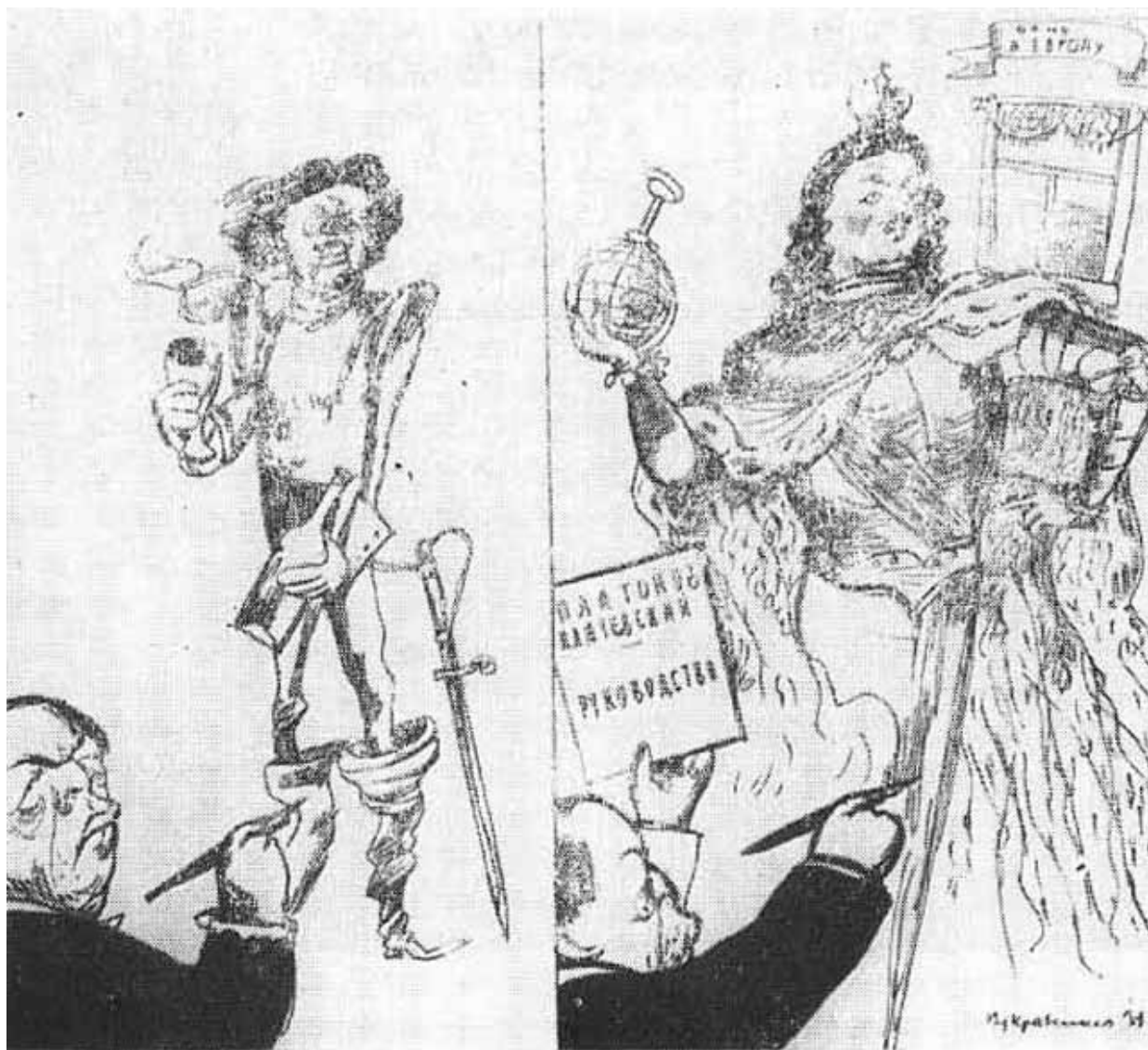
Толстой А. Н. И Шолохов М. А. 1934 г.



На встрече с преподавателями 2-го Ленинградского артиллерийского училища. 1934 г.



В Ленинградском государственном театре драмы. Сидят (*справа налево*): Толстой А. Н., Малютин Я. О. (в роли Петра I), Бабочкин В. А., *стоит* Сушкович Б.



Толстой пишет портрет Петра I. Рис. худ. Кукрыниксов. 1931 г.



Тихонов Н. С., Толстой А. Н. и Горький А. М.



Толстой А. Н. Репродукция портрета работы Н. Э. Радлова. 1937 г.



Слева направо: Москвин И. М., Толстой А. Н., Чкалов В. П., Шолохов М. А., Корнейчук А. Е. и Дадияни Ш. Н. 1936 г.



Толстой А. И. и Фадеев А. А. Москва. 1937 г.



Толстой выступает перед избирателями. 1937 г.



Калинин М. И. вручает орден Ленина Толстому А. Н.
1938 г.



Толстой А. Н. Рис. худ. В. А. Милашевского.



Толстой читает пьесу «Чертов мост» в клубе Наркомата иностранных дел. 1939 г.



Толстой А. Н. С портрета П. Д. Корина. 1940 г.



Толстой в Н-ской летной части. 1941 г.



А. Н. и Л. И. Толстые. Детское Село. 1938 г.



Слева направо: Тихонов Н. С., Щипачев С. П., Толстой А. Н., Твардовский А. Т., Исаковский М. П., Сурков А. А. 1944 г.



Толстой А. Н.

notes

Примечания

1

Реальное училище.

В. И. Ленин. ПСС, т. 7, с. 34.

3

Социал-демократы.

4

Социалисты-революционеры.

В. И. Ленин. ПСС, т. 14, с. 202.

В. И. Ленин. ПСС, т 26, с. 15, 17.

Здесь и в последующем, когда А. Н. Толстой высказывал ошибочные, поверхностные или недостаточно объективные взгляды и суждения, автор данной книги призывает читателей к терпению: пройдет какое-то время, и наш герой сделает правильные выводы и выскажет более соответствующие истине соображения по тому же поводу.

Таков уж его характер: он никогда не скрывал своих суждений, быстро реагировал на те или иные события, а если обнаруживал, что эти суждения не отражают объективное положение Вещей, то столь же искренне и бескомпромиссно отказывался от них.

Современному автору ничего не стоит дать перечень тех или иных ошибок выдающегося художника. Иные авторы так и поступают. В частности, Ю. А. Крестинский, немало сделавший для изучения фактов биографии А. Н. Толстого, в предисловии к сборнику его публицистики (*Алексей Толстой. Публицистика. М., «Советская Россия», 1975, с. 6–9*) пишет: «Все творчество Толстого до первой мировой войны показывает, что его демократизм и протест против социальной неустроенности не поднимались до подлинного научного революционного сознания. Среда либеральной интеллигенции обусловила ряд заблуждений писателя. Так, например, он разделял ошибочный тезис о несовместимости политики и искусства». По мнению Крестинского, «далеко не все увидел он в жизни народа, а главное — не понял сущности его чаяний... Глубоко ошибочна была мысль Толстого о возвышающем, облагораживающем воздействии войны. Писатель следовал идеалистической идее об очищающем страдании... Одни заблуждения влекли за собой другие. Писатель не увидел

половинчатый характер Февральской революции...» и т. д.

Все это, безусловно, было бы справедливо, если бы автор показал, что демократически настроенные писатели вроде Алексея Толстого стремились отделить свое творчество от царской политики и угодничества перед царским правительством. И уж совсем неверно, что Толстой не увидел половинчатый характер Февральской революции. Автор предисловия здесь несколько сгущает краски, представляя крупнейшего художника своего времени таким школяром, плохо выучившим домашнее задание. Вот почему я решительно отказываюсь от подобного взгляда на творчество писателя и стремлюсь как можно чаще предоставлять возможность самому писателю оценивать и переосмысливать те или иные события и факты недавнего прошлого. В частности, известно, что Алексей Толстой уже в романе «Хождение по мукам», опубликованном в Париже и Берлине в 1921-1922 годах, четко и полно высказал свое отношение к первой мировой войне как империалистической, братоубийственной. В последующих редакциях романа и других публикациях Толстой осудил эту войну как «мировую бойню», осудил шовинистический угар, которым были заражены некоторые представители господствующего класса, показал прозрение солдатской массы, осознавшей, что солдаты — «мясо в этой бойне, затеянной господами».

Со временем разберется Толстой и в своих заблуждениях относительно Февральской революции и Великого Октября. Разберется и публично выскажется по этим коренным вопросам бытия новой России. Время было для него лучшим врачом от исторических заблуждений.

Здесь и в последующем диалоги А. Н. Толстого с его выдающимися современниками представляют собой беллетризованное прочтение, основанное на строго документальном материале. При реконструкции бесед использовались письма, воспоминания, дневники и другие биографические источники. — *Примеч. авт.*